РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. В. В. ВИНОГРАДОВА

РУССКИЙ ЯЗЫК

В НАУЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ

№ 2
(16)

2008

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. В. В. ВИНОГРАДОВА

РУССКИЙ ЯЗЫК

В НАУЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ

№ 2
(16)

ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Москва
2008

ISSN 1681-1062

Научный журнал

Основан в январе 2001 года
Выходит два раза в год

***Редакционная коллегия*:**

А. М. Молдован (главный редактор), *А. А. Алексеев*, *Х. Андерсен* (США), *Ю. Д. Апресян*, *А. Богуславский* (Польша), *И. М. Богуславский*, *Д. Вайс* (Швейцария), *Ж. Ж. Варбот*, *А. Вежбицкая* (Австралия), *А. А. Гиппиус*, *М. Ди Сальво* (Италия), *Д. О. Добровольский*, *В. М. Живов*, *А. Ф. Журавлев*, *А. А. Зализняк*, *Е. А. Земская*, *Х. Кайперт* (Германия), *Л. Л. Касаткин*, *Э. Кленин* (США), *А. Д. Кошелев*, *Л. П. Крысин*, *Р. Лясковский* (Швеция), *Х.-Р. Мелиг* (Германия), *И. Мельчук* (Канада), *Н. Б. Мечковская* (Беларусь), *Е. В. Падучева*, *А. А. Пичхадзе* (ответственный секретарь), *В. А. Плунгян*, *Т. В. Рождественская*, *А. Тимберлейк* (США), *Х. Томмола* (Финляндия), *М. Флайер* (США), *А. Я. Шайкевич*, *А. Д. Шмелев*

Адрес редакции:
121019, Москва, ул. Волхонка 18/2, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Редакция журнала «Русский язык в научном освещении».
Тел.: (495) 637-79-92, факс: (495) 695-26-03, e-mail rusyaz@yandex.ru.
Издательство: e-mail lrc.phouse@gmail.com, сайт www.lrc-press.ru.

Зав. редакцией *О. В. Антонова*

Редакторы номера *А. А. Пичхадзе, Е. И. Державина*
Корректоры *А. Ставцев, М. Григорян*

Издатель *А. Д. Кошелев*

Подписка на журнал оформляется в любом отделении связи
по Объединенному каталогу «Пресса России», индекс 44088.

Подписано в печать 29.12.2008. Формат 70 × 100 $^{1}/_{16}$.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная.
Усл. п. л. 25,8. Заказ №

Электронная версия данного издания является собственностью издательства,
и ее распространение без согласия издательства запрещается.

© Институт русского языка
им. В. В. Виноградова РАН, 2008
© Авторы, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

Исследования

В. А. Плунгян.
Корпус как инструмент и как идеология:
о некоторых уроках современной корпусной лингвистики 7
О. Е. Пекелис.
Сочинение и подчинение: коммуникативный подход 21
М. В. Буякова.
Сочинение и подчинение в стихе и прозе
в русском и французском языках 58
И. А. Шаронов.
Когнитивные междометия: проблемы выявления и описания 71
Н. Е. Петрова.
Отглагольные прилагательные на *-м-* и страдательные причастия
настоящего времени: проблемы дифференциации и взаимодействия 89
Л. П. Крысин.
Некоторые принципы словарного описания русской разговорной речи
(постановка задачи) 110
Е. А. Оглезнева.
Дальневосточный региолект русского языка:
особенности формирования 119
Ю. В. Смирнова.
О принципах ассимилятивности и умеренности в истории
предударного вокализма некоторых русских говоров 137
Е. А. Галинская.
Нестандартная реализация предлога «к» в истории русских диалектов 154
Р. А. Евстифеева.
Порядок слов в атрибутивных словосочетаниях
Новгородской первой летописи 162
Ф. Р. Минлос.
Позиция атрибута внутри именной группы
в языке Псковской летописи 203
М. Н. Шевелева.
Еще раз о истории древнерусского плюсквамперфекта 217
М. А. Бобрик.
Новые сведения о берестяной грамоте 916 246

Информационно-хроникальные материалы

Хроника I Международной научной конференции «Культура русской речи» (*Е. В. Бешенкова, М. А. Осипова, Е. Я. Шмелева*) 257
Хроника международной конференции «Язык современного города (Восьмые Шмелевские чтения)» (*А. В. Занадворова*) 267
Всероссийские XIII филологические чтения памяти проф. Р. Т. Гриб «Теоретические и прикладные аспекты современной филологии» (*И. В. Евсеева*) 273
Международная научная конференция «Проблемы авторской и общей лексикографии» (*А. Л. Голованевский, Л. Л. Шестакова*) 276
Международная научная конференция в Ереване (*Р. Р. Грдзелян*) 278

Рецензии

А. Мустайоки. Теория функционального синтаксиса: от семантических структур к языковым средствам. М.: Языки славянской культуры, 2006. — 512 с. — (Studia philologica). (*И. Г. Милославский*) 285
В. П. Григорьев, Л. И. Колодяжная, Л. Л. Шестакова. Собственное имя в русской поэзии XX века: Словарь личных имен. М.: ООО Издательский центр «Азбуковник», 2005. — 448 с. (*Н. А. Кузьмина*) 291
В. П. Григорьев, Л. И. Колодяжная, Л. Л. Шестакова. Собственное имя в русской поэзии XX века: Словарь личных имен. М.: ООО Издательский центр «Азбуковник», 2005. — 448 с. (*А. Я. Шайкевич*) 294
Словарь русских говоров Приамурья / Авт.-сост. О. Ю. Галуза, Ф. П. Иванова, Л. В. Кирпикова, Л. Ф. Путятина, Н. П. Шенкевец. — 2-е изд., испр. и доп. — Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2007. — 540 с. (*Л. Л. Крючкова*) 296

Обзоры

Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX—XXI вв. / Отв. ред. Л. П. Крысин. М.: Языки славянской культуры, 2007. — 709 с. (*Н. Н. Розанова*) 301
Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений. Т. 4 / РАН. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова; Под общей ред. Н. Ю. Шведовой. — М.: РАН. Ин-т рус. яз., 2007. — 952 с. (*Ю. С. Капитанова*) 302
Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / Отв. ред. Н. Ю. Шведова. — М., 2007. — 1175 с. (*Е. А. Смирнова*) 304
Жизнь языка: Памяти Михаила Викторовича Панова / Отв. ред. М. Л. Каленчук, Е. А. Земская. — М.: Языки славянских культур: Знак, 2007. 448 с. — (Studia philologica) (*О. В. Антонова*) 306

Язык в движении: К 70-летию Л. П. Крысина / Отв. ред. Е. А. Земская, М. Л. Каленчук. — М.: Языки славянской культуры, 2007. — 664 с. (*В. Ю. Балдашинова*) 308
Язык как материя смысла: Сборник статей к 90-летию академика Н. Ю. Шведовой / Отв. ред. М. В. Ляпон. — М.: Издательский центр «Азбуковник», 2007. — 735 с. (*Н. Н. Занегина*) 310
Вопросы культуры речи. IX: Сб. статей / Отв. ред. А. Д. Шмелев. — М.: Наука, 2007. — 382 с. (*Т. Ю. Лабунская*) 314

ИССЛЕДОВАНИЯ

В. А. ПЛУНГЯН

КОРПУС КАК ИНСТРУМЕНТ И КАК ИДЕОЛОГИЯ: О НЕКОТОРЫХ УРОКАХ СОВРЕМЕННОЙ КОРПУСНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

У нас дома говорили по-русски чисто и правильно, и корпусные выражения мне резали слух.

Гайто Газданов. Вечер у Клэр (1930)[1]

I. В настоящих заметках речь пойдет в основном о вещах достаточно абстрактных и общих, касающихся тенденций развития современной лингвистики. Однако все наши рассуждения будут иметь совершенно конкретный источник — это недавно созданный Национальный корпус русского языка (с апреля 2004 г. доступный в интернете по адресу www.ruscorpora.ru); в настоящее время он насчитывает более 150 млн. словоупотреблений и включает (в различной пропорции[2]) тексты с начала XVIII по начало XXI в. Собственно описание корпуса, а также возможностей его непосредственного практического применения не является нашей задачей — это уже было сделано в ряде публикаций последнего времени (см. прежде всего сборник [НКРЯ 2005], а также статьи [Резникова, Копотев 2005] и [Резникова 2008], где проводится сравнение Национального корпуса русского языка с существующими корпусами русского и других славянских языков). Мы хотели бы коснуться несколько иного аспекта использования корпуса — так сказать, идеологического. Дело в том, что появление корпуса не просто дало в распоряжение лингвистов новый мощный инструмент анализа фактов языка — оно в определенной степени изменило теоретические приоритеты и отчасти даже взгляды на

[1] Пример получен, разумеется, из Национального корпуса русского языка.

[2] Наиболее подробно и разнообразно представлен современный период, т. е. тексты второй половины XX — начала XXI в.; этих текстов не только больше количественно, но они включают и такие жанры и типы, которые в других временных периодах представлены ограниченно или вовсе не представлены (например, записи устной речи, сценарии кинофильмов, личные письма и дневники, газетные объявления).

то, чем является язык и какие задачи изучения языка являются наиболее важными.

Поскольку частично эти изменения приоритетов оказались созвучны тем тенденциям, которые и до этого стали обозначаться в развитии теоретической лингвистики достаточно отчетливо, целесообразно напомнить, каковы эти тенденции.

Как кажется, сейчас в мировой лингвистике намечаются контуры новой модели языка, которая в ряде существенных отношений отличается от привычных моделей, сложившихся к последней четверти XX века. Говоря об этих моделях предшествующего этапа, часто можно, как ни странно, отвлечься от различий между разными научными школами — эффект «исторического расстояния» приводит к тому, что те направления, которые казались (и считали себя) непримиримыми антагонистами, на самом деле обнаруживают значительно больше общих черт, чем различий (таково, например, соотношение структурных и ранних генеративных моделей, и т. п.). Тем самым можно, по-видимому, в некоторых случаях апеллировать к некой обобщенной лингвистической идеологии «середины XX века», противопоставленной идеологии нынешнего рубежа столетий (следует подчеркнуть, однако, что в таких случаях всегда имеется в виду именно господствующая или преобладающая идеология, поскольку «теоретические диссиденты» встречались на каждом этапе существования лингвистики — и иногда их взгляды становились преобладающими позднее). С другой стороны, те тенденции, о которых пойдет речь ниже, сейчас отчетливее проявляются в тех современных теориях языка, которые относятся к так называемому функциональному (или функционально-когнитивному) направлению; может быть, просто потому, что они менее консервативны, возникли позже, чем «формальные» теории, и во многом как полемическая реакция на них. Но при этом и функционализм «докорпусной» эпохи тоже в немалой степени отличается от современного функционализма.

Если попытаться обозначить общее отличие современных моделей языка от моделей предшествующего периода, то одной из наиболее существенных черт будет, по-видимому, отчетливая смена теоретических приоритетов — с переходом от «системы» к «узусу» и от «языка» к «речи». Этот переход посягает на, казалось бы, незыблемый постулат лингвистических теорий, вошедший во все учебники языкознания: на фундаментальное различие между языком и речью и на обязанность лингвистики быть в первую очередь наукой о языке (или «языковой компетенции»), а не наукой о речи (или «речевом узусе»).

Конечно, здесь проявляется и вполне понятное «маятникообразное» развитие науки, когда господствующая теория себя исчерпывает и ее недостатки начинают заслонять ее достижения. Современные исследователи стали всё больше призывать лингвистику изучать факты, а не конструкты; рассуждать о свойствах наблюдаемых явлений, а не о свойствах моделей. Проблема же лингвистики в том, что язык, как известно, не наблюдаем и

представляет из себя, в некотором смысле, теоретическую абстракцию. Наблюдаемыми являются речь, т. е. процесс построения текстов, и, разумеется, сами тексты. Лингвистам со студенческой скамьи объясняли, что, конечно, они видят перед собой тексты, но не тексты являются для них по-настоящему важными: минуя их, они должны перейти к более значимому объекту — к системе правил, по которым эти тексты строятся, — и рассуждать об этой системе, а не о текстах, «реконструируя» ее на основе текстов. Положение текстов в такой идеологии самое незавидное: они находятся в области эмпирического, случайного, внесистемного. Существуя на самом деле (в отличие от «системы языка»), они как раз и объявлялись как бы несуществующими для теории.

В таком отношении к текстам заключалась, конечно, большая несправедливость. И всё же следует отдать должное теоретикам языка. Пройдя очень далеко по пути отрицания самостоятельной значимости «речевого» или «текстового» материала, многие из них в конце концов остановились и задумались: а существует ли язык вообще? Не является ли эта абстракция слишком сильной? И не пора ли вернуться назад, к рассмотрению именно текстов, причем реальных текстов, которыми люди обмениваются в процессе коммуникации, а не искусственных предложений на страницах лингвистических статей?

Именно этот вектор развития можно считать ответственным за те подходы (и те сдвиги в выборе приоритетов), которые очень отчетливо проявили себя в последние десятилетия. Можно обозначить следующий список «идеологических предпочтений», характерных для этого нового взгляда на задачи теоретической лингвистики:

1) Внимание не к слову или к предложению, а к тексту, или, как теперь чаще говорят, к **дискурсу** — то есть к реальному инструменту коммуникации в целом, а не к его отдельным фрагментам. Эта тенденция обозначилась еще в 1970-е гг., но в последнее время проявляется особенно интенсивно.

2) Внимание к **квантитативному** компоненту языка, т. е. учет в первую очередь более частотных (в дискурсе!) элементов по сравнению с менее частотными, и признание квантитативных отношений существенным фактором в языковой эволюции и структуре языковых правил. В западной лингвистике это, пожалуй, особенно характерно для школы Дж. Байби (ср., например, [Bybee 2001; 2006]), хотя проявляется и у многих других исследователей; элементы этого подхода мы находим ещё у Гринберга в 1960-е гг. (с его теорией маркированности) и др., но тогда они были периферийны[3].

[3] Можно вспомнить и следующую цитату из Н. С. Трубецкого, звучащую удивительно современно: «В связи с работой над морфологией и морфонологией прихожу к убеждению, что необходима и морфологическая статистика. Очень важно знать, какие категории употребляются чаще и какие реже» (из письма к Р. О. Якобсону от 29 окт. 1932; см. [Трубецкой 2004: 260]).

3) Внимание к **синхронной вариативности** языка, т. е. признание того факта, что в рамках данной языковой общности не существует единой жесткой системы средств выражения смысла, а существуют различные стратегии реализации этой задачи, в том числе зависящие от психологических, биологических и социальных факторов (но не только от них). Эта тенденция также обозначилась еще в середине XX в. с возникновением социолингвистики и других дисциплин этого круга.

4) Внимание к **диахронической вариативности** языка, т. е. признание того факта, что язык постоянно изменяется во времени и полностью отвлечься от этой нестабильности невозможно, что в каждый момент времени в языке сосуществуют «прогрессивные» и «консервативные» участки. Тем самым признается, что «строго синхронное» описание языка является иллюзией; более того, полное грамматическое описание языка должно иметь своего рода «размытый» характер, включая сведения не только о способах выражения грамматических значений, но и о динамике изменений этих способов на протяжении наблюдаемых исторических отрезков (одно-два столетия). Эти идеи также не являются новыми — они высказывались многими лингвистами середины XX в. (в том числе уже упоминавшимся выше Дж. Гринбергом, ср., например, его известную статью [Greenberg 1979])[4].

5) Изменение отношения к понятию языковой нормы и языковой правильности: возобладало, так сказать, более толерантное отношение к этим понятиям. Граница между «ошибкой» и «маргинальным вариантом», а также между маргинальным вариантом и полноценным (а впоследствии, может быть, и единственным) признается гораздо более подвижной и зыбкой. Исследователь предпочитает помнить, что сегодняшняя ошибка вполне может оказаться завтрашней нормой, и воздерживается от поспешных и тем более оценочных суждений.

Эти (как и ряд других) установок в современных работах чаще всего объединяются под названием «подход, ориентированный на узус» или «теория узуса» (англ. usage-based approach — термин, предложенный Р. Лэнгакером в начале 1990-х гг.). Эта модель представлена в работах таких (в остальном) разных американских и европейских лингвистов, как типологи и теоретики функционализма Дж. Байби, Т. Гивон и У. Крофт, пси-

[4] В этом контексте заслуживает упоминания относительно малоизвестная у нас статья французского слависта Поля Гарда [Garde 1988], содержащая обоснование так называемого «бисинхронного» подхода к анализу языковых явлений. Этот подход предусматривает описание фактов языка не в рамках единой системы «правил» и «исключений», а в рамках двух сосуществующих систем — более старой и более новой. В статье Гарда в качестве примеров рассматриваются, в частности, правила акцентуации презенса русских глаголов и синтаксис русских числительных. Удачное применение этой же модели к анализу предикативных употреблений русских прилагательных предложено в работе [Гиро-Вебер 1996].

холингвист М. Томаселло, славист Л. Янда и мн. др. (у нас во многом близкий подход представлен в ряде последних работ А. Е. Кибрика). Теория узуса стремится поставить в центр изучения и теоретического анализа непосредственно дискурсивную практику; несколько упрощая, ее положения можно сформулировать так: не существует «языка вообще», а существуют структуры, которые преобладают в определенных типах дискурса (у разных говорящих, в разные моменты времени и т. п.); их и надо изучать.

Подход, ориентированный на узус, противостоит «системному» подходу, ориентированному на изучение некоторой идеальной структуры языка, по отношению к которой наблюдаемые факты являются лишь более или менее адекватными реализациями (и если какие-то реализации исследователь сочтет неадекватными, он вполне может их проигнорировать). Системный подход, возникший в рамках структуралистского этапа развития лингвистики, был полностью унаследован современными «формальными» синтаксическими теориями. Идеологические различия двух подходов определяют и различное отношение их представителей к языковым фактам. Для сторонников системного подхода характерно недоверие к «экспериментальным» и «объективным» методам исследования материала, которые, с их точки зрения, мешают увидеть столь любимые ими «обобщения» (как правило, сформулированные уже до начала всякого исследования), затемняя их ненужными эмпирическими случайностями. Таким исследователям, как правило, вполне достаточно собственной интуиции: и действительно, если целью исследования является не учет вариативности, а ее устранение в пользу некоторой идеальной картины стройной и статичной системы, то автор-лингвист не только не хуже, но даже предпочтительней других носителей языка — он гораздо лучше знает, каким язык должен быть. Напротив, сторонникам «теории узуса» крайне важна эмпирическая база, т. е. представительная совокупность текстов на данном языке: тексты являются их реальным объектом, свойства которого не известны до начала исследования и именно в ходе исследования и могут быть обнаружены. Исследователи этого типа хорошо понимают, насколько обманчивой может быть интуиция любого отдельного носителя (в том числе и лингвиста — а может быть, вернее сказать, и в особенности лингвиста). Точно с тем же недоверием, с каким сторонники системного подхода относятся ко всякого рода «экспериментальным проверкам», сторонники теории узуса относятся к суждениям, основанным на не подтвержденной фактами интуиции: язык шире любого отдельного носителя, тем более носителя пристрастного, т. е. озабоченного поиском некоего абсолюта — будь то подтверждение принципов «универсальной грамматики» или, например, свидетельств преобладания «настоящей московской нормы».

Итак, исследователи, опирающиеся на «узус», склонны для подтверждения своих гипотез обращаться к представительной совокупности текстов на данном языке. А представительная совокупность текстов и является де-факто тем, что в современной лингвистике принято называть словом

«корпус». Тем самым, ключевое слово настоящих заметок возникает естественным образом как следствие изложенных выше «новых» теоретических предпосылок — дискурсивных, квантитативно-динамических, эмпирических и, если угодно, антисистемных. Не удивительно, что эта новая лингвистика очень быстро оказалась лингвистикой корпусов. В каком-то смысле трудно сказать, что здесь причина, а что следствие: то ли идеологические установки «теории узуса» (начавшей формироваться, как мы уже отмечали, никак не позднее последней трети XX в.) привели к бурному расцвету корпусных исследований, то ли прогресс в такой первоначально сугубо прикладной области, как составление электронных корпусов языков, привел к резкой смене идеологических установок лингвистов (или ускорил эту смену). Скорее всего, имели место оба процесса, и правильнее говорить о встречном движении: в ходе теоретических поисков был обнаружен наиболее подходящий для этих поисков инструмент.

Подчеркнем еще раз, что в настоящее время корпус — это не просто дань техническому прогрессу или более удобный инструмент для поиска примеров; это именно примета новой идеологии изучения языка, для которой язык — вообще говоря, *и есть корпус*, как бы вызывающе это ни звучало по отношению к предшествующей теоретической традиции. Таким образом снимается одно из главных возражений сторонников системного подхода, которые всегда любили настаивать на «бесконечном», «открытом» характере языка по сравнению с «конечной» совокупностью любых текстов на данном языке. Однако, с одной стороны, нельзя не видеть, что современные корпуса предоставляют исследователю настолько большие массивы текстов, что для отдельного человека они практически оказываются бесконечными, а с другой стороны, нельзя забывать и об очень плодотворном опыте изучения мертвых языков, «конечность» которых никак не сказывается на качестве их описаний (а если сказывается, то часто едва ли не в лучшую сторону). Дело скорее в том, что раньше в нашем распоряжении просто не было технических средств, позволяющих получить быстрый и эффективный доступ к по-настоящему значительной совокупности текстов, а сейчас такие средства есть. Тексты поневоле казались вторичным и конечным объектом, так как оценивалась только та их совокупность, которая была соизмерима возможностям отдельного, медленно пишущего и медленно читающего человека. Реальный объем текстов на любом живом языке на много порядков превосходит эту совокупность. И только сейчас стало по-настоящему понятно, насколько за предыдущие десятилетия лингвистика успела оторваться от своего главного объекта — текстов, и насколько многие утверждения, сделанные в рамках разных теорий, не подтверждаются фактами корпуса (в отношении русского языка красноречивые примеры такого рода приведены в недавних публикациях [Перцов 2006а; 2006б]; некоторые другие примеры мы обсудим ниже). Даже для тех исследователей, которые изначально были ориентированы не на интроспекцию, а на обработку больших массивов данных, корпус оказыва-

ется неоценимым инструментом, во много раз повышающим скорость и надежность работы. Здесь наблюдается своего рода двойной эффект. До появления электронных корпусов текстов возможности ручной обработки материала были относительно скромные: на поиск нужных примеров часто уходили месяцы, при этом трудно было дать гарантию того, что самые важные контексты действительно оказались учтены. С появлением корпуса даже те лингвисты, которые понимали важность обращения к такого рода материалу, получили результат, во много раз превзошедший их ожидания.

Интересным образом, описываемый подход в некоторых чертах сближается с традиционной «доструктуралистской» филологией, хотя, конечно, не повторяет ее установки полностью. Это достаточно характерная тенденция — современная функциональная лингвистика вообще, как известно, во многом вернулась к тому, что декларировалось в XIX веке, а потом было забыто или отброшено. В интересующем нас аспекте можно вспомнить классическую филологию, всегда имплицитно исходившую из того, что, например, классический латинский язык — это не больше (но и не меньше) чем корпус текстов определенного периода. Вообще, как уже было сказано выше, хорошее описание мертвого языка — это максимально тщательное описание всей совокупности текстов, входящих в корпус этого языка (именно так устроено, например, предложенное А. А. Зализняком [2004] описание языка древненовгородских берестяных грамот). Но к корпусным по сути методам тяготеют не только исследования мертвых языков — сходным образом строятся, например, работы такого известного в традиционной филологии жанра, как исследования «языка писателя», когда материалом служит корпус произведений одного автора и всё, что представлено в таком корпусе, равно заслуживает внимания. Традиции «виноградовской школы», столь популярные в отечественной русистике, — это во многом традиции «стихийной» корпусной лингвистики, ориентированной на представительные (и, как правило, закрытые) совокупности литературных текстов писателей, входивших в литературоведческий канон.

По последнему поводу, впрочем, уместно заметить, что у современной корпусной идеологии (в том числе и реализованной в рамках Национального корпуса русского языка) есть и черта, отличающая ее от подходов, принятых в традиционной филологии. Это — принципиальная «нелитературоцентричность», характеризующая отбор текстов для корпуса. Конечно, роль текстов, представляющих классическую и современную художественную литературу, в корпусе достаточно велика, но существенно, что, в отличие от традиционных описаний, учет именно этих текстов не является для многих задач приоритетным. В особенности это относится к современной постмодернистской художественной литературе, отказавшейся как от претензий на общественную значимость (по крайней мере, если понимать последнюю как публицистичность «прямого действия»), так и на языковую нормативность, т. е. апелляцию к повседневной языковой практике «среднего образованного человека». Взамен же эта литература приобрела уста-

новку на языковую игру, на извлечение художественного эффекта из многообразных нарушений нормы; тем самым порождаются экспериментальные тексты, сами по себе не лишенные интереса, но никак не способные служить образцом доминирующего в данном языковом коллективе дискурса. На роль последнего может в современной ситуации претендовать скорее литература, относимая к жанру ‘non-fiction’, то есть литература с минимально декларируемой «художественностью», а также образцы устного городского фольклора: анекдоты, анонимные «истории из жизни», вербализующие стереотипы и мифы современного массового сознания, и т. п.

II. Подводя итоги сказанного, полезно еще раз подчеркнуть, что в современной теоретической лингвистике корпус — это не только мощный инструмент исследования языка, но и новая идеология, ориентирующая исследователя на *текст* как главный объект теоретической рефлексии. Можно сказать, что корпус в каком-то смысле вернул лингвистам их подлинный объект — тексты на естественном языке в максимально полном объеме, и последствия этого неожиданного приобретения, на наш взгляд, еще скажутся в ближайшем будущем не только на лингвистической практике, но и на лингвистической теории. Таким образом, с помощью корпуса стало возможно не только быстрее и эффективнее решать известные науке задачи, но и ставить принципиально новые задачи, ранее практически невыполнимые из-за их трудоемкости. К последнему типу задач относятся прежде всего всевозможные обобщения по поводу «микроэволюции» языка на протяжении одного-двух столетий: малозаметные изменения сочетаемости и значений слов, изменения частотности различных конструкций или частотности употребления лексических и грамматических вариантов, регистрация появления или угасания отдельных явлений языка, и т. п.

Собственно, можно надеяться на то, что будущие грамматические описания языков станут «корпусно-ориентированными» — в том смысле, что всякое утверждение про данный язык, которое будет в них делаться, можно будет проверить относительно некоторого корпуса этого языка. Это, безусловно, повысит научный статус таких грамматик, поскольку количество эмпирически проверяемых утверждений в них резко возрастет по сравнению с текущим состоянием, когда грамматики в основном имеют дело либо с отдельными текстовыми примерами (которые могут иллюстрировать описываемое явление, т. е. являться доказательством его существования в языке, но не могут использоваться для исследований его частотности), либо с искусственно сконструированными исследователем языковыми выражениями.

Вообще, использование корпуса особенно тесно связано именно с проблемой доказательства существования в языке того или иного явления. Конечно, нельзя полностью отождествлять понятия «иметься в корпусе» и «иметься в данном языке». В языке могут существовать потенциально возможные явления, не отраженные в конкретном корпусе текстов, хотя в

случае большого представительного корпуса сам факт отсутствия некоторого явления (пусть и потенциально возможного) всё равно значим. С другой стороны, в корпусе могут встретиться окказиональные явления, да и просто ошибки, которые будут отвергнуты говорящими на данном языке при предъявлении им соответствующих образцов для оценки правильности / коммуникативной уместности. Однако частотность таких явлений — если они действительно окказиональны — будет крайне мала. Вместе с тем «ошибка» (и, шире, любое отступление от того, что принято считать «нормой»), систематически фиксируемая в корпусе, — возможно, уже не ошибка и требует более внимательного к себе отношения. Известно, что авторы нормативных пособий (как и лингвисты, более всего опирающиеся на интроспекцию) нередко склонны выдавать желаемое за действительное и описывать не столько язык, сколько свои представления о том, каким он должен быть (подробнее на эту тему см. также упомянутую выше работу [Перцов 2006б]).

В статьях Н. В. Перцова критике подвергаются, в основном, суждения о приемлемости или неприемлемости тех или иных русских конструкций, делавшиеся специалистами по лексической семантике. Однако сказанное выше о том, что «язык шире любого отдельного носителя», даже в большей степени применимо и к работам современных синтаксистов, постулирующих те или иные синтаксические ограничения. Так, в теории синтаксиса одним из критериев выделения составляющей считается ее способность замещаться анафорическими единицами — так называемыми «проформами»; эта способность имеется у составляющей в целом, но не имеется у отдельных ее элементов: «⟨…⟩ терминальные составляющие ⟨…⟩ не заменяются на проформы: это возможно только для фразовых категорий» [Тестелец 2001: 142]. В учебнике Я. Г. Тестельца именно этот тест приводится в качестве одного из доказательств существования именных групп: и сочетания типа *этот человек*, и сочетания типа *этот человек, который*… допускают замену на *он* только целиком, так как ни конструкции типа *этот он*, ни конструкции типа *этот он, который*… невозможны.

На первый взгляд это утверждение кажется абсолютно очевидным. Тем не менее, в корпусе русского языка обнаруживается немало примеров, не согласующихся с ним. Не говоря уже о конструкциях типа *он, который сделал для нас так много*…, представленных многими десятками употреблений (ср. 1–2), обнаруживаются, что самое удивительное, и разнообразные примеры конструкций вида *этот он, который*… (ср. 3–5):

(1) *Шепотом вскрикивал, что он* ***ее, которая*** *толкала его на борьбу, ничуть не винит, о нет, не винит!* (М. Булгаков. Мастер и Маргарита, часть 1 (1929–1940))

(2) *Мне не жаль было ее умельца-мужа, для которого тысяча «горбатых» — как раз столько, сколько мы с женой тратили на весь не-*

дельный хлебный паек, — были не деньги. Не жаль было и ***ее, которая*** *сейчас с сотней, а то и двумя этих тысяч приехала «по обувь» и, вспоминая мужа, тащится со мною ночью на площадь.* (Ал. Кабаков. Путешествие экстраполятора (1988–1999))

(3) *Он сел, выпрямил ноги. Большая красная волна подняла его и опять опустила. Сидя, он видел себя, лежащего. У* ***того его, который*** *сидел, ноги были выпрямлены, а у того, который лежал, — поджаты.* (И. Грекова. Фазан (1984))

(4) *Черный ангел прилетел. Пока тот не исчез, Мокрухтин протянул руку и втянул ангела в квартиру, и Евгения краем сознания почувствовала, что* ***та она, которая*** *стояла у лифта, медленно двинулась вслед. Дверь закрылась.* (Елена и Валерий Гордеевы. Не все мы умрем (2002))

(5) *Данка чувствовала, что с каждым шагом приближающегося к ней Термосёсова покидают ее последние силы. Она не знала, что он скажет, что сделает, вообще с чего начнет и на чем станет? И, наконец, на чем может остановиться он,* ***этот он, который*** *от первой минуты своего появления до этого решительного заключения на замок судьи, ни на минуту не перестает изумлять ее?* (Н. С. Лесков. Божедомы (1868))

Конечно, такие конструкции встречаются редко; конечно, их существование не очевидно даже искушенному лингвисту. Но отрицать возможность таких конструкций никак нельзя — а следовательно, утверждения о синтаксических критериях для выделения составляющих всё-таки нуждаются в определенной коррекции. Убедиться в этом удается лишь благодаря апелляции к корпусу.

С учетом сделанных оговорок, можно, как представляется, отождествить понятия «существующего в языке» и «надежно засвидетельствованного в корпусе». В известной дихотомии системы и узуса корпус ориентирует лингвистов на узус — хотя бы по той простой причине, что никогда раньше узус не был так хорошо доступен для исследований. Между тем, именно узус — т. е. тексты — и является единственной подлинной реальностью науки о языке, т. е. объектом, доступным непосредственному наблюдению.

Идеология корпусной лингвистики позволяет сделать и более сильное утверждение: при прочих равных условиях, должно быть предпочтительнее такое описание языка, которое будет ориентировано на явления, лучше представленные в корпусе. Иными словами, то, что является центральным в корпусе, должно быть центральным и в грамматике. Плодотворность для теории языка описания механизмов выражения таких смыслов, которые не являются востребованными реальными говорящими на данном языке, как минимум неочевидна. Как кажется, по крайней мере полезнее вначале опи-

сать способы выражения тех смыслов, которые для данного языкового коллектива являются приоритетными, — то есть те, которые легко найти в корпусе данного языка. Язык прежде всего дает нам возможность выразить и понять то, что уже было многократно сказано в данном национальном пространстве; может ли язык, без существенного насилия над его структурой и механизмами, быть успешно использован как-то еще — вопрос, вообще говоря, открытый. Может быть, и может — и если так, то такие смещенные способы использования языка тоже должны быть описаны. Но здесь существенны приоритеты, и использование корпуса, как кажется, позволяет расставить эти приоритеты достаточно надежно. Смысл корпусно-ориентированной лингвистики в том, что она позволяет изучать действительно существующие в языке, а не мнимые явления[5].

III. В заключение остановимся кратко на том аспекте описания современного русского языка, который автору этих строк в силу обстоятельств наиболее близок, а именно, на некоторых следствиях для описания русской морфологии, которые возникают при попытке посмотреть на эту область в зеркале корпуса.

Заметим сразу, что даже такая сравнительно консервативная область языка, как морфология, демонстрирует достаточно много существенных отличий от той картины, которая представлена в нормативных описаниях.

---

[5] Как известно, взгляды современной генеративной лингвистики на эти проблемы едва ли не полностью противоположны. Считая основным объектом описания «языковую компетенцию» некоторого идеального говорящего, теоретики этого направления по-прежнему полагают, что основным инструментом описания этой компетенции являются суждения относительно «грамматической правильности» сконструированных высказываний, причем чем дальше эти высказывания будут от возможных в естественных текстах, тем это лучше для теории: таким образом проверяется именно врожденная языковая компетенция, не замутненная знакомством с реальными образцами высказываний на данном языке. Ср. характерные утверждения П. Постала, сделанные им еще в известной монографии 1974 г., в защиту использованных там крайне громоздких искусственных английских примеров, и сочувственно воспроизводимые в одной из новейших работ: «⟨…⟩ the linguistic experience of speakers will not dependably provide them with the opportunity to come in contact with the relevant examples. ⟨…⟩ Consequently, the definite judgments available to English speakers about such cases must follow from general principles that are internalizable independently from such marginal sentences» [Postal 1974]; воспроизводится в [Davies & Dubinsky 2004: 46] (благодарю П. М. Аркадьева, любезно обратившего мое внимание на эту цитату). Подобная аргументация может звучать убедительно только в одном случае: если полностью забыть, что, за отсутствием мифического «идеального говорящего», грамматическую правильность подобных примеров приходится на свой страх и риск оценивать скромным авторам проверяемых теорий. О том, что происходит при предъявлении сконструированных генеративными синтаксистами примеров обычным носителям языка, подробно рассказывается, например, в остроумной статье Евы Домбровской [Dąbrowska 1997].

Ведь корпусное описание (в том числе и в силу необходимости обеспечить корректный автоматический анализ текста) не может уклониться от того, чтобы анализировать *все* встречающиеся в текстах формы. А таких форм заведомо больше, чем это предписывается нормативной грамматикой. Причем, что существенно, в число примеров русского «морфологического расширения» попадают далеко не только случайные ошибки или окказиональные употребления — это и частотные разговорные формы, пока (почти) не находящие отражения в грамматиках, это и частые случаи языковой игры, также имеющие свою «грамматику» и свои регулярные механизмы[6], это и такие устаревшие, диалектные и просторечные формы, которые, несмотря на исключение их из нормативных грамматик, продолжают существовать в языке, известны говорящим и могут употребляться в соответствующих контекстах.

Но в то же время реально встречающихся в текстах форм в каком-то смысле и меньше, чем в нормативных источниках. Существующие системы автоматического морфологического анализа, как правило, не ориентированы на частотность той или иной формы: если форма в принципе возможна, она присутствует в автоматическом словаре. Следствием такого подхода оказывается то, что порождается немалое количество форм, которые, хотя и возможны по правилам русской морфологии, в реальных текстах никогда не встречаются. Это «гиперпорождение» не всегда безобидно: специалистам по автоматическому морфологическому анализу хорошо известен эффект паразитической омонимии, затрудняющий работу программ; этот эффект возникает в тех случаях, когда у распространенной словоформы появляется мифический двойник, формально законный, но реально в текстах отсутствующий. К таковым, например, относятся разбор предлога *для* как деепричастия от глагола *длить* или разбор формы презенса *сеем* как краткой формы страдательного причастия *сеемый* (даже полная форма этого причастия встречается в корпусе всего один раз); проблематично и порождение форм множественного числа у слов типа *современность*, и мн. др.

Таким образом, морфология, отражающая данные корпуса, одновременно и шире, и уже «стандартной» — она включает в себя в качестве легитимных многие не предусматриваемые стандартной грамматикой варианты, но зато исключает надежно прописанные в стандартной грамматике «потенциальные» (т. е. возможные лишь теоретически) формы.

---

[6] А в современных текстах к этим случаям добавляются и стремительно конвенционализующиеся приемы орфографической игры (с написаниями типа *нравиццо* или *щаз*), так что любому исследователю, имеющему дело с автоматической обработкой текстов современного русского сегмента интернета, нельзя не считаться с этой «новой» орфографической вариативностью — как, впрочем, и с «обычными» случаями неустойчивой орфографии в недавних заимствованиях (*плеер*, *плейер* и *плэйер*, *хэнд-аут* и *хендаут*) и слэнговых словах, редко попадающих в кодифицированные письменные тексты (*голимый* и *галимый*; *децл*, *дэцл*, *децил*, *дэцэл*) и т. п.

Из числа наиболее интересных морфологических явлений, бесспорно существующих в современных русских текстах, но недостаточно отражаемых нормативной грамматикой (или вовсе не отражаемых), можно упомянуть следующие:

1) Появление особых «стяженных форм» винительного и дательного падежей у личных местоимений *я* и *ты* (*мя*, *тя*, *те*), по своим морфосинтаксическим свойствам отчасти напоминающих древнерусские местоименные энклитики; такие формы (существовавшие в диалектах и в просторечии) не только надежно фиксируются в устной речи всех слоев носителей русского языка, но и начинают в заметном количестве проникать в некодифицированную письменную речь (особенно в тексты электронной коммуникации); к этому же классу примыкает и частотная форма именительного и винительного падежа вопросительного местоимения *чё*.

2) Существование достаточно большого числа нестандартных форм деепричастий на *-а* / *-я* (типа *положа*) и на *-ши* (типа *положивши*); к ним добавляются заимствованные из диалектов, но получающие всё большее распространение варианты на *-мши* (типа *выпимши*, *соврамши*, *не спамши* и т. п.)[7].

3) Стойкое сохранение такого явления, как склоняемые краткие формы прилагательных в атрибутивной функции (*всяк человек*, *кари очи, тёмну силу*, и т. п.); распространенность этого явления (в современном языке в основном связанного с использованием псевдонародной речевой маски) выходит далеко за пределы клишированных сочетаний типа *средь бела дня*. В недавней работе [Кулёва 2008] показана особая типичность таких «усеченных прилагательных» для языка русской поэзии практически во все периоды ее существования, вплоть до современной поэзии, где сочетания типа *пластмассовы цветочки* в определенных типах текстов и у определенных авторов оказываются вполне обычны.

Список этот, бесспорно, может быть продолжен (подробнее см. также [Ляшевская и др. 2005]), но уже и сказанного, на наш взгляд, достаточно, чтобы сделать вывод: грамматика русского языка, основанная на корпусе, будет весьма сильно отличаться от аналогичных сочинений, созданных в «докорпусную» эпоху.

Литература

Гиро-Вебер 1996 — М. Гиро-Вебер. Бисинхронный метод описания прилагательного в предикативной позиции в современном русском языке // А. В. Бон-

[7] Вот характерный пример употребления такой формы из современного публицистического текста: *Из дальнейшего текста послесловия делается ясно, кого Макс Фрай,* ***сбросимши*** *прежних идолов с корабля современности, водрузил на их место* (М. Бутов. Отчуждение славой // «Новый Мир», 2000).

дарко (ред.). Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность. СПб., 1996. С. 65—79.

Зализняк 2004 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. 2-е изд. М., 2004.

Кулева 2008 — А. С. Кулева. Усеченные прилагательные в языке русской поэзии: Дис. … канд. филол. наук. М., 2008.

Ляшевская 2005 — О. Н. Ляшевская и др. О морфологическом стандарте Национального корпуса русского языка // Национальный корпус русского языка: 2003–2005. М., 2005. С. 111–135.

НКРЯ 2005 — Национальный корпус русского языка: 2003—2005. М., 2005.

Перцов 2006а — Н. В. Перцов. О роли корпусов в лингвистических исследованиях // Труды международной конференции «Корпусная лингвистика—2006». СПб., 2006. С. 318—331.

Перцов 2006б — Н. В. Перцов. К суждениям о фактах русского языка в свете корпусных данных // Рус. яз. в науч. освещении. 2006б. № 1(11). С. 227—245.

Резникова 2008 — Т. И. Резникова. Корпуса славянских языков в интернете: Обзор ресурсов // Die Welt der Slaven, 2008. LIII. С. 10—38.

Резникова, Копотев 2005 — Т. И. Резникова, М. В. Копотев. Лингвистически аннотированные корпуса русского языка (обзор общедоступных ресурсов) // Национальный корпус русского языка: 2003—2005. М., 2005. С. 31—61.

Тестелец 2001 — Я. Г. Тестелец. Введение в общий синтаксис. М., 2001.

Трубецкой 2004 — Письма и заметки Н. С. Трубецкого / Подгот. к изд. Р. Якобсоном. М., 2004.

Bybee 2001 — J. Bybee. Phonology and Language Use. Cambridge, 2001.

Bybee 2006 — J. Bybee. Frequency of Use and the Organization of Language. Oxford, 2006.

Dąbrowska 1997 — E. Dąbrowska. The LAD goes to school: a cautionary tale for nativists // Linguistics. 35/4. 1997. P. 735—766.

Davies, Dubinsky 2004 — W. D. Davies, S. Dubinsky. The Grammar of Raising and Control: A course in syntactic argumentation. Oxford, 2004.

Garde 1988 — P. Garde. Pour une méthode bisynchronique // Travaux du Cercle linguistique d'Aix-en-Provence. 1988. 6. P. 63—78. (См. также: P. Garde. Le mot, l'accent, la phrase: Etudes de linguistique slave et générale. P.: Institut d'études slaves, 2006. P. 437—445.)

Greenberg 1979 — J. H. Greenberg. Rethinking linguistics diachronically // Language. 1979. 55. P. 275—290.

Postal 1974 — P. M. Postal. On Raising: An inquiry into one rule of English grammar and its theoretical implications. Cambridge (MA), 1974.

О. Е. ПЕКЕЛИС

СОЧИНЕНИЕ И ПОДЧИНЕНИЕ: КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД

0. Введение

В настоящей статье на материале русского языка предлагается коммуникативный подход к проблеме разграничения сочинения и подчинения предложений. Предметом рассмотрения является подкласс полипредикативных конструкций, формируемый следующими двумя ограничениями: (а) элементарные предложения в составе сложного — финитные и неэллиптированные; (б) придаточное предложение в составе сложноподчиненного является сентенциальным сирконстантом (а не актантом).

В русской грамматической традиции определение оппозиции сочинение / подчинение дается либо через непосредственное определение «сочинительной» и «подчинительной» связи, либо через указание на формальные различительные свойства сочинительных и подчинительных союзов.

Сочинительная связь «характеризуется тем, что соединяемые ею компоненты… выполняют одну и ту же синтаксическую функцию относительно друг друга и образуемого ими целого. ⟨…⟩ Подчинительная связь… всегда характеризуется тем, что объединяемые ею элементы различаются по своей синтаксической функции» [Белошапкова 1989: 732]. С. О. Карцевский [2000 (1961): 71–72] усматривал различие между сочинением и подчинением в их соотношении с разными формами диалога: сочинительная связь сродни оппозитивному диалогу, т. е. обмену репликами, а подчинительная функционально близка к диалогическому единству вопросно-ответного типа[1].

Поиск строгих критериев разграничения сочинительных и подчинительных союзов был начат А. М. Пешковским, видевшим своеобразие сочинительного союза в том, что он «помещается… либо в каждом из соотносящихся… либо между соотносящимися, не сливаясь по значению ни с одним из них» [Пешковский 2001: 462]. Поэтому части сложносочиненно-

[1] Говоря шире, С. О. Карцевского можно считать родоначальником коммуникативного подхода к сочинению и подчинению в русистике.

Русский язык в научном освещении. № 2 (16). 2008. С. 21—57.

го предложения могут переставляться без ущерба для содержания: *Мне можно, а вам нельзя = Вам нельзя, а мне можно* (пример из [Русская грамматика 1980: 462]). Е. Н. Ширяев [1986: 18–21] предложил дистрибутивный критерий разграничения: придаточное, возглавляемое подчинительным союзом, может сочиняться с другим придаточным, возглавляемым тем же союзом, например: *Он сказал, что идет дождь и что поэтому мы останемся дома.* Элементарное предложение, вводимое сочинительным союзом, к такому сочинению обычно не способно: **Светит солнце, но все-таки холодно и но все-таки не хочется идти гулять.*

В англоязычной традиции распространенным является структурный подход к оппозиции сочинение / подчинение. В терминах составляющих отношение между элементарными предложениями, или клаузами, X и Y называется **сочинением**, если X и Y не вложены одна в другую и обе являются непосредственными составляющими третьей клаузы Z. Напротив, **подчинением** называется отношение, которым связаны клауза X и вложенная в нее клауза Y (см., например, [Тестелец 2001: 256]). В соответствии с приведенными определениями, сложносочиненная конструкция имеет структуру [[X] союз [Y]], сложноподчиненная — структуру [X [союз Y]] (союз отсутствует в конструкциях с нефинитными клаузами, но их мы не рассматриваем, см. выше).

В исследованиях последних лет — в рамках разных синтаксических теорий, в частности, порождающей грамматики (ПГ) — преобладает, однако, мнение, что сочинительная конструкция демонстрирует ту же структурную асимметрию, что и подчинительная: [X [союз Y]] (см., например, [Johannessen 1993, 1998; Kayne 1994; Radford 1993]). Такая трактовка основывается, в числе прочего, на большей просодической и синтаксической слитности союза с последующим конъюнктом, чем с предшествующим. Сторонники несимметричной сочинительной структуры оказываются перед необходимостью искать иную, не структурную основу для разграничения сочинения и подчинения. Один из распространенных подходов в этой связи ориентирован на понятие признака (*feature*, в терминологии ПГ): сочиненные элементы (как клаузы, так и меньшие по объему составляющие) должны иметь определенный набор общих признаков. В ряде работ (например, [Pollard, Sag 1994]) данный подход развивается в синтаксическом ключе: сочиненные конъюнкты, по мысли авторов, должны иметь набор одинаковых **синтаксических** признаков. Напротив, в [Munn 2000] утверждается, что сочинение требует определенного **семантического** сходства конъюнктов. Так, в предложении *Pat is* [*a good linguist and very hard-working*] (‘Пэт хороший лингвист и очень трудолюбив’) сочиненные элементы принадлежат к разным синтаксическим категориям, однако оба относятся к одной семантической категории — одноместные предикаты типа ⟨e,t⟩ (в соответствии с типологией языковых выражений в формальной семантике: ⟨e,t⟩ — функция из множества объектов, *entity*, в множество истинностных значений).

Итак, единая точка зрения относительно исходного фактора, лежащего в основе разграничения сочинения и подчинения, в литературе отсутствует. Наряду с поиском такого фактора, исследования последних лет обнаружили значительное число поверхностных свойств, регулярным образом противопоставляющих сочинительную и подчинительную конструкции. Два таких свойства-критерия разграничения сочинения и подчинения, предлагавшихся в русскоязычной литературе, мы выше уже назвали. Укажем еще четыре критерия, принятых в англоязычной традиции (критерии 1 и 2 применимы к сочинению vs. подчинению не только клауз, но и единиц более мелкого уровня):

1. **Позиция союза**[2]**.** Сочинительный союз должен линейно располагаться между соединяемыми клаузами (см., например, [Greenbaum 1969: 29; Quirk et al. 1985: 921–922; Van Oirsouw 1987; Verstraete 2005]): *Он всегда говорил очень убедительно, но* (*а, и*) *у меня возникали некоторые сомнения* Vs. **Но* (*а, и*) *у меня возникали некоторые сомнения, он всегда говорил очень убедительно* (примеры из [Тестелец 2001]). Подчинительный союз, как правило, может находиться в абсолютном начале сложного предложения: *Когда у меня возникали некоторые сомнения, он всегда отвечал очень убедительно.*

2. **Ограничение на сочиненную структуру (Coordinate Structure Constraint) Росса.** Дж. Р. Росс [Ross 1967 (1986)] сформулировал следующее отличие сочинительной конструкции от подчинительной: никакая синтаксическая трансформация, производящая перемещение элементов (вопросительная, релятивизация, топикализация и пр.), не может выдвинуть сочиненный элемент из сочиненной структуры, и ни один элемент, содержащийся в сочиненном элементе, не может быть выдвинут из этого элемента (см. также, например, [Grosu 1973; Lakoff 1986; Pollard, Sag 1994; Johannessen 1998]). Так, в сложносочиненном предложении *Вася читает, а Петя спит* выдвижение составляющей «Вася» из сочиненной клаузы недопустимо: **Вот Вася, который читает, а Петя спит*, а в сложноподчиненном предложении *Вася разговаривает шепотом, потому что Петя спит* выдвижение той же составляющей из главного предложения — допустимо: *Вот Вася, который разговаривает шепотом, потому что Петя спит*. Выдвижение из придаточного обычно затруднено, но иногда и оно допустимо: *Что ты хочешь, чтобы я ему сказал _ ?*

3. **Эллипсис.** При подчинении, как правило, допускается меньшее разнообразие типов эллипсиса, чем при сочинении. Так, в работе [Jackendoff 1972] отмечена следующая закономерность (см. также [Van Oir-

[2] Данный критерий еще прежде высказан А. М. Пешковским [Пешковский 2001: 464]. Мы упоминаем его здесь, поскольку в англоязычной традиции он получил широкое распространение.

souw 1987; Lagerwerf 1998]): в сочинительных конструкциях достаточно свободно применяется сокращение с образованием внутреннего пробела (англ. *gapping*), в то время как в подчиненных клаузах это обычно невозможно: *John played piano, and* (//**whenever*) *Max __ sax* (ср. русск. *Иван играл на пианино, а* (//*?*когда*) *Максим — на саксофоне*). То же верно и для так называемого «подъема правого узла» (Right Node Raising): *Mary cooked and John ate the rice* (ср. русск. *Мэри приготовила, а Джон съел рис*), но **John ate after Mary cooked the rice* (ср. **Джон съел после того, как Мэри приготовила рис*).

4. **Поведение анафорических местоимений.** Р. Лангакер [Langacker 1969] выявил закономерность в поведении простых анафорических местоимений, позволившую сформулировать следующий критерий разграничения сочинения и подчинения: в сложноподчиненном предложении подлежащее главной клаузы, выраженное анафорическим местоимением, не может быть кореферентно никакому актанту, выраженному полной именной группой зависимой клаузы, если главная клауза предшествует зависимой; для сложносочиненного предложения такой запрет не действует. Пример (из [Тестелец 2001]): **Она*$_i$ *очень расстроилась, когда мы решили не брать Машу*$_i$ *с собой на прогулку*, но *Она*$_i$ *очень расстроилась, и мы решили не брать Машу*$_i$ *с собой на прогулку* (подстрочный индекс i помечает кореферентные актанты). Позднее механизм действия данного критерия был уточнен Т. Рейнхарт [Reinhart 1983].

В связи с этими и другими критериями сочинения и подчинения имеются две требующие решения трудности.

Во-первых, применение критериев к конкретной сложной конструкции часто не дает однозначного результата. Приведем примеры случаев, когда неэффективными оказываются перечисленные критерии 1–4.

Критерий 1 выявляет подчинительность тех союзов, которые могут начинать собой сложное предложение. Однако если позиция союза фиксированная — между соединяемыми клаузами, — критерий 1 бессилен идентифицировать природу союза. Так, союз *потому что*, традиционно считающийся подчинительным, не может занимать начальную позицию в предложении (**Потому что шел дождь, мы остались дома*). Критерий 1, таким образом, непригоден для анализа данного союза.

Исключения из «Ограничения на сочиненную структуру» (критерий 2) многочисленны, им посвящена значительная литература (см., например, [Goldsmith 1985; Culicover, Jackendoff 1997; Johannessen 1998; Postal 1998]). Одно из исключений — допустимость симметричного выдвижения элементов из обеих сочиненных клауз (*Across-The-Board extraction, ATB*) — было обнаружено еще самим Дж. Россом: ср. *Маша купила пирожные, а Петя их съел* и *Эти пирожные, которые Маша купила _ , а Петя съел _ , были мои любимые.* Большинство других известных исключений — это конст-

рукции с союзом *и* (*and*), в которых пропозиции сочиненных клауз связаны семантически «несимметричным» отношением: временного следования, причинно-следственным, противительным или условным. Так, в [Culicover 1972] анализируется конструкция с союзом *and* с причинно-следственным отношением между клаузами, допускающая выдвижение элемента только из одного конъюнкта: *This is the senator that Mafia pressured _ and the senate voted for health care reform* (‘Это тот сенатор, на которого мафия надавила, и сенат проголосовал за реформу здравоохранения’). В [Goldsmith 1985] рассматривается также конструкция с союзом *and*, но с отношением ‘и тем не менее’ между клаузами, демонстрирующая аналогичное нарушение «Ограничения на сочиненную структуру»: *How many courses can we expect our graduate students to teach _ and* (*still*) *finish a dissertation on time?* (букв. ‘Сколько курсов мы можем ожидать, что наши аспиранты будут преподавать и (тем не менее) закончат диссертацию вовремя?’).

(Не)допустимость эллипсиса срединного глагола (gapping) в простом предложении в составе сложного (критерий 3) регулируется, как позволяет предположить рассмотрение более широкого русского материала, скорее семантикой союзной связи, чем ее сочинительной vs. подчинительной природой. Так, рассмотренный выше пример с союзом *когда* (**Иван играл на пианино, когда Максим — на саксофоне*) значительно улучшается, если дополнить его поясняющим контекстом: *Иван играл на пианино, когда Максим — на саксофоне, и наоборот.* Что касается «подъема правого узла», он не только при подчинении, но и при сочинении не всегда допустим, ср. *?*Мэри приготовила, но Джон съел рис.*

Наконец, критерий 4, основанный на поведении анафорических местоимений, по крайней мере, для русского языка тоже не вполне эффективен. Сложносочиненные предложения, разрешенные данным критерием (как приведенный выше пример *Она*$_i$ *очень расстроилась, и мы решили не брать Машу*$_i$ *с собой на прогулку*) не всеми носителями русского признаются приемлемыми, ср. еще **Она*$_i$ *пришла усталая после работы, и Маша*$_i$ *не пошла с нами на прогулку*.

Вторая трудность, связанная с известными различительными свойствами сочинения и подчинения, состоит в том, что не все такие свойства могут быть объяснены на основе базового, определяющего различия между сочинением и подчинением — структурного (если исходить из англоязычной традиции). Так, структурное разграничение сочинения и подчинения — соответственно структуры [[X] союз [Y]] и [X [союз Y]] — непосредственно не объясняет, почему сочинительный союз, в том числе и в языках со свободным порядком слов, как русский, строго следует запрету на начальное положение в предложении (см. выше критерий 1).

Общепринятого объяснения до сих пор не найдено и для «Ограничения на сочиненную структуру» (ОСС) Росса. В значительном числе работ (например, [Goldsmith 1985; Lakoff 1986; Culicover, Jackendoff 1997; Sadock, Yuasa 2002]) предлагается семантическая трактовка ОСС, сводящая как

само данное ограничение, так и исключения из него не к структурной специфике сочинительной конструкции, а к семантическим факторам. В последних двух работах постулируется необходимость различать синтаксическое и семантическое сочинение / подчинение: нарушение ОСС, по мысли авторов, возможно тогда, когда конструкция является семантически подчинительной (даже если синтаксически она сочинительная). В [Culicover, Jackendoff 1997] в качестве примера такого семантического подчинения при синтаксическом сочинении рассматривается конструкция с союзом *and*, клаузы которой связаны условно-следственным отношением: *You drink another can of beer, and I'm leaving* ('Ты пьешь еще одну кружку пива, и я ухожу'). Однако суть понятия семантического сочинения / подчинения в названных работах не конкретизируется. Таким образом, эксплицитного объяснения, почему сочинительная конструкция подчиняется ОСС, а подчинительная — нет, не предлагается.

Наконец, упомянем еще один, стоящий особняком от рассмотренного материала, ракурс изучения сочинения и подчинения. Речь идет о разграничительных признаках, предлагавшихся в последние десятилетия в рамках функциональной лингвистики и имеющих прагматико-коммуникативную и/или концептуально-когнитивную природу (наш подход, таким образом, сближается именно с данным направлением).

В [Winter 1982] отличие придаточного предложения от независимого формулируется в терминах информационных категорий данное–новое, известное–неизвестное. А именно, утверждается, что придаточному соответствует данное или известное. Позднее это предположение было опровергнуто другими авторами (см. [Dillon 1981], также [Matthiessen, Thompson 1988]).

В [Matthiessen, Thompson 1988] явления сочинения и сирконстантного подчинения характеризуются в терминах структуры дискурса. Полипредикативная конструкция с сирконстантным придаточным представляет собой, по мысли авторов, грамматикализацию асимметричного бинарного отношения типа «ядро vs. сателлит» (*Nuclear–Satellite*) — одного из двух типов отношений, связывающих единицы дискурса. Сочинение — грамматикализация отношения второго типа, соединяющего «элементы списка» (*List*): симметричного и не обязательно бинарного. Таким образом, структурная организация сложносочиненного и сложноподчиненного предложений уподобляется организации текста, где между элементами имеются смысловые, но не грамматические связи. Напротив, структурная организация простого предложения и сложного предложения с актантным придаточным принципиально иная — основанная на грамматической зависимости между элементами.

Отметим, что данный подход не позволяет объяснить многочисленные формальные различия между сложносочиненной и сложноподчиненной сирконстантной конструкциями (например, запрет на начальную позицию сочинительного союза).

В значительном числе работ (например, [Foley, Van Valin 1984; Cristofaro 1998; Verstraete 2005]) предлагается трактовка сочинения и подчинения, основанная на понятии иллокутивной силы: в сложносочиненном предложении каждой клаузе соответствует речевой акт со своей иллокутивной силой, в то время как придаточная клауза лишена собственной иллокутивной силы. Это находит свое проявление в том, что сочиненные клаузы в составе сложного предложения, в отличие от придаточной и главной, могут выражать речевые акты разных типов — например, сообщение и вопрос (ср. *Я вошел в комнату, и что я там увидел?*, но **Петя пришел, после того как кто его позвал?*). Известно, однако, что данная закономерность часто нарушается в придаточных со значением причины и уступки (см. [Matthiessen, Thompson 1988; Verstraete 2005]): *Он так и поступил, потому что что ж ему еще оставалось? Жалко, что он мне не позвонил, хотя смог бы я ему помочь?*

Мы заключаем, что вопрос разграничения сочинения и подчинения до настоящего времени не имеет общепринятого решения — ни с точки зрения базового признака, формирующего данную оппозицию, ни с точки зрения поверхностных различительных свойств сложносочиненной и сложноподчиненной конструкций.

Ниже предлагается подход к сочинению и подчинению, основанный на понятиях коммуникативной структуры и коммуникативных составляющих — темы и ремы. Мы формулируем коммуникативный принцип сочинения и подчинения (КПСП), составляющий, по нашему предположению, основу оппозиции сочинение vs. сирконстантное подчинение предложений. Обоснование КПСП строится следующим образом. Рассматриваются два типа конструкций, которые, согласно КПСП, должны быть разрешены только в составе сложноподчиненного, но не сложносочиненного предложения. Демонстрируется, что такое, предсказанное КПСП, ожидание оправдывается. Анализ ведется на базе наиболее употребительных русских союзов, сочинительный vs. подчинительный статус которых может, со значительной долей уверенности, считаться установленным: подчинительные *потому что*, *поскольку*, *так как*, *хотя*, *если*, *когда* и пр.; сочинительные *и*, *а*, *но*.

На основе КПСП, кроме того, удается объяснить различительный признак сочинения и подчинения, связанный с позицией союза (см. выше критерий 1), который, напомним, структурной трактовкой не объясняется.

Мы не касаемся вопроса о синтаксической структуре сочинительной и подчинительной конструкций. Отметим, однако, что предлагаемый нами коммуникативный подход совместим, в частности, с единообразной синтаксической трактовкой сочинения и подчинения (несимметричная структура [X [союз Y]]), преобладающей в работах последних лет, поскольку постулируемое нами различие между сочинением и подчинением имеет коммуникативную природу.

Мы ограничили предмет нашего анализа сложноподчиненными предложениями с сирконстантным придаточным. Именно такие предложения представляют наибольшую трудность для разграничения сочинения и подчинения. По крайней мере, так дело обстоит в таких языках, как русский, где сочинение и подчинение не имеют регулярного грамматического маркера. В самом деле, актантные придаточные по определению являются зависимыми, так как их употребления требует сказуемое главной клаузы. Напротив, употребление сирконстантного придаточного не имеет грамматической обусловленности. Точно так же не имеет ее сочиненная клауза. Поэтому сирконстантное придаточное и сочиненная клауза могут, на первый взгляд, вообще не иметь внешних отличительных признаков. Так, рассмотрим предложения с союзами *потому что* и *тем более что*:

(a) *Прогнозы делать сложно, потому что слишком многое зависит не от нас.*
(b) *Прогнозы делать сложно, тем более что слишком многое зависит не от нас.*

В обоих предложениях союз выражает причинно-следственную связь между пропозициями постпозитивной и препозитивной клауз (в случае с *тем более что* значение союза осложнено указанием на вторичность этой связи). *Потому что* традиционно считается подчинительным союзом. Статус *тем более что* — спорный. В [Русская грамматика 1980] *тем более что* отнесен к подчинительным союзам, однако этот выбор обусловлен, по-видимому, только его причинной семантикой, не типичной для канонических сочинительных союзов. Мы, напротив, надеемся показать, что *тем более что* следует отнести к сочинительным союзам.

Дальнейшее изложение состоит из пяти разделов и заключения. В разделе 1 формулируется коммуникативный принцип сочинения и подчинения. В разделах 2 и 3 КПСП обосновывается: вводятся два типа конструкций, допустимых в составе сложноподчиненного, но не сложносочиненного предложений, в соответствии с КПСП. В разделе 4 демонстрируется связь между КПСП и ограничением на позицию сочинительного союза (критерий 1 из рассмотренных выше). В разделе 5 анализируются три русских союза — *тем более что*, *тогда как*, *так что* — на предмет их сочинительного vs. подчинительного (в смысле КПСП) статуса; в рамках традиционного подхода статус данных союзов неочевиден.

1. Сочинение и подчинение: коммуникативный принцип

Рассмотрим оппозицию сочинение vs. подчинение в следующем ключе: зависимость коммуникативного членения сложного предложения от типа связи между клаузами. Нас интересуют два вопроса:

(i) сложное предложение следует трактовать как цельную коммуникативную структуру, или коммуникативное членение проводится отдельно внутри каждой клаузы?

(ii) зависит ли выбор одного из способов трактовки от типа связи — сочинение или подчинение — между клаузами?

Коммуникативное членение — это членение на тему и рему[3]. Последние два понятия мы понимаем традиционно. «Рема — это компонент коммуникативной структуры, который конституирует речевой акт сообщения. Тема — не-конституирующий компонент сообщения, противопоставленный реме» [Янко 2001: 23].

«План содержания ремы — фрагмент семантического представления ситуации, предназначенный для функционирования в качестве сообщаемого. План выражения ремы — цепочка словоформ с заданным на ней коммуникативно релевантным акцентом определенного типа» [Янко 2001: 24]. В русском языке это понижающий акцент ИК-1, по Е. А. Брызгуновой [Русская грамматика 1980: I, 97–122]. Он обозначается стрелкой вниз после словоформы-акцентоносителя — ↓.

«План содержания темы — фрагмент семантического представления ситуации, предназначенный для функционирования в качестве зачина для совершения речевого акта сообщения» [Янко 2001: 25]. План выражения темы — вариативен: прототипическим, но не единственным средством выражения темы служит акцент типа ИК-3, по Е. А. Брызгуновой [там же], с подъемом на ударном слоге и падением на последующих заударных (обозначается стрелкой вверх после словоформы-акцентоносителя — ↑). Фонетическим вариантом ИК-3, допустимым в беглой речи, служит акцентный подъем типа ИК-6, отличающийся от ИК-3 тем, что при ИК-6 заударные слоги произносятся примерно на том же уровне, который достигается в результате первоначального подъема (обозначается ↱).

Следующие примеры (1) и (2) демонстрируют соответственно акцентную последовательность ИК3-ИК1 (маркирующую коммуникативную структуру «тема-рема») и ее фонетический вариант ИК6-ИК1:

(1) *Недавно*↑ *приходил Ипполит*↓.
(2) *Недавно* ↱ *приходил Ипполит*↓.

Вернемся к двум поставленным выше вопросам в свете изложенного понимания понятий «тема» и «рема». Если считать, что «основное средство выражения коммуникативных структур — это линейно-акцентные

[3] Речь идет о коммуникативной структуре повествовательного предложения. Для простоты мы не затрагиваем сферы вопросительных и императивных предложений. Отметим, однако, что предлагаемый в статье коммуникативный принцип сочинения и подчинения, по-видимому, не зависит от иллокутивных значений, характеризующих сложное предложение.

структуры» [Янко 2001: 16], то сложносочиненное и сложноподчиненное предложения в коммуникативном отношении как будто не отличаются. А именно, и сложносочиненная, и сложноподчиненная конструкции допускают два варианта интонационного оформления: (а) как цельной коммуникативной структуры; (б) как двух самостоятельных коммуникативных структур (этот факт отмечается, например, в [Русская грамматика 1980] и [Белошапкова 1989]).

В случае (а) акцентоноситель препозитивного простого предложения в составе сложного несет акцент ИК-3 или его фонетический вариант ИК-6, маркирующие тему, а акцентоноситель постпозитивного простого предложения несет акцент ИК-1, маркирующий рему (о номенклатуре акцентов см. выше). Данную акцентную структуру демонстрируют примеры (3) и (4) соответственно для сложного предложения с сочинительным союзом *и* и подчинительным *потому что* (Т-А — атоническая тема[4]):

(3) [*Но была весна* ↑]Т*, и* [*старый дом не производил*↓]R [*тягостного впечатления*]Т-А.
(4) [*Старый дом не производил тягостного впечатления* ↑] Т*,* [*потому что была весна* ↓] R.

В случае (б) последовательность акцентов ИК-3/ИК-6 — ИК-1 задается отдельно внутри каждой клаузы:

(5) [*Но была*↑]Т1 [*весна* ↓]R1*, и* [*старый дом*↑]Т2 [*не производил*↓]R2 [*тягостного впечатления*]Т2-А.
(6) [*Старый дом*↑]Т1 [*не производил*↓]R1 [*тягостного впечатления*]Т1-А*,* [*потому что была весна* ↓]R2.

В примере (6) на придаточном задан только акцент ИК-1, который, однако, в данном случае кодирует самостоятельную — тетическую — коммуникативную структуру, т. е. состоящую из одной ремы.

Итак, с точки зрения возможностей акцентного оформления, выражающего коммуникативную структуру, различий между сочинительной и подчинительной конструкциями вроде бы не выявляется. Исходя только из интонационного критерия, можно предположить, что как сложносочиненное, так и сложноподчиненное предложения могут быть в коммуникативном отношении устроены двояко: как цельная коммуникативная структура или как две самостоятельные, соответствующие простым клаузам, коммуникативные структуры.

Но линейно-акцентная структура — не единственное средство выражения коммуникативной структуры сложного предложения. Так, рассмотрим сложное предложение, в котором функцию препозитивной главной клаузы

[4] «Атоническая тема — компонент коммуникативной структуры, который, с точки зрения плана выражения, произносится на ровном тоне в аллегровом темпе и без внутренних пауз» [Янко 2001: 76].

выполняет местоимение *это* с сентенциальным антецедентом (в угловых скобках указан контекст): ⟨*Иногда испытания для каждого соискателя подбираются индивидуально*⟩. (7) *Но это если позволяет время*. Исходя из интонационного критерия, в предложении (7) главная клауза — тема, придаточная — рема: [*Но это* ↑]T [*если позволяет время*↓]R. Однако независимо от своей акцентной структуры, пример (7) обладает свойством, которое делает **единственно возможной** трактовку (7) как цельной коммуникативной структуры. Это свойство — непредикативность местоимения *это* (точнее — отсутствие у *это* морфологических признаков предикативности). В самом деле, главная клауза в составе (7), состоящая только из непредикативного *это*, не может образовать самостоятельного высказывания. Последнее как раз и означает, что у этой клаузы отсутствует сама возможность коммуникативной самостоятельности, или автономности (о редких исключениях см. раздел 2). Таким образом, местоимение *это* в контексте типа (7) служит одним из средств выражения коммуникативной структуры сложного предложения: *это* «навязывает» сложному предложению коммуникативную цельность.

Непредикативность *это*, навязывающая примеру (7) коммуникативную цельность, — свойство **морфологическое**: у *это*, повторим, отсутствуют морфологические признаки предикативности. Ниже (раздел 3) мы рассмотрим конструкцию, которая также не способна к коммуникативной автономности, но в силу свойств **семантической** природы (чтобы не загромождать изложение, мы ограничиваемся здесь простым упоминанием данной конструкции). Кроме того, мы надеемся показать, что коммуникативную цельность сложному предложению навязывает придаточная клауза, находящаяся в препозиции. То есть сама по себе препозитивная позиция придаточного — свойство (можно считать его **синтаксическим**), делающее единственно возможной трактовку сложного предложения как цельной коммуникативной структуры.

Все упомянутые случаи можно охарактеризовать единой формулировкой: это такие случаи, в которых одна из клауз в составе сложного предложения обладает некой неинтонационной характеристикой — семантической, синтаксической, морфологической, — которая запрещает этой клаузе представлять собой самостоятельную коммуникативную структуру, навязывая, таким образом, коммуникативную цельность сложному предложению.

Описанный тип коммуникативной неполноты — «обязательная» неполнота, не просто выраженная интонацией, а навязанная неким свойством цепочки словоформ, — будем называть **маркированной коммуникативной неполнотой**. В примере (7) главная клауза обладает маркированной коммуникативной неполнотой, а местоимение *это* является средством маркирования коммуникативной неполноты[5].

---

[5] В (7) местоимение *это* выступает в роли темы (ср. *Но это* ↑ *если позволяет время*↓ и **Но это* ↓ *если позволяет время*). Это, однако, не означает, что маркиро-

Теперь, на основе введенного понятия, попытаемся сформулировать коммуникативное различие между сложносочиненным и сложноподчиненным предложениями. Исходя из изложенного ниже материала, мы предполагаем, что это различие следующее: сочиненная клауза в отличие от подчиненной / подчиняющей не может обладать маркированной коммуникативной неполнотой.

Сформулируем предлагаемый коммуникативный принцип сочинения и подчинения (КПСП)[6]:

КПСП:
Клауза в составе сложносочиненного предложения не может обладать маркированной коммуникативной неполнотой. Клауза в составе сложноподчиненного предложения может обладать маркированной коммуникативной неполнотой.

Практический смысл КПСП состоит в следующем. Мы исходим из того, что тип связи между простыми предложениями в составе сложного задается (в русском и большинстве европейских языков) для класса сложных конструкций союзом или не-союзным коннектором. Если тот или иной задаваемый союзом класс включает сложные предложения, клаузы которых обладают маркированной коммуникативной неполнотой, то, в силу КПСП, данный союз и образуемые им сложные конструкции являются подчинительными. В противном случае они являются сочинительными.

Наконец, уточним еще раз само понятие маркированной коммуникативной неполноты. В настоящей статье, как уже сказано, рассматриваются только три иллюстрации данного понятия. На их основе и сформулировано предложенное выше определение. Здесь мы ограничиваемся этим определением, поскольку применительно к рассматриваемому материалу оно проясняет суть маркированной коммуникативной неполноты. Окончательное — и более широкое — понимание предлагается в заключении. Соответственно, более широкое содержание получит и предложенный КПСП. Оговоримся, однако, что и итоговые формулировки являются до некоторой степени предварительными, поскольку их строгое обоснование требует рассмотрения более широкого материала.

ванная коммуникативная неполнота равносильна отсутствию ремы. Так, в разделе 4 демонстрируется, что маркированной коммуникативной неполнотой обладает препозитивное придаточное, а такое придаточное может быть и рематическим, ср. [*Когда отец* ↓ *придет*]R, [*будем ужинать*]T.

[6] Аббревиатура КПСП могла бы пониматься и как «коммуникативный **признак** сочинения и подчинения», поскольку понятие признака вполне отвечает природе предлагаемого разграничения (возможно, отвечает даже лучше, чем «принцип»). Тем не менее, мы отдаем предпочтение термину «принцип», подразумевающему более фундаментальное разграничение сочинения / сирконстантного подчинения, поскольку КПСП, по нашей мысли, составляет **основу** изучаемой оппозиции.

2. Конструкция с *это* / *всё это*

Слово *это* и словосочетание *всё это* не могут образовать самостоятельного высказывания — автономной коммуникативной структуры (исключение составляет употребление *это* / *всё это* в качестве неполного ответа на вопрос, см. ниже). Как уже упоминалось в разделе 1, коммуникативная неавтономность *это* / *всё это* связана с отсутствием у этих выражений морфологических признаков предикативности.

На взаимосвязь предикативности и коммуникативной структуры указывает О. А. Крылова в [Крылова 2000: 7]: «… Предикативное отношение формируется именно соединением ремы с темой. Это находит свое объяснение в том, что предложение как синтаксическая единица, призванная в отличие от словосочетания выполнять не номинативную, а коммуникативную функцию, всегда должно формировать у адресата новое знание, а новое знание и формируется соединением ремы с темой в процессе речи».

Наряду с неспособностью к коммуникативной автономности, *всё это* и *это* обладают следующим, важным для нас, свойством: это анафорические местоименные слова, допускающие сентенциальный антецедент — они могут замещать составляющую, равную предложению (ср. *Но это если позволяет время*)[7]. В соответствии с введенным в разделе 1 понятием маркированной коммуникативной неполноты, мы заключаем, что *это* / *всё это*, употребленные в качестве клаузы в составе сложного предложения, служат средством маркирования коммуникативной неполноты этой клаузы.

Выше мы предложили такой маркированной неполноте морфологическое объяснение — отсутствие у *это* / *всё это* морфологических признаков предикативности. Однако данные два местоименных выражения обладают также и семантически мотивированной маркированной коммуникативной неполнотой. *Это* и *всё это* — анафорические местоимения. При сентенциальном употреблении они замещают собой целую ситуацию (см. ниже примеры (8)). Но из-за анафорической семантики эта ситуация <u>целиком</u> известна слушающему из предтекста. Поэтому ее воплощение в виде самостоятельной коммуникативной структуры прагматически не оправдано. По той же причине сентенциальные *это* и *всё это* в составе сложной конструкции всегда являются темой, а не ремой (ср. *Но это*↑ *если придираться*↓ и **Если придираться*↑*, это*↓).

Заметим, что выражения вроде *только не это*, *разве что это* к автономному употреблению способны, несмотря на то что, как и *это* / *всё это*, не обладают предикативностью (они отвечают фразеологизованной нечленимой структурной схеме простого предложения по классификации структурных схем в [Русская грамматика 1980]). Дело, по-видимому, в том, что

---

[7] Аналогичная конструкция английского языка (*This was because he was ill* ‘Это потому что он был болен’) рассматривалась в работе [Jespersen 1924] как иллюстрация того, что «главная идея не всегда выражается в главной клаузе».

в отличие от *это* / *всё это* такие выражения прагматически самодостаточны: наличие в них смыслов ‘только не’, ‘разве что’ дополняет информативно пустое *это* той информацией, которая необходима, чтобы составить самостоятельное сообщение. Можно заключить, что маркированная коммуникативная неполнота *это* / *всё это* происходит именно из сочетания указанных семантико-прагматических и морфологических (отсутствие признаков предикативности) особенностей данных местоименных выражений; сама по себе непредикативность цепочки словоформ не всегда ведет к ее маркированной коммуникативной неполноте.

Назвав выше маркированную неполноту *это* / *всё это* морфологически обусловленной, мы, таким образом, упростили реальное положение вещей. Наша цель состояла в том, чтобы привести примеры маркированной коммуникативной неполноты разной природы — в том числе морфологической. А из трех типов маркированной неполноты, рассматриваемых в работе, только в случае с *это* / *всё это* неполнота имеет (в частности) морфологическую обусловленность.

Анализ показывает, что, в подтверждение КПСП, *всё это* и *это* могут входить в качестве главного предложения в (сирконстантную) сложноподчиненную конструкцию, но не могут быть сочиненным элементом в составе сложносочиненной конструкции. Проиллюстрируем данные два факта группами примеров (8) и (9) соответственно:

(8)(a) *Современная фотография стала банальной, приторной и неинтересной, и* ***всё это, потому что*** *мнит себя искусством.*

(b) *⟨Я тоже всякую заказную работу начинаю с конца — с последнего предложения.⟩ Но* ***это, когда*** *знаешь, что должно получиться* (пример из Национального корпуса русского языка, НКРЯ).

(c) *И* ***все это — когда*** *король с королевой и принцессой уже прошли* (НКРЯ).

(d) *Мне было очень забавно, но* ***это поскольку*** *я знаю многих из тех, о ком идёт речь.*

(e) ***Все это — поскольку*** *мы обладаем верой, то есть уверенностью в существовании Бога* (НКРЯ).

(f) *И* ***все это — несмотря на то, что*** *большинство людей на Западе считает себя верующими* (НКРЯ).

(g) *И* ***это несмотря на то что*** *основной наплыв болельщиков ожидался только завтра* (НКРЯ).

(h) ***Все это — пока*** *мы поднимаемся в тесной кабинке на шестой этаж* (НКРЯ).

(i) *Но* ***это пока*** *у них еще есть надежда, что их оставят в покое* (НКРЯ).

(j) *И* ***всё это — если*** *видеть только внешнюю форму линии* (В. Ерофеев, Москва–Петушки; пример из НКРЯ).

(k) ⟨*Иногда испытания для каждого соискателя подбираются индивидуально.*⟩ *Но* ***это, если*** *позволяет время* (Интернет).

(l) *После кризиса мы практически не принимали на работу новых специалистов. И* ***это, хотя*** *количество клиентов возросло, и, соответственно, увеличилась нагрузка на людей* (Интернет).

(m) ⟨*Он пытался даже броситься под машину.*⟩ *И* ***это после того, как*** *врачи собрали его буквально по суставчику, по каждому нерву* (НКРЯ).

(n) ⟨*Я стала водить машину, я стала получать хорошие роли, я стала в конце концов известной.*⟩ ***Все это после того, как*** *пришел Толя* (НКРЯ).

(o) *И* ***все это при том, что*** *проект начинался как абсолютно некоммерческий* (НКРЯ).

(p) *И* ***это при том, что*** *коммунисты представляют власть никак не меньше, чем «Яблоко»* (НКРЯ).

(q) *А он рассказывал спроста, как они жили на войне, на каких сервизах ели-пили как раз в ту пору, когда шли тяжелые бои за Вену, как им австрийки прислуживали. И* ***все это как будто*** *так и надо, хозяин жизни писал* (Григорий Бакланов, Жизнь, подаренная дважды; пример из НКРЯ).

(r) *И* ***все это — словно*** *его не существует, словно они обсуждают главу из книги* (Интернет).

(9) *Маша была занята подготовкой к экзамену и к тому же простужена.* ****Это*** / ****Всё это, и*** *мы не взяли ее с собой.*

Был сильный мороз, в лицо дул ледяной ветер. ****Всё это, но*** *от мороженого никто не отказался.*

Маша целый год готовилась, за месяц до экзаменов взяла отпуск. ****Всё это, но*** *она снова провалилась.*

Светит солнце, а холодно. ****Это, а*** *холодно.*

Мы искали его по всем знакомым, даже звонили в больницы. ****Всё это, а*** *он гулял по городу.*

Итак, поведение *это* и *всё это* в составе сложного предложения — аргумент в пользу КПСП.

Различию между сочинением и подчинением, демонстрируемому предложениями (8) и (9), априори можно, по-видимому, предложить иное объяснение, не возводящее данное различие к КПСП. Например, синтаксическое: выражения *это* и *всё это* обладают не только коммуникативной, но и синтаксической неполнотой (раз они не имеют предиката), в связи с чем можно было бы предположить, что сочиненному конъюнкту в отличие от клаузы в составе сложноподчиненного предложения противопоказана син-

таксическая неполнота. Однако ниже (разделы 3 и 4) рассмотрены еще два типа конструкций, обладающих маркированной коммуникативной неполнотой и так же, как *это* / *всё это*, допустимых при подчинении, но не при сочинении. В обоих случаях соответствующие различия между сочинением и подчинением вряд ли могут получить синтаксическое объяснение (подробнее см. указанные разделы). Напротив, КПСП позволяет предложить **единообразное** объяснение для всех трех изучаемых различий между сочинением и подчинением.

В [Санников 1989] необходимым свойством грамматичной сочинительной конструкции предлагается считать однородность сочиненных конъюнктов, причем эта однородность может быть различной природы: функциональная, когда сочиненные члены имеют однотипную синтаксическую функцию (*Роща* ***свежа и нежна***), лексико-семантическая (***кто и что*** *говорил?*) и коммуникативная (*Мне подарили* ***книгу, но по искусству***). Автор строит свое изложение на материале преимущественно не-сентенциального сочинения/подчинения. Напомним, что предметом нашего рассмотрения является как раз сочинение/подчинение предложений, а не меньших по объему составляющих. Тем не менее, можно сказать, что предлагаемый КПСП представляет собой своего рода конкретизацию тезиса о коммуникативной однородности сочиненных членов, а примеры (9) недопустимы из-за нарушения КПСП, т. е., в некотором смысле, из-за отсутствия коммуникативной однородности у сочиненных клауз (почему именно коммуникативной, мы уже сказали выше: такой подход позволяет единообразно объяснить не только этот, но и другие случаи).

Отметим еще один момент в связи с названной работой. Автор указывает на смысловую и формальную близость сочинительных и сравнительных конструкций (ср. *Он больше любит отца, а не мать* и *Он больше любит отца, чем мать*), заключающуюся в частности в том, что сравниваемые члены, как и сочиненные, должны удовлетворять условию однородности. Рассматриваемые в работе примеры относятся к сфере простого предложения. Однако в сфере сентенциального сочинения/сирконстантного подчинения, изучаемого в настоящей статье, имеется аналог сравнительным конструкциям: это предложения «недостоверного сравнения» (по терминологии [Русская грамматика 1980]), например, *Она задохнулась, точно ей не хватало воздуху* (Куприн). Как показывают примеры (8q) и (8r) с союзами недостоверного сравнения *как будто* и *словно*, предложения данного класса допускают в своем составе *всё это*, т. е. ведут себя как подчинительные. Таким образом, близость сравнительной конструкции к сочинению в рамках нашего подхода не получает подтверждения[8].

---

[8] К числу сравнительных сложных предложений относятся также предложения достоверного сравнения с союзом *как*, например: *Его клонил к подушке сладкий сон, как птица клонит слабую тростину* (Лермонтов). Такие предложения не допускают в своем составе *это* (**Это, как птица клонит*…), что, следуя нашему

Возвращаясь к предложенной трактовке примеров (8) и (9) — на основе КПСП, — обратим также внимание на то, что недопустимость *это* / *всё это* при сочинении и допустимость при (сирконстантном) подчинении не находит объяснения при структурном подходе к изучаемой оппозиции. С точки зрения структуры главная клауза в составе сложного предложения с сирконстантным придаточным и сочиненная клауза не отличаются: обе являются составляющими, обе входят в качестве непосредственной составляющей в сложное предложение. Так, сложносочиненная и сложноподчиненная сирконстантная конструкции имеют соответственно следующие структуры (согласно традиционной синтаксической трактовке в терминах составляющих):

(a) [[S1] союз [S2]], (b) [[S1] [союз S2]].

Тот факт, что S1 в сложноподчиненной структуре (b) является составляющей, подтверждается, в частности, рассмотренными примерами (8), где главная клауза заменена на местоимение, поскольку способность замещаться местоименными лексемами — типичное свойство составляющих (фразовых категорий), отличающее их от не-составляющих (см., например, [Тестелец 2001: 142]).

Главная клауза в составе актантного сложного предложения, в отличие от сирконстантного, составляющей не является. Конструкции с сентенциальным актантом традиционно приписывается следующая, отличная от (b), структура: [S1 [союз S2]]. В пользу такой трактовки говорит совокупность критериев, традиционно используемых для разграничения составляющих и не-составляющих. Так, главная клауза, возглавляющая актантное придаточное, не способна заменяться на местоимение (ср. *Я знаю, что он придет* и **Это, что он придет*). При актантном подчинении, в отличие от сирконстантного, главная клауза не употребляется в качестве отдельного высказывания, в то время как составляющие такое употребление обычно допускают [Тестелец 2001: 135]: ср. *?*Я знаю. Что он ушел* и *Пешком до пристани всего четверть часа. Если идти через городской сад* (Паустовский). Таким образом, утверждение о равенстве синтаксических статусов главной и сочиненной клауз справедливо только применительно к сирконстантным конструкциям, которые и являются предметом нашего рассмотрения.

подходу, как будто указывает на их сочинительность. Однако в данном случае несочетаемость с *это* имеет, как кажется, «техническую» причину: в указанной конструкции с *как* обязателен лексико-семантический параллелизм (идентичность или сходство) сказуемых соединяемых клауз, ср. еще примеры: *Если это радость, то* ***береги*** *ее, как мать* ***бережет*** *ребенка* (Паустовский); *Врубель* ***жил*** *просто, как все мы* ***живем*** (Блок). При замене одной из клауз на *это* данная структурная особенность не может реализоваться. В целом, однако, союз *как* требует более пристального рассмотрения.

Наконец, последнее. Имеется случай, когда *это* / *всё это* все-таки могут употребляться изолированно, как самостоятельное высказывание. А именно, в качестве неполного ответа на вопрос, например:

(10) — *Ты это хотела мне сказать?*
— *Это.*

Употребление *это* в предложении (10) отличается от рассмотренных выше случаев, поскольку в (10) *это* замещает составляющую, по объему меньшую, чем предложение (придаточное изъяснительное или ИГ). Но для нас существенно другое: *это* в (10) употреблено изолированно, т. е. не обладает маркированной коммуникативной неполнотой. Следуя нашей логике, контекст типа (10) должен разрешать употребление *это* / *всё это* в составе сложносочиненной конструкции. Как показывают примеры (11) и (12), такое ожидание оправдывается:

(11) — *Ты это хотела мне сказать?*
— *Это, но уже жалею об этом.* / — *Это, и не вижу в этом ничего плохого.*

(12) — *Но ведь не всё же это ты ему наобещал?*
— *Всё это, и сдержу слово.*

3. Конструкция с *такой* / *так*

Попытаемся выделить логико-семантический класс предложений, которые обладали бы, в силу одной только семантической специфики, следующим свойством: неспособностью представлять собой автономную коммуникативную структуру.

Нужным нам свойством обладает некоторый подкласс предложений *характеризации* (о логико-грамматических типах предложений см. [Арутюнова, Ширяев 1983: 10]). А именно, предложения характеризации, состоящие из трех компонентов: (1) имя лица или места, известное из предтекста — (2) глагол с семантикой бытования или появления — (3) имя некоторого качественного признака с зависимым от него местоименным словом *такой* или *так*, указывающим на степень интенсивности данного признака путем анафорической отсылки к ситуации-характеристике этой интенсивности. Само имя признака также явно или имплицитно активировано в предтексте. Первый компонент — имя лица или места — может не выражаться эксплицитно, а подразумеваться.

Примеры предложений указанного типа (интересующие нас конструкции выделены жирным шрифтом):

(13) ⟨...⟩ ***Кругом царит такая тишина***↑, *потому что прилегающая к станции полоса очищена от гражданского населения и окружена строжайшим кордоном* (Б. Пастернак).

Ребенок негромко захныкал. ***Он так плачет*↑***, когда ему жарко.*
Почти ничего не видно. ***Рисунок такой блеклый*↑***, потому что принтер барахлит.*
Даже пятна на потолке. ***Такая сырость*↑***, с тех пор как купили стиральную машину.*
— Он на свои деньги может Америку купить, мне бы так. ***— Ты станешь таким богатым*↑***, только если последуешь его примеру.*
Даже не пытайся ее переубедить. ***Она стала такой нетерпимой*↑***, после того как я ушел с работы.*

Для дальнейшего изложения важно помнить, что в (13), как и во всех последующих примерах введенной конструкции, местоименные слова *такой* / *так* употреблены **анафорически**, т. е. указывают на **уже упомянутую в предтексте** интенсивность соответствующего качественного признака (см. выше описание конструкции). Такое понимание обеспечивается, в частности, тем, что акцентоносителем в обсуждаемой конструкции является слово, обозначающее качественный признак (см. примеры (13)). При другой акцентной структуре меняется семантика конструкции и, соответственно, теряются интересующие нас семантические свойства. Так, при акценте на *такой* / *так* данные местоимения получают не анафорический, а эмфатический смысл: *Она стала такой ↑↓ нетерпимой!* (подробнее о структурно сходных конструкциях с *такой* / *так* см. ниже)[9].

Убедимся, что в силу своей семантической специфики предложенная конструкция не способна к коммуникативной автономности. Ее независимое употребление, в самом деле, неприемлемо (если, повторим, сохранять характерное свойство конструкции — то же анафорическое значение *такой* / *так*, что и в примерах (13)):

(14) (a) ****Кругом царит такая тишина*↓**. (*Потому что прилегающая к станции полоса очищена от гражданского населения и окружена строжайшим кордоном.*)
(b) *Ребенок негромко захныкал.* ****Он так плачет*↓**.
(c) *Почти ничего не видно.* ****Рисунок такой блеклый*↓**. (*Потому что принтер барахлит.*)
(d) *Даже пятна на потолке.* ****Такая сырость*↓**. (*С тех пор как купили стиральную машину.*)
(e) *— Он на свои деньги может Америку купить, мне бы так. —* ****Ты станешь таким богатым*↓**. (*Только если последуешь его примеру.*)
(f) *Даже не пытайся ее переубедить.* ****Она стала такой нетерпимой*↓**. (*После того как я ушел с работы.*)

Скажем подробнее об упомянутых выше конструкциях, структурно сходных с введенной конструкцией, но, в отличие от нее, допускающих

[9] Здесь и далее стрелки ↑↓, ↓↑ демонстрируют эмфатическую интонацию.

независимое употребление. Без их четкой дифференциации неграмматичность примеров (14) оказывается спорной. Речь идет о двух типах предложений.

Один тип демонстрирует следующий пример:

(15) *Даже не пытайся ее переубедить.* ***Такой*** ↑ (***вот***) ***она стала нетерпимой***↓.

В (15) местоименное слово *такой* является носителем коммуникативно релевантного — тематического — акцента. Напомним, что в рассматриваемой конструкции слово *такой* не несет коммуникативного акцента: оно входит в одну коммуникативную составляющую со словом-именем качественного признака (****Она стала такой нетерпимой***↓). Еще одно формальное отличие предложений типа (15) от интересующей нас конструкции состоит в том, что в (15) слово *такой* обязательно находится в абсолютном начале предложения.

Другой тип конструкций, структурно сходных с нашими, — это уже указанное эмфатическое употребление *так*, *такой*:

(16) *Она стала такой* ↑↓ (↓↑) *нетерпимой!*

Вернемся к примерам (14). Покажем, что их неприемлемость обусловлена именно семантической спецификой рассматриваемой конструкции.

Решающим фактором является отсутствие в изучаемой конструкции новой для слушающего информации. Конструкция, в самом деле, устроена таким образом, что вся содержащаяся в ней информация явно или имплицитно активирована в предтексте (см. выше описание конструкции). Между тем, воплощение в виде самостоятельной коммуникативной структуры информации, не являющейся для слушающего новой, прагматически не оправдано.

Раз в примерах (14) изучаемая конструкция употреблена независимо, содержащее ее предложение не имеет иного предмета сообщения, кроме того, который заключен в этой самой конструкции. Поскольку, как сказано, такой предмет сообщения полностью известен из предтекста, у конструкции искусственным образом «находится» новый предмет сообщения, причем семантически аномальный. Поясним, что имеется в виду. В примерах типа (14) в рассматриваемой конструкции заключена следующая информация: соответствующий качественный признак принимает некоторое значение, обозначенное в предтексте (в (14e), например: признак *богатый* — значение ‘Америку может купить’, в (14f) признак *нетерпимость* — значение ‘ее невозможно переубедить’ и т. д.). Получается, что качественному признаку ставится в соответствие некая ситуация, как указание «величины» этого признака. Иначе говоря, данная конкретная ситуация оказывается не **косвенным** указанием на интенсивность признака (как в (13)), а **буквальной** величиной этой интенсивности, что нелепо. Например, «невозможность переубедить» в (14f) становится буквальной мерой нетерпи-

мости. Данное аномальное понимание в предложениях типа (14), повторим, возникает искусственно, в отсутствие других «претендентов» на предмет сообщения.

Итак, рассмотренная конструкция с местоименным словом *такой* / *так* в роли самостоятельной коммуникативной структуры оказывается семантически неприемлемой. Семантика конструкции навязывает ей роль коммуникативной составляющей в составе некоторой коммуникативной структуры.

Имеем, таким образом, еще одно средство маркирования коммуникативной неполноты (клаузы в составе сложного предложения). В соответствии с КПСП, конструкция с *такой* / *так* должна быть безусловно допустима в составе сложноподчиненного, но не сложносочиненного предложения. Группа примеров (17) показывает, что так оно и есть (сочинительные примеры демонстрируют различную степень приемлемости, зависящую, по-видимому, от семантики союза и лексического наполнения клауз; для нас, однако, важно лишь то, что безусловно приемлемым является **только** пример с подчинением):

(17) ***Кругом царит такая тишина***↑, *потому что* / *оттого что* / *поскольку* / *так как прилегающая к станции полоса очищена от гражданского населения и окружена строжайшим кордоном.* (подчинение)

?***Кругом царит такая тишина***↑/↓, *и на много километров не видно ни души.* (сочинение)[10]

Ребенок негромко захныкал. ***Он так плачет***↑, *когда* / *если ему жарко.*

Ребенок негромко захныкал. ??***Он так плачет***↑/↓, *но* / *а есть он не хочет.*

Почти ничего не видно. ***Рисунок такой блеклый***↑, *потому что* / *оттого что* / *поскольку* / *так как принтер барахлит.*

Почти ничего не видно. ***Рисунок такой блеклый***↑/↓, а. ??*и вряд ли кто-то это разберет* // б. ?*но печатать новый нет времени.*

Даже пятна на потолке. ***Такая сырость***↑, *с тех пор как купили стиральную машину.*

Даже пятна на потолке. ***Такая сырость***↑/↓, а. ?*и в ванной находиться невозможно* // б. ?*но до комнат она не доходит.*

— Он на свои деньги может Америку купить, мне бы так. ***— Ты станешь таким богатым***↑, *только если* / *когда* / *как только последуешь его примеру.*

Он на свои деньги может Америку купить, мне бы так. ?****Ты станешь таким богатым***↑/↓, *но перестань себя с ним сравнивать.*

[10] Знак ↑/↓ означает, что предложение сомнительно независимо от типа акцента.

Даже не пытайся ее переубедить. ***Она стала такой нетерпимой*** ↑*, после того как / как только я ушел с работы.*
Даже не пытайся ее переубедить. ***Она стала такой нетерпимой*** ↑/↓, а. ??*а я как только ни старался с ней разговаривать* // б. ??*и все разговоры с ней бесполезны.*

От уличного шума я чуть не оглох. ***Стоял такой грохот***↑*, потому что / поскольку / так как / оттого что соседские ребята взрывали петарды.*
От уличного шума я чуть не оглох. ***Стоял такой грохот***↑/↓, а. *?*и я вернулся в дом* // б. ??*но я не вернулся в дом.*

Обратим внимание, что ни один из сочинительных примеров в (17) не демонстрирует столь явной неприемлемости, как при независимом употреблении конструкции с *такой* (примеры (14)). Это связано с тем, что в (17) в соответствующих предложениях имеется, кроме изучаемой конструкции, еще и вторая клауза и предложение в целом уже не содержит исключительно известную из предтекста информацию. Наличие второй клаузы до некоторой степени «оправдывает» отсутствие в первой клаузе — в нашей конструкции — новой информации. Повторим, однако, что для наших целей достаточно контраста между сомнительными сочинительными и безусловно допустимыми подчинительными примерами в (17).

Получаем, таким образом, еще аргумент в пользу КПСП. «Конструкция с *такой* / *так*» демонстрирует изучаемое различие между сочинением и подчинением не с той очевидностью, как рассмотренная ранее конструкция с *это* / *всё это*. Это объясняется тем, что в случае с *это* / *всё это* маркированная коммуникативная неполнота мотивирована в первую очередь морфологическим фактором — отсутствием у местоимения морфологических признаков предикативности. А в случае с *такой* / *так* действуют факторы семантико-прагматические, то есть более подвижные и изменчивые. Но вместе с тем, последнее обстоятельство одновременно прибавляет вес конструкции с *такой* / *так* как аргументу в пользу КПСП, в сравнении с конструкцией с *это*. Ведь запрет на употребление *такой* / *так* в составе сложносочиненного предложения, имеющий очевидно семантико-прагматическую природу, априори не может быть сведен ни к какой структурной особенности конструкции.

Следует признать, что рассмотренная конструкция мало употребительна в речи и ее использование в качестве аналитического инструмента может вызывать сомнения. Однако такое использование оправдано, как кажется, спецификой поставленной задачи. В самом деле: мы стремились аргументировать КПСП с помощью такой конструкции, которая не способна к коммуникативной автономности в силу чистой семантики и при этом имеет синтаксический статус предложения, а не меньшей по объему составляющей (поскольку от нее требуется выступать в качестве клаузы в

составе сложного предложения). Какая конструкция удовлетворяет перечисленным условиям?

Семантико-прагматической неспособностью к коммуникативной автономности обладает, например, предложение, дублирующее смысл предшествующего ему в речи предложения:

(18) *Мы опоздали, потому что Маша два часа собиралась.* ??*А Маша два часа собиралась.*

Отметим кстати, что данный сомнительный пример может быть продолжен (и улучшен) конструкцией с подчинительным, но не сочинительным союзом — в полном соответствии с нашими предыдущими выводами:

(18а) *Мы опоздали, потому что Маша два часа собиралась. А Маша два часа собиралась, потому что / поскольку / так как / оттого что у нее все вещи разбросаны.*

(18б) *Мы опоздали, потому что Маша два часа собиралась.* ??*А Маша два часа собиралась, и мы все на нее злились.*

Различие между (18а) и (18б) получает в рамках предлагаемого подхода следующее объяснение. В обоих случаях клауза *Маша два часа собиралась* получает при ее повторении прагматически мотивированную маркированную коммуникативную неполноту, поскольку целиком дублирует информацию, известную из предтекста. Поэтому, согласно КПСП, данная клауза допустима в составе сложноподчиненного предложения (18а), и недопустима — в составе сложносочиненного предложения (18б).

Приведем еще пример типа (18а, б):

(19) ⟨…⟩ *В главных ролях — любимая актриса Петра Тодоровского Лариса Удовиченко и Екатерина Вилкова… Кстати,* ***обе согласились сниматься****, потому что продюсером проекта выступает Мира Тодоровская — жена и мать двух прославленных режиссеров* (из журнала «Панорама»).

В примере (19) клауза *обе согласились сниматься* не содержит никакой новой информации и, соответственно, обладает маркированной коммуникативной неполнотой. Поэтому эта клауза не выделяется в самостоятельное высказывание (пример (19а)) и не может быть продолжена сочинительным союзом (пример (19б)):

(19а) ⟨…⟩ *В главных ролях — любимая актриса Петра Тодоровского Лариса Удовиченко и Екатерина Вилкова …* ??*Кстати,* ***обе согласились сниматься.*** *Потому что продюсером проекта выступает Мира Тодоровская — жена и мать двух прославленных режиссеров.*

(19б) ⟨…⟩ *В главных ролях — любимая актриса Петра Тодоровского Лариса Удовиченко и Екатерина Вилкова…* ??*Кстати,* ***обе согласились сниматься, и съемки продолжаются уже больше месяца.***

Однако что считать полным дублированием смысла и как вычленять тонкие смысловые отличия, которые могут обеспечиваться простым изменением порядка слов? Ответ представляется неочевидным. Рассмотренная выше «конструкция с *такой*» позволяет до некоторой степени абстрагиваться от ответа: во-первых, дублирование информации облегчается анафорическим местоимением; во-вторых, конструкция имеет четкую структуру, т. е. в некотором смысле формализована.

Тем не менее, прагматически нежелательное повторение уже активированной информации ведет к тому, что конструкция оказывается искусственной, малоупотребительной. Но для нас существенно другое: такая конструкция в принципе существует (см. пример (13) из Б. Пастернака), а значит, на ее примере можно иллюстрировать и аргументировать языковые явления, в частности, предлагаемый КПСП.

4. КПСП и позиция союза

Согласно одному из критериев разграничения сочинения и подчинения, сочинительный союз, в отличие от подчинительного, не может находиться в абсолютном начале сочинительной конструкции, в частности, сложносочиненного предложения (см. критерий 1 во введении). Данная особенность сочинения неоднократно отмечалась в литературе (см., например, [Greenbaum 1969: 29; Quirk et al. 1985: 921–922; Van Oirsouw 1987]), однако ей не найдено общепринятого объяснения. При традиционном понимании сочинения / подчинения — структурно-синтаксическом — такое объяснение должно восходить, очевидно, к структурно-синтаксическим различиям между сочинением / подчинением. Но сочинительный союз в начальной позиции одинаково недопустим в языках синтаксически непохожих, независимо от общих правил порядка слов в конкретном языке. Данный факт затрудняет синтаксическое объяснение обсуждаемого критерия. Отметим, что в статье [Verstraete 2005] предпринята попытка коммуникативного объяснения, основанного на понятии иллокутивной силы.

Ниже мы стремимся показать, что критерий сочинения / подчинения, связанный с позицией союза, получает объяснение на основе КПСП (в соответствии с нашей темой мы ограничиваемся сочинением / подчинением клауз). Сама возможность такого объяснения служит аргументом в пользу КПСП. Но, как упомянуто выше, более существенный аргумент состоит в том, что КПСП позволяет единообразно объяснить целый ряд отличительных свойств сочинения / подчинения, в том числе — рассматриваемый критерий.

Чтобы обсуждаемое различие между сочинением и подчинением «вывести» из КПСП, продемонстрируем, что расположение союза в начале сложного предложения — т. е., применительно к подчинению, препозиция придаточного — наделяет клаузу, вводимую этим союзом, маркированной коммуникативной неполнотой.

«Сирконстантный союз ⟨…⟩ привносит значение некоторого семантического предиката, валентностями которого являются значения главного и придаточного предложений» [Тестелец 2001: 190], см. также [Подлесская 1993]. Иначе говоря, союз содержит в своем значении две переменные, или валентности, заполняемые пропозициями главной и придаточной клауз. То же верно и для сочинительного союза. Несмотря на то, что значение канонических сочинительных союзов (присоединение, сопоставление и пр.) обычно менее отчетливое, чем у подчинительных союзов (причинно-следственное, условно-следственное, временное и пр.), сочинительный союз также соединяет некоторым смысловым отношением две пропозиции, т. е. ассоциируется с двухвалентным предикатом.

Если сирконстантное придаточное находится в препозиции, в его значении (а точнее — в значении союза) содержится смысловая катафорическая отсылка к главной клаузе. Обратимся к примерам:

(20) *Пока мать готовила пирог, Петрушка посадил в печь… чугун со щами* (Платонов).
(21) *После того как актер выполнил рекомендации режиссера, монолог стал звучать сильнее.*
(22) *Оттого что накануне он вышел на улицу без пальто, у него поднялся сильный жар.*

Будем рассматривать предложения (20)—(22) с точки зрения процесса речевого восприятия — как линейную последовательность словоформ, из которых каждая воспринимается слушающим **после того**, как воспринята ей предшествующая. При таком рассмотрении ни одно из придаточных (20)—(22) не является содержательно законченным выражением. Каждое придаточное содержит смысловую отсылку к главной клаузе — пропозиции, заполняющей одну из двух валентностей союза, — содержание которой на этапе произнесения препозитивного придаточного слушающему неизвестно. Например, в предложении (22) союзу *оттого что* соответствует семантический предикат ‘P является причиной Q’. При этом пропозиция главной клаузы ‘у него поднялся сильный жар’, заполняющая валентность Q, на этапе произнесения придаточной клаузы слушающему неизвестна.

Указание на смысловую неполноту препозитивного придаточного находим в работе [Фреге 1997: 377]. Так, в предложении *Так как удельный вес льда меньше удельного веса воды, лед удерживается на ее поверхности* автор выделяет три суждения: (i) *Удельный вес льда меньше удельного веса воды*; (ii) *Если удельный вес некоторого вещества меньше удельного веса воды, то это вещество удерживается на ее поверхности*; (iii) *Лед удерживается на поверхности воды.* При этом в придаточном *Так как удельный вес льда меньше удельного веса воды* выражены целиком суждение (i) и **часть** суждения (ii).

Итак, препозитивное сирконстантное придаточное является семантически неполным выражением в указанном выше смысле. Однако семантиче-

ская неполнота влечет за собой неполноту коммуникативную. В самом деле, полноценная коммуникативная структура состоит из ремы и, возможно, темы. Напомним, что́ о реме сказано в [Янко 2001: 24]: «План содержания ремы — фрагмент семантического представления ситуации, предназначенный для функционирования в качестве сообщаемого». Препозитивное придаточное не имеет содержательно законченного предмета сообщения. Это означает, что оно не имеет семантического материала, достаточного для того, чтобы сформировать отдельное сообщение. Значит препозитивное придаточное не способно к коммуникативной автономности.

Убедимся, что наше рассуждение справедливо, на примере предложений (20)–(22). Ни одно из трех придаточных нельзя употребить как отдельное высказывание:

(20а) **Пока мать готовила пирог. Петрушка посадил в печь… чугун со щами.*

(21б) **После того как актер выполнил рекомендации режиссера. Монолог стал звучать сильнее.*

(22в) **Оттого что накануне он вышел на улицу без пальто. У него поднялся сильный жар.*

Разумеется, речь идет о таком независимом употреблении придаточных, при котором главная клауза не фигурирует в предтексте. В противном случае независимое употребление возможно (см. ниже), но придаточное оказывается не препозитивным, а постпозитивным.

Подчеркнем: мы не вдаемся в подробности коммуникативного членения придаточного, находящегося в препозиции. Не исключено, что внутри такого придаточного могут выделяться тема и рема. Так, в предложении (20) *Пока мать готовила пирог↑, Петрушка посадил в печь… чугун со щами* ↓ внутри тематического придаточного *Пока мать готовила пирог* можно, вероятно, выделить свои коммуникативные составляющие:

[*Пока* [*мать*]T2 [*готовила пирог*] R2]T1, [*Петрушка посадил в печь чугун со щами*]R1.

Правомерность такой трактовки мы здесь не обсуждаем. Для нас существенно, что всё придаточное в целом не может, по изложенным выше причинам, образовать автономной коммуникативной структуры.

Обратим также внимание на то, что неспособность препозитивного придаточного к коммуникативной автономности находит отражение в интонационном оформлении этого придаточного. Выше мы выяснили (см. раздел 1), что сложноподчиненное предложение допускает в общем случае два варианта интонационного оформления клауз: (1) каждая клауза оформлена как независимая коммуникативная структура; (2) сложное предложение оформлено как цельная коммуникативная структура. Однако при препозиции придаточного вариант (1) оказывается невозможен: если придаточное предшествует главному, на стыке клауз обычно недопустима интонация

завершенности, которая кодировала бы коммуникативную самостоятельность придаточного. Данный факт подтверждают примеры (23)—(25):

(23) **Пока мать↑ готовила пирог↓, Петрушка посадил в печь↑ ... чугун со щами ↓.*

(24) **После того как актер↑ выполнил рекомендации режиссера↓, монолог↑ стал звучать сильнее↓.*

(25) **Оттого что накануне↑ он вышел на улицу без пальто↓, у него поднялся сильный жар↓.*

Обратимся теперь к постпозитивному придаточному. Оно не является, подобно препозитивному, содержательно незаконченным выражением, поскольку смысловая отсылка в значении союза имеет в этом случае анафорический, а не катафорический характер. Пропозиция главной клаузы, заполняющая валентность в значении союза, оказывается известной из предтекста. Поэтому постпозитивное придаточное не обязательно обладает и коммуникативной неполнотой. В подтверждение этому, оно может быть отдельным высказыванием: *У него поднялся сильный жар. Оттого что накануне он вышел на улицу без пальто* (ср. (22в) **Оттого что накануне он вышел на улицу без пальто. У него поднялся сильный жар,* а также: *Отвечал сухо, прямо, без лишних слов. Потому что два раза подряд искренне с человеком прощаться нельзя* (Гайдар)).

Итак, начальная позиция союза исключает коммуникативную автономность клаузы, вводимой этим союзом. Следовательно, подчинительный союз, находящийся в абсолютном начале сложного предложения, является средством маркирования коммуникативной неполноты придаточного, а само препозитивное придаточное — обладает маркированной коммуникативной неполнотой. Теперь, с учетом КПСП, получает объяснение запрет на начальную позицию сочинительного союза: она привела бы, как это происходит при подчинении, к тому, что препозитивная сочиненная клауза получила бы маркированную коммуникативную неполноту — т. е. привела бы к нарушению КПСП. Критерий «позиция союза», таким образом, следует из КПСП.

Чтобы проиллюстрировать последнее рассуждение, рассмотрим неграмматичное предложение с сочинительным союзом в абсолютном начале:

(26) **И будем ужинать, придет Петр* (из предложения *Придет Петр, и будем ужинать).*

Союз *и* в (26) содержит катафорическую отсылку к постпозитивной клаузе *придет Петр* — так же, как содержат отсылку подчинительные союзы в примерах (20)—(22). Следуя нашей логике, препозитивная клауза в (26) обладает маркированной коммуникативной неполнотой, и неграмматичность (26) вытекает из КПСП[11].

[11] Применительно к предложению (26) под препозитивной клаузой мы понимаем фрагмент *и будем ужинать* — именно он, по аналогии с препозитивным прида-

В работе [Haspelmath 2007] приводится исчисление логических возможностей линейного расположения союза в бинарной сложносочинительной конструкции: союзный показатель сочинения может состоять из одного компонента или из двух — по одному в каждой клаузе; каждый компонент может линейно предшествовать содержащей его клаузе или следовать за ней. Интересно, что из всех возможностей в языках мира не засвидетельствована только одна: с одинарным союзным показателем, расположенным в абсолютном начале сложного предложения.

5. Некоторые русские союзы

В разделах 2 и 3 использованы как средство обоснования КПСП два типа конструкций — соответственно с местоименными словами *это* / *всё это* и *такой* / *так*. Продемонстрировано, что проверка наиболее употребительных русских союзов (*потому что*, *поскольку*, *оттого что*, *когда*, *хотя*, *если*, *и*, *а*, *но* и др.) с точки зрения КПСП на основе двух указанных конструкций дает разбиение союзов на сочинительные и подчинительные, совпадающее с общепринятым.

Между тем, существует ряд союзов, принадлежность которых к классу сочинения vs. подчинения остается спорной — за неимением отчетливых оснований разграничения этих классов. Обратимся к трем таким спорным союзам: *тогда как*, *так что*, *тем более что.* Посмотрим, как они ведут себя с точки зрения сочетаемости с двумя рассмотренными конструкциями — средствами маркирования коммуникативной неполноты. Тем самым мы продемонстрируем применимость КПСП к спорным случаям и охарактеризуем эти случаи в терминах оппозиции сочинение / подчинение.

Прежде покажем, что стандартные критерии разграничения сочинения и подчинения применительно к нашим трем союзам не эффективны. Ограничимся тремя критериями: «Ограничение на сочиненную структуру», эллипсис срединного глагола, позиция союза (формулировки см. во введении).

точным, обладает маркированной коммуникативной неполнотой. Таким образом, выводя обсуждаемый критерий сочинения / подчинения из КПСП, мы исходим из несимметричной структуры сочинительной конструкции, идентичной подчинительной структуре: [X [союз Y]]. Напомним, что в литературе последних лет поддерживается именно такая структурная трактовка сочинения (см. введение). В предыдущих разделах статьи мы, правда, опирались для простоты на традиционную симметричную трактовку [[X] союз [Y]], однако могли бы принять несимметричную трактовку без ущерба для наших рассуждений (ограничимся констатацией данного утверждения). Поскольку предлагаемый здесь подход к сентенциальному сочинению / подчинению имеет коммуникативную природу, вопрос о структурном различии (сходстве) оказывается второстепенным, не влияющим на характеризацию конкретной конструкции как сочинительной или подчинительной. Повторим, что именно такой подход возобладал в последнее время — поиск различий между сочинением и подчинением не в структурной, а в какой-то иной сфере.

Ограничение на сочиненную структуру

Все три союза могут как допускать, так и не допускать выдвижение элемента из сложного предложения посредством трансформаций — в зависимости от контекста и типа трансформации. Так, передвижение вопросительной группы обычно недопустимо:

(27) *В Москве авторитет местной власти выше, чем центральной, тогда как по всей России ровно наоборот.*
*?*Где _ авторитет местной власти выше, чем центральной, тогда как по всей России ровно наоборот?*

Локти ей намазали йодом, так что скоро заживет.
**Чем ей локти намазали _, так что скоро заживет?*

Он на работу не пойдет, тем более что он сильно простужен.
**Куда он не пойдет _ , тем более что он сильно простужен?*

Однако выдвижение в результате трансформации релятивизации не исключено:

(28) *Министр финансов хотя бы имеет право на ошибку, тогда как министр полиции отвечает за благополучие короля.*
Я еще понимаю министр финансов, который _ хотя бы имеет право на ошибку, тогда как министр полиции отвечает за благополучие короля.

Министр полиции не должен ошибаться, тем более что он охраняет благополучие короля.
[… *Вы — да, вас я винить не могу.*] *Другое дело министр полиции, который _ не должен ошибаться, тем более что он охраняет благополучие короля.*

Министр полиции охраняет благополучие короля, так что ошибаться он не имеет права.
[… *Вы — да, вас я винить не могу.*] *Другое дело министр полиции, который _ охраняет благополучие короля, так что ошибаться он не имеет права.*

Таким образом, данный критерий не позволяет определить сочинительность vs. подчинительность союзов: при сочинении критерий предсказывает недопустимость выдвижения, независимо от трансформации; при подчинении — допустимость.

Эллипсис срединного глагола (gapping)

Данный критерий как будто указывает на подчинительность всех трех союзов:

(29) *Маша еще ходит в детский сад, тогда как Петя уже ходит в школу.*

?*Маша еще ходит в детский сад, тогда как Петя — уже в школу.*

Маша сыграет на фортепьяно, тем более что на скрипке сыграет Миша.
?*Маша сыграет на фортепиано, тем более что на скрипке — Миша.*

Маша сыграет на фортепьяно, так что Миша сыграет на скрипке ⟨например, в контексте выбора, кому на чем играть⟩.
??*Маша сыграет на фортепьяно, так что Миша — на скрипке.*

Однако критерий «позиция союза», напротив, указывает на сочинительность.

Позиция союза

(30) **Тогда как вчера целый день лил дождь, сегодня жарко.*
**Тем более что лето было холодное, грибов совсем нет.*
**Так что грибов совсем нет, лето было холодное.*

Обратимся к проверке союзов *тогда как*, *тем более что* и *так что* в смысле КПСП с помощью *это* / *всё это* и *такой* / *так*. В обоих случаях результат отрицательный — свидетельствующий о **сочинительности** союзов[12].

Группа примеров (31) демонстрирует несочетаемость союзов *тогда как*, *так что* и *тем более что* с *это*:

(31) *Он свободно плавает полчаса, тогда как я не выдержу более 10 минут.*
**Это, тогда как я не выдержу более 10 минут.*

Собаку в конце концов нашли, так что все кончилось хорошо.
**Это, так что все кончилось хорошо.*

Он на работу не пойдет, тем более что он сильно простужен.
**Это, тем более что он сильно простужен.*

При сочетании союзов с *такой* / *так* итоговое сложное предложение не является безусловно приемлемым. Напомним, что тот же результат дает сочетание *такой* / *так* с каноническими сочинительными союзами *и*, *а*, *но*, в отличие от подчинительных *потому что*, *поскольку* и пр.:

[12] Тот факт, что конструкция ведет себя по КПСП как сочинительная, строго говоря, свидетельствует о ее не-подчинительности, но не о сочинительности, поскольку КПСП не позволяет отличить сочинительный союз от несоюзного (наречного) коннектора (например, *поэтому*). Для разграничения союзов и наречий мы пользуемся критерием С. Дика ([Dik 1968]): сочинительным является тот союз, который не может сочетаться с другим союзом, сочинительный статус которого считается установленным; подчинительный союз и несоюзный коннектор этим свойством не обладают. *Тогда как*, *так что*, *тем более что* не сочетаются с основными сочинительными союзами *и*, *а*, *но* и поэтому могут быть названы союзами, а не наречными коннекторами.

(32) ?**Я узнал, что **кругом царит такая тишина**↑, тогда как в соседних деревнях шумно празднуют Новый год*[13].

(ср. *Я узнал, что **кругом царит такая тишина**↑, потому что прилегающая к станции полоса очищена от гражданского населения.*)

*Ребенок негромко захныкал. **Я знала, что **он так плачет**↑, тогда как еще минуту назад спокойно спал.*

(ср. *Ребенок негромко захныкал. Я знала, что **он так плачет**↑, когда хочет есть.*)

*В лесу даже дышать было тяжело. ***Было так душно**↑, так что мы быстро ушли.*

(ср. *В лесу даже дышать было тяжело. **Было так душно**↑, потому что дождя не было больше месяца.*)

*Мы дома страшно мерзнем. ?***Такой холод**↑, так что купили обогреватель.*

(ср. *Мы дома страшно мерзнем. **Такой холод**↑, потому что окна старые.*)

*Даже не пытайся ее переубедить. ??**Она стала такой нетерпимой** ↑, тем более что я ушел с работы.*

(ср. *Даже не пытайся ее переубедить. **Она стала такой нетерпимой** ↑, после того как я ушел с работы.*)

?**Я узнал, что **кругом царит такая тишина**↑, тем более что прилегающая к станции полоса очищена от гражданского населения.*

(ср. *Я узнал, что **кругом царит такая тишина**↑, потому что прилегающая к станции полоса очищена от гражданского населения.*)

Наконец, о сочинительности союзов *тогда как*, *тем более что* и *так что* в смысле КПСП свидетельствует и критерий «позиция союза» (ср. примеры (30)). Точнее, данный критерий не противоречит сочинительности *тогда как, тем более что* и *так что.* Напомним, что недопустимость начальной позиции союза не гарантирует его сочинительности, поскольку подчинительный союз также не всегда может начинать собой сложное предложение. Так, в случае с союзом *так что* невозможность препозиции в первую очередь обусловлена, по-видимому, не сочинительностью союза, а анафорической природой выражаемого им отношения: начальная позиция *так что* сводила бы на нет данную особенность союза. Существенно,

[13] Фактивный глагол *знать* гарантирует, что пропозиция вложенной конструкции с *такой* трактуется как известная из предтекста и, таким образом, конструкция действительно обладает теми свойствами, которые мы приписали конструкции с *такой* (подробнее см. раздел 3). О фактивных глаголах см., например, [Падучева 1977].

однако, что критерий «позиция союза» применительно к рассмотренным трем союзам согласован с двумя другими тестами. Таким образом, по совокупности трех примененных тестов союзы *тогда как*, *тем более что* и *так что* являются по КПСП сочинительными.

6. Заключение

В настоящей статье предложена коммуникативная трактовка оппозиции сочинение vs. сирконстантное подчинение. Наш коммуникативный принцип базируется на понятии **«маркированной коммуникативной неполноты»**: такой неполноты, которая обусловлена какой-либо не-интонационной — семантической, синтаксической, морфологической — особенностью цепочки словоформ, исключающей для этой цепочки возможность коммуникативной автономности. КПСП гласит, что клауза в составе сложноподчиненного предложения может, а клауза в составе сложносочиненного предложения не может обладать маркированной коммуникативной неполнотой.

КПСП не стоит в одном ряду с известными формальными свойствами-критериями сочинения и подчинения, а скорее представляет собой еще одно определение данных понятий наряду с принятыми сегодня (в частности, структурным определением: симметричная структура [[X] союз [Y]] для сочинительной конструкции и асимметричная [X [союз Y]] для подчинительной). Перед структурным подходом КПСП обладает, например, тем преимуществом, что позволяет объяснить запрет на начальную позицию союза, связь которого со структурой не ясна.

С точки зрения практической дифференциации сочинения и подчинения, которая традиционно осуществляется применением известных критериев, КПСП также имеет преимущество. Результаты проверки по критериям часто рассогласованы (см. введение). Между тем КПСП дает разделение на сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, которое по крайней мере для русского языка более точно соответствует устоявшемуся противопоставлению.

Представляется, однако, что предложенное понимание маркированной коммуникативной неполноты (и, соответственно, КПСП) неоправданно сужено. Мы указали три источника возникновения маркированной коммуникативной неполноты: **семантическая**, **синтаксическая** или **морфологическая** особенность цепочки словоформ. Но нельзя исключать, что найдется пример такой маркированной коммуникативной неполноты, которая обусловлена свойством иной, не семантической, не синтаксической и не морфологической, природы. Так, даже в случае рассмотренной «конструкции с *такой*» можно говорить не о семантически мотивированной, а о прагматически мотивированной маркированной коммуникативной неполноте. Так же и с начальной позицией союза: мы назвали препозицию придаточ-

ного как средство маркирования коммуникативной неполноты свойством синтаксическим, поскольку оно обусловлено порядком слов в предложении. Однако те механизмы, которые ответственны за маркированную коммуникативную неполноту препозитивного придаточного (см. раздел 4), имеют, очевидно, семантическую или логико-семантическую природу. Поэтому в связи с препозитивным придаточным можно было бы говорить и о семантическом (логико-семантическом) источнике маркированной неполноты.

Мы предлагаем более широкое определение нашего понятия:

> Цепочка словоформ обладает **маркированной коммуникативной неполнотой**, если какая-либо ее не-интонационная характеристика (синтаксическая, семантическая, морфологическая, прагматическая и пр.) запрещает ей представлять собой автономную коммуникативную структуру, навязывая, таким образом, роль коммуникативной составляющей в составе некоторой коммуникативной структуры.

В соответствии с последним определением более широкое содержание получает и КПСП: клауза в составе сложносочиненного предложения может обладать коммуникативной неполнотой, выраженной только интонационно, и не может — коммуникативной неполнотой, обусловленной, кроме интонации, еще какими-либо (любыми!) специфическими свойствами этого предложения. Данное утверждение требует рассмотрения значительного материала и остается гипотезой.

Встает, однако, вопрос — в чем же содержательное различие между интонационными и не-интонационными средствами выражения коммуникативной неполноты?

Это различие состоит в том, что интонация может только **выражать** коммуникативную неполноту клауз в составе сложного предложения, а не-интонационные средства сигнализируют об отсутствии у данного предложения, вообще, **потенциала** коммуникативной автономности (ввиду чего такая, выраженная не-интонацией, неполнота и названа нами маркированной). Так, в сложном предложении, содержащем конструкцию с *это* (*Но это если придираться*), где коммуникативная неполнота главной клаузы закреплена не-интонационно (морфологически), клаузы **не способны** к коммуникативной автономности, т. е. лишены потенциала автономности. Если же коммуникативная неполнота выражена только интонационно, потенциал автономности в клаузах сохраняется (ср. два возможных интонационных оформления: (33) a. [*Отец говорил*↑]T, *а* [*сын молчал*↓]R и b. [*Отец*↑] T1 [*говорил*↓] R1, *а* [*сын*↑] T2 [*молчал*↓] R2).

Законным представляется и более существенный вопрос: в чем причина указанного различия между интонацией и не-интонацией?

Данному различию можно предложить объяснение, основанное на традиционном противопоставлении предложения и высказывания — как единицы языка и единицы речи. Интонация и не-интонация находятся по разные стороны от черты, задаваемой актуализацией предложения в речи, т. е.

превращением его в высказывание. Сложное предложение получает интонационное оформление (с интонацией завершенности или незавершенности на стыке клауз) **после** актуализации в речи, а структурно-семантическую схему — **до** актуализации.

Не останавливаясь подробно на проблеме разграничения предложения и высказывания, отметим лишь, что предлагаемый подход соответствует одному из принятых в лингвистике: «При содержательном подходе отличие высказывания от предложения видят в том, что оно в дополнение к структурно-семантической схеме предложения (и совпадая с ней) включает модально-коммуникативный аспект, проявляющийся прежде всего в интонации и актуальном членении предложения. В таком понимании (Высказывание — предложение + актуальное членение + интонация) В. приближается к понятию фразы у С. О. Карцевского и А. М. Пешковского» [Языкознание 1998: 90]. «Предложение, рассматриваемое со стороны его коммуникативной организации, принято называть высказыванием. В качестве высказывания предложение ⟨…⟩ квалифицируется как отдельная коммуникативная единица в устной речи определенными интонационными сигналами (интонация законченности), а в письменной речи — отделяющими знаками» [Белошапкова 1989: 705]. «Высказывание — это любой линейный отрезок речи, в данной речевой обстановке выполняющий коммуникативную функцию и в этой обстановке достаточный для сообщения о чем-то. Высказывание не существует ⟨…⟩ без интонации» [Русская грамматика 1980, II: 84].

Почему интонация сама по себе не способна выразить отсутствие у клаузы потенциала коммуникативной автономности? Ответ видится следующим. Потенциал коммуникативной автономности, как и вообще любой имеющийся у предложения потенциал, задается свойствами именно предложения, а не высказывания. Т. е. задается до того, как предложение актуализуется в речи. В тот момент, когда актуализация в речи совершается, предложение уже обладает всем доступным ему потенциалом, который при актуализации может как реализоваться, так и не реализоваться (например, потенциал коммуникативной автономности у клауз в сложном предложении: реализуется за счет интонации завершенности на стыке клауз или не реализуется при интонации незавершенности). Однако в сам момент актуализации предложение, превращаясь в высказывание, уже не обогащается новым потенциалом. Вот почему интонационные характеристики, как принадлежность высказывания, не обладают способностью наделять клаузу потенциалом коммуникативной автономности или лишать ее этого потенциала. Напротив, не-интонационные характеристики — морфологические, синтаксические, семантические, прагматические — такой способностью обладают.

Опираясь на последнее рассуждение, прокомментируем неформально предложенную трактовку сочинения / подчинения.

Клаузы в составе сложносочиненного предложения должны заранее обладать потенциалом коммуникативной автономности. Заранее — то есть до того, как данное предложение станет высказыванием и получит посредством интонационного оформления ту или иную коммуникативную структуру. Потенциал коммуникативной автономности обеспечивается предложению тем, что в нем отсутствуют любые характеристики — лексико-синтаксические, морфологические, семантические и пр., — препятствующие данной автономности при актуализации предложения в конкретной речевой ситуации. Предлагаемый КПСП как раз и формулирует оппозицию сочинения / подчинения как оппозицию обязательного vs. необязательного наличия у клауз (в составе сложного предложения) потенциала коммуникативной автономности. При этом, актуализуясь в речи, сочиненные клаузы могут и не реализовать свой потенциал автономности: сложносочиненное предложение, как мы выяснили, может быть интонационно оформлено двояко, как цельная коммуникативная структура или как две автономные коммуникативные структуры. Однако у говорящего, актуализующего сложносочиненное предложение в речи, должна быть свобода выбора — одной из двух интонаций.

Литература

Арутюнова, Ширяев 1983 — Н. Д. Арутюнова, Е. Н. Ширяев. Русское предложение. Бытийный тип: структура и значение. М., 1983.

Белошапкова 1989 — Современный русский язык. 2-е изд. / Под ред. В. А. Белошапковой. М., 1989.

Карцевский 2000 (1961) — С. О. Карцевский. Бессоюзие и подчинение в русском языке // С. О. Карцевский. Из лингвистического наследия. М., 2000. (ВЯ. 1961. № 2. С. 125–131.)

Крылова 2000 — О. А. Крылова. Сложное предложение в языке и речи // Сложное предложение: традиционные вопросы теории и описания и новые аспекты его изучения. Вып. 1: Мат-лы науч. конф. М., 2000. С. 5–14.

Падучева 1977 — Е. В. Падучева. Понятие презумпции в лингвистической семантике // Семиотика и информатика. Вып. 8. М., 1977. С. 91–124.

Пешковский 2001 — А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. 8-е изд., доп. М., 2001.

Подлесская 1993 — В. И. Подлесская. Сложное предложение в современном японском языке: Материалы к типологии полипредикативности. М., 1993.

Русская грамматика 1980 — Русская грамматика. Т. 1–2. М., 1980.

Санников 1989 — В. З. Санников. Русские сочинительные конструкции: Семантика. Прагматика. Синтаксис. М., 1989.

Тестелец 2001 — Я. Г. Тестелец. Введение в общий синтаксис. М., 2001.

Фреге 1997 — Г. Фреге. Смысл и денотат // Семиотика и информатика. Opera Selecta. Вып. 35. М., 1997. С. 351–379.

Ширяев 1986 — Е. Н. Ширяев. Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке. М., 1986.

Языкознание 1998 — Языкознание: Большой энцикл. словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. 2-е изд. М., 1998.

Янко 2001 — Т. Е. Я н к о. Коммуникативные стратегии русской речи. М., 2001.

Cristofaro 1998 — S. C r i s t o f a r o. Deranking and balancing in different subordination relations: a typological study // Sprachtypologie und Universalienforschung. Bd. 51. 1998. P. 3–42.

Culicover 1972 — P. W. C u l i c o v e r. OM-sentences // Foundations of Language. Vol. 8. 1972. P. 199–236.

Culicover, Jackendoff 1997 — P. W. C u l i c o v e r, R. J a c k e n d o f f. Semantic subordination despite syntactic coordination // Linguistic Inquiry. Vol. 28. № 2. 1997. P. 195–218.

Dik 1968 — S. C. D i k. Coordination: Its Implications for a Theory of General Linguistics. North-Holland, Amsterdam, 1968.

Dillon 1981 — G. L. D i l l o n. Constructing Texts: Elements of a Theory of Composition and Style. Bloomigton, 1981.

Foley, Van Valin 1984 — W. F o l e y, R. V a n V a l i n. Functional Syntax and Universal Grammar. Cambridge, 1984.

Goldsmith 1985 — J. G o l d s m i t h. A principled exception to the Coordinate Structure Constraint // CLS 21. Pt 1. The General Session. Chicago, 1985. P. 133–143.

Greenbaum 1969 — S. G r e e n b a u m. Studies in English Adverbial Usage. L., 1969.

Grosu 1973 — A. G r o s u. On the nonunitary nature of the coordinate structure constraint // Linguistic Inquiry. Vol. 4. 1973. P. 88–92.

Haspelmath 2007 — M. H a s p e l m a t h. Coordination // Language typology and syntactic description / Shopen, Timothy (ed.). Vol. II. Cambridge, 2007.

Jackendoff 1972 — R. S. J a c k e n d o f f. Gapping and Related Rules // Linguistic Inquiry. Vol. 2. 1972. P. 21–35.

Jespersen 1924 — O. J e s p e r s e n. The Philosophy of Grammar. L., 1924.

Johannessen 1993 — J. B. J o h a n n e s s e n. Coordination: A Minimalist Approach: Ph. D. Thesis. Oslo, 1993.

Johannessen 1998 — J. B. J o h a n n e s s e n. Coordination. Oxford, 1998.

Kayne 1994 — R. K a y n e. The Antisymmetry of Syntax. Cambridge, MA, 1994.

Lagerwerf 1998 — L. L a g e r w e r f. Causal Connectives Have Presuppositions. Effects on Coherence and Discourse Structure. The Hague, 1998.

Lakoff 1986 — G. L a k o f f. Frame semantic control of the Coordinate Structure Constraint // The Parasession on Pragmatics and Grammatical Theory. CLS 22. Pt 2. Chicago, 1986. P. 152–167.

Langacker 1969 — R. L a n g a c k e r. On pronominalization and the chain of command // Modern Studies in English / D. Rebel, S. Schane (eds.). New Jersey, 1969.

Matthiessen, Thompson 1988 — C. M a t t h i e s s e n, S. A. T h o m p s o n. The structure of discourse and ‘subordination’ // Clause-Combining in Grammar and Discourse / J. Haiman, S. A. Thompson (eds). Amsterdam, 1988. P. 275–329.

Munn 2000 — A. M u n n. Three types of coordination asymmetries // Ellipsis in Conjunction / K. Schwabe, N. Zhang (eds). Max Niemeyer, 2000. P. 1–22.

Pollard, Sag 1994 — C. P o l l a r d, I. S a g. Head-Driven Phrase Structure Grammar. Chicago, 1994.

Postal 1998 — P. M. P o s t a l. Three Investigations of Extraction. Cambridge (Mass.), 1998.

Quirk et al. 1985 — R. Q u i r k, S. G r e e n b a u m, G. L e e c h, J. S v a r t v i k. A Comprehensive Grammar of the English Language. L., 1985.

Radford 1993 — A. R a d f o r d. Head-hunting: on the trail of the nominal Janus // Heads in Grammatical Theory / G. Corbett, N. Fraser, S. McGlashan (eds). Cambridge, 1993.

Reinhart 1983 — T. R e i n h a r t. Anaphora and Semantic Interpretation. L.: Croom Helm, 1983.

Ross 1967 (1986) — J. R. R o s s. Constraints on variables in syntax: PhD dissertation. MIT, 1967. (J. R. R o s s. Infinite syntax! Norwood: Ablex, 1986.)

Sadock, Yuasa 2002 — J. M. S a d o c k, E. Y u a s a. Pseudo-subordination: a mismatch between syntax and semantics // Journal of Linguistics. Vol. 38 (1). 2002. P. 87–111.

Van Oirsouw 1987 — R. V a n O i r s o u w. The Syntax of Coordination. L.: Croom Helm, 1987.

Verstraete 2005 — J.-Ch. V e r s t r a e t e. Two types of coordination in clause combining // Lingua. Vol. 115. 2005. P. 611–626.

Winter 1982 — E. W i n t e r. Towards a Contextual Grammar of English. L., 1982.

М. В. БУЯКОВА

СОЧИНЕНИЕ И ПОДЧИНЕНИЕ В СТИХЕ И ПРОЗЕ В РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ*

Мы сравнили количество сочинительных и подчинительных связей между предложениями в стихе и прозе в русском и французском языках. Несмотря на широко распространенное интуитивное ощущение, что сочинения в стихе больше, чем в прозе, до сих пор не существовало строгого научного доказательства этого утверждения.

Около пятнадцати лет назад М. Л. Гаспаровым и Т. В. Скулачевой была начата программа исследований под названием «Лингвистика стиха», предполагавшая исследование различий в строении стихотворных и прозаических текстов на всех лингвистических уровнях [Гаспаров, Скулачева 2004]. Главная задача этой программы — поиск устойчивых, обязательных конструктивных закономерностей, отличающих стих от прозы. До сих пор известно очень мало лингвистических особенностей стиха, присутствующих во всех без исключения стихотворных текстах со 100 %-ой вероятностью и исчезающих в прозе. Все общепринятые характеристики стиха — метр, рифма, аллитерация и ассонанс, синтаксический параллелизм и синтаксические повторы, поэтический перенос и т. д., — не являются обязательными в стихе и отсутствуют в значительном количестве стихотворных текстов, не перестающих из-за этого быть стихотворными. Единственная особенность, которая сохраняется во всех стихотворных текстах вплоть до самой границы с прозой, — это деление на строки. Тем не менее, до сих пор не ясно, что такое стихотворная строка и каковы ее отличительные лингвистические признаки. Была начата работа по исследованию лингвистических особенностей стихотворной строки, и определены некоторые положительные признаки строки как основной единицы стихотворной речи: фонетические, синтаксические, семантические [Скулачева 2007].

Наша статья также посвящена одной из синтаксических особенностей стихотворной строки. Согласно наиболее распространенному определению стиха, это «речь, четко расчлененная на относительно короткие ряды, отрезки, соотносимые и соизмеримые между собой» [Гаспаров 2001]. Опи-

* Работа выполнена в рамках гранта РГНФ № 06-04-00483а (рук. Т. В. Скулачева).

сываемая нами в этой статье синтаксическая закономерность как раз и нацелена на поддержание соотносимости и равновесности стихотворных строк.

Материалом исследования в русском языке служили стихотворные и прозаические тексты 14 авторов: фольклорные тексты, записанные в XVII в. («Демократическая поэзия XVII века» под редакцией В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1962 и «Сказки Белозерского края» под редакцией Б. М. и Ю. М. Соколовых. М., 1915); силлабический стих и проза Симеона Полоцкого («Вертоград многоцветный» и «Вечеря душевная»); силлаботонический стих и проза Ломоносова (оды и «Краткое руководство к красноречию»); Жуковского (лирика (Я4[1]), художественная проза и критические статьи); Пушкина («Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); Лермонтова (поэмы и «Герой нашего времени»); Тютчева (лирика (Я4) и письма); Фета (лирика (Я4) и «Воспоминания. Ранние годы моей жизни»); М. Кузмина («Александрийские песни» (верлибр) и «Приключения Эме Лебёфа», «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро»); Хлебникова (поэмы в стихах (полиметрия) и рассказы); Блока (стихотворения (Я4) и лирическая проза); Ахматовой (лирика (Я5) и воспоминания о современниках); Твардовского (лирика (Я5), поэма «За далью — даль» и рассказы); Бродского (лирика (Я5) и эссе).

Материалом исследования во французском языке служили стихотворные и прозаические тексты 8 авторов: Вольтера («La Henriade» (александрийский стих), «Candide, ou l'Optimisme» и «L'ingénu»); Гюго («La légende des siècles» (александрийский стих) и «Notre-Dame de Paris»); Жерара де Нерваля («Les chimères» (сонеты, написанные александрийским стихом) и «La bohème galante»); Бодлера («Les fleurs du mal», «Les épaves» (романтический александрийский стих) и «Le poème du haschisch»); Малларме («Les vers», «Album de vers et de prose», «La poésie de circonstance» (весь имеющийся в наличии стихотворный материал — 12, 10, 8-сложники) и эссе из сборника «Les Pages»); Верлена (лирика («освобожденный стих») и «Confessions»); Поля Валери («Album de vers anciens», «Charmes», «La jeune Parque» (александрийский стих и 10-сложник) и эссе из сборника «Regards sur le monde actuel»); Поля Элюара (лирические сборники (свободный стих): «Le devoir et l'inquiétude», «Poème pour la paix», «Les animaux et leurs maîtres», «Les nécessités de la vie», «Répétitions», «Mourir de ne pas mourir», «La capitale de la douleur», «Défense de savoir», «A toute épreuve», а также ряд эссе того же автора из сборника «Poèmes retrouvés»).

Общий объем исследованного материала составил 27600 предложений.

Были получены следующие результаты. У всех исследованных русских и французских авторов видна одна общая закономерность. В стихе больше сложносочиненных предложений и бессоюзных предложений с сочинительной семантикой. В прозе преобладают сложноподчиненные предложения.

---

[1] Я4 — четырехстопный ямб, Я5 — пятистопный ямб.

Впервые это было показано Т. В. Скулачевой в 1996 г. [Скулачева 1996]. Она подсчитала, что количество сочинительных союзов в пушкинском стихе («Евгений Онегин») больше, чем в пушкинской прозе («Пиковая дама»). Наш подсчет на большом материале доказывает, что данная закономерность является одной из немногих известных на данный момент закономерностей, присутствующих во всех без исключения стихотворных текстах.

В данной работе мы опишем соотношение сочинительных и подчинительных связей на примере самых крупных выборок в нашем материале — русских стихотворных и прозаических текстов М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина и А. А. Блока, с одной стороны, и французских стихотворных и прозаических текстов Вольтера, Гюго, Верлена — с другой (всего 11000 строк).

При подсчетах связей в русском стихе и прозе использовалась классификация сложных предложений, принятая в «Русской грамматике» [1980]. При подсчетах связей во французском стихе и прозе использовалась французская грамматика Р. Вагнера и Ж. Пэншон «Grammaire du français classique et moderne» [1982]. Классификации сложных предложений в обеих грамматиках весьма близки. Данные грамматики предлагают достаточно простую и эффективную классификацию, гораздо более удобную при сплошном количественном анализе больших массивов текста, чем многие современные, специализированные синтаксические методы, разработанные для решения иных научных задач.

В нашей работе подсчитывались связи между простыми предложениями внутри сложного. Связи подразделялись на сочинительные, подчинительные, бессоюзные с сочинительной семантикой, бессоюзные с подчинительной семантикой. Внутри связей с подчинительной семантикой выделялись подклассы по типам придаточных. В стихе учитывались только те связи, которые приходились на концы стихотворных строк. В начале работы нами были произведены два пробных подсчета: в одном в стихе учитывались все связи между частями сложного предложения, в другом — только те, которые совпадали с концами стихотворных строк. Подсчеты различались не очень значительно, так как в большей части классического стиха границы предложений приходятся именно на границы стихотворных строк (ср. [Ярхо 2006; Скулачева 1989]). Оба подсчета показали одну и ту же закономерность: в стихе связей между предложениями с сочинительной семантикой больше, чем в прозе. Однако данные при подсчете связей, приходящихся на концы стихотворных строк, были более контрастными и отчетливыми, потому что сама закономерность имеет своей целью, по-видимому, именно оформление стихотворных строк как равноправных, равновесных, сопоставимых между собой единиц текста. Поэтому для нашей работы мы предпочли подсчитывать в стихе только те связи, которые приходятся на концы стихотворных строк. Устойчивость результата проверялась подсчетами после каждой сотни предложений. Подсчеты прекращались, когда с добавлением каждой следующей сотни результаты меня-

лись не более чем на 5 %. Исключение составлял четырехстопный ямб В. А. Жуковского, подсчет по которому был прекращен, когда был взят весь известный на настоящий момент материал.

Устойчивость результатов проверялась подсчетами после каждой сотни предложений.

Данные по русским авторам даны в Таблице I, а по французским авторам — в Таблице II. За 100 % принимается общее количество сочинительных, подчинительных и бессоюзных связей между частями сложного предложения у каждого автора. Под связями с сочинительной семантикой понимаются сочинительные связи, оформленные сочинительными союзами, и бессоюзные связи с сочинительной семантикой. Немногочисленные случаи, в которых у нас имелись сомнения по поводу принадлежности бессоюзных предложений к группе с сочинительной или подчинительной семантикой, исключались из подсчета (1–2 %).

Таблица I

Общее количество связей с сочинительной и подчинительной семантикой в стихе и прозе Ломоносова, Пушкина, Блока[2]

Количество связей, % (в скобках указаны абсолютные числа)				
Тип текста	Тип связи	Ломоносов	Пушкин	Блок
Стих	Связи с сочинительной семантикой	54,7 % (461)	74,1 % (545)	70,9 % (314)
	Связи с подчинительной семантикой	45,3 % (382)	25,9 % (190)	29,1 % (129)
Проза	Связи с сочинительной семантикой	22,8 % (278)	38,2 % (186)	42,8 % (496)
	Связи с подчинительной семантикой	77,2 % (939)	61,8 % (301)	57,2 % (662)

У всех исследованных русских авторов в стихе больше сложносочиненных предложений и бессоюзных предложений с сочинительной семантикой. В прозе преобладают сложноподчиненные предложения.

У Ломоносова связей с сочинительной семантикой в стихе 54,7 %, а в прозе лишь 22,8 %, то есть связей с сочинительной семантикой в стихе в 2 раза больше:

[2] Здесь и далее под связями с сочинительной семантикой подразумеваются связи между частями сложносочиненных предложений и связи между частями бессоюзных предложений с сочинительной семантикой. Под связями с подчинительной семантикой подразумеваются связи между частями сложноподчиненных предложений и связи между частями бессоюзных предложений с подчинительной семантикой.

От рёву лес и брег дрожит,
И хвост песок и пыль мутит…
(М. В. Ломоносов. Ода… на взятие Хотина…, 1739)

В прозе Ломоносова подчинительных связей почти в 2 раза больше (77,2 %), чем в стихе (45,3 %):

Причина есть конец, для которого всякая вещь есть или бывает.
(М. В. Ломоносов. Краткое руководство к красноречию)

Кто малого не может, тому и большое невозможно.
(Там же)

У Пушкина описанные закономерности достигают максимума: в стихе 74,1 % связей с сочинительной семантикой, а в прозе лишь 38,2 %:

Тоска любви Татьяну гонит,
И в сад идёт она грустить.
(А. С. Пушкин. Евгений Онегин)

В прозе Пушкина, так же как и у Ломоносова, преобладают связи с подчинительной семантикой. Таких связей в прозе в 2,5 раза больше, чем в стихе: в прозе 61,8 %, в стихе 25,9 %:

Вы это поймете, **когда** проживете здесь ещё несколько времени.
(А. С. Пушкин. Капитанская дочка)

У Блока также связи с сочинительной семантикой в стихе отчетливо преобладают над связями с подчинительной семантикой: в стихе связей с сочинительной семантикой в 1,7 раза больше (70,9 %), чем в прозе (42,8 %):

Твой голос слышен сквозь метели,
И звезды сыплют снежный прах.
(А. А. Блок. Не надо)

Связей же с подчинительной семантикой в стихе Блока лишь 29,1 %.

В прозе Блока, соответственно, связей с подчинительной семантикой в два раза больше, чем в стихе: в прозе связей с подчинительной семантикой 57,2 %, а в стихе лишь 29,1 %:

Нечто подобное я испытывал в детстве на ёлке, когда играл с моими сверстниками.
(А. А. Блок. Исповедь язычника)

Как мы видим, у всех исследованных русских авторов связи с сочинительной семантикой преобладают в стихе, а с подчинительной семантикой — в прозе.

Теперь обратимся к французским авторам (см. Таблицу II). Напомним, что структура французского стиха по многим параметрам сильно отличается от русского, в частности, если в русском мы брали силлаботонику и тонику, то во французском языке мы имеем дело с силлабическим стихом.

Тем не менее, описываемая нами закономерность и во французском стихе остается неизменной.

Таблица II

Общее количество связей с сочинительной и подчинительной семантикой в стихе и прозе Вольтера, Гюго, Верлена

Количество связей, % (в скобках указаны абсолютные числа)				
Тип текста	Тип связи	Вольтер	Гюго	Верлен
Стих	Связи с сочинительной семантикой	71,7 % (725)	73,7 % (937)	57 % (383)
	Связи с подчинительной семантикой	28,3 % (286)	26,3 % (335)	43 % (288)
Проза	Связи с сочинительной семантикой	38,7 % (637)	26,3 % (274)	27 % (512)
	Связи с подчинительной семантикой	61,3 % (1009)	73,7 % (768)	73 % (1384)

Как мы видим, у Вольтера в стихе в 1,8 раза больше связей с сочинительной семантикой (71,7 %), чем в прозе (38,7 %):

La mort impatiente attendait sa victime;
Et, pour perdre Valois, Dieu permettait un crime.
(Voltaire. La Henriade)

В прозе Вольтера, наоборот, в 2,2 раза больше связей с подчинительной семантикой (61,3 %), чем в стихе (28,3 %):

Il s'adressa ensuite à un homme **qui** venait de parler tout seul une heure de suite sur la charité dans une grande assemblée.
(Voltaire. Candide, ou l'Optimisme)

Наиболее ярко описанные закономерности во французской поэзии выражены у Гюго: в стихе 73,7 % связей с сочинительной семантикой, а в прозе лишь 26,3 %, то есть в стихе связей с сочинительной семантикой в 3 раза больше, чем в прозе:

La muse avait toujours un vautour auprès d'elle
Et féroce, elle menait aux champs ce déterreur.

или

Les feuillages avaient de plus doux mouvements;
Et les rayons tombaient caressants et charmants…
(V. Hugo. La légende des siècles)

В прозе Гюго связей с подчинительной семантикой 73,7 %, а связей с сочинительной семантикой лишь 26,3 %:

Le silence **qu**'il gardait laissait aller le prologue sans encombre.
(V. Hugo. Notre-Dame de Paris)

У Верлена в стихе в 2,1 раза больше связей с сочинительной семантикой (57 %), чем прозе (27 %):

Le jet d'eau fait toujours son murmure argentin,
Et le vieux tremble sa plainte sempiternelle.
(P. Verlaine. Après trois ans…)

Однако, как видно из Таблицы II, у Верлена процент сочинительных связей в стихе (57 %) несколько снижен по сравнению с другими авторами: Вольтер — 71,7 %, Гюго — 73,7 %. Дело в том, что в конце XIX века в эпоху французского символизма начались первые опыты расшатывания традиционного силлабического стиха: сдвиги, пропуски цезуры, опущение немого *-е*, нетрадиционные рифмы, нарушение правильного чередования рифм; такой стих получил название *освобожденного*. Вероятно, и выявленная нами синтаксическая закономерность (преобладание связей с сочинительной семантикой) тоже несколько расшатывается в стихе Верлена.

В прозе Верлена связей с подчинительной семантикой в 1,7 раз больше (73 %), чем в стихе (43 %):

Il ne faudrait pas conclure de là **que** je fusse un enfant pervers ou méchant.
(P. Verlaine. Les Confessions)

По нашим предварительным данным, длина строки не влияет на соотношение связей с сочинительной и подчинительной семантикой. Так, у Верлена нами было подсчитано 500 предложений, где длина строки колебалась от 9 до 11 слогов. Соотношение связей с сочинительной и подчинительной семантикой составило 55,5 % и 44,5 %. Затем было подсчитано 500 предложений, где длина строки колебалась от 5 до 7 слогов. Соотношение связей с сочинительной и подчинительной семантикой составило 57 % и 43 %.

Как видно из подсчетов, в русском и французском языке наблюдается одна общая тенденция: сочинительные связи преобладают в стихе, а подчинительные — в прозе. Несмотря на то, что предложение в стихе часто занимает несколько строк [Шапир 2003], то есть связи между предложениями возникают не между каждыми двумя строками стихотворного текста, резкое увеличение общего количества связей с сочинительной семантикой увеличивает сочинительность стихотворного текста и усиливает общее впечатление психологической равновесности, равноправности, сопоставимости стихотворных строк.

До сих пор мы рассматривали союзные и бессоюзные предложения с сочинительной семантикой как единую группу предложений с сочинительной семантикой, а союзные и бессоюзные предложения с подчинительной семантикой — как единую группу предложений с подчинительной семантикой (Таблицы I–II). Рассмотрим теперь отдельно бессоюзные предложения (см. Таблицы III–VI).

Данные по русским авторам даны в Таблицах III–IV.

Таблица III

Количество бессоюзных связей от всех связей между предложениями в стихе и прозе русских авторов

Процент бессоюзия от общего количества связей (в скобках указано количество связей в абсолютных числах)			
Тип текста	Ломоносов	Пушкин	Блок
Стих	45,3 % (383)	54,8 % (403)	46,7 % (207)
Проза	14,5 % (177)	26,3 % (128)	33 % (383)

Таблица IV

Соотношение бессоюзных связей с сочинительной и подчинительной семантикой в стихе и прозе русских авторов

Количество связей, % (в скобках указаны абсолютные числа)				
Тип текста	Тип связи	Ломоносов	Пушкин	Блок
Стих	Бессоюзие со значением сочинения	82 % (314)	87,8 % (354)	77 % (159)
	Бессоюзие со значением подчинения	18 % (69)	12,2 % (49)	23 % (48)
Проза	Бессоюзие со значением сочинения	96,6 % (171)	68,8 % (88)	72,6 % (278)
	Бессоюзие со значением подчинения	3,4 % (6)	31,2 % (40)	27,4 % (105)

Рассмотрим также бессоюзие у французских авторов. Данные по французским авторам проиллюстрированы в Таблицах V–VI.

Таблица V

Количество бессоюзных связей от общего числа всех связей между предложениями в стихе и прозе французских авторов

Процент бессоюзия от общего количества связей (в скобках указано количество связей в абсолютных числах)			
Тип текста	Вольтер	Гюго	Верлен
Стих	64 % (648)	64 % (815)	32,8 % (220)
Проза	25,7 % (423)	13,2 % (138)	13 % (247)

Таблица VI

Соотношение бессоюзных связей с сочинительной и подчинительной семантикой в стихе и прозе французских авторов

Количество связей, % (в скобках указаны абсолютные числа)				
Тип текста	Тип связи	Вольтер	Гюго	Верлен
Стих	Бессоюзие со значением сочинения	95,2 % (617)	98,2 % (800)	98,2 % (216)
	Бессоюзие со значением подчинения	4,8 % (31)	1,8 % (15)	1,8 % (4)
Проза	Бессоюзие со значением сочинения	90,3 % (382)	96,4 % (133)	84,2 % (208)
	Бессоюзие со значением подчинения	9,7 % (41)	3,6 % (5)	15,8 % (39)

Очевидно, что у всех исследованных русских и французских авторов наблюдается одна общая тенденция: от прозы к стиху возрастает бессоюзие, то есть бессоюзная связь между частями сложного предложения более характерна для стиха, чем для прозы. Так как среди бессоюзных сложных предложений преобладают предложения с сочинительной семантикой (см. Таблицы IV и VI), их изобилие в стихе Пушкина (54,8 %), Вольтера (64 %) и Гюго (64 %) напрямую увеличивает процент связей с сочинительной семантикой в стихотворных текстах.

Теперь более подробно опишем степень преобладания связей с сочинительной семантикой в стихе над их количеством в прозе русских и французских авторов (см. Таблицы IIа и IIб) для того, чтобы проследить общую эволюцию описанной выше закономерности.

Таблица IIа

Степень преобладания связей с сочинительной семантикой в стихе над их количеством в прозе у Ломоносова, Пушкина, Блока

М. В. Ломоносов	А. С. Пушкин	А. А. Блок
15,2 %	**37,8 %**	**28,1 %**

Как видно из Таблицы IIа, описанная нами закономерность более слабо выражена на раннем этапе развития русской поэзии в период становления новой системы стихосложения в XVIII в. у М. В. Ломоносова (15,2 %). Преобладание сочинения в стихе становится вдвое-втрое более отчетливым в XIX веке в эпоху расцвета русской поэзии у А. С. Пушкина (37,8 %). Затем эта закономерность слегка ослабляется в XX веке (до 28,1 %) у А. А. Блока.

Таблица IIб

Степень преобладания связей с сочинительной семантикой в стихе над их количеством в прозе у Вольтера, Гюго, Верлена

Вольтер	Гюго	Верлен
33 %	**47,4 %**	**30 %**

К XVIII веку французский стих, в отличие от русского, уже достиг своего расцвета. Поэтому у Вольтера разница между сочинением в стихе и прозе составляет уже 33 %. Однако описываемая закономерность достигает своего максимума так же, как и в русском стихе в середине XIX века у Гюго. Так, у В. Гюго сочинительных связей в стихе больше на 50 %, чем в прозе. В конце XIX, начале XX века контраст между стихом и прозой по уровню сочинительности снижается (до 30—27 %). Так, у Верлена сочинительных связей лишь на 30 % больше в стихе, чем в прозе. Очевидно, что описываемое явление связано с расшатыванием традиционного силлабического стиха и появлением vers libéré.

Кроме того, когда мы делали подсчеты по сложноподчиненным предложениям, то обратили внимание на соотношение типов придаточных у разных авторов. Для удобства мы выделили 3 большие группы: придаточные изъяснительные, определительные, обстоятельственные. Их количественное соотношение в стихе и прозе показалось нам интересным.

Таблица VII

Соотношение придаточных предложений с определительной, изъяснительной и обстоятельственной семантикой у Ломоносова, Пушкина, Блока

Количество связей, % (в скобках указаны абсолютные числа)				
Тип текста	Тип придаточных	Ломоносов	Пушкин	Блок
Стих	Определительные	38,7 % (148)	8,6 % (16)	14 % (18)
	Изъяснительные	16 % (61)	22,2 % (41)	24 % (31)
	Обстоятельственные	45,3 % (173)	69,2 % (128)	62 % (80)
Проза	Определительные	34,3 % (322)	31,5 % (103)	26,1 % (173)
	Изъяснительные	21% (197)	37,9 % (124)	29,3 % (194)
	Обстоятельственные	44,7% (420)	30,6% (100)	44,6% (295)

Таблица VIII

Соотношение придаточных предложений с определительной, изъяснительной и обстоятельственной семантикой у Вольтера, Гюго, Верлена

Количество связей, % (в скобках указаны абсолютные числа)				
Тип текста	Тип придаточных	Вольтер	Гюго	Верлен
Стих	Определительные	50 % (143)	33,4 % (112)	54%(156)
	Изъяснительные	10 % (29)	16,1 % (54)	7%(20)
	Обстоятельственные	40 % (114)	50,5 % (169)	39%(112)
Проза	Определительные	39 % (393)	56,9 % (452)	55%(762)
	Изъяснительные	33 % (332)	19,8 % (158)	13%(179)
	Обстоятельственные	28 % (284)	23,3 % (185)	32%(443)

Как видно из таблиц VII–VIII, у всех авторов как в русском, так и во французском языке от стиха к прозе увеличивается количество придаточных изъяснительных:

Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран.

или

И сразу не разберешь, что поет, о чём поет.
(А. С. Пушкин. Капитанская дочка)

Надо отметить, что чаще всего придаточные изъяснительные передают косвенную речь. По нашим же предварительным подсчетам косвенная речь более характерна для прозы, чем для стиха.

Выяснилась ещё одна закономерность, которую могут объяснить данные языка.

У всех русских поэтов стабильно преобладают придаточные обстоятельственные:

Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
(А. С. Пушкин. Евгений Онегин)

А у большинства французских авторов преобладают придаточные определительные:

Je rêve de toutes les belles
Qui se promènent dans la nuit.
(P. Eluard. Poème pour la paix)

Одно из возможных объяснений — то, что в русском языке слово *который* — трехсложное, а его формы *которая*, *которого* и т. д. и вовсе четырехсложные, и поэтому плохо укладывается в стихотворную речь, предпочитающую более короткие слова. Построить определительное придаточное, избегая союза *который*, в русском языке можно (например, используя *что* в значении ‘который’), но только в именительном и винительном падежах (ср. **где эта барышня, что я влюблён*). Кроме того, французской конструкции с *qui* в русском языке нередко соответствует не финитное предложение, а причастие или причастный оборот, которые в наш подсчет вовсе не попадают. Хотя в русском стихе причастия встречаются гораздо реже, чем в прозе, тем не менее (приносим за эти данные благодарность Д. В. Сичинаве), по данным Национального корпуса русского языка, в миллионном подкорпусе поэзии 1800—1850 гг. причастия всё же встречаются в 17 раз чаще, чем лексема *который*, в том числе причастия действительного залога — в 4 раза (реально цифра может быть не вполне точна из-за различного разграничения причастия и прилагательного, омонимии и т. п., но на порядок отношения это не влияет). Разумеется, нельзя исключать и влияние на это соотношение со стороны языковой картины мира.

Итак, из проделанной работы можно сделать следующий основной вывод: связи с сочинительной семантикой преобладают в стихе, а связи с подчинительной семантикой — в прозе. Данная закономерность встречается как в русском, так и во французском стихе разных периодов и литературных направлений, как в русской силлаботонике, так и во французской силлабике. То, что это явление прослеживается в разных языках, периодах, литературных направлениях и системах стихосложения, позволяет предположить, что мы имеем дело с одной из общестиховых закономерностей, отличающих стих от прозы на синтаксическом уровне.

Кроме того, нами было отмечено, что у всех авторов от прозы к стиху увеличивается количество бессоюзных связей. Так как среди бессоюзных сложных предложений преобладают бессоюзные предложения с сочинительной семантикой, высокий процент бессоюзия в стихе также увеличивает сочинительность стихотворного текста.

Выявленная закономерность усиливает один из основных признаков стиха, а именно, сопоставимость, соизмеримость, психологическую равноправность строк в стихотворном тексте. Ведь суть сочинительной связи — перечень равноправных единиц текста, а суть подчинительной связи — задание иерархии между главными и второстепенными единицами речи. Как известно, стихотворная строка является основной единицей стихотворного текста, сохраняющейся в стихе всегда, вплоть до его границы с прозой. Описанный же нами механизм поддерживает одно из основных качеств строки — ее психологическую эквивалентность, сопоставимость с другими строками. Как известно, именно эти качества стихотворной строки упоминаются как основные во всех современных определениях стиха. Важность описанного нами синтаксического механизма для существования стихо-

творной формы подтверждается тем, что это одно из немногих известных на данный момент лингвистических отличий стиха от прозы, присутствующее практически в 100 % исследованного материала, в текстах, написанных на разных языках, в разные периоды, в рамках разных литературных направлений и индивидуальных стилей.

Литература

Гаспаров 2001 — М. Л. Гаспаров. Русский стих начала XX века в комментариях. М., 2001.

Гаспаров, Скулачёва 2004 — М. Л. Гаспаров, Т. В. Скулачёва. Статьи о лингвистике стиха. М., 2004.

Грамматика русского языка 1954 — Грамматика русского языка / Под ред. В. В. Виноградова, Е. И. Истриной, С. Г. Бархударова. Т. 2. Синтаксис Ч. 2. М., 1954.

Ерешко 1996 — А. Е. Ерешко. Интонационное оформление строки стихотворного текста // Славянский стих. М., 1996. С. 99–104.

Златоустова 1981 — Л. В. Златоустова. Фонетические единицы русской речи. М., 1981.

Русская грамматика 1980 — Русская грамматика / Под ред. Н. Ю. Шведовой и др. Т. 2. Синтаксис. М., 1980.

Скулачева 1989 — Т. В. Скулачева. К вопросу о взаимодействии ритма и синтаксиса в стихотворной строке (англ. и рус. 4-ст. ямб) // ИАН СЛЯ. 1989. № 2. С. 156–165.

Скулачева 1990 — Т. В. Скулачева. Взаимодействие ритмической организации и синтаксического построения стихотворного текста: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1990.

Скулачева 1996 — Т. В. Скулачева. Лингвистика стиха: структура стихотворной строки // Славянский стих: стиховедение, лингвистика и поэтика. М., 1996. С. 18–24.

Скулачева 2007 — Т. В. Скулачева. Стих и проза: зачем нужна стихотворная строка? // Лингвистика и поэтика в начале третьего тысячелетия: Сб. ст. по материалам конф. 23–28 мая 2007. М., 2007. С. 457–460.

Тынянов 1965 — Ю. Н. Тынянов. Проблема стихотворного языка: Статьи. М., 1965.

Шапир 2003 — М. И. Шапир. Три реформы русского стихотворного синтаксиса (Ломоносов — Пушкин — Иосиф Бродский) // ВЯ. 2003 № 3. С. 31–78.

Ярхо 1969 — Б. И. Ярхо. Методология точного литературоведения // Труды по знаковым системам. Вып. 4. Тарту, 1969. С. 504–506.

Ярхо 2006 — Б. И. Ярхо. Методология точного литературоведения: Избранные труды по теории литературы. М., 2006.

Wagner, Pinchon 1982 — R. L. Wagner, J. Pinchon. Grammaire du français classique et moderne. P., 1982. P. 504–619.

И. А. ШАРОНОВ

КОГНИТИВНЫЕ МЕЖДОМЕТИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПИСАНИЯ

Класс междометий, традиционно включающий группы эмоциональных и побудительных единиц, в последние годы пополнился группой так называемых когнитивных междометий — единиц, которые выражают понимание, осознание чего-либо. Ранее эти единицы входили в список эмоциональных междометий.

К выделению когнитивных междометий в самостоятельную группу исследователи пришли под влиянием К. Бюлера, описавшего междометие *Ага* как переживание мыслительного процесса [Бюлер 1993: 285]. Перечислим работы, в которых рассматриваются междометия понимания: [Wierzbicka 1991; 2003; Ameka 1992; Добрушина 1995; Иомдин 2003; 2006; Шаронов 2005; 2006; Кобозева, Захаров 2007].

Критерии отнесения той или иной единицы к когнитивным междометиям до сих пор специально не обсуждались. В [Wierzbicka 2003] в качестве когнитивных рассматриваются междометия русского, английского и польского языков: *Ага*, *Aha*, *Oho*, *O*, *Oh-oh*; в [Добрушина 1995] русские междометия *Э*, *Эге* и вторичное *Ах так!*; в [Иомдин 2006] — *А*, *О*, *Э*, *Ага*, *Эге* и несколько вторичных междометий.

Междометие *Ага* в толковых словарях обычно описывается с использованием эмоциональной и ментальной лексики[1]. Ср.:

> **АГА**. I, *межд.* Выражает злорадство, торжество, замешательство и т. п. [СТСРЯ 2001];

> **АГА,** межд. *разг.* Употр. для выражения догадки, радостного удивления, злорадного торжества и т. п. [ССРЛЯ 1991].

А. Вежбицкая следующим образом объясняет принципиальное отличие когнитивных междометий от эмоциональных. «Безусловно, *Ага* (*aha*) само по себе не выражает удовлетворение или иронию, но если вывести инвари-

[1] Стоит также отметить, что в словаре [Ожегов, Шведова 1995] *А* и *Ага* в употреблениях, связанных с пониманием и припоминанием, рассматриваются как частицы.

Русский язык в научном освещении. № 2 (16). 2008. С. 71—88.

ант этой единицы, будет понятно, откуда эти смыслы выводятся в соответствующем контексте. Все эти смыслы объединяет что-то типа неожиданного осознания, смысл, который может быть передан через инвариант: ‘теперь я знаю это’» [Wierzbicka 2003: 326].

Ряд исследователей поддерживает такой подход и исключает из толкования когнитивных междометий эмоциональные компоненты [Ameka 1992[2]; Кобозева, Захаров 2007[3]]. Наиболее эксплицитно данная позиция обосновывается в работе [Кобозева, Захаров 2007]. Авторы статьи рассматривают роль эмоциональных просодий и фонаций в значении когнитивного междометия как факультативную, не определяющую его инвариантное значение. Такой подход вполне правомерен для решения общих методологических задач, однако вряд ли позволит описать нюансы употреблений и механизмы, определяющие выбор того или иного когнитивного междометия в конкретной ситуации.

Мы присоединяемся к менее жесткой позиции, представленной, например, в [Иомдин 2006: 609–610], и исходим из того, что когнитивные междометия должны содержать в толковании как ментальные, так и эмоциональные компоненты. Наша позиция основана на общем представлении о ведущей роли просодий и фонаций в выражении значения эмоциональных междометий[4] и на предположении, что в когнитивных междометиях просодии и фонации также играют крайне важную роль. В статье будут проанализированы различные типы понимания и, соответственно, когнитивные междометия в том или ином просодическом оформлении и жестово-мимическом сопровождении.

Прежде чем перейти к анализу контекстов понимания, необходимо выявить специфику употребления когнитивных междометий и обосновать включение каждой единицы в список. Для этого нам необходимо будет ответить на следующие вопросы:

---

[2] Ср.: «К когнитивным относятся междометия, которые выражают знание и мысли в момент произнесения высказывания» (Cognitive interjections are those that pertain to the state of knowledge and thoughts at the time of utterance) [Ameka 1992: 114].

[3] «Говоря об инварианте означаемого, мы с уверенностью можем сказать, что общим для всех рассматриваемых употреблений является ментальное состояние, наступающее в момент незапланированного обретения говорящим некоторого знания путем либо непосредственного чувственного восприятия, либо не полностью контролируемых ментальных процессов. Именно такой характер инвариантной языковой семантики междометия A_5 требует отнести его не к эмотивным, а к когнитивным, естественно, допускающим и эмоциональные вариации» [Кобозева, Захаров 2007: 624].

[4] «Для понимания междометий не нужно прибегать к их фонематическому отождествлению. ⟨…⟩ Звуковая субстанция служит в них главным образом для того, чтобы дать возможность развиться интонации, которая и передает их речевое содержание, сводимое к экспрессивной реакции говорящего» [ОЯ 1972: 320].

А) В чем отличие понимания от других форм восприятия?

Б) В чем различие между неэмоциональным и эмоциональным пониманием?

В) Достаточно ли контекстного критерия, чтобы относить то или иное междометие к разряду когнитивных?

Г) Какие единицы составляют группу междометий понимания?

I. Специфика употребления когнитивных междометий

А) В чем отличие понимания от других форм восприятия?

Формы восприятия передаются в языке глаголами *почувствовать*, *ощутить*, *увидеть*, *услышать*, *узнать*, *вспомнить*, *понять*, *сообразить*, *догадаться* и т. д. Все они описывают конечный результат — получение субъектом новой информации. При этом между пониманием и прочими формами восприятия можно обнаружить определенные различия.

Во-первых, восприятие включает ощущения (ср.: *почувствовать*, *ощутить*), т. е. докогнитивные формы контакта с действительностью. Уколовшись или обжегшись, мы симптоматически реагируем междометием на внешнее раздражение и только потом начинаем осознавать, что произошло. Понимание же — всегда результат определенных когнитивных процессов.

Во-вторых, акт понимания неэлементарен по своей структуре. При некотором огрублении его можно разделить на два этапа. Предварительный этап — это столкновение с ментальной помехой на пути к необходимой информации, попытка ее преодоления. Заключительный этап — это достижение желаемого результата, получение необходимой информации. Ментальной помехой обычно бывает либо недостаток информации («информационная лакуна»), либо некоторое затруднение, связанное с переработкой необычной для субъекта мысли информации.

Структурная неэлементарность акта понимания отражена в ряде лингвистических работ. Например, толкование польского когнитивного междометия *Aha* в [Wierzbiska 2003: 326–329] дается на основе двух компонентов: ‘теперь я знаю это / я думал об этом’. Прототипическая ситуация понимания в [Иомдин 2006: 605] описывается как размышление субъекта над возникшим у него вопросом, приводящее к ответу на этот вопрос. Другими словами, понимание трактуется как получение информации, необходимость которой вызвала работу ума, активизировала интеллектуальный поиск.

Б) В чем различие между неэмоциональным и эмоциональным пониманием?

Междометие есть реакция на внешний стимул, форма проявления психического переживания. При гладко проходящем когнитивном процессе (прослушивание скучной лекции, чтение рутинной деловой переписки и т. п.) психическое переживание может не возникать. Когнитивные меж-

дометия — это знаки эмоционального переживания в момент осознания чего-либо (ср. описание *Ага* как переживания мыслительного процесса [Бюлер 1993: 285]). Их значение с необходимостью совмещает информацию о понимании и связанном с ним эмоциональном состоянии субъекта.

В) Достаточно ли контекстного критерия, чтобы относить то или иное междометие к разряду когнитивных?

Традиционный способ толкования междометия обычно опирается на семантику слова (чаще глагола), стоящего при междометной реплике. Например, *Ага* — когнитивное междометие, поскольку рядом с ним в тексте регулярно встречаются глаголы *понять*, *догадаться*, *сообразить* и под. Однако если ограничиться только таким диагностическим способом, мы не сможем далеко продвинуться в выделении когнитивных единиц из группы эмоциональных. В приводимых ниже примерах описываются ситуации озарения, то есть неожиданного осознания или припоминания чего-либо. Однако использованные здесь междометия вряд ли кто-нибудь рискнет считать когнитивными:

> «Почему у него были такие глаза? — стонал Кочетов. — Как будто жалеет меня! А чего ему жалеть своего начальника? **Ой**, *понял!* Понял: я уже не начальник! Я болею, а он, гад, мое место занял!»
>
> (А. Инин. Лимон)

> Он думал долго, мучительно, до боли в висках. «**Ба!** — *вспомнил* он наконец. — Недалеко от берега в кустах есть мостик... Пока настанет темнота, я могу посидеть под этим мостиком...»
>
> (А. Чехов. Роман с контрабасом)

Словари толкуют *озарение* как неожиданную мысль, внезапное прояснение сознания [СТСРЯ 2001; ТСРЯ 2007]. Причина появления в ситуации озарения эмоциональных междометий, как кажется, лежит в фокусировании на компоненте неожиданности, внезапности. Неожиданность чаще всего стимулирует изумление — эмоцию, которая не просветляет, а наоборот, на какой-то момент затемняет сознание, приводит к растерянности, замешательству. Ср. описания растерянности субъекта при получении им неожиданной информации:

> — Ну-ну, потише! Мне можно без очереди — я поэтесса!
>
> Встретив такой неожиданный отпор, Незнайка *разинул от удивления рот*, а поэтесса, воспользовавшись его *замешательством*, повернулась к нему спиной и не спеша зашагала к лестнице.
>
> (Н. Носов. Приключения Незнайки и его друзей)

> Снова и снова перебирала я в памяти события, пытаясь докопаться до истины, и вдруг, *подобно взрыву бомбы под самым носом*, меня *ослепила* такая страшная догадка, что я *на момент потеряла возможность вообще что-либо соображать*.
>
> (И. Хмелевская. Что сказал покойник)

Озарение отличается от стандартного понимания неконтролируемостью этого ментального акта, и это отличие находит выражение в русском языке. Для передачи акта понимания используют личные глагольные конструкции, описывающие контролируемую деятельность субъекта[5]: *X понял* (*сообразил*, *осознал*, *решил что-либо*), а для передачи озарения в языке используют безличные глаголы: *X-а озарило*, *до X-а дошло*, *X-у открылось*. А. Вежбицкая, рассматривая грамматическое оформление эмоций в русском языке, отмечает, что безличные конструкции выражают пассивность, отсутствие контроля над эмоциональным состоянием [Вежбицкая 1996: 44–46]. Аналогия эмоциональных состояний с ментальными выглядит здесь вполне уместной.

Контролируемая деятельность в стандартном случае приводит к запланированному результату, поэтому сочетание обстоятельственного компонента *в результате* с глаголами понимания естественно, а с безличными глаголами озарения — нет. Ср.:

в результате X понял (*сообразил*, *осознал*, *решил что-либо*);
**в результате X-а озарило* (*до X-а дошло*, *X-у открылось*).

Итак, озарение неожиданно и не поддается контролю субъекта мысли. Оно вызывает взволнованность, выражающуюся в эмоциональном вскрике[6]. Таким образом, использование того или иного междометия в ситуации осознания чего-либо недостаточно для того, чтобы считать его когнитивным.

Г) Какие единицы составляют группу междометий понимания?

Поскольку контекст осознания чего-либо не является абсолютно диагностическим, мы решили провести эксперимент от обратного. Группа эмоциональных междометий пропускается сквозь «фильтр непонимания», а именно, через набор реплик со значением непонимания в правом контексте анализируемой единицы.

Часть эмоциональных междометий (напр., *брр*, *фу*, *ай-яй-яй* и т. д.), для которых противопоставление ПОНИМАНИЕ — НЕПОНИМАНИЕ оказывается нерелевантным, тестированию не подвергается; другая часть единиц, прежде всего относящаяся к области удивления, должна легко согласовываться с репликами непонимания, расположенными в правом контексте[7]. Рассогласованность междометия с репликами непонимания будет указывать на принадлежность единицы к группе когнитивных.

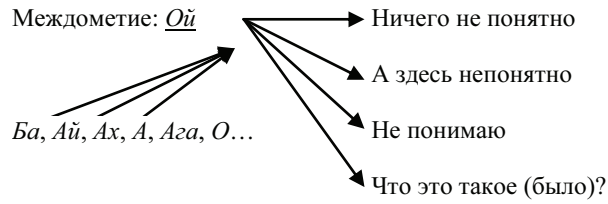
---

[5] Мы не будем здесь останавливаться на описании свойств контролируемых актов. См. об этом в [Шатуновский 1989; Зализняк 1992а].

[6] Однако, как будет видно из дальнейшего описания, озарение может передаваться не только эмоциональными, но и когнитивными междометиями.

[7] Ср. о связи семантики удивления и непонимания в [Шаронов 2002; Говорухо 2007: 76].

Модель фильтра непонимания



Эмоциональные междометия легко проходят данный фильтр:

***Ой**, ничего не понятно!*
***Ба**, а здесь непонятно!*
***Ай**, что это?*
***Ах**, что это было?* и т. д.

Единицы же, содержащие в семантике компонент понимания, через фильтр не проходят:

Ага, ничего не понятно!*
**А*, не понятно!*

Таким образом, в результате тестирования была выделена группа когнитивных междометий. Это *А*, *Ага*, *О*, *Так*, *Э*, *Эге*[8].

Ответив на предварительные вопросы и составив список единиц, мы можем перейти к детальному анализу контекстов их употребления.

II. Анализ контекстов употребления когнитивных междометий

Различают два основных типа понимания: *понимание-знание* и *понимание-мнение* (см. описание проблематики и развернутый анализ лексики понимания в [Иомдин 2006]). Понимание-знание достигается преодолением «информационной лакуны» — получением необходимой, недостающей информации. Такой тип понимания передается глаголами *понять*, *усвоить*, *вспомнить*, *найти ответ на вопрос* и т. п. Понимание-мнение достигается интерпретацией новой и не соответствующей ожиданиям информации. Такой тип понимания передается глаголами *понять*, *решить*, *подумать*, *сообразить*, *смекнуть* и т. п.

Противопоставление двух видов рационального понимания можно проиллюстрировать на примере диалога:

---

[8] Вторичные междометия: *Вот* (*тут* / *оно*) *как*; *Вот* (*оно* / *тут*) *что*; *Вот в чем дело* и др., а также единицы типа *стоп*, *постой*, перечисленные в [Иомдин 2006], в этой статье не рассматриваются.

«Ну-ка, что ты понял?» — «Всё, — сказал я. — Я *понял всё*. Луна. Церковь. Тополя. Все спят». «Ну... — недовольно протянула Елизавета Николаевна, — это ты *немножко поверхностно понял... Надо глубже понимать*»

(В. Драгунский. Тиха украинская ночь…)

Как видно из примера, пониманию, основанному на простом получении информации, противопоставляется понимание, встраивающее полученную информацию в более широкий контекст, использующее эту информацию для логического вывода, суждения, составления мнения о чем-либо.

В отличие от понимания-знания, понимание-мнение может оказаться неистинным, нефактивным. «Реальность существования такого нефактивного значения у глагола *понимать* подтверждается ⟨…⟩ наличием сочетания *неправильно понял,* — пишет А. А. Зализняк. — Понимание здесь представлено как «ощущение понимания», как определенное состояние концептуального мира субъекта установки безотносительно к истинности» [Зализняк 1992б: 141]. Данное утверждение проиллюстрируем изящным замечанием В. Набокова, которое предупреждает возможность ложной интерпретации вводимой им в текст информации:

Я жил тогда в Берлине с 1922-го года, т. е. одновременно с юным героем моей книги. Однако ни это обстоятельство, ни то, что у меня с ним есть некоторые общие интересы, как, например, литература и чешуекрылые, *ничуть не означает*, что читатель должен воскликнуть «**ага**» и соединить творца и творение.

(В. Набоков. Дар. Предисловие к английскому изданию)

Виды понимания влияют на выбор когнитивного междометия в его интонационном, тембровом и фонационном оформлении. Рассмотрим употребление междометий в разных контекстах понимания-знания и понимания-мнения.

Междометия понимания-знания

К данной группе принадлежат междометия *Ага*, *Так*, *А* и *О*. Получив необходимую информацию, субъект обычно переходит в состояние *удовлетворения* (междометие произносится растянуто, с плавно падающим в конце тоном), либо в состояние резкого *возбуждения* (междометие произносится кратко, с резко падающим тоном). Ср.:

Состояние *удовлетворенного осознания*:

«Так-так, — произнес Кибрик. — Интересно, кто выпускает эту газету? **Ага**, вот и фамилия редактора: Сорока-Белобока».

(Л. Сапожников. Митя Метелкин в Стране Синих роз)

Как же там было... Нет, я сама *вспомню*. **Ага**: «Но в нас горит еще желанье, к нему уходят поезда, и мчится бабочка сознанья из ниоткуда в никуда».

(В. Пелевин. Чапаев и пустота)

«А меня выгнали», — сказал я Розе. «А за что?» — спросила Роза. — «За то, что я ничего не делал...» — «**А**...»

(В. Токарева. Пираты в далеких морях)

— В чем же вы провинились?
— Да не мы ⟨…⟩. Соседи. Нам заодно досталось ⟨…⟩.
— **Так, так**. Тогда все понятно.

(Б. Пастернак. Доктор Живаго)

Состояние *возбужденного осознания*:

«**А!** — закричал Клепка и хлопнул себя ладонью по лбу. — Знаю! Это Карает!»

(Н. Носов. Незнайка в Солнечном городе)

«Это лихорадка, — подумал я. — Этот жаркий туман повсюду — от лихорадки, потому что сам я в ознобе, а повсюду жаркий туман. А из тумана выходит кто-то очень знакомый, Ахиллес не Ахиллес, но очень знакомый. **О!** теперь узнал: это понтийский царь Митридат».

(В. Ерофеев. Москва — Петушки)

Два эмоциональных состояния можно связать с разным характером протекания мыслительной деятельности. Если междометия удовлетворения *Ага*, *Так* и *А* — реакции на ожидаемое достижение поставленной цели, то междометия возбуждения *А* и *О* — реакции на неожиданное осознание чего-то непонятного. Рассмотрим оба типа эмоционального осознания.

1. Состояние *удовлетворенного осознания*

В стандартных ситуациях недостающую информацию получают при помощи тех или иных рациональных приемов. Субъект мыслительной деятельности при достижении необходимого результата испытывает *удовлетворение* и *успокоение*, которые выражаются междометиями *Ага*, *Так* и *А*. Усваивать полученную рациональным способом информацию субъект может с большей или меньшей быстротой и легкостью. При соответствии предположениям, а потому быстром и легком усвоении информации используются чаще междометия *Ага* и *Так*. Ср.:

2-й человек из толпы. Никак, начальник стражи?
1-й человек из толпы. Ну да, он, переодетый.
2-й человек из толпы. **Ага**, вижу.

(Е. Шварц. Тень)

Ланцелот. Сколько у него голов?
Кот. Три. ⟨…⟩
Ланцелот. **Так**. Представляю себе. Рост?

(Е. Шварц. Дракон)

В ситуациях, когда субъект в меньшей степени готов к усвоению информации, чаще встречается междометие *А*, которое произносится более растянуто, чем другие междометия группы. Способ произнесения часто находит отражение в написании междометия: *А-а*, *А-а-а*, хотя жестких требований к передаче просодических характеристик междометий на письме не существует. Неготовность к быстрому усвоению информации происхо-

дит, например, из-за резкого перехода разговора в другую тематическую область, из-за наличия у субъекта неверных предположений и т. д. Ср.:

— Резкий переход разговора в другую тематическую область

«Я выяснил у киношников, никаких съемок в замке не было», — вдруг сказал Ильин. Усанков *не сразу сообразил*, о чем это он: «**А-а-а**, те ряженые…»

(Д. Гранин. Неизвестный человек)

(Ср.: ?*Ага* / *Так*, те ряженые…)

— Наличие неверных предположений

— Если хочешь расписаться, то сделаем это здесь, не в Москве.
— А почему не в Москве? — спросила Таня, ожидавшая какого-то подвоха.
— Два дня потеряю для работы. Я же говорю тебе, страшная горячка.
— **А-а**, — удовлетворенно кивнула Таня.

(Л. Улицкая. Казус Кукоцкого)

Интересно отметить, что рассматриваемые междометия, интонационно выражающие эмоцию удовлетворения, встречаются в ситуациях любой целенаправленной деятельности при достижении успешного результата. Ср.:

«Когда прибудете на Землю, — говорил он, — не откажите в любезности... Куда же оно запропастилось?.. **Ага**, вот оно... — Он вынул сложенный вдвое конверт ⟨…⟩. — Не откажитесь переслать».

(А. и Б. Стругацкие. Далекая радуга)

Из горницы вышла Агафья. Егор поднялся навстречу ей.

«Сын, — сказала Агафья. — Здоровенный, дьяволенок... насилу выворотился».

«**Так**, — сказал Егор и вытер со лба пот. — Правильно».

«Здорово! — с завистью сказал Кузьма. — Как думал, так и вышло. У меня бы так».

(В. Шукшин. Любавины)

Очевидно, что ситуации в приведенных контекстах выходят за рамки когнитивного акта понимания. Следовательно, значение удовлетворенного понимания является для междометий *Ага* и *Так* (*А* — в меньшей степени) частным случаем выражения удовольствия от полученного результата целенаправленной деятельности субъекта.

2. Состояние *возбуждения при озарении*

Выше мы уже рассматривали особенности озарения как формы неожиданного осознания чего-либо и возможность использования эмоциональных междометий в ситуациях озарения. Наравне с эмоциональными междометиями в таких контекстах встречаются и когнитивные междометия *А* и *О*, произносимые так же кратко и резко, как и эмоциональные, однако имеющие существенные отличия. Как уж было сказано, эмоциональные междометия реагируют на компонент неожиданности, а не на компонент осознания. Они выражают изумление и сопровождаются обычной для этой

эмоции мимикой и жестами растерянности. Когнитивные же междометия реагируют в большей степени на компонент осознания, что подтверждает анализ жестов, сопровождающих когнитивные междометия: говорящий может поднять указательный палец, ударить себя по лбу и т. п.[9] Приведем несколько иллюстративных примеров употребления междометий *А* и *О* в ситуациях озарения:

> «Значит, вы не узнали моего голоса?» — с отчаянием ответила собеседница. «**А!** — догадался Платонов. — Ну, как же, конечно, узнал».
>
> (Н. Тэффи. Флирт)

> «Ты моих тапок случайно не видела?» — «Тапок?» — переспросила она и стала думать, как будто я заказал ей теорему Пифагора. — «**А**, как же! — сообразила она наконец. — Как же, как же, видала».
>
> (В. Войнович. Москва 2042)

> Смотрю, а среди них сидит тот самый парнишка, который на танцах ухаживал за Люсей. Сидит, мичманку на уши надвинул, воротник поднял, печальный такой паренек. «**О**, — говорю, — Гера! Привет!»
>
> (В. Аксенов. Апельсины из Марокко)

Два описанных типа эмоциональных состояний, возникающих при понимании-знании, являются наиболее частотными. Реже встречаются когнитивные междометия со специфической интонацией и фонационными характеристиками: злорадный выкрик осознания превосходства над противником и возглас разочарованного осознания.

3. Злорадный выкрик осознания превосходства над оппонентом

Субъект, обнаруживший в процессе спора, словесной дуэли слабое место в позиции оппонента, может испытывать радость от осознания своего превосходства над «противником». Для выражения *злорадной* формы понимания используются междометия *А* и *Ага*, произносящиеся растянуто и с особым хриплым призвуком. Ср.:

> Клещ. Молчать, старая собака! Не твое это дело...
> Квашня. **А-а!** Не терпишь правды!
>
> (М. Горький. На дне)

> — Вот мне пятьдесят лет, а у меня все зубы целы.
> — А в сто лет у тебя тоже все зубы будут целы?.. **Ага!** То-то, брат. Два века не проживешь.
>
> (П. Романов. Русская душа)

Демонстрация злорадного удовольствия при обнаружении слабости у соперника — чувствительный удар по самолюбию последнего. Ср.:

---

[9] См. подробное описание этих жестов в [Григорьева, Григорьев, Крейдлин 2001].

— **Ага!** Я вам говорил! — сказал Воробьянинов.

— Что вы мне говорили! — окрысился Остап. Однако он был смущен. Эта оплошность была ему очень неприятна.

(И. Ильф и Е. Петров. Двенадцать стульев)

Как и в случаях с удовлетворенным пониманием, междометия которого способны описывать положительный результат любой целенаправленной деятельности, злорадный выкрик *Ага* обнаруживается в ситуациях охоты, погони и т. п., когда субъект наконец поймал кого-либо или думает, что поймал, заполучил добычу. Ср.:

Навалившись на кота и срывая с шеи галстук, чтобы вязать его, гражданин ядовито и угрожающе бормотал: «**Ага!** Стало быть, теперь к нам, в Армавир, пожаловали, господин гипнотизер?»

(М. Булгаков. Мастер и Маргарита)

Волк кинулся за мной. «**Ага!** — крикнул он. — Ты от меня не уйдешь! Сейчас я тебя съем!». Он уже почти догнал меня, когда я направился к глубокой пропасти. «**Ага!**» — крикнул Волк.

(Б. Окуджава. Прелестные приключения)

4. Возглас разочарованного осознания

В ситуациях, когда полученная информация оказывается ниже уровня ожидания, междометия *А* и *Ага* могут произноситься с эмоцией *разочарования*. Ср.:

«А вы... вы их не расстреливали? Сами, конечно?» — «Нет, не расстреливал», — ответил он несколько насмешливо. «**Аа!** — *разочарованно протянула* она. — А я думала почему-то, что вы сами».

(А. Голиков. В дни поражений и побед)

«Учителя вкратце пересказывали затронутые вами темы и идейно-художественное содержание». — «**Ага!** — *понял* я *разочарованно*. — Вы мои книги проходили, но читать их запрещено, как и раньше».

(В. Войнович. Москва 2042)

Когнитивные междометия здесь совпадают по интонации с эмоциональными междометиями разочарования, и это доказывается возможностью их субституции без изменения значения контекста:

А (= Тю / Ну / Фу, Э), — разочарованно протянула она. — А я думала, что вы сами.

Ага (= Тю / Ну / Фу, Э), вы мои книги проходили, но читать их запрещено.

Однако обратный ход невозможен — когнитивные междометия нельзя поставить в другие контексты разочарования. Ср.:

— Помру ведь я тут без молитвы и причастия... — **Ф-фу** (*А, *Ага), какой паникер! Да еще и в Бога верующий!.. Поможем вам, поможем...

(В. Астафьев. Веселый солдат)

Э (*А, *Ага), Канавкин, — укоризненно-ласково сказал конферансье, — а я-то еще похвалил его! На-те, взял да и засбоил ни с того ни с сего!

(М. Булгаков. Мастер и Маргарита)

Итак, понимание-знание, или обретение недостающей информации передается когнитивными междометиями *Ага*, *Так*, *А* и *О*, которые, в зависимости от характера протекания мыслительной деятельности и оценки информации, выражают эмоции *удовлетворенного успокоения, возбуждения, злорадства* и *разочарования*. При этом они передают своей фонетической формой компонент понимания, отсутствующий у эмоциональных междометий.

Междометия понимания-мнения

Помехой в понимании-мнении является информация, часто необычная, которая возбуждает работу ума для составления умозаключения, появления мнения, субъективной оценки чего-либо. Содержание умозаключения, оценки обычно содержатся в правом контексте междометия-мнения. При передаче понимания-мнения используются междометия *А* (и его назализованный вариант *М-м-м*), *Ага*, *Та-ак* (*Тэк…*; *Тэк-с*), *О*, *Э* и *Эге*. Субъект при этом обычно *воодушевляется* собственной интерпретацией. Приведем несколько примеров употребления когнитивных междометий понимания-мнения:

— Сиди, — сердито сказал Обломов. — Гуляка... Все бы гулять, все бы им гулять! Дело надо делать, а не гулять.

— **А-а-а**, — вдруг зловеще тихо протянул Атаман, — вот кого я искал-то всю жизню. Вот кого мне надоть-то... И потащил из ножен саблю.

(В. Шукшин. До третьих петухов)

— Насмешки над особами... К социялистскому нигилизму все.

— **М-м-м!** — протянул, нечто смекнув, Кувырков.

— А то ж, что еще? — хладнокровно говорил Хржонжчковский.

— **М-м-м-м!**

(Н. Лесков. Кувырков)

«Вы плохо использовали Будаха, — сказал Румата. — Это отличный специалист. Был...» — добавил он значительно. В выцветших глазах что-то мигнуло. «**Ага**, — *подумал* Румата, — а ведь Будах-то еще жив...»

(А. и Б. Стругацкие. Трудно быть богом)

[П е п е л (вздыхая).] Красивая ты, Васка… ⟨…⟩ а никогда не лежало у меня сердце к тебе... И жил я с тобой, и всё… а никогда ты не нравилась мне... [В а с и л и с а (тихо).] **Та-ак…** Н-ну…

(М. Горький. На дне)

— Что же ты молчишь? **Э-э-э**, брат... Тебя кто-то поцеловал? Кто-то поцеловал тебя, да?

— Да, — сказала она, отворачиваясь, — Да. Поэтому я опоздала.

(С. Вольф. Семь туда, семь обратно)

— Я думал, они пригласили вас в каких-нибудь других видах.
— **Эге!** Да вы-таки совсем не так просты, как вас рекомендуют!
(Ф. М. Достоевский. Идиот)

Междометия произносятся обычно более растянуто, чем в ситуациях понимания-знания, и имеют несколько интонационных и фонационных вариаций, среди которых отметим *эмоциональный вывод*, *умозаключение*, *сдерживаемую ярость при обнаружении «предательства»*, *интерес к истинности возникшей гипотезы* и *сильное впечатление при интерпретации полученной информации*. Рассмотрим выражение каждого состояния.

1. Эмоциональный вывод, умозаключение может не находить выражения во внешней речи. В таких случаях в тексте при междометии стоят глаголы *подумать*, *смекнуть*, *решить* и т. п. В первом из приводимых ниже примеров субъект размышляет в одиночестве, а во втором намеренно скрывает от собеседника свою реакцию:

Никита настойчиво продолжал: «На что богу уродство всякое; горбатые, например, на что ему?». «**Ага**, вот оно что!» — *подумал* Петр, усмехаясь в бороду, чувствуя, что жалобы брата на бога очень успокаивают его; это хорошо, что монах не жалуется на родных.
(М. Горький. Дело Артамоновых)

Эге, — *думаю себе*, — да это, должно, не Бог, а просто фейверок, как у нас в публичном саду пускали.
(Н. Лесков. Очарованный странник)

Междометия Э и *Эге* используются чаще при обнаружении чего-либо неявного, спрятанного, потенциально опасного. Ср.:

— Я думаю, что в ножки следовало бы поклониться Аристарху Платоновичу за то, что он из Индии...
— Что это у нас все в ножки да в ножки, — вдруг пробурчал Елагин.
«**Э**, да он молодец», — подумал я.
(М. Булгаков. Театральный роман)

— Чаем наговоренным хотят вас поить. А вы — ни боже мой! Не пейте.
— Каким наговоренным?
— Да известно каким: на вора наговоренным.
«**Эге!** — смекнул Барыба. Очень смешно стало. — Дурак Евсей».
(Е. Замятин. Уездное)

Дворная собака, ⟨…⟩ с одного скачка очутилась над узелком и начала его обнюхивать; но только что понюхала, как зашаталась, упала и заснула крепким сном. «**Эге!** так вот от чего и я спал, дорогая моя женушка!» — подумал Федор.
(О. Сомов. Киевские ведьмы)

2. Сдерживаемая ярость при обнаружении «предательства»

В случаях, когда полученная информация подводит субъекта к выводу о тайном недоброжелательстве, коварстве «своего» человека, междометие

понимания-мнения *А-а* напоминает по качеству звучания стон от боли. Субъект испытывает в такой момент ненависть к «предателю», желание отомстить за обман. Ср.:

«А ху-ху не хо-хо, бабуленька?» — «**А-а**, — зловеще протянула Баба-Яга, — теперь я поняла, с кем имею дело; симулянт, проходимец... тип».

(В. Шукшин. До третьих петухов)

— Это национализированное имущество.
— Кем национализировано?
— ⟨…⟩ Властью трудящихся.
— **А-а-а!..** — сказал Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. — ⟨…⟩ Так, может быть, вы, святой отец, партийный?

(И. Ильф и Е. Петров. Двенадцать стульев)

Наташа (вдруг громко). **А-а**... я поняла!.. ⟨…⟩ Они — заодно! Сестра моя и — он... они заодно!

(М. Горький. На дне)

3. Интерес к истинности возникшей гипотезы

Построение необычной гипотезы вызывает *заинтересованность*, желание субъекта убедиться в истинности собственного умозаключения. Когнитивное междометие произносится с интонацией заинтересованного удивления, а умозаключение передается чаще всего в форме вопроса. Ср.:

Тюремщик. ⟨…⟩ Пишут ⟨…⟩ буквы «Л» на стенах. Это значит — Ланцелот.
Бургомистр. Ерунда. Буква «Л» обозначает — любим президента.
Тюремщик. **Ага**. *Значит, не сажать, которые пишут?*

(Е. Шварц. Дракон)

Тихон Ильич орал еще неистовее, стараясь заглушить шорника: — **А-а!** Вот как! *Навострился, бродяга, у агитаторов? Насобачился?*

(И. Бунин. Деревня)

— Что же ты молчишь? **Э-э-э**, брат... *Тебя кто-то поцеловал? Кто-то поцеловал тебя, да?*

(С. Вольф. Семь туда, семь обратно)

4. Сильное впечатление при интерпретации полученной информации

Результат умозаключения может произвести на субъекта мысли сильное впечатление. Междометия произносятся растянуто и имеют низкий ровный тон. Правый контекст когнитивного междометия обычно содержит вывод о чем-либо как о значимом, серьезном, впечатляющем. Ср.:

Гликерия Романовна тоже молчала, пытаясь сообразить, как лучше себя вести с этим странным человеком. «И отчего это он так напряжен? Губы плотно сжаты, не сводит глаз с извозчика. **О**, *да в этом омуте, кажется, черти водятся!*»

(Б. Акунин. Алмазная колесница)

— Я могу любить только честного человека! Узнай я, что ты натворил хоть сотую долю того, что сделал Трамб, я... мигом! Adieu тогда!

— **Тэк**... Гм... Какая ты у меня... А я и не знал... Хе-хе-хе...

(А. Чехов. Ушла)

— У меня к вам, Сергей Василич, небольшая просьба. — Ольга с легким, необычным для себя волнением рассказывает о своем желании «быть полезной мировой революции».

— **Тэк-с**... — Розовое пятно на щеке Сергея смущенно багровеет.

(А. Мариенгоф. Циники)

Итак, понимание-мнение передается когнитивными междометиями *Ага*, *Так*, *А*, *О*, *Э* и *Эге*, которые, в зависимости от характера умозаключения и его оценки, выражают *эмоциональный вывод*, *сдерживаемую ярость при обнаружении «предательства»*, *интерес к истинности возникшей гипотезы* и *сильное впечатление при интерпретации полученной информации*.

Как демонстрирует анализ контекстов понимания-знания и понимания-мнения, толкование когнитивных междометий умещается в прокрустово ложе инварианта ‘теперь я знаю это’ как ввиду различий между типами понимания, так и вследствие интонационных и фонационных особенностей, без которых конкретные значения когнитивных междометий невозможно представить. Результаты анализа могут быть обобщены и использованы при лексикографическом описании когнитивных междометий.

АГА.

— Передает возглас удовлетворения при достижении результата деятельности, получении необходимой информации. ▼ «Так-так, — произнес Кибрик. — Интересно, кто выпускает эту газету? **Ага**, вот и фамилия редактора: Сорока-Белобока» (Л. Сапожников. Митя Метелкин в Стране Синих роз).

— Передает возглас эмоционального вывода, умозаключения. ▼ «Ему нужно в субботу в Петербург ехать». — «Вот как! — сказал протяжно фон-Корен. — **Ага**... Понимаем» (А. Чехов. Дуэль).

— Передает злорадный выкрик осознания превосходства над оппонентом. ▼ — Вот мне пятьдесят лет, а у меня все зубы целы. — А в сто лет у тебя тоже все зубы будут целы?.. **Ага!** То-то, брат. Два века не проживешь (П. Романов. Русская душа).

— Передает возглас разочарования при оценивании полученной информации. ▼ «Учителя вкратце пересказывали затронутые вами темы и идейно-художественное содержание». — «**Ага!** — понял я разочарованно. — Вы мои книги проходили, но читать их запрещено, как и раньше» (В. Войнович. Москва 2042).

— Передает возглас интереса к истинности возникшей гипотезы. ▼ — В представляемых планах мистер Роллинг пока видит одни расходы. Но эквивалента, то есть дохода от диверсий против большевиков, к

сожалению, не указывается. ⟨…⟩ Генерал, как орел, из-под бровей уперся глазами в секретаря. — «**Ага!** Значит, указать также эквивалент?» (А. Толстой. Гиперболоид инженера Гарина).

А.

— Передает возглас удовлетворения при достижении результата в деятельности, получении необходимой информации. ▼ «А меня выгнали», — сказал я Розе. — «А за что?» — спросила Роза. — «За то, что я ничего не делал...» — «**А**...» (В. Токарева. Пираты в далеких морях).

— Передает возбужденный вскрик при озарении, неожиданном обретении недостающей информации. ▼ «**А!** — закричал Клепка и хлопнул себя ладонью по лбу. — Знаю! Это Карает!» (Н. Носов. Незнайка в Солнечном городе).

— Передает возглас эмоционального вывода, умозаключения. ▼ «Сравнивая известное и хорошо изученное явление с отражением этого явления в творчестве этой личности, мы можем многое узнать о психическом аппарате, перерабатывающем информацию» ⟨…⟩. — «А Вам не кажется, что это звучит оскорбительно?» — сказал Виктор. Зурзмансор, странно покривив лицо, посмотрел на него: «**А**, понимаю, — сказал он. — Творец, а не подопытный кролик...» (А. и Б. Стругацкие. Гадкие лебеди).

— Передает возглас разочарования при оценке полученной информации. ▼ «А вы... вы их не расстреливали? Сами, конечно?» — «Нет, не расстреливал», — ответил он несколько насмешливо. «**Аа!** — разочарованно протянула она. — А я думала почему-то, что вы сами» (А. Голиков. В дни поражений и побед).

— Передает злорадный выкрик осознания превосходства над оппонентом. ▼ Ты его порешь, а он просит и молит ⟨…⟩. Ее около поставить и смотреть, как у ней на лице: «Ну что, матушка? **Ааа**... то-то!» (А. Чехов. Трифон).

— Передает возглас интереса к истинности возникшей гипотезы. ▼ Тихон Ильич орал еще неистовее, стараясь заглушить шорника: — **А-а!** Вот как! Навострился, бродяга, у агитаторов? Насобачился? (И. Бунин. Деревня).

— Передает стон сдерживаемой ярости при обнаружении «предательства». ▼ «А ху-ху не хо-хо, бабуленька?» — «**А-а**, — зловеще протянула Баба-Яга, — теперь я поняла, с кем имею дело; симулянт, проходимец... тип» (В. Шукшин. До третьих петухов).

О.

— Передает возбужденный вскрик при озарении, неожиданном обретении недостающей информации. ▼ А из тумана выходит кто-то очень знакомый, Ахиллес не Ахиллес, но очень знакомый. **О!** теперь узнал: это понтийский царь Митридат (В. Ерофеев. Москва — Петушки).

— Передает возглас сильного впечатления при интерпретации полученной информации. ▼ И отчего это он так напряжен? Губы плотно сжаты, не сводит глаз с извозчика. **О**, да в этом омуте, кажется, черти водятся! (Б. Акунин. Алмазная колесница).

Э, ЭГЕ.

— Передает возглас эмоционального вывода, умозаключения из чего-либо неявного, спрятанного. ▼ — Что это у нас все в ножки да в ножки, — вдруг пробурчал Елагин. «**Э**, да он молодец», — подумал я (М. Булгаков. Театральный роман); Я думал, они пригласили вас в каких-нибудь других видах. — **Эге!** Да вы-таки совсем не так просты, как вас рекомендуют! (Ф. М. Достоевский. Идиот).

— Передает возглас интереса к истинности возникшей гипотезы. ▼ **Эге,** матушка, *да не пьяна ли ты?* Нет, пила лишь воду, съела мороженое и два апельсина, угощал Рафик в буфете, но, в самом деле, она как будто пьяна. Потому что все замечательно удалось (Ю. Трифонов. Предварительные итоги).

ТАК.

— Передает возглас удовлетворения при достижении результата в деятельности, получении необходимой информации. ▼ Ланцелот. Сколько у него голов? Кот. Три. ⟨…⟩ Ланцелот. **Так**. Представляю себе. Рост? (Е. Шварц. Дракон).

— Передает возглас сильного впечатления при интерпретации полученной информации. ▼ — Я могу любить только честного человека! Узнай я, что ты натворил хоть сотую долю того, что сделал Трамб, я... мигом! Adieu тогда! — **Тэк**... Гм... Какая ты у меня... А я и не знал... Хе-хе-хе... (А. Чехов. Ушла).

Выделение когнитивных междометий в особую группу имеет рациональные основания. Когнитивные междометия являются эмоциональными реакциями на понимание, осознание чего-либо. Виды понимания и их особенности влияют на выбор междометных восклицаний, их интонационные и фонационные характеристики. Акт осознания вызывает у субъекта удовлетворенное успокоение, возбуждение, злорадство, разочарование, сдерживаемую ярость, интерес и сильное впечатление. Адекватное описание когнитивных эмоций без учета их эмоциональной составляющей представляется невозможным.

Литература

Бюлер 1993 — К. Бюлер. Теория языка. М., 1993.

Вежбицкая 1996 — А. Вежбицкая. Русский язык // Язык, культура, познание. М., 1996. С. 33–88.

Говорухо 2007 — Р. А. Говорухо. Лишние глаголы в итальянском языке — риторика или грамматика? // Скрытые смыслы в языке и коммуникации. М., 2007. С. 72–84.

Григорьева, Григорьев, Крейдлин 2001 — С. А. Григорьева, Н. В. Григорьев, Г. Е. Крейдлин. Словарь языка русских жестов. М.; Вена, 2001.

Добрушина 1995 — Н. Р. Добрушина. Словарное представление междометий // Русистика сегодня 1995. № 2. С. 47–66.

Зализняк 1992а — Анна А. Зализняк. Контролируемость ситуации в языке и в жизни // Логический анализ языка: Модели действия. М., 1992. С. 138–145.

Зализняк 1992б — Анна А. Зализняк. Исследования по семантике предикатов внутреннего состояния. München, 1992.

Иомдин 2003 — Б. Л. Иомдин. Семантика понимания: лексикографический портрет глагола *понимать* // Труды междунар. конф. Диалог 2003. Протвино, 2003. С. 210–215.

Иомдин 2006 — Б. Л. Иомдин. Междометия догадки // Языковая картина мира и системная лексикография. М., 2006. С. 604–612.

Кобозева, Захаров 2007 — И. М. Кобозева, Л. М. Захаров. «Как много в этом звуке...» (просодико-семантические варианты русского междометия А) // Лингвистическая полифония. М., 2007. С. 609–627.

Ожегов, Шведова 1995 — С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. М., 1995.

ОЯ 1972 — Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972.

ССРЛЯ 1991 — Словарь современного русского литературного языка (неоконченный). Т. 1. СПб., 1991.

СТСРЯ 2001 — Современный толковый словарь русского языка. СПб., 2001.

ТСРЯ 2007 — Толковый словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 2007.

Шаронов 2002 — И. А. Шаронов. «Удивительная» эмоция // Московский лингвистический журнал. Т. 6. 2002. № 1. С. 81–105.

Шаронов 2005 — И. А. Шаронов. А и АГА. Проблемы описания когнитивных междометий // Понимание в коммуникации: Тез. докл. Междунар. науч. конф. (28 февраля — 1 марта 2005 г., Москва). М., 2005.

Шаронов 2006 — И. А. Шаронов. Проблемы когнитивного анализа междометий // Вторая междунар. конф. по когнитивной науке: Тез. докл.: В 2 т. СПб., 2006. Т. 2. С. 550–552.

Шатуновский 1989 — И. Б. Шатуновский. Пропозициональные установки: воля и желание // Логический анализ языка: Проблемы прагматических и пропозициональных контекстов. М., 1989. С. 155–186.

Ameka 1992 — F. Ameka. Interjections: The universal yet neglected part of speech // Journal of Pragmatics. 18. North-Holland, 1992. P. 101–118.

Wierzbicka 1991 — A. Wierzbicka. Cross-Cultural Pragmatics. The Semantics of Human Interaction. Berlin; N. Y., 1991. (Trends in Linguistics. Studies and Monographs 53.)

Wierzbicka 2003 — A. Wierzbicka. Volitive interjections. Cognitive interjections // Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction. Australian National University, 2003. P. 292–301; 302–337.

Н. Е. ПЕТРОВА

ОТГЛАГОЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ НА *-М-* И СТРАДАТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ: ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Проблема отглагольных прилагательных на *-м-* и страдательных причастий настоящего времени имеет очень давнюю историю и отражена в достаточно обширной научной литературе. Подробно изучены закономерности образования указанных прилагательных и причастий, отмечены формальные и семантические отличия между ними, осуществлена их «демаркация» в синхронической дериватологии, при этом «причастный» и адъективный суффиксы *-ем-*/*-им-* квалифицируются как омонимичные форманты. В то же время проблема соотношения прилагательных с этими суффиксами, страдательных причастий настоящего времени и адъективированных страдательных причастий остро встает перед исследователем (и преподавателем-лингвистом), когда приходится анализировать конкретные речевые факты и привычные, стереотипные объяснения («это не причастие, т. к. образовано от непереходного глагола» или «оно не может быть причастием, т. к. суффикс настоящего времени не присоединяется к основе сов. вида», «это прилагательное, т. к. образует превосходную степень») оказываются недостаточными, чтобы понять суть явления. Кроме того, нам кажется не совсем соответствующим действительности тезис[1] о том, что страдательные причастия настоящего времени слабо адъективируются. Эти соображения обусловливают актуальность проблематики данной статьи. В своих рассуждениях мы будем исходить из того, что прилагатель-

[1] Ср.: «Особенно далеко зашел процесс окачествления страдательных причастий. При этом причастия на *-нный* и *-тый* гораздо больше поддаются качественным изменениям и гораздо ближе к прилагательным, чем причастия настоящего времени на *-мый*. ⟨…⟩ Вообще же причастия на *-мый* представляют собой такой морфологический тип, в котором категория действия-состояния явно преобладает над оттенками качественной оценки и даже качественного состояния» [Виноградов 1972: 225—226]; «Однако страдательные причастия настоящего времени адъективируются значительно слабее, чем причастия прошедшего времени» [Чернега 2006: 120]; см. также [Иванова 1962: 7].

Русский язык в научном освещении. № 2 (16). 2008. С. 89—109.

ные на *-м-* и страдательные причастия являются «родственными» классами слов, объединенными общим формантом, который в одном случае выполняет чисто грамматическую функцию, а в другом — «грамматико-деривационную». Близость грамматического и деривационного классов слов исторически обусловлена тем, что «регулярная оппозиция „транзитивный глагол / пассивное причастие“ складывалась на основе весьма продуктивной словообразовательной модели „глагол → отглагольное прилагательное“, в процессе грамматикализации транзитивности приобретавшей залоговый статус…» [Крысько 2006: 419–420].

Отглагольные прилагательные на *-м-* с точки зрения закономерностей их образования, а также в связи с адъективацией причастий настоящего времени были подробно описаны в ряде работ В. Ф. Ивановой [Иванова 1955; 1958; 1959], см. там же ссылки на работы других исследователей. Было показано, что в современном русском языке данные прилагательные образуются от глаголов следующих типов:

1) переходных глаголов несовершенного вида (*несгибаемый*, *неизрекаемый*, *неприемлемый*, *неразрываемый*, *незабываемый*, *несмываемый*, *неоправдываемый*, *неописуемый*, *несвязуемый*, *угадываемый*, *стеклуемый*, *согласуемый*, *непереводимый*, *проводимый*, *невидимый*, *незримый*, *неслышимый*, *терпимый*, *нетерпимый*);

2) переходных глаголов совершенного вида (*непоправимый*, *непримиримый*, *несокрушимый*, *неотблагодаримый*, *неизносимый*, *неистолкуемый*, *неминуемый*, *неудержимый*, *нестерпимый*, *необозримый*, *неисчерпаемый*, *неодолимый*, *непоколебимый*, *недостижимый*, *непоборимый*, *непреоборимый*);

3) непереходных глаголов несовершенного вида (*несгораемый*, *неумолкаемый*, *неугасаемый*, *неувядаемый*, *независимый*, *значимый*), см. указ. соч. и [РГ: 295, 316–317].

Наиболее отчетливо страдательным причастиям настоящего времени противопоставлены прилагательные третьей группы, поскольку значение непереходности исходного глагола препятствует образованию на его базе страдательного причастия. Прилагательные этой группы обозначают признак такого предмета, который является не объектом, а субъектом действия (состояния), называемого непереходным глаголом, и синонимичны активным причастиям, ср.: *несгораемый — несгорающий*, *неумолкаемый — неумолкающий*, *неугасаемый — неугасающий*, *неувядаемый — неувядающий*, *независимый — не зависящий*, *значимый — значащий*. В то же время, хотя В. Ф. Иванова утверждает, что прилагательные на *-м-* «свободно образуются как от переходных, так и от непереходных глаголов совершенного и несовершенного вида» [Иванова 1955: 83], нельзя не заметить, что данная группа малочисленна и практически не пополняется новыми образованиями. Очевидно, этому препятствует противоречивость семантики непереходности и семантики страдательности, типичной для суффикса *-ем-/-им-*, так что в этом плане обнаруживается скорее сходство в образовании указанных прилагательных и страдательных причастий.

Синонимия прилагательных на *-м-*, образованных от непереходных глаголов, и активных причастий, на которую указывают исследователи [Лопатин 1966: 40], бесспорно есть и доказывается их взаимозаменимостью (чередуемостью) в контекстах [Иванова 1962: 24–25]. Однако, на наш взгляд, они отличаются способом концептуализации соответствующего признака предмета. Так, часть прилагательных с суффиксом *-м-*, в отличие от адъективированных активных причастий, через свою внутреннюю форму подчеркивают каузированность того действия, которое обозначено мотивирующими глаголами, т. е. его обусловленность внешним воздействием. Например, *несгораемый шкаф* — это такой шкаф, который не просто не горит, но который *нельзя заставить гореть*; *неувядаемая слава, красота* — это слава, красота, не подверженные тому, что *заставляет увядать* (времени, например); *неумолкаемый шум* — это шум, который нельзя прекратить (нельзя *заставить умолкнуть* источник шума); *неиссякаемые запасы* — это такие запасы, которые *невозможно исчерпать*; *значимое событие* — это такое событие, которому *приписывается* особое значение. Таким образом, признак, обозначаемый подобными прилагательными, ассоциируется прежде всего со способностью предмета сопротивляться внешнему воздействию или подвергаться ему. В паре синонимов *зависимый — зависящий* идея такой связи с внешним субъектом (обстоятельством), при которой определяемый предмет испытывает на себе влияние последнего, сильнее выражена в первой форме, поскольку смысл ‘влияние извне’ не только выражен лексическим значением слова, но и подкреплен тем представлением о страдательных отношениях, которое ассоциативно связано с суффиксом *-им*.

Своего рода переходную ступень между этой группой и остальными двумя составляют прилагательные, образованные от косвенно-переходных глаголов: *неподражаемый*, *невредимый*, *необитаемый.* Сам факт образования «страдательной» формы на *-м-* от «непрямопереходного» глагола еще не может быть основанием для того, чтобы отнести ее к прилагательным, как это сделано, например, в [Калакуцкая 1971]. Для иллюстрации справедливой мысли о том, что говорящие нередко воспринимают отглагольные прилагательные как причастия, Л. П. Калакуцкая приводит следующий пример: — *Эх, сидел бы я в министерстве, я бы на тебя наложил строжайшее взыскание! — Это за что же? — с улыбкой спрашивает льстимый товарищ* (*простите нам новоизобретенное причастие*) (В. Ардов. Практические советы начинающему подхалиму). Комментируя этот пример, Л. П. Калакуцкая замечает: «Ардов уверен, что прилагательное *льстимый*, образованное от непереходного глагола *льстить*, является причастием» [Калакуцкая 1971: 164]. Однако это слово действительно является страдательным причастием, поскольку выражает значение актуального действия, направленного на объект со стороны внешнего субъекта действия. Отсутствие творительного субъекта компенсируется тем, что производитель действия известен из контекста — им является автор первой ре-

плики, так что оппозиция активной и пассивной конструкции здесь налицо, ср.: *он льстит товарищу — льстимый* (*им*) *товарищ.* Известно, что страдательные причастия могут возникать на базе непереходных глаголов в том случае, если глагол обозначает действие, так или иначе связанное с объектом (т. е. может быть определен как косвенно-переходный). Особенно убедительны в этом отношении примеры с творительным субъекта:

Княжна Марья ⟨…⟩ *сопутствуемая кормилицей с маленьким князем Николаем (как звал его дед) входила в кабинет отца* (Л. Толстой. Война и мир); *Дождь лил ливмя, и Ростов с покровительствуемым им молодым офицером Ильиным сидел под огороженным на скорую руку шалашиком* (Там же); *Он галопом поехал по направлению к Ковно, предшествуемый замиравшими от счастья, восторженными гвардейцами* (Там же); *…только этим путем могла погибнуть восьмисоттысячная, лучшая в мире и предводительствуемая лучшим полководцем армия…* (Там же); *И мне не пришло тогда в голову, что он сможет при моей настойчивости поведать хоть что-то о той жизни, к которой я, помыкаемый безвременьем дороги, приближался вместе с ним* (Н. Кононов. Нежный театр // Новый мир. 2004. № 7); *Потому бесправный и пренебрегаемый «обществом», лишенный силы духа за отсутствием упражнений в этом, отученный принимать самостоятельные решения народ перестал видеть себя в Истории своего Отечества* (В. Сиротин. Инородное дело // Лит. газ. 2004. № 41); *Гласность, когда-то нами лишь мечтаемая, — и вот начинает осуществляться?* (А. Солженицын. Угодило зернышко… // Новый мир. 2003. № 11).

Аналогичным образом в речи могут образовываться и «страдательные» адъективные формы на *-м-*, включающие в себя семантику модальной оценки действия. Так, при объяснении условий правильного оформления электронного письма говорящий использует форму *отвечаемое*, которая мотивируется косвенно-переходным значением глагола *отвечать*: *Письмо становится отвечаемым*, где *отвечаемое* — ‘такое, на которое можно получить ответ’. В семантике данного образования, как и в семантике узуальных слов *неподражаемый*, *необитаемый*, *угрожаемый*, присутствует «страдательность», которая усиливает сходство прилагательных этого типа с причастиями. Нельзя исключить того, что именно эта аналогия лежит в основе необычного употребления узуальных прилагательных в пассивных конструкциях с твор. субъекта, например: *Иудейская пустыня — это целая страна, неуклонно спускающаяся до самой Иорданской долины, холмы, перевалы…, обитаемые только змеями, куропатками* (И. Бунин. Весной в Иудее); *Она осталась там, где была — «у моря, где лазурная пена»… где под плеск волны всем белым и нежным, вечным, как соль, снится придуманный дольний мир, обитаемый смертными нами* (Т. Толстая. Лилит); *Сергей Тимофеевич Аксаков на шестом десятке, угрожаемый слепотой, открылся дивным мастером прозы…* (Ю. Нагибин. Сергей Тимофеевич Аксаков).

Наиболее сложную проблему для различения прилагательного и причастия представляют формы первой группы. Структура этих девербативов соответствует закономерностям образования страдательных причастий настоящего времени, при том что в семантике этих прилагательных наличествует очевидный адъективный сдвиг, как правило, связанный с формированием модальной семы — оценки действия как возможного или невозможного. В связи с этим возникает ряд проблем, касающихся определения частеречного статуса форм, содержащих основу несов. вида и суффикс *-м-*, а также способа образования прилагательных данной структуры. Представляется возможным выделить два основных подхода к решению указанных проблем.

Первый представлен в работах В. Ф. Ивановой, В. В. Лопатина, В. В. Шигурова, Грамматике-80 и других. Так, В. Ф. Иванова разделяет два случая: образование прилагательного непосредственно от глагола (при наличии омонимичного причастия) и адъективацию страдательного причастия настоящего времени [Иванова 1962: 3]. Критерием, на основании которого проводится данное различие, служит наличие или отсутствие в форме модальной семантики. Например, *незабываемый, изменяемый* будут отглагольными прилагательными, образованными по префиксально-суффиксальной или суффиксальной модели, поскольку в их семантике есть компонент ‘можно / нельзя, невозможно’, ср.: *незабываемый* — ‘такой, который невозможно забыть’, *изменяемый* — ‘такой, который можно изменить’. Напротив, образованные по этой же модели формы у*важаемый*, *воображаемый*, *предполагаемый*, *подозреваемый* будут адъективированными причастиями, поскольку в их семантике это смысловое наращение отсутствует [Там же: 14—15]. Кроме того, В. Ф. Иванова относит к адъективированным причастиям такие формы на *-м-*, которые развивают качественность на основе результативного значения исходных причастий и «становятся прилагательными в силу того, что могут указывать на действия, периодически продолжающиеся и заканчивающиеся определенными, не исчезающими и по прекращении действия результатами» [Там же: 15]: *простреливаемый район*, *затопляемые* (*затапливаемые*) *места, орошаемое земледелие.* Однако это значение, как можно заметить, достаточно легко трансформируется в значение ‘может подвергнуться действию, названному исходным глаголом’, содержащее в себе модальный компонент. Так, приводимый В. Ф. Ивановой пример, *Мы хоронили убитых в непростреливаемых, мертвых пространствах наших высот* [Там же: 16], вполне допускает трактовку формы *непростреливаемые* как ‘такие, которые не могут простреливаться’, т. е. недоступные для простреливания, на этот смысл указывает и определение *мертвые* (*пространства*). Точно так же *затапливаемые места* могут осмысливаться не только как места, которые регулярно (однако не обязательно всегда) затапливаются, но и как места, которые потенциально могут стать объектом затопления. Видимо, значение периодически повторяющегося действия является средством концептуализации такого призна-

ка предмета, который обусловливает принципиальную **возможность** подвергнуться этому действию. Таким образом, семантическая грань между собственно отглагольными прилагательными и адъективированными страдательными причастиями размывается.

Позиция, обоснованная (со ссылкой на мнения и выводы других лингвистов) в работах В. Ф. Ивановой, получила широкое распространение в позднейших грамматических исследованиях. Так, в [Шигуров 1993] выделяются прилагательные на *-м-*, «не связанные с причастиями по происхождению», в частности те, которые «имеют параллельные формы причастий настоящего времени, ср.: 1) *неизменяемое слово* (≈ *слово, которое не может изменяться*) и 2) (пока) *не изменяемое* (учеником) *слово* (≈ *слово, которое ученик пока не изменяет*). Отличительным признаком прилагательных на *-мый* служит легкая возможность образования от них кратких форм: *неизлечимая болезнь — болезнь неизлечима.* „Не-“ является приставкой» [Там же: 328—329]. Как видно, В. В. Шигуров ориентируется на дополнительные различающие причастие и прилагательное признаки грамматического и логико-семантического характера. В работе В. В. Лопатина, посвященной словообразовательным аспектам адъективации причастий [Лопатин 1966], в качестве основного семантического отличия прилагательных на *-м-* от причастий также отмечена модальная оценка действия, которая заменяет значение актуального/узуального действия. Однако В. В. Лопатин обращает внимание и на другой аспект дифференциации омонимичных форм: страдательные причастия настоящего времени сохраняют значение несовершенного вида (общего для глагольной лексемы), тогда как образования типа *незабываемый*, *непереводимый*, *неузнаваемый* и под. «обычно отражают грамматическое значение совершенного вида: например *несгибаемый* — это такой, который нельзя согнуть…» [Там же: 39]. В отличие от них, адъективированные страдательные причастия настоящего времени мотивируются узуальным значением глаголов несовершенного вида, ср.: *посещаемое место — ‘то, которое обычно (часто) посещают’, рекомендуемая литература — ‘та, которую обычно рекомендуют’, нескрываемый ужас — ‘такой, который не скрывают’* и в определенном контексте *‘такой, который невозможно скрыть (скрывать)’*. Второе возможное значение адъективированного причастия (‘способный или не способный подвергнуться какому-либо действию’) делает его почти неотличимым от прилагательного типа *незабываемый.* Однако разница есть, и В. В. Лопатин видит ее в том, что при адъективации причастия формирование указанного модального оттенка возможно, но необязательно, тогда как у отглагольных прилагательных на *-м-* это «основное словообразовательное значение типа» [Там же: 44].

Предложенный В. В. Лопатиным принцип различения отглагольных прилагательных на *-м-*, являющихся результатом морфемной деривации, и адъективированных причастий отражен в Грамматике-80, где выделены словообразовательные типы суффиксальных и префиксально-суффиксаль-

ных прилагательных на *-м-*, выражающих словообразовательное значение «способный подвергнуться действию, названному мотивирующим словом, или (редко) произвести это действие: *ощутимый, применимый, допустимый, выполнимый, изменяемый, обтекаемый, осязаемый…*» [РГ: 295], а также «неспособный совершить действие, названное мотивирующим словом, или подвергнуться этому действию: *невозвратимый*, *невыносимый*, *незабываемый*, *неизгладимый…*» [РГ: 316]. Приведенный в цитатах иллюстративный материал свидетельствует о том, что в число производных отглагольных прилагательных входят образования от переходных основ несов. вида, омонимичные страдательным причастиям настоящего времени.

Итак, согласно рассмотренной точке зрения, девербатив с суффиксами *-ем-/-им-* является прилагательным, если в его семантике есть значение возможности или невозможности результативного действия. Тогда морфемное образование отглагольных прилагательных на *-м-* следует признать таким же регулярным явлением, как и образование страдательных причастий (фактически, если от глагола можно образовать страдательное причастие настоящего времени, то почти всегда так же успешно можно образовать и омонимичное прилагательное — чаще с *не-*, но по мере надобности и без *не-*). Широка и область использования этих прилагательных — художественная речь, публицистика, научные тексты. Адъективация же страдательных причастий настоящего времени представляет собой более редкое явление, которое происходит в том случае, если причастие употребляется без творительного субъекта и значение его можно интерпретировать как «подвергающийся какому-либо действию», с возможным оттенком «способный подвергнуться действию». Особенно распространены адъективированные причастия на *-м-* в области терминологии [Лопатин 1966: 45].

Иной взгляд на образования типа *изменяемый*, *осязаемый*, *незабываемый* представлен в [Калакуцкая 1971][2]. К прилагательным, образованным с помощью суффикса *-м-* непосредственно от глагольной основы, Л. П. Калакуцкая относит только слова, соотносящиеся с глаголами сов. вида переходными или глаголами несов. вида, но непереходными, т. е. формы типа *неистребимый*, *возблагодаримый*, *непромокаемый* [Калакуцкая 1971: 163]. Образования же от основ переходных глаголов несов. вида (*изменяемый*, *осязаемый*, *незабываемый*), по ее мнению, являются страдательными при-

[2] В ряде специальных работ, посвященных адъективации причастий, вопрос о дифференциации производных прилагательных на *-м-* и омонимичных страдательных причастий настоящего времени, в том числе и адъективированных, не рассматривается. Так, И. А. Краснов полагает, что адъективация страдательных причастий на *-м-* — явление относительно редкое, представленное в основном в сфере терминологии. Разделяя позицию В. Ф. Ивановой относительно образований от основ сов. вида, И. А. Краснов не высказывает определенного мнения по поводу слов типа *незабываемый*, *считаемый*, выражающих модальную оценку действия [Краснов 1957: 22—23], см. также [Лукин 1978: 33—36].

частиями, которые могут испытывать процесс адъективации. Интересно, что Л. П. Калакуцкая оставляет в стороне вопрос о семантическом модальном «наращении», которое, согласно первой рассмотренной нами научной позиции, составляет кардинальное отличие прилагательных от омонимичных страдательных причастий настоящего времени. Основное внимание исследователь сосредоточивает на категории залога как движущей силе адъективации: ослабление оппозиции между активным и пассивным действием — вот что приводит к развитию качественной семантики у причастных форм. Ослабление же залоговой семантики Л. П. Калакуцкая связывает, во-первых (и «в-главных»), с лексическим значением глагола (тенденцию к нейтрализации залоговой оппозиции проявляют глаголы, обозначающие не «конкретное действие», а состояние или свойство предмета), а во-вторых, с утратой способности управлять творительным субъекта (это показатель ослабления пассивной семантики) [Калакуцкая 1971: 152—153]. При таком подходе многие из тех форм, которые выше квалифицировались как отглагольные прилагательные, попадают в разряд даже не адъективированных страдательных причастий. Например, Л. П. Калакуцкая считает таковыми выделенные формы в следующих примерах: *...кожа на его невыбриваемом лице сморщилась больше прежнего и пожелтела*; *Лодка оказалась прочной, водонепроницаемой, непотопляемой, простой и легкой на плаву*; *…следовательно, могут быть использованы для обозначения и одного и нескольких объектов, и объектов несчитаемых*, — включая также терминологизированные *нерегулируемый калибр*, *неотвинчиваемая гайка*, *несжимаемая жидкость*, *несмачиваемая деталь*, *неувлажняемая почва* и т. д. [Там же: 157]. «В таких причастиях частица *не-*, отрицая конкретное действие, выраженное глагольной основой причастия, выполняет при нем ту же функцию, что и при глаголе, и поэтому не способствует переходу этих причастий в прилагательные» [Там же: 157—158]. Образования же, подобные таким, как *уважаемый*, *обожаемый*, *невыносимый* (*ужас*), *незабываемый*, *неузнаваемый*, *немыслимый*, относятся исследователем к адъективированным причастиям, причем в них «*не-* скорее выполняет другую роль, роль неграмматикализованной приставки, сближающей причастия с прилагательными» [Там же: 158]. Таким образом, с позиции, обоснованной Л. П. Калакуцкой, все отглагольные образования на *-м-* с переходной основой несов. вида являются страдательными причастиями настоящего времени, часть которых, мотивированная глаголами со значением состояния или свойства предмета, способна адъективироваться в том случае, если действие абстрагируется от субъекта (не реализуется валентность на творительный субъекта).

Полагаем, что при решении вопроса о дифференциации страдательных причастий настоящего времени и омонимичных им прилагательных следует еще раз обратить внимание на соотношение указанных образований с видовым значением мотивирующего глагола, а также на условия формирования в них модальной семантики.

Вернемся к тому факту, что слова, содержащие основу несов. вида (*незабываемый*, *несгибаемый*, *неделимый*), семантически мотивируются глаголами сов. вида. Действительно, модальная оценка возможности/невозможности в адъективных (или адъективированных) формах на *-м-* относится не к факту наличия действия, а к его результативности. Семантика же результата эксплицирована в глаголах совершенного вида, поэтому при толковании значения указанных прилагательных естественным образом используется этот член видовой пары. В то же время установлено, что глагол несовершенного вида способен выражать не просто результативное значение, но результативное значение, осложненное модальной семантикой, правда, для экспликации этого значения требуется поддержка определенного контекста. Это, например, характеризующие суждения типа: *Он забывает* (= может забыть) *имена*, *Предательство сгибает* (= может согнуть) *и сильного.* К таким контекстам относятся и типичные тексты объявлений: *Опытный специалист переводит* (= может перевести) *тексты с английского*, *Оформляю* (= могу оформить) *загранпаспорт за две недели*, — где глаголы несов. вида выражают такое же результативное действие, что и корреляты совершенного вида. Логично предположить, что девербативы на *-м-* с основой несов. вида семантически мотивируются именно этой, контекстно обусловленной, разновидностью видового значения, но в дефиниции значения девербатива глагол несов. вида часто неудобен, т. к. принятый в такого рода перифразах минимальный контекст не позволяет с помощью этого глагола эксплицировать семантику результата.

Синонимия глаголов сов. и несов. вида отражается и в синонимии образований на *-м-*: *концептуальные основания отдельных ЧР* <u>*неустранимы*</u>*,* <u>*неооторгаемы*</u> (Е. С. Кубрякова. Семантика и функции словообразовательных процессов); *если же считать, что значение слова — нечто* <u>*неделимое*</u>*,* <u>*неопределяемое*</u>*,* <u>*неощутимое*</u>*, аморфное, то тем самым отрицается способность лингвистики анализировать…* (Р. Т. Кияк. Мотивированность лексических единиц). Выделенные слова содержат основы как сов., так и несов. вида, но все они в равной мере выражают значение невозможности результативного действия и, в сущности, синонимичны своим видовым коррелятам, ср.: *неустранимы — неустраняемы*, *неотторжимы — неотторгаемы*, *неразделимое — неделимое*, *неопределимое — неопределяемое*, *неощутимое — неощущаемое*. Разница заключается лишь в том, что основа сов. вида выражает результативность, осложненную модальной оценкой, эксплицитно, вне контекста, тогда как основа несов. вида просто не препятствует формированию такой же семантики в подходящем контексте. Например, выражение *устраняемые недостатки кожи* может интерпретироваться двояко: ‘недостатки кожи, которые устраняют (= пытаются устранить)’ и ‘недостатки кожи, которые можно устранить (= незначительные)’. Первой интерпретации соответствует значение причастия, второй — значение прилагательного. Выражение же *устранимые недостатки кожи* допускает только одну интерпретацию — ‘недостатки кожи, которые можно устранить’.

Теперь рассмотрим условия формирования модальной семантики рассматриваемых форм в контексте. Прежде всего подчеркнем, что смысл «мочь» является фундаментальным для потенциального значения русского глагола [Апресян 1999: 45], а значение потенциального действия является одним из значений, свойственных глаголам несов. вида. Раскрывая его сущность, М. Я. Гловинская указывает на то, что оно позволяет интерпретировать действие как свойство субъекта, а именно, его «умение или способность (т. е. возможность для него. — *Н. П.*) совершить данное действие» [Гловинская 2001: 210]. Наиболее отчетливо это значение выражается формами настоящего времени: *Она говорит по-французски*; *Тренированный спортсмен поднимается на Эльбрус за два часа* [Там же: 210]. В то же время М. Я. Гловинская отмечает тот факт, что в текстах потенциальное значение обычно сочетается с узуальным, особенно эта семантическая диффузность ощутима в формах прошедшего времени: *Он мучился, обдумывая какой-нибудь житейский шаг, а Таня все решала мигом, без всяких колебаний* [Там же: 211]. Осмысление действия как потенциально возможного или невозможного для субъекта зависит от лексического значения глагола (важно, например, чтобы глагол обозначал такое действие, которое требует определенных умений, навыков, физических или интеллектуальных усилий), а также от реализации глагольной синтагматики. Так, заполнение объектных, обстоятельственных валентностей глагола (наличие так называемых «актуализаторов действия») ослабляет потенциальное и усиливает узуальное или актуально-длительное значение глагола несов. вида, ср.: *Он говорит по-французски — Он говорит с сыном по-французски*; *Ребенок ходит — Ребенок ходит носками внутрь* [Там же: 212–213]. Все эти наблюдения и выводы оказываются справедливы не только для личных форм глагола, но и для причастий, что будет показано ниже.

Итак, способность выражать модальную оценку действия сама по себе не противопоставляет причастие личным формам, а скорее свидетельствует об их парадигматической связи в составе глагольной лексемы, ср.: *Нужен человек, который читает* (= может прочесть) *по-французски — Нужен человек, читающий* (= могущий прочесть) *по-французски*; *Это стекло не бьется* (= не может разбиться) — *Это небьющееся* (= не могущее разбиться) *стекло*; *Этот текст не переводится* (= нельзя перевести) — *Этот текст непереводим* (= не может быть переведен). В то же время модальная семантика имеет различную **значимость** для личных форм глагола, с одной стороны, и для причастий, с другой. Личная форма — это грамматически сильная форма глагола благодаря своей типично «глагольной» оформленности, поэтому, как бы ни было нейтрализовано в личной форме значение актуального времени, какой бы характеризующей качественностью эти формы ни наполнялись, личная форма остается формой глагола и не транспонируется в другую часть речи. Другое дело причастие, которое не только обозначает признак предмета (что, с логической точки зрения, возможно и для глагола), но и грамматически оформлено как имя прилага-

тельное. Нейтрализация временной (актуальной или узуальной) семантики и формирование модального компонента в значении причастия сразу создает почву для развития качественности. Можно сказать, что значение потенциально возможного или невозможного действия — это знак, **внутренняя форма**, качественного (адъективного) значения причастия.

«Страдательный вариант» причастия оказывается особенно благоприятным для адъективной трансформации семантики, осложненной модальным значением. Страдательное причастие (в отличие от действительного) неразрывно связано с существительным, обозначающим объект действия, тогда как форма субъекта действия оказывается факультативной. Коммуникативный ранг [Плунгян 2003: 200] агенса в конструкциях со страдательным причастием понижается настолько, что он (агенс) может быть и часто бывает нулевым, т. е. невыраженным. «Разрыв» с субъектом действия обусловливает тот факт, что модальное значение вместо временного закономерным образом развивается на базе страдательного причастия настоящего времени и служит указанием на некое внутреннее свойство объекта, каузирующее возможность или невозможность воздействия на этот объект, ср.: (*не*)*смываемое пятно* — ‘то, которое можно (нельзя) смыть = (не)устойчивое’; *решаемая задача* — ‘та, которую можно решить = посильная’; *продаваемый товар* — ‘тот, который можно продать = востребованный’; *читаемый текст* — ‘такой, который можно прочитать = пригодный для чтения’. Существенную роль в адъективации играет и суффикс настоящего времени, потому что в системе глагола именно представление о настоящем времени прежде всего ассоциируется с оценкой действия как потенциально возможного или невозможного. В этом плане также обнаруживается сходство с системой личных форм глагола, среди которых очень часто значение потенциального действия выражается формами пассива настоящего времени: *Ручка не разбирается*, *Стекло бьется*, *Бумага режется*. Сказанное позволяет заключить, что форма страдательного причастия настоящего времени обладает специфическим потенциалом адъективности, обусловленным присущей этой форме способностью выражать модальность. Способность же эта наследуется от глагола несов. вида и реализуется при поддержке контекста, причем нередки случаи, когда в синтаксическом окружении причастной формы оказываются маркеры как адъективной, так и глагольной семантики. Этот тезис подтверждается анализом функционирования формы страдательного причастия на *-м-* в речи.

Фактический материал показывает, что страдательная форма на *-м-* часто характеризуется в тексте той семантической диффузностью, которая свойственна в целом глагольным формам несов. вида с потенциальным значением. Ср.: *Поскольку слова ⟨…⟩ существуют именно как* <u>*воспроизводимые*</u> *(повторимые), постольку воспроизводимость (повторимость) слова вообще представляется естественным его свойством* (А. И. Смирницкий. К вопросу о слове (проблема «тождества» слова)); *За каждым из этих слов стоит некая идея, которая вдруг оказывается востребованной и по-*

тому часто *воспроизводимой* (М. Кронгауз. Русский язык на грани нервного срыва).

Форма *воспроизводимые* в первом предложении выражает адъективное значение ‘такие, которые можно воспроизвести (воспроизводить) = цельные, готовые’. Заметим, что в толковании значения легко можно употребить как глагол сов. вида, так и глагол несов. вида, поскольку глагол *воспроизводить* в данном случае означает такое действие, которое является результативным в силу своего существования (как, например, действия, обозначаемые глаголами *видеть*, *слышать*, *осязать*). Во многом указанное выше значение формируется благодаря подчеркнутой автором синонимии с прилагательным *повторимые* — ‘такие, которые можно повторить’, т. е. готовые к употреблению, цельные, поскольку речь идет о словах. Если бы не эта синонимическая связь, то интерпретация слова *воспроизводимый* могла быть близкой к адъективированному причастию — ‘такие, которые неоднократно воспроизводятся’. Именно это значение естественным образом можно приписать слову *воспроизводимой* во втором предложении. В то же время нельзя не отметить ту роль, которую в этой интерпретации играет наречие *часто*. Наряду с такими наречиями, как *иногда*, *всегда*, *обычно*, оно «работает» в пользу узуального значения глагольной формы. Но если бы говорящий употребил, например, наречие *легко*, то в этой же форме получила бы актуализацию модальная семантика, свойственная прилагательному. Таким образом, семантические оттенки, дифференцирующие «адъективное» и «адъективированное» значения страдательной формы, оказываются обусловленными одною и той же моделью образования и «выходят на поверхность» за счет средств контекста.

Приведем несколько примеров, когда страдательная форма в одном и том же употреблении допускает два толкования — по модели значения адъективированного причастия и по модели значения отглагольного прилагательного: *Следовательно, безличная конструкция — это как бы айсберг, подводная часть которого предопределяет интерпретацию* *воспринимаемой* (‘той, которую воспринимают’ и ‘той, которую можно воспринять, т. е. видимой, в отличие от невидимой «подводной» части’) *его части* (Е. В. Клобуков. О соотношении центра и периферии в функционально-семантическом поле персональности); *Я тебя ненавижу, — говорит мне муж, и я удивляюсь, что слышу* *непроизносимое* (‘то, что не произносится’ и ‘то, что нельзя произнести = запретное’). *Ведь он сомкнул зубы так, что только ножом можно было бы их разомкнуть* (Г. Щербакова. Ангел мертвого озера); *Будут ли* *принимаемы* (‘такие, которые принимаются’ и ‘такие, которые могут быть приняты = полноценные, вызывающие доверие’) *наши дипломы в странах Болонского процесса?* (устн. речь); *Самое конкретное в мире человека — это пища. Она* *видима*, *обоняема*, *осязаема*, *вкушаема* *и даже* *слышима* (‘такая, которую видят, обоняют, осязают, вкушают, слышат’ и ‘такая, которую можно видеть, обонять, осязать, вкушать, слышать = материальная’) (Л. О. Чернейко. Лингво-философский

анализ абстрактного имени); *…и эта связь была гораздо более сложной, чем… на шахматном поле, где связи были порой очень сложными, но уловляемыми* (‘такие, которые уловляются’ и ‘такие, которые можно уловить = постижимые, более или менее понятные’) (Л. Улицкая. Сын благородных родителей); *Сугубо российских, но узнаваемых* (‘такие, которые узнаются’ и ‘такие, которые можно узнать = известные, популярные’) *во всем мире брэндов — так уж получилось — существует отнюдь не много* (Н. Свояков. АиФ, 2005, № 7).

Представляется, что в «адъективирующем» контексте можно употребить форму любого страдательного причастия настоящего времени, если действие, обозначаемое глаголом, будет так или иначе связано с результатом. В. Ф. Иванова, утверждая, что «окачествленных» страдательных причастий настоящего времени немного, поскольку они «представляют собой живую и весьма устойчивую грамматическую категорию», приводит список таких, которые, по ее мнению, не поддаются адъективации: *вовлекаемый*, *возглавляемый*, *выбираемый*, *засылаемый*, *надеваемый*, *перепродаваемый* и нек. др. [Иванова 1962: 3]. Однако достаточно легко вообразить контексты, где эти причастия могли бы выражать модальную оценку действия как возможного или невозможного, т. е. адъективироваться или даже выступать в значении прилагательных, например: *выбираемый кандидат* — ‘такой, который может быть избран = перспективный’, *перепродаваемый автомобиль* — ‘такой, который можно перепродать = в хорошем состоянии’, *надеваемое платье* — ‘такое, которое можно надеть = в хорошем состоянии или подходящее для данного случая’. Сильно способствует адъективации (что отмечают все исследователи) употребление при причастии частицы-приставки *не-*. И это понятно: допущение возможности действия, направленного на предмет, предполагает и его осуществление в действительности, тогда как отрицание этой возможности является прежде всего знаком некоего особого качества предмета, которое и каузирует «отсутствие» действия, ср.: *продаваемый роман* — ‘такой, который можно продать = популярный’ и в то же время ‘такой, который продается’; *непродаваемый роман* — ‘такой который нельзя продать = плохой или запрещенный цензурой’. Следующие примеры иллюстрируют указанный эффект отрицания: *Речь идет лишь о рационально не интерпретируемых случаях, помещенных в контекст «реального» мира* (Т. Б. Радбиль. Аномалии в сфере языковой концептуализции мира); *Он был не избираем ни за какие деньги* (Ю. Латынина. Новая газета, 2005, № 40); *И чтобы рядом с ним, с Володей Бойко, не отирались бы еще с середины дня двое-трое из областного управления, в жарких неснимаемых пиджаках* (А. Кабаков. Салон); *Неубиваемых нет. Замочить можно любого. Вопрос цены* (реплика персонажа т/с «Расплата» — т/к «Россия», 20.08.2007).

Многочисленные примеры развития модального (и, как следствие, качественного) значения на базе формы страдательного причастия настоящего времени, с *не-* и без этой приставки, от глаголов состояния и глаголов

конкретного действия позволяют усомниться в том, что от одних и тех же слов образуется две омонимичные формы: одна — грамматическая (страдательное причастие настоящего времени), другая — деривационная (прилагательное), причем разница между ними проявится только при употреблении. Скорее, следует говорить об адъективации страдательных причастий настоящего времени, которая представлена в русском языке достаточно широко. Конечным результатом этого процесса является узуализация оформившегося адъективного значения, привычка носителей языка к этому значению — то есть образование имени прилагательного, для которого форма страдательного причастия настоящего времени со значением потенциального действия стала **внутренней формой**. В этом смысле, бесспорно, являются отглагольными прилагательными такие слова, как *обтекаемый* (*корпус*, *ответ*), *осязаемый* (*выигрыш*), *нетерпимый* (*поступок*), *непроходимый* (*лес*, *тупица*), *незабываемый* (*концерт*, *бал*) и др.

Причастно-адъективная гибридность образований, имеющих форму страдательного причастия настоящего времени, получает интересную манифестацию в текстах. Так, давно отмечена способность адъективированных причастий образовывать формы степеней сравнения по образцу качественных прилагательных, например: *Какая ужасная судьба и после смерти оставаться самым знаменитым, «склоняемым», «употребляемым» в репортажах, каждый год под новым соусом* (Т. Устинова. Первое правило королевы); *Приведу узнаваемые и менее узнаваемые примеры: дискурс — это «речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие»* (Л. О. Чернейко. Проблема дискурса в свете концепции внутренней формы слова, языка, речи); *Вот только возникает вопрос: если бы принц Гамлет затеял трагедию мести ради монолога «Быть или не быть?», стала бы пьеса Шекспира самым исполняемым и комментируемым произведением мира?* (М. Кудимова. …И мать их Медиа // ЛГ. 2007. № 30); *Такие алогизмы наиболее, так сказать, «проницаемы» с точки зрения возможности их рационального осмысления* (Т. Б. Радбиль. Аномалии в сфере языковой концептуализации мира).

В то же время несомненная в этом случае качественность не препятствует и реализации значения действия, которое выражается с помощью специальных маркеров: творительного субъекта, различных обстоятельственных актуализаторов и конкретизаторов действия. Например: *«Дон Кихот» Сервантеса является самой читаемой в мире книгой* (ред. ст. ЛГ. 2005. № 5); *А Улицкая, повторяю, писательница талантливая, неординарная, недаром она — один из самых переводимых на иностранные языки российских авторов* (Е. Щеглова. О спокойном достоинстве — и не только о нем // Нева. 2003. № 7); *К таким заблуждениям относится, например, тот факт, что … «Руководство для бойскаутов» — самая ежегодно продаваемая книга* (С. Пинкер. Язык как инстинкт; пер. Е. В. Кайдаловой); *Я сидел за столом, самый ненавидимый мною свет — утренний, серый — понемногу заполнял комнату…* (А. Кабаков. Последний герой).

Контексты подобного рода оказываются не чуждыми и таким устоявшимся прилагательным, как *любимый*, *нелюбимый*, современное языковое значение которых некоторые словари определяют даже без ссылки на глагол: *любимый* — ‘1. Дорогой для сердца, такой, к которому обращена любовь. 2. Такой, кто (что) больше всего нравится’ [СШ: 420]; *нелюбимый* — ‘Такой, который неприятен, не нравится, которого не любят’ [СШ: 511]. Вот характерные примеры: *Во время Великой Отечественной Клавдия Ивановна была одной из самых любимых бойцами певиц* (И. Изгаршев. Клавдия Шульженко. Как отказать сыну вождя // АиФ. 2006. № 12); *Это самая любимая детьми сказка, наверное, в силу того, что она ровным счетом ничему не учит…* (Ю. Нагибин. Волшебная сказка и сказочники); *Помедлив, чтобы перебрать кое-какие из самых любимых дядюшкой Верноном ругательств, Гарри, держась одной рукой за голову, проковылял на кухню* (Дж. Ролинг. Гарри Поттер и Дары Смерти / Пер. С. Ильина, М. Лахути, М. Сокольской); *В самой гуще толпы Гарри увидел черные сальные волосы и крючковатый нос профессора Снегга — наименее любимого им из педагогов Хогвартса* (Дж. Ролинг. Гарри Поттер и Орден Феникса; пер. В. Бабкова, В. Голышева, Л. Мотылева); *Это было их любимое с дедом издавна стихотворение Некрасова* (А. Чудаков. Ложится мгла на старые ступени // Знамя. 2000. № 11).

В случае с прилагательным *нелюбимый* интересно стабильное слитное написание с приставкой *не-* в конструкции с творительным субъекта. Это не может быть случайностью: говорящий явно хочет маркировать адъективное значение этой формы, хотя помещает ее в страдательную конструкцию, типичную для причастия: *А нелюбимый им Лев Толстой (видимо, потому и нелюбимый!) в подобных ситуациях думал о детях…* (Г. Красников. Путем распада // ЛГ. 2006. № 7—8); *Заметим, кстати, что эта свобода во многом способствовала приходу Октябрьской революции, столь нелюбимой поклонниками Февральской* (И. Фроянов. Революция для России // ЛГ. 2007. № 33—34); *Одно из самых нелюбимых мной — новое и уже вполне прижившееся приветствие «Доброй ночи!»* (М. Кронгауз. Русский язык на грани нервного срыва). Приведенные контексты со словами *любимый*, *нелюбимый* демонстрируют такое семантико-грамматическое переосмысление прилагательных, которое может быть названо термином «деадъективация», поскольку средства его выражения коррелируют со средствами выражения адъективации причастия, но манифестируют противоположно направленный процесс — движение прилагательного к причастию по шкале переходности.

Итак, дифференциация отглагольных прилагательных на *-м-* и омонимичных им причастий не может основываться только на том факте, что та или иная грамматически правильная страдательная форма развивает значение модальной оценки действия, вернее, его результата. Мы старались показать, что выражение этого значения — одно из системных свойств страдательной формы, обусловленное как типичными значениями глаголь-

ной лексемы несов. вида, так и типичными условиями их реализации в тексте. В то же время это значение играет роль внутренней формы для вторичных, уже безусловно адъективных значений, благодаря которым пополняется фонд отглагольных прилагательных русского языка.

Наконец, обратимся к прилагательным второй группы, образованным с помощью суффикса *-м-* от переходных глаголов сов. вида: *ощутимый*, *неистребимый.* Квалификация их как прилагательных мотивируется, во-первых, тем, что в норме суффикс настоящего времени не присоединяется к основе сов. вида, а во-вторых, тем, что семантика этих слов содержит регулярное семантическое наращение — оценку действия как возможного или невозможного. Указанные мотивирующие основания нуждаются в уточнении, поскольку им можно противопоставить контрдоводы. Так, в речи носителей русского языка спорадически образуются действительные причастия (*взволнующие*, *потребующийся*, *полетящий* и под. [Гловинская 2007; Корнилов 1988]), в структуре которых формант настоящего времени успешно взаимодействует с основой совершенного вида, порождая значение будущего времени подобно тому, как это происходит в системе личных форм глагола (ср.: *открываешь — откроешь*). Подобные причастия представляют собой хотя и не узуальное, но вполне системное явление и отмечаются не только в художественной литературе, интернет-чатах, но и в научной речи, когда структура высказывания такова, что говорящему неудобно использовать придаточное предложение. В связи с этим представляется недостаточным мотивировать частеречный статус слов типа *ощутимый* тем, что суффикс *-м-* «не может» присоединяться к основе сов. вида. Важно понять, чем обусловлено различие в функционировании суффиксов *-щ-* и *-м-*, почему в аналогичных условиях употребления с помощью первого порождаются причастия, а с помощью второго — прилагательные. Здесь мы не будем рассматривать этот вопрос, поскольку определенное объяснение предложено нами в [Петрова 2008]. Подчеркнем только, что считаем весьма плодотворным предложение В. А. Корнилова выделить поле «партиципиальности», ядро которого составляют причастия, а ближайшую периферию — действительные причастия будущего времени, образующиеся в речи, и страдательные формы «а) типа „взволнуемый“, также признаваемые неузуальными; б) типа „неповторимый“, „неизъяснимый“…» [Корнилов 1988: 25].

В современном русском языке прилагательные на *-м-* с основой сов. вида сохраняют «образ» страдательного причастия в своей внутренней форме (ВФ). Способ представления понятия о признаке, заключенный в структуре подавляющего большинства этих прилагательных, состоит в следующем. Мотивационным основанием номинации выступает действие, как правило, направленное на предмет — носитель признака извне (мотивирующие слова в массе своей представлены переходными глаголами). Обозначаемый признак интерпретируется как такое свойство предмета, которое обусловливает возможность или невозможность воздействия на него со стороны

внешнего субъекта. Средства контекста нередко эксплицируют эту «субъектную рамку», например: *Тяга к совершенству благородна, но эта тяга может привести и к краху, когда художник вдруг понимает, что недостижимого вновь не удалось достичь* (газ.); *Но Сандра с детства вела себя так, как хотела ее левая нога, и Медея никогда не могла понять этого непостижимого для нее закона левой ноги* (Л. Улицкая); *Влюбиться в чужую женщину, имея верную жену и тринадцать отпрысков, для достойного человека было бы поступком совершенно недопустимым* (Б. Акунин). Таким образом, суть выражаемых ВФ прилагательного отношений между производящим и производным словом (а эти отношения отражают внеязыковую связь между действием и предметом-денотатом) составляют отношения страдательности. Страдательная семантика в современном русском языке составляет одно из оснований категории залога и кодируется грамматическими средствами, в частности суффиксами *-ем-/-им-*. Именно эти суффиксы и выступают в рассматриваемых прилагательных в роли носителя одного из компонентов значения ВФ — отношения направленности действия на предмет. Исходя из сказанного, ВФ прилагательных типа *недостижимый*, *сопоставимый* можно назвать «грамматикализованной». Именно этим объясняется отмеченный Л. П. Калакуцкой эффект восприятия данных слов: «…они все, очевидно, воспринимаются на практике как страдательные причастия настоящего времени» [Калакуцкая 1971: 163]. «Грамматикализованная» ВФ прилагательных на *-м-* содержит своего рода потенциал, позволяющий говорящим расширить традиционные рамки их использования в речи путем реализации синтагматической валентности, типичной для страдательного причастия.

Наиболее ярко это проявляется в том случае, если прилагательное употребляется с творительным субъекта в конструкции, типичной для страдательного причастия, например: *Отлитые в одной матрице стандартные болванки имеют неразличимые человеком отличия* (С. Г. Павлов. «Сказка для взрослых»: «трудовая теория» как фрагмент ненаучной картины мира) (1); *Не остановимый ни воплями женщин, ни криками собственных соратников, сухоручка наконец выстрелил* (Е. Евтушенко. Не умирай прежде смерти) (2); *Однако что-то еще, и не только естественное желание жить завтра лучше, чем вчера, «витало в воздухе» и тяготило людей, необъяснимое официальными источниками информации* (Е. Андрюшенко. Общество организованного дефицита // Лит. газ. 2006. № 52) (3); *Вы можете подумать, господа, что у Мэри Райли, или Дройпер, была какая-либо вполне допустимая законом причина изменить фамилию на Хопкинс* (А. Кристи. Печальный кипарис; пер. С. Никоненко) (4); *И уж подавно видим и ощутим каждым жителем России был мир ее природы, но никто не знал, что он так многообразен, богат, манящ и пленителен…* (Ю. Нагибин. Сергей Тимофеевич Аксаков) (5). По мнению В. Ф. Ивановой, творительный деятеля не свидетельствует о причастном характере прилагательных на *-м-*, т. к. весьма ограничен круг лексем, которые могли бы эту фор-

му принять, а именно — это местоимение *никто* (известнейший пример: *Кипучая, могучая, Никем непобедимая, Страна моя, Москва моя, ты самая любимая* — В. Лебедев-Кумач). «Это местоимение является еще большим усилителем возможности действия над предметом. Только отрицательное местоимение *никем*, прямо противоположное выражению конкретно действующих лиц, и может встречаться, в силу изложенного, при прилагательных со значением невозможности действия. Такой творительный можно было бы назвать творительным устраненного деятеля» [Иванова 1958: 174—175]. Наш материал свидетельствует о гораздо более широком круге репрезентантов агенса в страдательной конструкции, образуемой прилагательным на *-м-*: в приведенных примерах субъект действия носит не всеобщий, а вполне конкретный характер, так что в ряде случаев «партиципизированные» формы даже значительно ослабляют вневременность (прим. 2, 3, 5). Действие, обозначаемое этими формами, сохраняя значение потенциально возможного, приобретает также ощутимое значение узуального или актуального действия (см. выше ссылку на [Гловинская 2001]).

В страдательных конструкциях могут выступать и адъективные формы на *-м-* с основой несов. вида, которые рассматривались нами выше (*уважаемый*, *слышимый* / *неслышимый*, *узнаваемый* / *неузнаваемый*). В этом случае происходит своего рода нейтрализация причастно-адъективной оппозиции. Употребляя творительный агенса, говорящий сигнализирует о процессуальном осмыслении указанных форм, которые, казалось бы, следует квалифицировать как страдательные причастия настоящего времени, реализующие свою глагольную синтагматику (*уважаемый всеми*, *не слышимый другими*, *не узнаваемый друзьями*). Однако в этих условиях образования с основой несовершенного вида на *-м-* могут сохранять и модальную сему, и некоторые идиоматические наращения, характерные для отглагольных прилагательных на *-м-*. Например, *узнаваемый* нередко употребляется в качественном значении ‘похожий на кого-то знакомого или что-то знакомое, так что их можно узнать в нем’: *узнаваемые герои*, *персонажи*, *узнаваемая местность* и под. Это значение сохраняется в следующем речевом употреблении данного слова, при том что синтаксическая конструкция, в которой слово фигурирует, явно свидетельствует о страдательном залоговом значении: *У многих моих героев есть прототипы. Мои герои узнаваемы не только милиционерами, но и зрителями* (А. Кивинов // Лит. газ. 2004. № 49). Иногда автор идет против общепринятых орфографических рекомендаций, чтобы актуализировать модальную семантику прилагательного в образовании, которое и по форме, и по условиям синтаксического употребления «должно быть» страдательным причастием: *Она махнула рукой — жест был Танин, невоспроизводимый никем другим* (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого); *Он не мог различить цвета его глаз; но в них угадывалась непознаваемая прочими воля* (Н. Перумов. Кольцо тьмы); *Кто-то еще, невидимый им из-за широких спин охранников, нервно рас-*

хаживал по номеру (М. Юденич. Сен-Женевьев-де-Буа). Существование этой своеобразной «буферной» зоны между страдательным причастием и отглагольным прилагательным на *-м-* свидетельствует о диффузности формально-семантических границ между ними и создает благоприятный фон для реализации у «формальных» прилагательных на *-м-* (с основой сов. вида) тех потенциальных свойств причастия, которые проистекают из их ВФ.

По своему лексико-грамматическому содержанию, способу речевой манифестации (пассивная конструкция глагольного типа) и направленности указанное переосмысление прилагательного на *-м-* противоположно адъективации причастий, поэтому его можно обозначить термином «деадъективация». Творительный субъекта — не единственное средство деадъективации. Нами отмечено также употребление в конструкциях с прилагательными творительного орудийного, наречий и предложно-падежных форм, обозначающих различные параметры действия (место, время, способ действия); «страдательный компонент» ВФ прилагательных актуализируется в экспрессивных конструкциях типа *примирить непримиримое* [Петрова 2006]. Во всех случаях отглагольные прилагательные на *-м-* в большей или меньшей степени проявляют рефлексы страдательного залога. Сама по себе способность передавать субъектно-объектные отношения свойственна разноструктурным глагольным транспозитам. Так, в [Петров 1985] рассматривается залоговая семантика прилагательных типа *нагнетательный*, *шлифовальный*, *охладительный.* Базой ее служит лексико-грамматическое значение мотивирующей глагольной основы, а формой речевой манифестации залогового рефлекса является сочетание прилагательного с существительным. Залог выявляется через взаимодействие семантики глагольной основы с семантикой приименных актантов, одни из которых являются источниками (субъектами) признака, а другие — объектами воздействия: *вырезной станок* — активный залог, *вырезная деталь* — пассивный залог. Деривационный аффикс, в сущности, не участвует или неявно участвует в выражении субъектно-объектных отношений. На этом фоне отглагольные прилагательные на *-м-* представляют явление особое, поскольку «источником» залоговой семантики является не только глагольная основа, но и формант *-м-*, обусловливающий формальное подобие этих прилагательных страдательным причастиям. Именно грамматикализованная внутренняя форма отглагольных образований на *-м-* инициирует реализацию в речи таких конструкций с ними, которые типичны для глагольных форм с пассивным значением.

Итак, рассмотрев ряд ключевых проблем, касающихся дифференциации и взаимодействия страдательных причастий и отглагольных прилагательных, образованных с помощью суффиксов *-ем-*/*-им-*, мы приходим к следующим выводам. (1) Прилагательные на *-м-* и страдательные причастия настоящего времени образуют функционально-семантическое поле «партиципиальности» (используем термин В. А. Корнилова), ядро которого со-

ставляют неадъективированные причастия. Далее по степени удаленности от ядра располагаются адъективированные причастия настоящего времени, характеризующиеся модальной окраской семантики; прилагательные на *-м-* с основой сов. вида, также выражающие модальную оценку действия; образованные на базе причастной формы прилагательные с узуализированной адъективной семантикой, для которой значение возможного/невозможного действия является внутренней формой. На периферии поля «партиципиальности» располагаются прилагательные на *-м-*, образованные от непереходных глаголов. Основанием для включения их в поле является не только чисто формальный признак, но и реализуемая с их помощью концептуализация признака предмета как способности/неспособности сопротивляться внешнему воздействию. (2) Отглагольные прилагательные на *-м-* являются мотивированными номинациями признака предмета и, как таковые, обладают внутренней формой. Эта ВФ представляет собой деривационную структуру с суффиксом *-м-*, выражающим отношения страдательности между мотивирующим действием и определяемым предметом, поэтому мы предлагаем назвать ее «грамматикализованной». Такая ВФ инициирует своего рода грамматическую рефлексию говорящих, заставляя ассоциировать данные прилагательные со страдательным причастием. (3) Грамматикализованная ВФ прилагательных на *-м-* актуализируется в речевом употреблении путем реализации типичной для причастия синтагматики. В результате происходит такая трансформация лексико-грамматических свойств прилагательного, которую логично обозначить термином «деадъективация». Механизм ее аналогичен известному явлению адъективации причастий, но имеет противоположную направленность.

Литература

Апресян 1999 — Ю. Д. Апресян. Отечественная теоретическая семантика в конце столетия // ИАН СЛЯ. Т. 58. № 4. 1999. С. 39–53.

Виноградов 1972 — В. В. Виноградов. Русский язык (грамматическое учение о слове). М., 1972.

Иванова 1955 — В. Ф. Иванова. К вопросу о соотношении причастий и прилагательных в современном русском языке (причастия и отглагольные прилагательные с суффиксом *-м-* // Учен. зап. ЛГУ. № 180. Сер. филол. наук. Вып. 21. Л., 1955. С. 73–89.

Иванова 1958 — В. Ф. Иванова. Словообразование и употребление отглагольных прилагательных с суффиксом *-м-*, имеющих значение возможности-невозможности действия (прилагательные, образованные от глаголов совершенного вида) // Исследования по грамматике русского языка. Л., 1958. С. 143–178.

Иванова 1959 — В. Ф. Иванова. Отглагольные прилагательные с суффиксом *-м-*, имеющие значение возможности-невозможности действия (прилагательные образованные от переходных глаголов несовершенного вида) // Учен. зап. ЛГУ. № 277. Сер. филол. наук. Вып. 55. Л., 1959. С. 154–175.

Иванова 1962 — В. Ф. И в а н о в а. Переход причастий в прилагательные (на материале страдательных причастий настоящего времени) // Учен. зап. ЛГУ. № 302. Сер. филол. наук. Вып. 51. Л., 1962. С. 3—26.

Гловинская 2001 — М. Я. Г л о в и н с к а я. Многозначность и синонимия в видо-временной системе русского глагола. М., 2001.

Гловинская 2007 — М. Я. Г л о в и н с к а я. Язык Интернета как средство обнаружения неустойчивых участков языка // Русский язык: исторические судьбы и современность: III Междунар. конгресс исследователей русского языка: Тр. и мат-лы. М., 2007. С. 180–181.

Калакуцкая 1971 — Л. П. К а л а к у ц к а я. Адъективация причастий в современном русском литературном языке. М., 1971.

Корнилов 1988 — В. А. К о р н и л о в. Причастие как проблема грамматики // Грамматическая семантика глагола и имени в языке и речи: Сб. науч. тр. Киев, 1988. С. 19–28.

Краснов 1957 — И. А. К р а с н о в. Пути перехода причастий в прилагательные // Рус. яз. в шк. 1957. № 6. С. 20–25.

Крысько 2006 — В. Б. К р ы с ь к о. Исторический синтаксис русского языка: Объект и переходность. 2-е изд., испр. и доп. М., 2006.

Лопатин 1966 — В. В. Л о п а т и н. Адъективация причастий в ее отношении к словообразованию // ВЯ. 1966. № 5. С. 37–47.

Лукин 1978 — М. Ф. Л у к и н. Трансформация частей речи в современном русском языке: Учеб. пособ. Донецк, 1978.

Петров 1985 — А. В. П е т р о в. Залоговая семантика в отглагольных именах русского языка: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1985.

Петрова 2006 — Н. Е. П е т р о в а. Рефлексы залога у отглагольных прилагательных на *-м-*: формы речевой манифестации // Структурно-семантическое описание единиц языка и речи. М., 2006. С. 200–208.

Петрова 2008 — Н. Е. П е т р о в а. Нестандартные формы причастий как проявление динамизма языковой системы // Рус. яз. в шк. 2008. № 4 (принято к печати).

Плунгян 2003 — В. А. П л у н г я н. Общая морфология: Введение в проблематику: Учеб. пособ. 2-е изд., испр. М., 2003.

РГ — Русская грамматика. Т. I. Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология. М., 1980.

СШ — Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / Отв. ред. Н. Ю. Шведова. М., 2007.

Чернега 2006 — Л. В. Ч е р н е г а. К вопросу о переходных явлениях в области частей речи (на примере причастий и отглагольных прилагательных) // Активные процессы в современном русском языке: Мат-лы Всерос. межвуз. конф. / Отв. ред. Г. Г. Инфантова, Н. А. Селина. Ростов н/Д, 2006. С. 118–120.

Шигуров 1993 — В. В. Ш и г у р о в. Типология употребления атрибутивных форм русского глагола в условиях отрицания действия. Саранск, 1993.

Л. П. КРЫСИН

НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ СЛОВАРНОГО ОПИСАНИЯ РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
(Постановка задачи)

1. Предварительные замечания

1.1. В последние два десятилетия значительно возросла коммуникативная роль устно-разговорных форм речи. Разговорная, просторечная, жаргонная лексика, синтаксис, характерный для устного дискурса, — обычное явление не только во всех видах бытового общения, но и в публичных сферах, в средствах массовой информации. Это движение «разговорности» в указанные сферы началось, по-видимому, со времени, когда политики перестали говорить по бумажке, когда в электронных средствах массовой информации — на радио и телевидении — стали популярными разного рода устные и при этом не подготовленные заранее интервью, ток-шоу и другие формы свободного общения. Лингвисты пишут о невиданной прежде и не характерной для русского языка коллоквиализации публичных сфер общения (то есть насыщении их разговорными элементами). В связи с этими явлениями весьма актуальной становится изучение современной русской разговорной речи, в частности, ее лексических ресурсов и особенностей, то есть, в частности, с л о в а р н о е ее описание.

1.2. Начатое в 2007 году в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН исследование проблем лексикографического описания русской разговорной речи (РР) опирается на цикл работ, осуществленных в 70–80-е годы XX в. коллективом авторов под руководством Е. А. Земской — см. [РРР-1973; РРР-1978; Земская, Китайгородская, Ширяев 1981; РРР-1983], а также [Земская 1978; Разновидности 1988; Земская 2004; Капанадзе 2005 (раздел «Проблемы изучения русской устной речи»); Китайгородская, Розанова 1999; Красильникова 1990; Крысин 1988] и нек. др.

По сравнению с периодом, представленным в указанных работах, русская разговорная речь начала XXI века претерпела некоторые изменения, касающиеся, в частности, состава ее словаря и соотношения различных ее слоев.

Эти изменения вызваны массовым проникновением в РР элементов просторечия и жаргонов, смещением ряда экспрессивно-стилистических

Русский язык в научном освещении. № 2 (16). 2008. С. 110—118.

характеристик слов, передвижкой — в пределах РР — некоторых групп лексики из одних функционально-стилистических слоев в другие: например, слова и обороты, традиционно присущие внутригрупповому или, во всяком случае, непубличному общению, имеющие в словарях пометы *прост.*, *жарг.*, *груб.*, *вульг.*, в современных условиях устной коммуникации могут использоваться не только в фамильярном общении хорошо знакомых друг с другом людей, но и, например, в публичной (но при этом также устной спонтанной) речи журналистов, политиков, представителей власти, депутатов Госдумы и других групп носителей литературного языка.

Тем самым современная РР по ее лексико-фразеологическому составу отличается от той РР, которая описана в указанных работах: она неоднородна, диффузна по составу, включает в себя как лексические единицы, традиционно имеющие словарную помету «разг.», так и единицы, имеющие просторечное и жаргонное происхождение, но активно употребляющиеся в непринужденной устной речи носителей русского литературного языка.

2. Приступая к разработке принципов словарного описания русской разговорной речи, необходимо в самом начале кратко ответить на следующие вопросы:

1) Что мы описываем? — Ответ: устную неподготовленную речь представителей интеллигенции второй половины XX — начала XXI века. Почему именно интеллигенции? Потому, что традиционно именно интеллигенция является основным носителем литературного языка, а разговорная речь в том понимании, которого мы придерживаемся в работе над толковым словарем русской разговорной речи, представляет собой одну из двух разновидностей литературного языка (вторая разновидность — книжный, или кодифицированный, язык).
2) Как описываем? — Ответ: в форме толкового словаря русской разговорной речи (ТСРР).
3) Что представляет собой типовая словарная статья планируемого словаря? — Ответ: типовая словарная статья представляет собой совокупность расположенных в определенном порядке зон, каждая из которых содержит один вид лингвистической, коммуникативной, прагматической или энциклопедической информации о разговорном слове.

3. Постановка задачи словарного описания современной русской разговорной речи требует формулирования определенных принципов, относящихся как к описываемому объекту, так и к характеру разрабатываемого толкового словаря.

3.1. Принцип **диффузности**.

Лексика современной РР не имеет четких границ. В ней есть как единицы, бесспорно принадлежащие разговорной разновидности литературного

языка (напр., слова с суффиксом *-к*(*а*), полученные так называемым стяжением, — универбы: *читалка*, *раздевалка*, *текучка* и многие другие типы слов и лексических значений)[1], так и разного рода заимствования из некодифицированных подсистем — территориальных диалектов, городского просторечия, социальных и профессиональных жаргонов; определенную часть современной русской РР составляет так называемый общий сленг — слова типа *крутой* (парень), *беспредел*, *наехать*, *разборка*, *откат* и т. п. — см. об этом [Ермакова, Земская, Розина 1999; Розина 2005]. Все эти лексические слои должны получить отражение в словаре с соответствующими пометами (*прост.*, *жарг.*, *сленг* и т. п.). Критерием включения их в словарь служит употребительность в современной РР (разумеется, некоторого субъективизма здесь не избежать)[2].

3.2. Принцип **дифференциальности**.

Этот принцип реализуется (1) при составлении словника: в словник включаются лишь те слова, которые по каким-либо своим характеристикам свойственны разговорной речи, и (2) в характере словарной статьи: в ней описываются не все лингвистически существенные свойства слова, а только те, которые присущи ему как единице разговорной речи (см. принцип 3.3).

3.3. Принцип **маркированности**.

В словаре описываются слова, которые маркированы в следующих отношениях:

— фонетически: имеют формальные признаки разговорной фонетики: [ч’эк] ‘человек’, [ско́къ] ‘сколько’, [гът] ‘говорит’, [бу́ът] ‘будет’, [ка́кн’ът’] ‘как-нибудь’ и т. п.;

— морфологически: имеют формальные признаки разговорной морфологии, например, разговорные аффиксы (*открывалка*, *врачиха*, *генеральша*; *сказануть*, *саданут*ь; *здоровенный*, *длиннющий*, *малюсенький*);

— синтаксически: могут занимать в высказывании позицию, характерную именно для устно-разговорной речи, но не для речи кодифицирован-

[1] По подсчетам В. И. Беликова, в толковом словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой только на буквы А—В 1137 слов и значений с пометой «разг.».

[2] В словаре [Химик 2004] его автор руководствовался очень широким представлением о том, что такое современная устно-разговорная речь: ставя задачу описать всё экспрессивное, чем характеризуется современный устный дискурс, он включил в словарь не только грубо-просторечную и жаргонную лексику, но и лексику обсценную (см. достаточно обоснованную критику позиции В. В. Химика в рецензии [Шимчук 2006]). Такой подход к квалификации русской разговорной речи принципиально отличается от того, который обоснован в цитированных выше работах московской лингвистической школы: РР рассматривается в последних как разновидность литературного языка. Такое понимание статуса РР лежит в основе и предлагаемого к разработке толкового словаря русской разговорной речи.

ной: например, сополагаемые глагольные формы — вместо управляющих и управляемых: *ездил смотрел квартиру* — вместо *ездил смотреть квартиру*;

— семантически: ср., например, значения слов *вещь, дело*, *штука*, реализуемые в контекстах типа *Ты такими* ***вещами*** *не шути! Сауна —* ***дело*** *хорошее*; *С ним неприятная* ***штука*** *случилась* (попытка систематизировать различные контексты употребления этих трех существительных предпринята в работе [Соколова 2007]); «размытость» значений глаголов типа *шпарить, наяривать* (см. об этом, в частности, [Апресян 1967: 29–30]) и под.

Особого внимания заслуживают метонимические смещения значений, когда слово в разных коммуникативных ситуациях может приобретать метонимические и при этом «размытые» значения: *У вас на даче* ***вода*** *есть?* (= 1) водопровод; 2) водоем, в котором купаются)[3]; *Говорят, Греф* ***на нефть*** *уходит* (= на управление добычей нефти? на организацию ее поставок в другие страны? на финансирование нефтедобывающих предприятий?).

Метонимическими по своей природе являются также: названия болезней по больному органу (*У нее* ***сердце***), врачей — по объекту их специализации (***Ухогорлонос*** *не принимает*; ***Рентген*** *сегодня только в два придет*), отделений больницы — по отрасли медицины (*Ее отвезли в* ***хирургию***; *В* ***терапии*** *коек не хватает*; *А* ***урология*** *в вашей больнице есть?*), отделов магазина — по видам продуктов (*Сахар у вас в* ***крупах*** *или где? Нарезку по сто тридцать пробейте, пожалуйста, в* ***колба́сы****! У вас раньше в* ***хлебе*** *сухарики продавали, сейчас нет? — Ты щас на каком отделе? — В* ***инструментах***; отчетливее всего это метонимическое значение реализуется в локативе), событий — по месту, где они произошли (***На Лейк-Плесиде*** *у нее было две золотых* (= на Олимпиаде в Лейк-Плесиде); ***После Чернобыля*** (= после атомного взрыва на АЭС в городе Чернобыле) *столько кале́к осталось!*) или по объекту, относительно которого совершаются определенные действия (***На квасе*** *много не заработаешь* = на продаже кваса);

— стилистически:

а) функционально-стилистически: слово может иметь при себе характеристику, указывающую на функционально-стилистические и жанровые особенности его употребления (например, слова типа *оперативка*, *планёрка*, *летучка*, *пятиминутка* употребительны в профессиональных разновидностях РР);

б) экспрессивно-стилистически: слово может иметь при себе в словаре помету, указывающую на ту или иную его экспрессивную окрашенность: *неодобр., пренебр., презр., груб., вульг.* и т. п.; возможны двойные стилистические характеристики слова или оборота: ср. *прослушка* (*У них установили* ***прослушку***) — по словообразовательной структуре слово *прослушка* — разговорное, по сфере употребления — профессиональное; ср. также новые значения у некоторых глаголов с приставкой *про-* (напр., *пропла-*

[3] Пример М. В. Китайгородской.

тить, *пролечить*, *проколоть*) — они также должны получить двойную помету: *разг.* [4] + *проф.*;

– прагматически: появление слова в речевой цепи объясняется «внешними» (нелингвистическими) условиями общения; ср., например, слова и обороты — свидетельства так наз. хезитации (*как бы*, *типа*[5], *будем говорить*, *так сказать*, *значит* и т. п.).

4. Специфика разговорной лексической или фразеологической единицы по сравнению с единицами других подсистем языка часто бывает связана с обстоятельствами устной коммуникации, поэтому указание на такие обстоятельства является одним из компонентов лексикографической информации. Например, сильно редуцированные формы типа [ч'эк] (< *человек*) и [гът] (< *говорит*) характерны главным образом для быстрого произношения и в так называемой слабой фразовой позиции, а в других речевых и фразовых условиях редукция не столь радикальна (ср.: *Ну, ты и челове́к!* произносится: [ч'ълав'э́к] — сильная фразовая позиция; — *Там было человек сто́!* произносится: [ч'э́к] и даже [ч'ък] — слабая фразовая позиция). Следовательно, словарная статья слов *человек* и *говорить* будет содержать указание на то, в каких условиях устной коммуникации и как именно произношение этих слов подвергается редукции.

5. Структура словарной статьи.

Словарная статья ТСРР имеет вид строгой последовательности з о н, в каждой из которых содержится один вид информации о слове: о его семантике (толкование), лексической и семантической сочетаемости и парадигматических связях, о морфологии, синтаксисе, особенностях произношения, фразеологии, прагматике.

Зоны словарной статьи разделяются метками, указывающими на характер сведений, содержащихся в данной зоне. Эти метки таковы:

DEF — зона толкования; толкование может сопровождаться стилистической пометой;

LSEM — зона, где описываются особенности лексической и семантической сочетаемости слова и парадигматические связи с другими словами: синонимами — метка Syn, антонимами — метка Ant, конверсивами — метка Conv, аналогами — словами, близкими (но не синонимичными) данному по смыслу, — метка Analog; упоминаемые в этой зоне лексические едини-

---

[4] Помета «разг.» может показаться излишней в словаре, который и так называется словарем *разговорной* речи. Однако, учитывая пестроту состава современной РР и присутствие в ней разнородных по происхождению и по стилистической окраске единиц (см. п. 3.1), эта помета необходима — наряду с пометами «прост.», «проф.», «жарг.» и др.

[5] См. работу [Князев, Князев 2007], где сделана попытка проследить функции, которые выполняют в речи слова этого рода.

цы также должны принадлежать разговорной речи и иметь в ТСРР соответствующую словарную статью на своем алфавитном месте;

MORPH — зона, где описываются морфологические особенности слова, а именно, характерные для РР ограничения на реализацию тех или иных грамматических значений (напр., «только *несов.*» или «только *сов.*» при некоторых глаголах, «только *мн.*» или, напротив, «*мн.* нет» при тех или иных именах существительных и т. п.);

SYNT — зона, где описываются синтаксические особенности слова, в том числе разного рода ограничения использования в тех или иных конструкциях (см. образцы словарных статей в Приложении);

PHON — зона, где описываются произносительные особенности слова, а именно, отличия в его произношении от того, как должно произноситься это слово согласно орфоэпическим нормам кодифицированного литературного языка;

PHRAS — зона устойчивых выражений с данным словом (в том его значении, которое описывается в ТСРР);

PRAGM — зона, где описываются прагматические особенности слова.

Вход в словарную статью (то есть само заголовочное слово) не имеет метки.

Каждая зона может включать иллюстративный материал в виде речений или в виде реальных примеров из записей РР. Запись иллюстративных примеров дается в обычной нотации, с соблюдением орфографических и пунктуационных норм; в зоне PHON используется фонетическая транскрипция.

Надо подчеркнуть, что в словарных статьях ТСРР описываются именно **особенности** слова как единицы РР, но не вообще все его свойства как единицы языка. Поясним это на примере. В статье слова *вода*, которое должно фигурировать в ТСРР лишь в своих «разговорных» значениях, зона MORPH будет содержать помету «*мн.* нет», которая необходима для описания именно этих значений (в некоторых других значениях этого слова, которые не являются «разговорными», такое ограничение необязательно — ср.: *А во́ды уж весной шумят*); указание же на грамматический род этого существительного, обычно содержащееся во всех толковых словарях, в нашем словаре отсутствует.

Многие из перечисленных зон не являются лексикографически обязательными: они заполняются только при наличии соответствующих особенностей у описываемого слова. Зона входа и зона DEF присутствуют во всех словарных статьях: содержание зоны DEF позволяет определить, в каком именно значении данное слово является предметом описания в словарной статье ТСРР.

Каждое значение многозначного слова описывается самостоятельно, с использованием всех необходимых зон и соответствующих меток. При взаимных отсылках к статьям, описывающим многозначные слова, соответствующие словарные единицы, на которые делается отсылка, снабжаются номерами их значений (в скобках; см. образцы словарных статей).

Приложение. Образцы словарных статей[6]

ВОДА́. I. 1. DEF: ‘Водоём как место для купания’. *У вас на даче вода есть, где купаться?* **2.** DEF: ‘Система водоснабжения’. *Им еще воду не подвели.* MORPH: *мн.* нет. **II.** DEF: *перен.* ‘Бессодержательное многословие’. *В докладе одна вода.* MORPH: *мн.* нет. PHRAS: **лить воду —** говорить бессодержательно и долго. *Хватит воду лить — скажи, чего тебе надо?*

ГДЕ́-НИБУДЬ. 1. DEF: ‘В какое-либо, точно не известное, но приблизительно называемое время’. *Зайдите где-нибудь в пол-десятого.* LSEM: Syn: что-нибудь (1). PHON: в быстрой речи произносится как [гд’э́н’т’]. **2.** DEF: ‘О приблизительном числе, количестве чего-л.’. *Мы теряем на этом где-нибудь процентов девять.* LSEM: Syn: что-нибудь (2), что-то. PHON: в быстрой речи произносится как [гд’э́н’т’].

ЗАГОРА́ТЬ. DEF: ‘Пребывать в вынужденном бездействии’. *Полдня загорали без раствора.* MORPH: только *несов.*

ЗАРА́ЗА. 1. DEF: ‘Негодяй, подлец’ (*бран. презр.*). *Этот ваш начальник* (*эта ваша начальница*) *— такая зараза!* MORPH: *сущ.*, *ж.* **2.** DEF: восклицание с резко отрицательной оценкой предмета, относительно которого совершается какое-л. действие (*бран.*). *Зараза этот замок, никак не открывается!* MORPH: *междом.*

ПРА́ВИЛЬНО. DEF: ‘Так, как должно, в соответствии с действительностью’. LSEM: Syn: верно, так, так ведь. SYNT: в диалоге может завершать вопрос, обращенный к собеседнику в ожидании одобрения собеседником того, что сказал говорящий. *Ведь мы же и не настаивали на этом, правильно?* PHON: часто произносится как [пра́л’на] или [пра́л’нъ].

ПРЯ́МО. DEF: ‘Очень похож на кого-л.’. *Ну и загорел! Прямо негр!* LSEM: Syn: просто, просто-таки, прямо-таки. MORPH: *частица.* SYNT: 1) употребляется преимущественно в восклицательных предложениях в позиции предиката; 2) не может быть употреблено в вопросительном предложении; 3) не может быть употреблено с отрицанием. PHON: часто произносится как [пр’ам].

ХОДИ́ТЬ. DEF: ‘Двигаться, переступая ногами’. MORPH: только *несов.* SYNT: 1) в формах прошедшего времени может сополагаться с формой прошедшего времени глагола, указывающего цель движения. *Да я только что ходил платил за телефон. Вчера ходили смотрели дачу*; 2) в конструкциях соположения *ходить* не может быть употреблено с отрицанием (если отрицание появляется перед *ходил*(*и*), то следующий за этой словоформой глагол должен иметь форму инфинитива: *Ты не ходил платить за квартиру?*). LSEM: Analog: бегать, ездить, побежать, поехать, пойти. PHON: формы 2-го и 3-го лица ед. числа и 1–3 лиц множ. числа могут произноситься с выпадением звука [д’]: [хо́иш], [хо́ит], [хо́им], [хо́ит’и], [хо́јът]. *Мы по*

[6] Некоторые из данных ниже слов описываются только в одном из присущих им значений.

этой улице давно не [хóим]; *Что вы тут без конца* [хóит’и], *только грязь от вас!*

ХОДÓК. DEF: ‘О мужчине: любитель женщин, ловелас’ (*жарг.*). *Ох, он и ходок — ни одной юбки не пропустит! Они оба — такие ходоки, ой-ой-ой!* LSEM: Syn: бабник. SYNT: употребляется обычно в позиции предиката и в сочетании с усилителями в виде оценочных прилагательных или частиц типа *ну и*, *ох и*.

ЧТÓ-НИБУДЬ. 1. DEF: ‘В какое-либо, точно не известное, но приблизительно называемое время’. *Готово будет что-нибудь числа двадцатого.* LSEM: Syn: где-нибудь (1). **2.** DEF: ‘О приблизительном числе, количестве чего-л.’. *Что-нибудь около половины выпускников работают не по специальности. Там что-нибудь литров сто еще есть.* LSEM: Syn: где-нибудь (2), что-то. PHON: в быстрой речи произносится как [штóн’т’], [ч’óн’т’]. *Дай мне* [штóн’т’] ⟨ [ч’óн’т’] ⟩ *острое, никак пробку не открою.*

ЧТÓ-ТО. DEF: ‘О приблизительном числе, количестве чего-л.’. *Их было что-то человек десять-двенадцать. Что-то около тонны осталось.* LSEM: Syn: где-нибудь (2), что-нибудь (2). PHON: в быстрой речи произносится как [шóтъ], [ч’óтъ]. *Он всё время* [шóтъ] ⟨ [ч’óтъ] ⟩ *придирается.*

Литература

Апресян 1967 — Ю. Д. Апресян. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., 1967.

Ермакова, Земская, Розина 1999 — О. П. Ермакова, Е. А. Земская, Р. И. Розина. Слова, с которыми мы все встречались: Толковый словарь русского общего жаргона. М., 1999.

Земская 1978 — Е. А. Земская. Русская разговорная речь: Лингвистический анализ и проблемы обучения. М., 1978.

Земская 2004 — Е. А. Земская. Язык как деятельность. М., 2004.

Земская, Китайгородская, Ширяев 1981 — Е. А. Земская, М. В. Китайгородская, Е. Н. Ширяев. Русская разговорная речь: Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981.

Капанадзе 2005 — Л. А. Капанадзе. Голоса и смыслы: Избранные работы по русскому языку. М., 2005.

Китайгородская, Розанова 1999 — М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова. Речь москвичей: Коммуникативно-культурологический аспект. М., 1999.

Князев, Князев 2007 — М. Ю. Князев, Ю. П. Князев. «*Типа*» и «*как бы*» по данным национального корпуса русского языка // MegaLing’2007. Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій. (Международная научная конференция. Партенит, 24–29 сентября 2007). Сімферополь, 2007. С. 128–129.

Красильникова 1990 — Е. В. Красильникова. Имя существительное в русской разговорной речи: Функциональный аспект. М., 1990.

Крысин 1988 — Л. П. Крысин. Гипербола в русской разговорной речи // Проблемы структурной лингвистики. 1984. М., 1988. С. 95–111.

Разновидности 1988 — Разновидности городской устной речи / Отв. ред. Е. А. Земская, Д. Н. Шмелев. М., 1988.

Розина 2005 — Р. И. Р о з и н а. Семантическое развитие слова в русском литературном языке и сленге: Глагол. М., 2005.

РРР-1973 — Русская разговорная речь / Отв. ред. Е. А. Земская. М., 1973.

РРР-1978 — Русская разговорная речь: Тексты / Отв. ред. Е. А. Земская и Л. А. Капанадзе. М., 1978.

РРР-1983 — Русская разговорная речь: Фонетика. Морфология Лексика. Жест / Отв. ред. Е. А. Земская. М., 1983.

Соколова 2007 — С. В. С о к о л о в а. Характеристика дискурсивной функции лексем *вещь*, *дело*, *штука* в свете корпусных данных // MegaLing'2007. Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій. (Международная научная конференция, Партенит, 24–29 сентября 2007). Сімферополь, 2007. С. 151–152.

Химик 2004 — В. В. Х и м и к. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. СПб., 2004.

Шимчук 2006 — Э. Г. Ш и м ч у к. Рец.: В. В. Химик. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. СПб.: Норинт, 2004 // Рус. яз. в науч. освещении. 2006. № 12. С. 298–303.

Е. А. ОГЛЕЗНЕВА

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОЛЕКТ РУССКОГО ЯЗЫКА: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ

Недавно появившееся в отечественной лингвистической литературе понятие *регионолект* требует определения своего места в ряду смежных понятий, называющих системы и подсистемы национального языка: территориальные и социальные диалекты, полудиалекты, идиолекты. Требует также решения вопрос о составе регионолектов в русском языке и о том, какими основополагающими признаками должна обладать система, которую можно было бы считать регионолектом. В частности, возник вопрос, можно ли говорить о существовании дальневосточного регионолекта русского национального языка. Настоящая статья представляет собой попытку ответить на некоторые из этих вопросов.

1.

Понятие регионолекта в литературе возникло в 90-е гг. [Трубинский 1991; Герд 1995]. К вопросам региональной формы речи, лексических регионализмов, их связи с диалектами русского языка обращались такие лингвисты, как В. И. Трубинский, А. С. Герд, В. И. Беликов, А. П. Майоров и др. [Трубинский 1991; Герд 2001; Беликов 2004; Майоров 2007].

В. И. Трубинский считает регионолекты «новыми диалектами», новыми достаточно крупными территориально-системными образованиями, не повторяющими классического диалектного членения русского языка [Трубинский 1991: 157]. В своей работе исследователь рассматривает процесс становления современных русских регионолектов, анализируя избирательность наследования регионолектом тех или иных диалектных черт [Там же: 157–162].

А. С. Герд предложил термин *регионолект* для именования речи жителей средних и малых городов, в дальнейшем ученый занимался вопросами положения диалекта среди других форм существования языка, в том числе регионолектной, выявлением ее специфических черт [Герд 2001: 48–50]. Так, он определяет регионолект как особую форму устной речи, в которой уже утрачены многие архаические черты диалекта, но развились новые особен-

ности [Там же: 48]. «Это особый тип языкового состояния, который является сегодня основной формой устно-речевого общения больших групп русских как на селе, так и в городах и поселках городского типа» [Там же].

В. И. Беликов собирает [Беликов 2006а; 2007; 2008] и исследует лексические регионализмы, в частности, в сопоставлении с литературной нормой, многие из которых также можно рассматривать как составляющую региолекта [Беликов 2004][1].

Более того, данное понятие — региолект — нашло отражение в литературе по социолингвистике: «основные носители региолекта — местная городская интеллигенция, служащие административных учреждений. От местного, территориального диалекта региолект отличается тем, что в нем явно проступают следы диалектных влияний, смешанные с городским просторечием и жаргонами» [Беликов, Крысин 2001: 231].

2.

Понимание безусловного права на жизнь у терминов «региолект», «регионализм», «региональная норма» возникает при проекции их на реальную жизнь русского национального языка в его региональных проявлениях — например, на Дальнем Востоке. Наблюдения за дальневосточной речью в течение длительного времени (на основании письменных источников за более чем сто лет) делают очевидной ее специфику по сравнению с русской литературной речью и с русской речью в других регионах России.

Эта специфика связана не только с диалектным влиянием, проникающим во все сферы речевой коммуникации, не только с наличием в региональной речи особых терминологических лексических систем, обусловленных развитием актуальных для региона промыслово-хозяйственных и т. п. сфер, но и с геополитическим фактором.

3.

Дальневосточный регион — территория порубежья. Она была освоена русскими относительно недавно и являлась многонациональной и, соответственно, многоязычной. Многонациональность и многоязычность региона включала две составляющие:

1) многонациональность и многоязычность автохтонного населения Дальнего Востока (гольды, орочоны, тунгусы, буряты, манегры, маньчжуры и др.) в совокупности с китайцами и корейцами, населяющими соседние территории;

---

[1] См. также: В. И. Беликов. Литературная норма и лексические регионализмы: Доклад в Институте русского языка им. В. В. Виноградова. 23.11.2006 г.

2) многонациональность и изначальная многоязычность пришлого славянского населения (русские, украинцы, белорусы).

Остановимся на первой составляющей и ее влиянии на русскую речь в Дальневосточном регионе.

Многонациональность и многоязычие этой территории привели к созданию на Дальнем Востоке поликультурного пространства, сопровождающегося следующими языковыми явлениями в региональной разновидности русского языка:

1) заимствования из языков автохтонных народов и народов, населяющих соседние государства;

2) активизация экзотической для стандарта национального языка лексики, связанной по происхождению с языками автохтонных народов или народов соседних государств;

3) развитие синонимии, в том числе топонимической, за счет наращивания синонимического ряда заимствованными лексемами и др.

Заимствование как основной вектор языкового взаимодействия имеет социальную подоплеку. О социальной природе заимствований писал Л. П. Крысин: «Проблемы взаимодействия языков вообще и заимствования элементов одного из контактирующих языков другим (как результат такого взаимодействия) в частности, если можно так выразиться, „открыто социальны“, очевидно, что взаимодействие языков — это, как правило, взаимодействие обществ, обслуживаемых этими языками, и взаимодействие соответствующих национальных культур. От общего климата, характеризующего разнообразные связи контактирующих народов и государств (политические, экономические, культурные и т. п.), зависит интенсивность процесса языкового заимствования, его характер, даже состав заимствуемой лексики и ее статус в языке-реципиенте» [Крысин 1993: 131].

Любопытно рассмотреть состав и характер заимствованной лексики в русской речи Дальневосточного региона России, которая во многом определила своеобразие дальневосточного региолекта. Покажем это на конкретных примерах, иллюстрирующих разные периоды русского языкового существования на Дальнем Востоке.

4.

Своеобразным памятником Дальневосточному краю **начала XX в.**, в том числе его языковой специфике, является книга Александра Аркадьевича Кауфмана «По новым местам. Очерки и путевые заметки. 1901–1903», опубликованная в 1905 г. в Санкт-Петербурге [Кауфман 1905].

Книга написана А. А. Кауфманом как итог путешествия по Амуру, Приамурью и Уссурийскому краю и передает впечатления стороннего наблюдателя об увиденном во всем его многообразии: это и изумительные пейзажные зарисовки, и диалоги со встретившимися людьми, и историко-

статистические и этнорелигиозные этюды, и лингвистические заметки о речи населения, в том числе аборигенного, а также опыт ее имитации (русская и украинская речь, русская речь китайцев, манегров и некоторых других этнических групп, проживающих на Дальнем Востоке).

Русская речь в Дальневосточном регионе России не осталась вне влияния языков неславянских народов, населявших Дальний Восток, в первую очередь китайцев. В результате русский язык дальневосточников, независимо от их социального статуса, рода занятий, возраста его носителей, пополнялся новыми лексическими средствами, необходимыми для отражения местных реалий. Словарный состав русских на Дальнем Востоке был несколько отличен от словарного состава носителей русского языка, проживавших в других регионах России. Обладающий собственной языковой спецификой дальневосточный вариант национального русского языка можно рассматривать как один из его региолектов.

Своеобразие дальневосточного региолекта русского языка в начале XX в., проявившееся на лексическом уровне, заключалось главным образом в следующем.

Во-первых, в начале XX в. для него было характерно сравнительно большое количество заимствований из языков народов, с которыми русские оказались в непосредственном контакте, — в частности, это заимствования из китайского языка, напр.: ***ташефу*** ‘повар’ («*Из довольно многочисленного, по-видимому, временного населения фанзы налицо только „ташефу“, занятый в данную минуту процеживанием отварной чумизы*»; «*Пока готовится наша пища, ташефу, по приказанию джангуя, угощает нас в высокой степени невкусным чаем и ещё более невкусными пельменями, кажется, с зелёным луком*»), ***сиенсин*** и ***сиенса*** ‘писарь’, ***джангуй*** ‘хозяин’ («*Навстречу к нам выходит молодой китаец, довольно сносно говорящий по-русски (вероятно, писарь, сиенсин), и после непродолжительных переговоров идёт, очевидно, докладывать джангую. Затем выходит и сам джангуй — благообразный, достаточно упитанный китаец, и вежливо, но с сознанием собственного достоинства, приглашает нас войти в чистую комнату*»; «*Отсюда весьма сложные расчеты у рабочей артели с джангуем и у членов артели между собой; ведение их в каждой большой фанзе или импани лежит на особом писаре или бухгалтере — „сиенсин“ или „сиенса“, который вместе с тем ведёт и счёты обитателей фанзы, занимающихся женьшеневым или соболиным промыслами*»; «*Каждая фанза или импань, оказывается, представляет нечто вроде капиталистической организации, так называемый „джангуй“: иногда хозяин, иногда приказчик какого-нибудь китайского туза снимает землю у крестьян, которым платит, в данной местности, 18 или 20 пудов пшеницы с десятины. Все остальные обитатели фанзы — испольщики „джангуя“: получают от него инвентарь, семена и полное содержание, а продукт, за вычетом стоимости арендной платы, делится пополам между джангуем и артелью рабочих*»), ***импань*** ‘строение, дом’ («*Через переводчика узнаем затем, что всё население фанзы — батраки, работают на владельца большой импани*

на Улахе. Плату они редко когда получают деньгами, а всё больше забирают продуктами»; «*Опять, одна за другою, небольшие импани с типичными четырёхугольными дворами, опять небольшие поля с тщательно разделанными грядками, с посевами бобов, чумизы и неизбежного мака*»; «*Почти у самого устья Фудзина — опять большая китайская фанза или импань, с кумирнею, мельницею, ханшинным заводом и прочими принадлежностями солидного китайского хозяйства*», «*Почему-то в этой импани (её китайское название, тоже имеющееся на картах, Сангиноу) нас встречают радушнее, нежели в Соанисо: джангуй, на этот раз действительный хозяин, торжественно, без всяких дополнительных переговоров, ведёт нас в чистую комнату и угощает пельменями; другие китайцы, кто суетится вокруг наших лошадей, помогая людям развьючивать и ставить их к корму, кто забирается в „чистую“ комнату, обмениваясь на наш счёт какими-то замечаниями на своём не понятном для нас языке*»), ***сули*** ‘разновидность китайской водки’ («*Такой же четырёхугольный двор, как и в Лазаревой, только пообширнее, застроенный с трёх сторон: слева от ворот жилые помещения — чистая комната для джангуя, общая спальня или казарма для рабочих и ещё обширное помещение, отчасти тоже казарма, отчасти завод для выделки китайской водки, ханшина или сули; справа — скотские хлева и конная мельница-круподёрка; прямо — разные амбары, все без входных дверей, с доступом исключительно через высоко проделанные окна*»), ***манзы*** (прил. ***манзовский***) ‘китайцы, имевшие оседлость в пределах Уссурийского края и Приморской области’ [Кириллов 1894: 238] («*Без малейших трудностей мы добрались и здесь до небольшой кумирни — груды камней, украшенной какими-то пёстрыми тряпочками, какие манзы понаставили, кажется, решительно на всех горных перевалах Уссурийского края*»; «*— Вся долина у манзов распахана была, — рассказывали нам крестьяне, — боле семидесяти фанз стояло*»; «*Наши проводники-китайцы, однако, упорно продолжают говорить что-то такое о каких-то сотнях вёрст. Положим, манзовская верста — это полверсты, но всё-таки откуда могут взяться здесь сотни хотя бы и коротеньких, манзовских вёрст?... Мы утешаем себя мыслью, что либо наши манзы путают, либо мы их просто не понимаем и остаёмся в сладкой уверенности, что идти до тракта не больше тридцати вёрст и что уж скоро начнут попадаться многочисленные, разбросанные по низовьям Аввакумовки арендаторские фанзы*»), ***кан*** ‘глинобитные нары в жилом помещении с дымоходами внутри’ («*Кругом, с трёх сторон, „каны“ — глинобитные нары с дымоходами внутри, которые проводят тепло от затапливаемых снаружи печей. По этим канам, покрытым аккуратными циновками, спит человек двадцать китайцев — все под наглухо подоткнутыми, от гнуса, пологами из полупрозрачной ткани. Несколько человек проснулось — рослые, сухощавые, загорелые фигуры в белых рубахах, синих штанах и холстинных колпаках, с наушниками и назатыльниками*»; «*Мы, однако, другого мнения: каны жарко натоплены, в комнату из смежной рабочей казармы проникает специфический китайский запах, и мы предпочитаем*

поэтому лечь спать под своими дорожными пологами, в одном из амбаров, на свежем и хорошем воздухе»), ***буда*** ‘китайское просо’ («— *Ничего не дорого, — недовольным голосом отвечает ямщик, — сейчас буда на Зейской пристани два восемь гривен». Чтобы оценить этот ответ, надо вспомнить, что Зейская пристань — приисковый центр, лежащий дальше от Амура, нежели то зимовье, где манегры рассчитывают купить буду*»), ***чумиза*** (прил. ***чумизовый***) ‘хлебная злаковая культура’ («*Минуем сплошной пояс пахотных земель — всё также распахано по китайскому способу, грядками, но поля, в отличие от китайских, гораздо обширнее и заняты не бобами или чумизой, а ярицей, овсом, вообще колосовыми хлебами*»; «*Минуем деревенское стадо, у самой дороги сидит китаец-пастух и варит себе неизбежную чумизовую кашу, около него стоит бутылка с молоком*»), ***шанго*** ‘хорошо’, ***мию*** ‘не имеет(ся), нет, отсутствует’ («*Но в особый восторг приводят публику* (китайцев. — *Е. О.*) *несколько слов вроде „шанго“ (хорошо) или „мию“ (нет), сказанных нами не то по-китайски, не то на том своеобразном жаргоне, который употребляется при сношениях уссурийских китайцев с русскими жителями края*»).

Во-вторых, в дальневосточном региолекте активизировались и перешли в разряд общеупотребительных лексемы, находившиеся в стандартном варианте национального языка на периферии и имевшие там статус экзотизмов, напр.: ***фанза*** ‘дом, жилище, строение’ («*Задолго до заката солнца, часа, вероятно, в четыре, подходим к какой-то звероловной фанзе*»; «*Небольшая прогалина. Первобытный лес на ней вырублен начисто и сменился мелкою порослью грецкого ореха, опутанного диким виноградом. Посреди прогалины — небольшая промысловая фанза, при ней маленький огородик. Фанза — небольшой решётчатый сарай с берестяною крышей. Рядом, под небольшим навесом, аккуратно уставлена всякая утварь, в том числе собачьи нарты, и повешено для просушки несколько звериных шкур. Внутри фанзы — земляные нары, покрытые чистыми циновками с навешанными пологами*»), ***женьшень*** ‘растение, произрастающее в тайге, и целительный корень этого растения’ («*Через переводчика мы спрашиваем, нет ли у него женьшеня. Оказывается, есть, и после довольно продолжительных переговоров повар показывает нам экземпляр ценного растения*»), ***ханшин*** (прил. ***ханшинный***) ‘разновидность китайской водки’ («*Такой же четырёхугольный двор, как и в Лазаревой, только пообширнее, застроенный с трёх сторон: слева от ворот жилые помещения — чистая комната для джангуя, общая спальня или казарма для рабочих и ещё обширное помещение, отчасти тоже казарма, отчасти завод для выделки китайской водки, ханшина или сули; справа — скотские хлева и конная мельница-круподёрка; прямо — разные амбары, все без входных дверей, с доступом исключительно через высоко проделанные окна*»; «*После настоятельных просьб моих товарищей, появляется на сцену фляжка душистого подогретого ханшина, который они отведывают с большим, по-видимому, смаком»; «Почти у самого устья Фудзина — опять большая китайская фанза или импань, с кумирнею, мельницею, ханшинным заводом и прочими принад-*

лежностями солидного китайского хозяйства»; «*Самая импань мало отличается от импани Соанисо: тот же квадратный двор, то же, очевидно, традиционное, расположение построек по трём сторонам квадрата и красивые резные ворота на четвёртой стороне, такого же устройства жилые помещения, амбары, скотные хлева, мельница, ханшинный завод, такие же, точно по линейке и транспортиру разработанные поля*»), ***кумирня*** (*уменьш.-ласк.* ***кумиренька***) ‘небольшая постройка для языческих молений’ («*Но на Ириновском и Любавинском приисках не осталось уже построек и нет никаких следов жизни, кроме красных лоскутков на заброшенных китайских кумирнях*»; «*Из лощины, по склону лесистой сопки, вьётся зигзагообразная тропинка, которая оканчивается небольшою высеченною в скале площадкою, — местоположение разрушенной китайской кумирни*»; «*На самом перевале невысокого хребта, окаймляющего долину, минуем небольшую, сложенную из дикого камня китайскую кумиреньку или божницу с навешанными на неё тряпочками ярких цветов, и попадаем, наконец, в самую глухую тайгу*»), ***гаолян*** ‘хлебная злаковая культура’ («*Вдоль дороги всё время тянулись, с небольшими перерывами, корейские разработанные грядками пашни, засеянные то пшеницей, то бобами, то чумизою и гаоляном, и посреди них глинобитные фанзы с бумажными окнами и высокими дымовыми трубами — все поля и фанзы никольских арендаторов*»).

В-третьих, в дальневосточном региолекте русского национального языка присутствуют заимствованные из китайского языка и из языков коренных народов топонимы, частично имеющие «двойник» славянского происхождения. Напр., ***Вайфудзин — Аввакумовка*** («…*Вайфудзин — китайское название Аввакумовки*»).

Слова анализируемых лексических групп называют инокультурные, экзотические для носителя русского языка понятия, как не располагающие эквивалентными обозначениями (напр., ***женьшень***, ***ханшин*** и др.), так и имеющие их (напр., ***ташефу*** — повар, ***сиенсин*** — писарь и др.).

В дальневосточном региолекте русского языка активизируется не только заимствованная лексика, связанная с обозначением инокультурных реалий, но и исконно русская, предназначенная для обозначения таких понятий (напр., ***кумирня***).

В речи русских на Дальнем Востоке в начале XX в. употреблялась и лексика из бытовавшего там русско-китайского пиджина, которым пользовались главным образом китайцы и представители других неславянских народов в общении с русскими. Это было своего рода опосредованное употребление. Напр., слово русско-китайского пиджина ***купецза*** ‘купец, торговец’, представлявшее собой видоизмененное русское «купец»[2], ис-

[2] Как слово русско-китайского пиджина ***купецза*** фиксируется и у А. Г. Шпринцина (см. также у него подобные *саададза* ‘солдат’, *параводза* ‘паровоз’ и др.) [Шпринцин 1968: 95], и у А. Яблонской: ***kupieza*** (см. также *kitajoza* ‘китаёза’ — название китайца) [Jabłońska 1957: 162].

пользовалось в дальневосточной русской речи для обозначения **китайского** торговца («*Вы непременно встретите* ⟨…⟩ *множество солдат и всякого рода китайцев, начиная от упитанного, самодовольного „купецза“, с красным шариком на черной шапочке, и кончая рослым, бронзово-коричневым китайцем-чернорабочим, руками которого выстроены все эти серокрасные дома, так украшающие улицы Хабаровска*»; «*…он горячо доказывал необходимость допущения в край китайцев как земледельцев и чернорабочих, но не с меньшею горячностью требовал самых решительных мер против китайских „купецза“, осмеливающихся — не страшно ли, в самом деле, подумать! — продавать товары значительно дешевле, нежели это благоугодно владивостокским и благовещенским монополистам*»).

Функционировало в речи русских на Дальнем Востоке в начале XX в. и слово ***ходя*** для обозначения китайца и обращения к нему («*— Вовсе не ест старик-то, — тоном искреннего соболезнования говорят наши люди, только что перед тем ругавшие „проклятую тварь“, — пожалуй, вовсе ослабеет. Выпей чаю-то, ходя, — ласково обращаются они к старику, — небось замаялся»).* Словарь В. И. Даля это слово не фиксировал, в словаре под ред. Д. Н. Ушакова слово ***ходя*** присутствует с пометами «разг.», «фам.», «прост.» в значении ‘пренебрежительное название китайца’; в современных словарях — также с пометой «устар. прост.» в значении ‘прозвище китайца’ [Сл. Ожегова, Шведовой 1995]. Можно предположить, что общенародным слово ***ходя*** стало, пройдя через ступень пребывания в статусе дальневосточного регионализма, а затем расширило сферу своего употребления.

5.

Источником изучения региональной лексики и ее функционирования в речи могут послужить и газеты начала XX в., напр., «Амурская газета. Политический, общественный и литературный орган» [Амурская газета 1902], выходившая в Благовещенске в начале прошлого века. Материалы на разные темы разных жанров пестрят заимствованной по происхождению лексикой: *по заявлению* ***футудуна***; *во время нападения* ***хунхузов***; *убийство* ***кули***; *убийство* ***рикши-кули***; *до сорока лонков* ***ханшины***; *с неба свалившейся* ***ханой***; *желаю купить* ***буды*** *600 пудов* и др.

Некоторые из слов, обычных для речи русских на Дальнем Востоке, через газеты того времени «прорывались» в литературный язык при освещении важных и касающихся всего Российского государства событий, происходивших на его дальневосточных окраинах. Так, напр., русско-японская война 1905 г. способствовала активизации небольшой группы лексики восточного происхождения, но это имело временный характер: исчерпывало себя событие — и связанная с ним лексика теряла актуальность, «уходила» в небытие. См., напр., у С. Карцевского: «Русско-японская война не оста-

вила сколько-нибудь заметного лингвистического наследства: театр военных действий был удален на тысячи верст от культурного центра страны, которая к тому же плохо отдавала себе отчет в значении войны. В газетах, в корреспонденциях и в официальных сообщениях (слово „сводка“ тогда еще не было в ходу) мелькали различные „экзотические“ слова, до той поры мало известные: *гаолян*, *фанзы*, *шимоза*, *самураи*, *банзай* и т. д.» [Карцевский 1923: 19–20].

В русской дальневосточной речи эти слова часто имели другую историю, а некоторые из них — другую, более долгую жизнь, поддерживаемую продолжающимися контактами с восточными народами и их языками.

6.

Любое заимствованное слово в языке-реципиенте проходит этап **адаптации** к новой языковой системе на всех ее уровнях.

О фонетической адаптации данной лексики судить сложно, так как мы оперируем письменными источниками. В то же время русская орфографическая запись анализируемой лексики, отражающая, как мы полагаем, ее произношение, указывает на отличия в произношении этих слов от стандарта китайского языка, из которого заимствовано большинство рассматриваемых нами слов. Значит, можно предположить, что эти слова произносились в дальневосточном региолекте русского языка начала XX в. в соответствии с русской фонетической нормой.

Степень грамматической адаптированности всех указанных групп лексики в дальневосточном региолекте русского языка начала XX в. различна.

Подавляющее большинство заимствованных лексем называет предметы и в русском языке относится к существительным (*фанза*, *чумиза*, *импань*, *женьшень*, *Вайфудзин* и др.).

Некоторые из них оказались активными в словообразовательном отношении и стали производящими для прилагательных, созданных по русским продуктивным словообразовательным моделям: «основа сущ. + суф. -Н-» (*ханшинный*), «основа сущ. + суф. -ОВ-» (*чумизовый*), «основа сущ. + суф. -(ОВ)СК-» (*манзовский*), что свидетельствует о значительной степени их адаптированности системой русского языка.

Лишь два слова из зафиксированных А. А. Кауфманом как употребительных в русской дальневосточной речи начала XX в. предназначены не для называния предметов, а для выражения модальной семантики — *шанго* ‘хорошо’ и *мию* ‘нет’.

О высокой степени грамматической адаптированности рассматриваемой лексики в русской речи дальневосточников свидетельствует включенность в русскую систему словоизменения.

Слова, в том числе имена собственные, оканчивающиеся на твердый и мягкий согласный, сочетаются с прилагательными мужского рода и скло-

няются по мужскому типу склонения (напр., *засеянные гаоляном*; *нет ли женьшеня*; *для выделки ханшина*; *так называемый джангуй*; *над уровнем заливной долины Суйфуна*; *комната для джангуя*; *достигаем устья Фудзина* и др.).

Слова, оканчивающиеся на гласный -А(-Я), сочетаются с прилагательными женского рода и склоняются по женскому типу (напр., *подходим к какой-то звероловной фанзе*; *отварной чумизой* и др.).

Слово *импань*, оканчивающееся на мягкий согласный, склоняется по типу существительных 3-го склонения (напр., *у большой импани*).

Во множественном числе существительные склоняются по общему типу.

Вне системы склонения из зафиксированных А. А. Кауфманом заимствованных слов оказались существительные на гласные -У и -И: *сули*, *ташефу*, вероятно, по аналогии с другими подобными заимствованиями в русском языке, не вписывающимися в существующие парадигмы склонения существительных.

Изложенные факты показывают, во-первых, своеобразие дальневосточного варианта русского языка начала XX в., связанное с его функционированием в условиях языкового контакта, а во-вторых, поведение русской языковой системы при столкновении с системами других языков.

Как видим, русский язык, функционируя в дальневосточном многонациональном сообществе, демонстрирует высокую степень устойчивости, его носители не переходят на другой язык, а сохраняют родной — вероятно, в силу собственных представлений о высоком статусе родного языка как обслуживающего более цивилизованный тип культуры.

7.

Главной особенностью регионального языкового существования на Дальнем Востоке России в **20—30-е гг. XX в.** было китайское присутствие в нем. Это проявлялось, в частности, в активном использовании специфической регионально окрашенной лексики в русском языке дальневосточников — наличие в нем своеобразной «китайской ноты».

Регионально окрашенная лексика присутствует во многих источниках, связанных с периодом 20—30-х гг. XX в. на Дальнем Востоке: в дневниковых записях, мемуарной и художественной литературе, в устных воспоминаниях старожилов края. Обратимся к некоторым из них.

Михаил Пришвин. «Дальний Восток (путевой дневник 1931 г.)». Дневниковые записи М. М. Пришвина за 1931 г. впервые были опубликованы в тихоокеанском альманахе «Рубеж» в 2006 г. [Пришвин 2006]. В них писатель оставил свои впечатления от посещения Дальневосточного края и его городов, в частности Владивостока, особенно подчеркивая экзотические стороны увиденного. В дневниковых заметках содержатся и размышления автора о разных типах культур — восточной (китайской) и русской (сла-

вянской), и этнографические зарисовки, и описание бытовых сцен, и специфическая речь, услышанная Пришвиным на Дальнем Востоке.

Арсений Несмелов. «Наш тигр. Из воспоминаний о Владивостоке» [Несмелов 2003]. Впервые эти воспоминания были опубликованы в 1941 г. в харбинском ежемесячном издании «Луч Азии» (№ 2–6) [Витковский и др. 2006: 728]. Основное их содержание — описание перехода русско-китайской границы в 1924 г.: трудности ее пересечения, встречи с обитателями таежных фанз, с тигром — хозяином дальневосточной тайги. Текст воспоминаний инкрустирован фрагментами, передающими особенности дальневосточной речи.

Женьшень (***жень***), ***женьшенщик*** ‘сборщик женьшеня’ («*И даже если допустить, что драгоценные панты и корень женьшень мало приносят пользы больным и мы не будем больше из-за принципа заготовлять их государственным порядком, то это значит предоставить заготовку пантов и женьшеня контрабандистам, потому что Китай еще нескоро перейдет к европейской медицине*»; «*С ним женьшень (человек-корень). Если говорят просто „жень“, значит, корень представляет фигуру человека наиболее отчетливо*»; «*Женьшень. До 27 года включительно корневать разрешалось по лицензиям: 50 иен за фунт, и вся польза государства была 250 фунтов корня*»; «*Сколько дает валюты вывоз женьшеня? Американцы выращивают жень и много продают, но это дешевый товар*» [П][3]; «*Мы вступили в места чрезвычайно глухие, по которым бродили лишь редкие охотники-зверовщики, — мы видели несколько их пустующих фанз-зимовок. Да женьшенщики*» [Н]).

Старшинка ‘старшина — старший рабочий; подрядчик’ («*Китайцы-ремесленники исчезают, потому что раскулачили их „старшинок“: старшинки им заготовляли все за три рубля в день (на шахтах), а когда исчезли старшинки, пришлось тоже обеспечить китайцам продовольствие за три рубля, но только переплачивать громадную сумму*» [П]).

Бойка ‘китайский мальчик-слуга’ («*Через несколько дней после вступления в обязанности больничного повара три китайца, хлебник, водонос и прачка, живущие в разных отдаленных друг от друга частях города, но соединенные крепко между собой единством места рождения в Китае, привели в сподручные повару мальчика бойку и поручились за него: „наша люди“* [П]).

Мадам ‘женщина, хозяйка’ («*Когда сбежались, оба китайца стояли друг против друга со скрученными салфетками и старались друг друга покрепче стегнуть. — В чем дело? — спросила мадам*» [П]; «*Мы успокаиваем его, мы уверяем, что его будущее блестяще, что он, в конце концов, и „лошаку“ себе купит и заведет красивую, сильную мадам, которая народит ему кучу детей, и все они будут „сеза“, мальчики*» [Н]).

---

[3] Сокращенное указание на источник: [П] — М. М. Пришвин; [Н] — А. Несмелов.

Чумиза и ***чумизник*** ‘тот, кто питается преимущественно чумизой’ (*прил.* ***чумизный***) («*А земледелие в Приамурье? Наши отдавали новь корейцу или китайцу, те собирали три урожая, а потом с возделанной земли собирал русский. Вот почему при виде земледелия корейца, обреченного весь год есть чумизу, русский смеется над „чумизником“. А сам живет гораздо хуже…*» [П]; «*…при раскладке багажа на мою долю для носки доставался чертов пудовичок с чумизой. Правда, в конце концов Степанов, пожалев меня, взял чумизу себе, мне же дали что-то другое, полегче*»; «*Скоро стемнело. И когда чай был готов и мы принялись за приготовление чумизной каши, — над нами была уже ночь*» [Н]).

Юли-юли (*глаг.* ***юлить***, ***заюлить***, *прич.* ***юлящий***) ‘вид китайской лодки, а также китаец, управляющий такой лодкой’ («*Первое свое путешествие по морю я совершил в китайской лодчонке, именуемой во Владивостоке „юли-юли“. Так в этом городе называется и самое суденышко, и его капитан-китаец (он же и вся команда), орудующий, юлящий — кормовым веслом*»; «*Сели, китаец „заюлил“, и мы поплыли*»; «*Но китаец смеялся, смеялся нам в глаза и продолжал „юлить“. Наш ужас не передался ему ни на йоту*»; «*Хорошо! Даже „юли-юли“ выпил и ласково смотрит на нас. Песню бы затянуть!*»; «*И я вспоминаю об этом, взлетая на „юли-юли“, подбрасываемой увеличивающимися волнами*» [Н]).

Воляпюк ‘название контактного русско-китайского языка’ («*Ведь это воляпюк, смесь русских, китайских слов плюс чисто местные словообразования, вроде, например, „шанго“ — хорошо. Этого слова нет, между прочим, ни на русском, ни на китайском языках. Китайцы думают, что это русское слово, мы — что оно китайское. Но понимаем его одинаково: хорошо*» [Н]).

Улы ‘обувь из лосиной шкуры, сшитой мехом внутрь, и плотной ткани, утепленная травой’ [Витковский и др. 2006: 729] («*Так, к слову сказать, я почему-то решил, что по тайге мне удобнее всего будет идти в ночных туфлях, если я подобью их прочными, хорошими подметками, хотя мои приятели решили запастись сыромятными китайскими улами*»; «*Мы отдохнули и занялись примериванием китайских улов. Их надо было мочить в воде, потом наталкивать в них сено, а уж затем надевать на ногу и зашнуровывать*» [Н]).

Фанза и ***фанза-зимовка*** («*Мы спускаемся в долину, видим небольшой участок обработанного поля и кровлю корейской фанзы*»; «*Мы вступили в места чрезвычайно глухие, по которым бродили лишь редкие охотники-зверовщики, — мы видели несколько их пустующих фанз-зимовок*»; «*Вот и маленькая деревушка, населенная, как после оказалось, корейцами и китайцами. Мы входим в первую же китайскую фанзу, сбрасываем на кан свои котомки и, показывая деньги, требуем у хозяина, чтобы он накормил нас чем-нибудь горячим*»; «*Мы настойчиво стали приставать к проводнику с вопросами, скоро ли окончится наш путь, далеко ли до Санчагоу, нет ли по пути хоть какой-нибудь обитаемой корейской или китайской фанзы?*» [Н]).

Хунхуз ‘китайский разбойник, бандит’ («*Видите ли, — продолжал он, — мы потому не хотели начинать с вам никаких переговоров, что по тайге всякий народ бродит… Вы могли быть бандитами, хунхузами…*» [Н]).

Кан («*Какое наслаждение испытали мы, растянувшись на теплом кане!*»; «*„Полиза“ садится с нами на кан, и мы мирно принимаемся за совершение не совсем обычной „коммерческой сделки“, причем цена нашей свободы приравнивается к стоимости какой-то „лошаки“, о приобретении которой, видимо, давно уже мечтает полицейский*» [Н]).

Ходя ‘обращение к китайцу’ («*Эй, ходя, — обратился он к хозяину фанзы. — Шима конходи? Хо, пухо ю?*»; «*И, подтверждая слова мичмана, ходя сказал: „Его, полиза, хочу лошаку купить“*» [Н]).

Хана ‘китайская водка; то же, что ханшин’ («*И мы пошли дальше, и еще часа через три добрались наконец-то до китайской фанзы, к нашему счастью, оказавшейся обитаемой, хозяин которой сварил нам прекрасный суп из курицы, дал пампушек и по полстакану крепчайшей, обжигающей внутренности китайской водки — ханы*» [Н]).

Примеры употребления регионализмов встречаются и в воспоминаниях старожилов Дальневосточного края о китайцах, отношения с которыми в 20—30-е гг. поддерживало русское население. Воспоминания были записаны в 2000–2007 гг. в селах Амурской области во время диалектологических экспедиций преподавателей и студентов Амурского госуниверситета и частично опубликованы [Слово 2005; 2007].

Напр., слово ***фанза*** (***хванза***) («*Там китайскыя дома были, зямлянки. Ну как под зямлей. Как вам рассказать? Ўот копаеть, так ўот яму выкопаеть, сюды становяца бревны, там те доски, тады закрывають зямлей, так ўот крышу делае, просто ўот так (показывает), а тут настилаеть так ета дома ети. И живуть. Хванза, хванза — это у их дом*» [Слово 2005: 65][4]; «*Китайцы были, у нас китайский завод здесь был, кирпичный завод. Жили в фанзах. Фанзы у них низкие такие, потом, если побоγаче… начальство у них тоже было, то они какой-нибудь дом у них тоже, а бедные, эти окна были бумажные. Белая бумаγа, такая твердая, бумага белая. И не стекло, а бумажные были*» [Слово 2007: 120][5]; «*В восточной стороне прииска располагалась китайская деревня. В те годы еще сохранились три улицы, многие фанзы сгнившие. На первой улице стояла большая фанза — называли ее клубом, внутри были сделаны нары, на них китайцы по два-три человека, соблюдая очередь, курили опиум*» [Коваленко 2002][6]).

---

[4] Текст записан в 2003 г. в с. Красный Луч Архаринского района Амурской области от Любови Григорьевы Поздняковой, 1921 г.р., вспоминавшей о том, как в 30-е гг. ходили за Амур, к китайцам, и что там видели.

[5] Текст записан в с. Жариково Тамбовского р-на Амурской обл. от Ганны Михайловны Филимоновой, 1917 г.р., рассказывавшей о жизни китайцев в их селе в первой трети XX в.

[6] Из опубликованных в 2002 г. в газете «Амурская правда» воспоминаний жителя Благовещенска Н. А. Коваленко о 30-х гг. XX в. в Приамурье.

Фунфуз (***хунхуз***) («*Ну, и туда приехали, там же китайский посёлок, в китайском посёлке, а китаец ему γ(ово)рит: „Ты, Степан, не ходи, тебе сейчас там злой начальник приехал, они убивают русских всех“. Ну, китайцы, фунфузы или кто там такой, пришли. Ну, и он поγиб там. Его только отдали через два месяца хоронить*» [Слово 2007: 128] [7]). См. также варианты этой лексемы, зафиксированные в «Словаре русских говоров Приамурья» [СРГП 2007]:

Фанфуз, ***фунфуз*** («*Отца моего фанфузы убили*»; «*Фунфузы к нам часто наведывались*»; «*Фунфузы также грабители. Все и китайцы были*»; «*Разбойников из Китая называли фунфузами*»; «*Фунфузы деревни грабили, они вроде богатых были*»; «*Потом фунфузами заделалися. Фунфузы там, наверно. Ранешны же кулаки фунфузы теперь*» [СРГП 2007: 476]).

Кроме того, в «Словаре русских говоров Приамурья» зафиксированы лексемы:

хана, ***ханжа***, ***ханьжа***, ***ханчина***, ***ханжина***, ***ханьжина*** (*Ханой китайскую водку звали; У китайцев была ханжа, брали ханжу у них; Яшшики с ханьжой стоят; Ханчину китайскую пили; Привозят ящик ханжины вместо водки; Ханьжину с Маньчжурии возили* [СРГП 2007: 478–479]);

хуамбин ‘член радикальной молодежной коммунистической организации Китая в 60–70-е гг. XX века; хунвейбин’ («*Хуамбины семнадцатилетние были, всех подряд убивали*» [СРГП 2007: 485]).

а также производные от ***фанза*** лексемы ***фанзушка, фанзёшка*** ‘жилище, избушка’ («*Да я фанзушку любу срублю; Токо дверь фанзушки открываю, гляжу — лежит конь*»; «*Фанзёшки такие стоят*» [СРГП 2007: 476]).

В источниках, отражающих период 20–30-х гг. XX в., среди регионально окрашенных слов встречается и заимствованная (*фанза*, *хуамбин* и др.), и исконно русская лексика, созданная по моделям русского словообразования с использованием как собственно русских элементов (*старшинка*), так и заимствованных (*бойка*, *чумизник* и др.).

Наличие производных от заимствованных лексем, являющихся уже собственно русской лексикой, свидетельствует о существенной адаптации заимствованной лексики в региональном варианте русского языка: *чумиза — чумизник — чумизный*; *фанза — фанзушка*, *фанзешка — фанза-зимовка*; *юли-юли — юлить — заюлить — юлящий.*

Грамматическая адаптация китайских заимствований в региональной русской речи на Дальнем Востоке в 20–30-е гг. XX в., судя по литературным и диалектным источникам, осуществляется обычно: происходит грамматическое распределение слов по классам в зависимости от категориальной семантики и фонетического оформления, часто диктующего, например, отнесенность к тому или иному роду и, соответственно, типу склонения.

---

[7] Текст записан в с. Гильчин Тамбовского р-на Амурской обл. от Лукерьи Степановны Саяпиной, 1924 г.р., рассказывавшей о том, как поехал и не вернулся из Китая один русский в первой трети XX в.

Интересно приспособление заимствований из китайского языка к фонетической системе русского языка, а в ряде случаев — к фонетической системе одного из русских диалектов: так, китайское наименование жилища ***фанза*** в амурских говорах звучит как *хванза*, ***хунхуз*** — как *фунфуз,* что, в свою очередь, приводит к вариативности лексических единиц в пределах одного региолекта.

8.

Для современного дальневосточного региолекта русского языка **конца XX — начала XXI в.** характерно вкрапление в речь заимствованных из китайского языка лексем, а также слов русско-китайского пиджина, активно использующегося в настоящее время китайскими торговцами в приграничной зоне. При этом русские пиджином не пользуются, но в своем общении с китайцами или в других ситуациях, как-либо с китайцами связанных, могут употреблять русские слова в той форме, которая имеется в пиджине. Любопытны в этом отношении обращения русских покупателей к китайским продавцам, записанные в китайском торговом центре и на китайском рынке в Благовещенске: *Куня, где друга?* и *Где куня здесь стояла?*, означающие просьбу позвать продавщицу понравившегося товара. При этом ***куня*** — кит. ‘девушка’, а ***друга*** — вокализованная форма русского слова *друг*, стабильно используемая в русской речи китайских торговцев.

Или другая ситуация: русский водитель такси отказывается везти китайцев, объясняя причину: *Я мадаму повезу* (о русской женщине), склоняя несклоняемое в русском языке слово *мадам* по женскому типу, так как знает об употреблении этого слова китайцами именно в такой форме. Слово *мадам* в значении ‘женщина, хозяйка’ записано и от русской покупательницы на китайском рынке, ищущей продавщицу понравившегося ей товара: *Мадам! Где мадам?*

Слово ***мадама*** в значении ‘женщина, хозяйка’ было весьма популярно в различных вариантах русско-китайского пиджина в начале и в 20–30-е гг. XX в. [Оглезнева 2008: 72, 86, 106, 112], полагаем, уже из пиджина оно проникло в дальневосточную русскую разговорную речь сначала в такой форме, а затем стало реализовываться в более привычном для носителя современного русского языка варианте *мадам.* В настоящее время слово *мадама* (*мадам*) в указанном значении следует считать устаревшим регионализмом. Словари русского языка [Сл. Даля; Сл. Уш.; Сл. Ожегова, Шведовой 1995] значение ‘женщина, хозяйка’ у слов *мадам* и *мадама* (устар., прост.) не фиксируют — значит, это значение является сугубо региональным.

К вкраплениям из русско-китайского пиджина в современный дальневосточный региолект можно отнести и упомянутое слово ***друга***, используемое в качестве обращения к китайцу, а также нечасто употребляемое

капитана в значении ‘начальник, старший по должности’ или как обращение к китайскому начальнику, старшему по должности.

Отмечен случай калькирования в местной русской речи грамматической конструкции, характерной для русской речи китайцев — носителей современного русско-китайского пиджина, которые в свою очередь «скалькировали» ее с синтаксической конструкции своего родного языка. Продавец, молодая русская женщина, уточняя у покупателей, будут ли они покупать мороженое, спрашивает: *Надо?* И тут же спохватывается, поправляя себя: *Ой, уже как китайцы: надо — не надо!* (время и место записи — август 2007 г., Благовещенск).

Региональный характер, связанный с присутствием китайцев в регионе, имеют как функционирующие в речи русских дальневосточников китайские заимствования, так и образования от них: ***чифан*** — ‘еда’, ***чифанька*** — ‘кафе китайской кухни’, ***гам-бэй*** — ‘до дна (выпить)’, ***хао*** — ‘хорошо’, ***пу-хао*** — ‘плохо’ и др.

В пассивном употреблении на современном Дальнем Востоке слово ***шанго***, означающее ‘хорошо’: его помнят, но практически не употребляют. Происхождение этого слова остается невыясненным.

Распространенное в Дальневосточном регионе собственно русское слово ***помогайка*** (китайский помощник), образованное от глагола *помогать*, который часто используется китайцами при предложении своих услуг в форме императива (*Я тебе помогай! Я помогай!*) также выступает знаком местного региолекта, отражая, кроме всего прочего, и специфичные для региона реалии.

В пассивном употреблении в современных говорах находятся лексемы китайского происхождения ***хванза***, ***фунфузы***, некогда бывшие в говорах общеизвестными: их актуализация происходит в речи старожилов края — жителей амурских сел при воспоминании о былом времени, в частности, о 20–30-х гг. XX в., когда жили с китайцами в тесном взаимодействии, т. е. лишь в определенных речевых жанрах и ситуациях [Слово 2005: 65; Слово 2007: 120, 128]. Исключение составляют, пожалуй, лишь производные от слова *фанза*, которые расширили свое значение и сферу употребления: в китайском языке *фанза* — крестьянский дом, в русских амурских говорах ***фанзешка***, ***фанзушка*** — жилище, избушка [СРГП 2007: 476].

Все приведенные нами факты могут служить доказательством регионально обусловленной специфики русской речи в Дальневосточном регионе и позволяют говорить о существовании дальневосточного региолекта как одной из форм языкового бытия.

9.

Регионально окрашенная лексика, свойственная дальневосточному региолекту русского национального языка, отражает процесс этнокультурно-

го взаимодействия русского и китайского народов на Дальнем Востоке, их взаимный опыт.

Эта составляющая дальневосточного регионалекта, связанная с межнациональными контактами на территории края, не единственная из тех, которые его формируют. Следует принимать во внимание и диалектные особенности, оказывающие сильное влияние на процесс становления, и качественные характеристики регионалекта, и свойственные для региона сферы деятельности, определяющие разветвленность тех или иных терминологических систем, и т. п.

Полное описание дальневосточного регионалекта русского национального языка (а также и других русских регионалектов) с учетом всех формирующих его факторов: диалектного влияния, влияния местных промысловопроизводственных терминологических систем, языков и диалектов автохтонных народов и народов соседних регионов и, возможно, других — одна из перспективных задач региональной лингвистики.

Литература

Амурская газета 1902 — Амурская газета. Политический, общественный и литературный орган. 1902 г. № 119–130.

Беликов 2004 — В. И. Беликов. Сравнение Петербурга с Москвой и другие сообщения по социальной лексикографии // Русский язык сегодня. Вып. 3. Сб. ст. / Отв. ред. Л. П. Крысин. М., 2004. С. 23–38.

Беликов 2006а, 2007, 2008 — Форум «Городские диалекты»: http://forum.lingvo.ru/actualtopics.aspx?bid=26

Беликов, Крысин 2001 — В. И. Беликов, Л. П. Крысин. Социолингвистика. М., 2001.

Витковский и др. 2006 — Комментарий Е. Витковского, А. Колесова, Ли Мэн, В. Резвого // А. Несмелов. Собрание сочинений. Т. II. Рассказы и повести. Мемуары. Владивосток: Альманах Рубеж, 2006. С. 710–729.

Герд 1995 — А. С. Герд. Введение в этнолингвистику. СПб., 1995.

Герд 2001 — А. С. Герд. Несколько замечаний касательно понятия «диалект» // Русский язык сегодня. Вып. 1. М., 2001. С. 45–52.

Карцевский 1923 — С. И. Карцевский. Язык, война и революция. Берлин, 1923.

Кауфман 1905 — А. А. Кауфман. По новым местам: Очерки и путевые заметки. 1901–1903. СПб., 1905.

Кириллов 1894 — А. Кириллов. Географо-статистический словарь Амурской и Приморской областей с включением некоторых пунктов сопредельных с ними стран. Благовещенск, 1894.

Коваленко 2002 — А. А. Коваленко. «Опиум мало-мало кури, становится много хорошо…» // Амурская правда. 13. 07. 2002.

Крысин 1993 — Л. П. Крысин. Лексико-семантические процессы в социолингвистическом аспекте // Диахроническая социолингвистика. М., 1993. С. 131–156.

Майоров 2007 — А. П. Майоров. Безударные гласные после мягких согласных в забайкальском регионалекте XVIII в. // Слово: Фольклорно-диалектологиче-

ский альманах. Вып. 5 / Под ред. Н. Г. Архиповой, Е. А. Оглезневой. Благовещенск, 2007. С. 55–61.

Несмелов 2003 — А. Несмелов. Наш тигр // Рубеж: Тихоокеанский альманах. 2003. № 4 (866). С. 197–218.

Оглезнева 2008 — Е. А. Оглезнева. Русско-китайский пиджин: опыт социолингвистического описания. Благовещенск, 2007.

Пришвин 2006 — М. Пришвин. Дальний Восток (путевой дневник 1931 г.) // Рубеж: Тихоокеанский альманах. 2006. № 6 (868). С. 201–275.

Слово 2005 — Слово: Фольклорно-диалектологический альманах. Материалы научных экспедиций. Вып. 2. Речевые портреты. Речевые жанры. Словарь. Язык фольклора / Под ред. Е. А. Оглезневой, Н. Г. Архиповой. Благовещенск, 2005.

Слово 2007 — Слово: Фольклорно-диалектологический альманах. Вып. 5 / Под ред. Н. Г. Архиповой, Е. А. Оглезневой. Благовещенск, 2007.

Сл. Даля — В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1–4. М., 1989.

Сл. Ожегова, Шведовой 1995 — С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. 3-е изд., испр. и доп. М., 1995.

Сл. Уш. — Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 1–4. М., 1934–1940.

СРГП 2007 — Словарь русских говоров Приамурья / Авт.-сост. О. Ю. Галуза, Ф. П. Иванова, Л. В. Кирпикова, Л. Ф. Путятина, Н. П. Шенкевец. 2-е изд-е, испр. и доп. Благовещенск, 2007.

Трубинский 1991 — В. И. Трубинский. Современные русские региолекты: приметы становления // Псковские говоры и их окружение: Межвуз. сб. науч. тр. Псков, 1991. С. 156–162.

Шпринцин 1968 — А. Г. Шпринцин. О русско-китайском диалекте на Дальнем Востоке // Страны и народы Востока. Вып. VI. М., 1968. С. 86–100.

Jabłońska 1957 — A. Jabłońska. Język mieszany chińsko-rosyjski w Mandżurii // Przegląd orientalistyczny. 1957. № 2 (22). S. 157–168.

Ю. В. СМИРНОВА

О ПРИНЦИПАХ АССИМИЛЯТИВНОСТИ И УМЕРЕННОСТИ В ИСТОРИИ ПРЕДУДАРНОГО ВОКАЛИЗМА НЕКОТОРЫХ РУССКИХ ГОВОРОВ

Предметом настоящей статьи являются реконструкция некоторых особенностей вокализма 1-го предударного слога после мягких согласных в мещерских говорах первой половины XVII в. и сравнение полученных результатов с данными синхронной и исторической лингвогеографии (в том числе относящимися к соседним территориям), что позволяет проследить основные тенденции в развитии соответствующей части фонетической системы.

Сведений, полученных исключительно из письменных памятников, недостаточно как для определения типа предударного вокализма, бытовавшего на территории Мещеры в первой половине XVII в., так и для реконструкции развития типов. Объясняется это ограниченностью материала (в том числе лексического), сложностью интерпретации написаний с заменами *я* на *е* (*дес<u>е</u>тины*, *се^{н}т<u>е</u>^{б}ря*, *п<u>е</u>^{т}на^{т}це^{т}* и т. п., см. ниже), а также и тем, что в мещерских говорах XVII в. уже мог быть представлен целый ряд разнообразных систем вокализма (сейчас такое разнообразие является характерной чертой этих говоров). Поэтому необходимо сравнение с современными диалектными данными, которые намного более показательны. Тем не менее, и памятники дают некоторую информацию по рассматриваемому вопросу. Целью работы является сопоставление данных из разных источников.

Под мещерской территорией в данной статье подразумевается северная часть Рязанской области, а также примыкающие к ней юго-западная часть Владимирской области и восточная часть Московской области (то есть район междуречья Оки и Клязьмы)[1]. По территориальному делению XIX в. эта местность относилась к северо-западной части Касимовского уезда и к Егорьевскому уезду Рязанской губернии. Территория мещерских акающих говоров в основном совпадает с территорией восточных среднерусских го-

[1] Сведения о колонизации этого края славянами и о современной территории Мещеры содержатся в [Строганова 1957: 88–93]; о мещерских селах Пензенской области, выселившихся из Рязанского края, см. [Бахилина 1957].

Русский язык в научном освещении. № 2 (16). 2008. С. 137—153.

воров отдела Б (по классификации К. Ф. Захаровой и В. Г. Орловой [Захарова, Орлова 1970])[2].

Говоры Мещерского края до сих пор сохраняют ряд архаичных и редких черт, являясь, по выражению Т. Г. Строгановой, «своеобразным диалектным заповедником» [Строганова 1957: 157].

Материалом для исследования послужили памятники деловой письменности 1-й половины XVII в., созданные выходцами с территории Мещеры — из Касимова, бывшего Муромского сельца (находилось на территории современного Егорьевского района), и соседних местностей. Главным образом это записи 1620–1634 гг. из отказной книги Владимирского уезда (РГАДА, ф. 1209, оп. 2, № 12616, при цитировании обозначается номером 1, далее указан номер листа). К анализу привлечены также некоторые записи 1640-х гг. из более поздних отказных книг (РГАДА, ф. 1209, оп. 2, №№ 12617, 12618; далее обозначены соответственно номерами 2 и 3), ряд челобитных 1628 г. из столбцов Поместного приказа по Владимирскому уезду (РГАДА; ф. 1209, оп. 1185, № 33769; при цитировании ставится пометка *Ч*); а кроме этого — несколько документов 1-й половины XVII в., опубликованных в специальном лингвистическом издании [Пам. Влад.] (отражающих яканье / аканье в 1-м предударном слоге; для приводимых примеров указывается номер документа и листа).

В отказных книгах Владимирского уезда собраны записи с довольно обширной территории — и с собственно владимирской, и с мещерской (это объясняется достаточно тесными экономическими связями данных областей в рассматриваемый период, см. [Русское государство 1961: 240]). В тех случаях, когда в документе отражаются такие в целом нетипичные для владимирско-поволжских говоров особенности, как яканье и аканье в 1-м предударном слоге, можно с достаточной степенью уверенности предполагать, что автор — носитель акающего мещерского говора (данный критерий применим и к челобитным). Довольно часто имеются прямые указания на происхождение авторов, например — «(*книги писал*) *Касимовскои пушкарь Степанка Болычов*». Степень надежности сведений, полученных из перечисленных источников, достаточно высока, поскольку в периферийном делопроизводстве обычно были заняты местные писцы [Котков 1980: 244]; следовательно, можно ожидать отражения особенностей, типичных именно для мещерской территории.

Мещерские говоры занимают промежуточное положение между владимирско-поволжскими на севере и рязанскими на юге. Такая локализация позволяет выдвигать различные предположения относительно генетических связей рассматриваемых говоров, и одним из главных критериев при этом становится именно тип вокализма 1-го предударного слога после

[2] Особенности окающих говоров Мещеры не являются предметом рассмотрения в данной статье; о вокализме этих говоров см., к примеру, [Строганова 1957: 94–96].

мягких согласных, характерный для этой местности. Так, здесь достаточно широко распространено умеренное яканье, происхождение которого исследователями объясняется по-разному. Хорошо известна теория В. Н. Сидорова относительно «ёкающей» (то есть севернорусской) основы данного типа вокализма, см. [Сидоров 1966, 1969; Захарова 1985]. Возникновение этого типа объясняется также влиянием окающих говоров на исконно южнорусские, см., например, [Калнынь 1957: 84]. Однако имеется и другая точка зрения, согласно которой зависимость предударного гласного от качества последующего согласного не обязательно должна быть изначально связана с особенностями фонетики северных говоров (см. [Князев 2001; Князев, Пожарицкая 2002], там же см. разбор гипотезы В. Н. Сидорова).

Кроме умеренного яканья, сейчас на мещерской территории представлены ассимилятивно-диссимилятивные модели, еканье и иканье (в основном, в северной части области), ассимилятивно-умеренное[3] и сильное яканье, большинство этих типов подробно проанализированы в работе [Мораховская 1962], также см. [Строганова 1957: 97–102]. Очевидно, что и для говоров писцов XVII в. могли быть характерны различные системы.

Ввиду обычной для многих памятников письменности редкости прямых отражений яканья (см. [Хабургаев 1966: 229; Галинская 2002: 207]) приходится использовать все имеющиеся в исследованных записях примеры, так как, взятые в совокупности, они все же могут указать на некоторые тенденции.

В текстах обнаружен ряд показательных написаний, и далее рассматриваются наиболее значимые случаи мены букв *я*, *а*, *е*, *ѣ* и *и* в позициях перед слогами с ударными гласными разного подъема, а также отдельно перед твердыми и мягкими согласными. Группа согласных, последний из которых является мягким, если это не заднеязычный, может расцениваться как тождественная одиночному мягкому, вне зависимости от качества первого звука: известно, что во многих говорах с умеренностью в системе яканья [и] (или [е], [ь]) чаще всего произносится и в этих случаях, см. [Касаткин 1999: 456].

Нужно учесть, что замена *е*, *ѣ* на *я* (*а*), скорее всего, отражает действительное произношение звука типа [а] (поэтому соответствующие примеры особенно важны), но обратные замены могут либо отражать произношение [е] или [ь], либо объясняться гиперкоррекцией, возникающей из-за нежелания отражать на письме якающее произношение.

---

[3] Под ассимилятивно-умеренным яканьем, как и в работах [Мораховская 1962; Аванесов 1949; Русская диалектология 1989], понимается умеренное, осложненное произношением [а] между мягкими согласными перед слогом с ударным [а]. В [ДАРЯ I] и некоторых других классификациях этот тип обозначается как умеренно-ассимилятивный (например, в [Баранникова, Бондалетов 1980], где ассимилятивно-умеренным яканьем, в свою очередь, называется система иканья, осложненная произнесением [а] перед твердым согласным при наличии [а] под ударением).

Итак, в позиции перед буквами, обозначающими ударные гласные **верхнего подъема** [и], [ы], [у], и твердым согласным встретились следующие замены *е* на *я*: *Пя*^{т}*рушка* 1-216 об., *С Пя*^{т}*рушины*^{м} 1-219, *Горямыка* 1-133 об.; *Мяды*^{н}*цова* (деревня) 2-183. В том же положении представлены обратные случаи: *понеты*^{х} 1-257, 1-260, 1-304, 1-378 об.

Перед мягким согласным имеются написания *е* вместо *я*: *Костеньтино*^{в} 1-56 об., *десетины*^{и} 1-57, *двѣ десе*^{ти}*ны* 1-192 об., *по*^{л}*десе*^{ти}*ны* 1-193, *десетины* (Р.) 1-196 об. (4 р.), 1-197 об., 2-181, *десетина* 1-196 об., *десе*^{ти}*на* 1-26, *десети*^{н} 1-196, 1-196 об., 1-198, *со кнеинею* 1-222 об. (позиция перед [γ'] или [j], возможными при «книжном» произношении этого слова, см. [Шахматов 1941: 91–92]), *кнеини* (Р.) 1-283, 1-457, 1-472, *Косте*^{н}*ти*^{н} 1-223, *премици* 1-261, *деве*^{ти} 1-266 об., *к пе*^{ти} 1-293 об., *Еки*^{м}*ко* 1-217, *Еки*^{м} 1-294, *о*^{б}*евилася* 1-326, *Екимо*^{в} 1-447, *Еки*^{м}*ка* 2-182 об. (ср. *Яки*^{м}*ко* 2-182), *Екимовы*^{м} 2-178 об. Есть и замены *я* на *и* в той же позиции: *к питидеся*^{т} 1-263, *книини Алекса*^{н}*дры* [Пам. Влад.: 145-1]. Лишь у одного из писцов дважды встретилось написание с заменой *е* на *я*: *Я*^{л}*фимко* 3-15, 3-17 (видимо, позиция перед сочетанием твердого согласного с мягким; ср. во владимирском тексте: *Е*^{л}*фимко* 3-26 об.).

В качестве дополнительных могут быть приведены примеры на позицию после **ч*. Определение качества звука на месте **ч* для XVII в. представляет определенную трудность (сейчас в части мещерских говоров имеется твердое цоканье). Тем не менее, можно предполагать, что по крайней мере в некоторых говорах XVII в. соответствующий звук был мягок, так как обнаружены примеры типа *Чюдино*^{в} (1-170 об.), *Чюрила* (прозвище; 1-195 об.); при этом написания *ы* после *ч* отсутствуют.

В этой позиции встретились следующие примеры: *в чатыре*^{х} 1-22 об., 1-305 (ударение здесь, по всей видимости, падало на 2-й слог, так как слово *четыре* в древнерусском языке относилось к акцентной парадигме *а* [Зализняк 1985: 133]), *чатыре* 1-41, 1-273 об., 1-503 об., 1-520, *чатыря* 1-8 (2 р.), 1-196 об. (2 р.), 1-197 об., *к... чатыря*^{м} 1-326 об., *чаты*^{р}*на*^{т}*ца*^{т} 1-403, *чаты*^{р}*наца*^{т} 3-358 об.

В этих лексемах *а* на месте *е* пишется довольно часто, данный факт может быть связан с тем, что писцы, стремясь не отражать якающее произношение, избегали прежде всего употребления буквы *я*, а не *а*[4].

Примеры на положение перед ударными гласными верхнего подъема уже позволяют сделать некоторые выводы об особенностях вокализма. Перед твердым зафиксировано 4 случая замены *е* на *я*, которые, несомненно, указывают на наличие яканья в данной позиции. Перед мягким согласным встретилось более 20-ти замен *я* на *е*. Обратные же замены в данной пози-

[4] При этом у одного из писцов имеются случаи *чаты*^{р}*на*^{т}*ца*^{т} 2-633 об. и *че*^{т}*ве*^{р}*тому* 2-631 об. То есть можно предполагать, что в положении перед **е* и **ь* (в сильной позиции) в первом предударном слоге на месте фонем неверхнего подъема в его говоре произносился звук типа [е], а не [а].

ции есть лишь у одного автора, у остальных писцов они не встречаются. В то же время большое количество замен *я* на *е* именно в положении перед мягким само по себе мало о чем говорит, так как они могут быть гиперкорректными (то есть возникать в результате нежелания авторов отражать свое произношение) или же часто встречаться по причине употребительности некоторых лексем (например, *десятина*). Тем не менее, такое соотношение примеров может указывать на принцип умеренности в системе яканья. Написания с *и* на месте *я* могли бы дополнительно это подтверждать, хотя их можно расценивать и как описки под влиянием следующей *и*. Но нужно учесть, что в позиции перед гласными верхнего подъема и мягким согласным замены на *и* в текстах могут произойти в основном при *и* в следующем слоге (так как слов с мягким согласным перед [у́] или с сочетанием *t't* перед [ы́] не очень много).

Количество примеров на позиции перед этимологическими гласными **верхне-среднего подъема** (***ô, *ĕ**) меньше; есть замены *е* на *я* при последующем твердом согласном: *воя̱воды* (Р.) 1-1, 1-5, *Пя̱^{т}ровича* 1-1, 1-2, 1-5, *Пя̱^{т}ро^{в}* 1-4, 1-456 об., *Я̱рмолы* (Р.) *Ч*-238 (фактический номер страницы — 235, ошибка в нумерации документа), 236 (2 р.), 242 (ср. *Е̱^{р}молы* (Р.) *Ч*-237), *отдѣля̱но* 1-1 (этот пример менее показателен — здесь возможна аналогия с основой инфинитива *отделять*, подобный случай есть и в тексте, отражающем окающий говор). Не учитываются написания типа *по имя̱но^{м}* 1-13 об., они часто встречаются и в текстах с собственно владимирской территории, объясняясь аналогией с формой *имя*.

Представлены также употребления *е* на месте *я*: *По^{з}не̱ко^{в}ская* (название пустоши) 1-221, *деве̱носто* 1-220, 1-447, 1-449, *деве̱носта* 1-298, *к деве̱носту* 1-305; и замена *е* на *ѣ*: *о^{т}деле̱ѣно* 1-225.

Для позиции перед мягким согласным примеров замен нет (в связи с ограниченностью лексического материала). Судить о том, имелся ли в рассматриваемых говорах принцип умеренности, приходится только по примерам на положение перед мягким согласным при ударных гласных верхнего подъема, указанным выше.

Для положения **перед этимологическими гласными среднего подъема** и твердыми согласными примеров также немного, имеются замены *я*/*а* на *е* (в том числе после шипящего): *ре̱бо^{и}* 1-297 об., *площе̱^{д}но^{и}* 1-197, 1-294.

В позиции перед мягким согласным употребляется *ѣ* в соответствии с *е*, например: *дѣ̱ре^{в}ни* 1-261, 1-262, 1-263, *в дѣ̱ре^{в}ню* 1-260. В положении перед *ч* встречаются замены *я* на *е*: *дье̱чок* 1-52, *дие̱че^{к}* 1-263, *дье̱че^{к}* 1-302, 1-305, 1-504, *де̱че^{к}* 1-34 об. и др.; кроме этого, имеется и написание *и* на месте *я*: *ди̱че^{к}* 1-198 об.

В позиции же после *ч* есть примеры замен *а* на *е* перед мягким согласным: *Ключе̱рева* (Р.) 1-54 (ср. *Ключа̱рева* 1-159), 1-170, 1-173, 1-224, 1-230 (интересно, что у одного из этих писцов представлены и примеры *ча̱тыре* 1-273 об., *ча̱ты^{р}на^{т}ца^{т}* 1-403, то есть при написании *е* вместо *а* в рассматриваемой фамилии он, по всей видимости, действительно следовал своему

произношению). Перед твердым согласным встретилось написание *а* вместо *е*: *би*^{л} *чало*^{м} [Пам. Влад.: 140-108].

Наконец, в позиции перед звуком **нижнего подъема** [á] также имеются показательные отражения произношения [а] перед твердыми: *шя*^{с}*на*^{т}*це*^{т} 1-219 (положение после мягкого шипящего; предполагается твердость [с]), *Пя*^{т}*ра* 1-472; хотя вновь есть и случаи замен *я* на *е* и *е* на *ѣ*: *диека* 1-13, 1-40, 1-230 и др., *пе*^{т}*на*^{т}*це*^{т} 1-52, *деве*^{т}*на*^{т}*це*^{т} 1-220, 1-222 об.; *не ро*^{з}*делѣна* 1-226, *в алѣкъса*^{н}*драва* 1-260, *алѣкъса*^{н}*дрову* 1-260 об. и т. д.

Обнаружены также замены *е* на *а* в позиции после шипящего: *межава*^{л} 3-398, 3-400 об., *о*^{т}*межава*^{л} 3-401.

Однако для рассматриваемого положения имеется и несколько замен *е*, *ѣ* на *я* перед мягким согласным: *пя*^{т}*дяся*^{т} 1-44 об., *въя*^{ж}*дя*^{ти} (въезжать) 1-57; *плямя*^{н}*ни*^{к} 2-179 об., 2-184 (эта форма дважды встречается в одном отказе, то есть употребление *я* в 1-м предударном слоге, очевидно, не является опиской под влиянием соседней *я*, а отражает реальное произношение), с плямяники *Ч*-122, сябя *Ч*-236.

Есть и написания *е* вместо *я* и *ѣ* вместо *е*: *окте*^{б}*ря* 1-2, 1-36, 1-37 об., *се*^{н}*те*^{б}*ря* 1-304, 1-334, *дѣвя*^{т}*ка* 1-261 об.

Кроме этого, яканье отражается в позиции перед шипящим (неясно, твердым или мягким): *вияжа*^{т} (въезжать) 3-358 об.

Таким образом, можно признать, что на месте фонем неверхнего подъема в позиции перед мягким согласным и ударным [а] мог произноситься звук [а], следовательно, допустим вывод о том, что реализация фонем неверхнего подъема перед [á] в некоторых говорах не зависела от твердости или мягкости последующего согласного.

Как видно, некоторые примеры, например, *въя*^{ж}*дя*^{ти} и *дѣвя*^{т}*ка*, противоречат друг другу, поскольку написания с заменами *е* на *ѣ* в условиях совпадения соответствующих фонем могут отражать реальное произнесение звука, близкого к [е]. Но такие замены оказываются показательными далеко не всегда, на что указывают, например, следующие случаи из исследованных текстов: *крестья*^{н}*скоѣ* 2-225 об., *крестьянѣ* 2-226 об. (2 р.). Очевидно, что за написаниями *ѣ* в этих словах вряд ли могло стоять произношение [е], так как в рукописях имеется большое количество отражений яканья в конечном открытом слоге (например, в том же отказе есть пример *в... помѣстья* В. ед.). Появление *ѣ* вызвано тем, что авторы старались писать «правильно», то есть не отражать якающее произношение, и, кроме этого, некоторые из них беспорядочно смешивали буквы *е* и *ѣ*. Так, в отказе одного из авторов представлено около 12-ти случаев замен *е* на *ѣ* в 1-м предударном слоге, что является яркой особенностью орфографической системы, но в отношении произношения не информативно (ср. встретившиеся у него написания *вияжа*^{т} и, например, *в алѣкъса*^{н}*драва*).

Тем не менее не всегда можно определить, являются ли замены *я* на *е* и *е* на *ѣ* гиперкорректными. В ряде случаев они могут действительно отражать произношение звука типа [е] в предударном слоге, указывая тем самым на

диссимилятивный тип вокализма (примеры типа *окте*^{б}*ря*, *се*^{н}*те*^{б}*ря*, *ребо*^{и}) или же на еканье (*понеты*^{х}).

Следует отметить, что в текстах имеются и немногочисленные написания, которые могли бы указывать на произношение [а] в 1-м предударном слоге перед мягкими согласными при ударном *не-а*, но показательность которых вызывает сомнения. Прежде всего это пример *Патряке*^{и} 1-255. Известно, что существует несколько вариантов данного имени: *Патр**и**кеи*, *Патр**е**кеи* (в таком написании встречается уже в одной из духовных грамот XIV в. [ДДГ: 17]), *Патр**а**кеи*, *Петр**а**кеи* (ср. *Пе*^{т}*ракѣ*^{и} 1-45 об.), встретившийся случай может быть своеобразной контаминацией.

Имеются также фамилии с неясной этимологией: *Вя*^{т}*чини*^{н} 2-182 (может быть связано как с *ветчина*, так и с *Вятчина*, *Вятка*), *Шамило*^{в} 2-183.

Как видно, материал исследованных текстов, взятый в совокупности, не указывает на какой-либо один тип предударного вокализма. По всей видимости, и в первой половине XVII в. мещерские говоры характеризовались различными системами.

Сделать более точные выводы можно, проанализировав примеры из отказов, написанных конкретными авторами. Так, в документах, составленных одним из писцов (книга 1, лл. 216-223, 453-457, 469-472), встретилось 5 примеров замены *е* на *я* в позиции перед твердым согласным (*Пя*^{т}*рушка*, *с Пя*^{т}*рушины*^{м}, *Пя*^{т}*ро*^{в}, *Пя*^{т}*ра*, *шя*^{с}*на*^{т}*це*^{т}), есть также 3 гиперкорректных написания (то есть с заменой *я* на *е*): *деве**е**носто* (вместо *девяносто*; как видно, писец здесь стремится избежать отражения якающего произношения), *деве*^{т}*на*^{т}*це*^{т} (2 р.). В позиции же перед мягким замен *е* на *я* нет совсем, однако имеются 4 примера употребления *е* вместо *я* (*со кн**е**инею*, *кн**е**ини*, *Косте*^{н}*ти*^{н}, *Еки*^{м}*ко*). Такое соотношение написаний может указывать на принцип умеренности в системе яканья. Но неизвестно, могло ли оно быть осложнено ассимилятивностью перед [а] (так как примеров замен в позиции перед мягким согласным и ударным [а] в отказах этого автора нет).

На наличие ассимилятивно-умеренного яканья, возможно, указывают примеры из отказа, составленного другим автором (книга 2, лл. 177 об.–186). В данной записи есть замены *е* на *я* в позиции перед твердым согласным, а также перед мягким согласным и ударным [а]: *Мяды*^{н}*цова*, *пля*^{н}*ни*^{к} (2 р.). При этом *я* дважды заменена на *е* перед мягким согласным и гласным верхнего подъема, в производных от имени *Еким* (*Еки*^{м}*ка*, *Екимовы*^{м}) — при том, что в записи частотны имена с начальной буквой *я* перед твердым согласным (*Яку*^{н}*ка* 2-182 об., *Якуня* 2-182, *Яру*^{н}*ка* 2-182 об. и т. д.).

Важно, что примеры замен *е* на *я* в позиции перед мягким согласным и ударным [а] есть и у других авторов. Они свидетельствуют о том, что уже в XVII в. ассимилятивность в системе предударного вокализма была свойственна мещерским говорам[5]. Таким образом, развитие ассимилятивности в рассматриваемых говорах оказывается достаточно древним процессом.

---

[5] Эти примеры могут указывать и на сильное яканье. Но наличие этого типа вокализма в говорах первой половины XVII в. представляется не очень вероятным: в

Что касается ассимилятивно-умеренного яканья, то эта система фиксируется сейчас в основном вокруг Касимова (наряду с умеренным яканьем), а также в некоторых других районах, см. [Мораховская 1962: 74 (карта)]. Один из мещерских говоров с ассимилятивно-умеренным яканьем[6] был описан В. Н. Сидоровым, см. [Сидоров 1949] (в этой работе автор также указывает и на ряд других говоров, характеризующихся данным типом вокализма, — они локализованы на территории пензенской мещеры).

Можно привлечь и диалектологические данные конца XIX в.: говоры Касимовского уезда были исследованы Е. Будде, он приводит в том числе записи из с. Ерахтур (сейчас в Ерахтурском районе, то есть к югу от Касимова, распространено ассимилятивно-умеренное яканье [Мораховская 1962: 93]). Далее приводится выборка примеров из этих записей, см. [Будде 1896: 334 и сл.]:

Позиция перед твердыми согласными (в том числе шипящими и [ц]): *за няво́*, *па дяфцо́нки* (2 р.), *вядро́*, *бяру́ть* (2 р.), *свякро́ў*, *с ряда́ми*, *па лята́м*, *Лякса́ндра*, *бяру́*, *пряду́ть*, *на... стяну́*, *прăдява́иш*, *плятýть*, *даляко́*, *ряка́*, *пятна́тцăть* (2 р.), *Пятро́ў*, *ăтвяца́й*, *сăбяру́ть*, *нăпяку́ть*, *ăтвяца́ть*, *ăбвянца́ли*, *ăдява́ютца*, *ăдява́е^{i}ть*, *răспява́е^{i}ть*, *снăряжа́итя*, *ăдява́е^{i}тца*, *свяду́ть*, *па... мяста́м*, *ляжа́ла*, *у... Ляпко́ва*, *вясно́й*, *вядро́*, *прясто́л*, *рядо́к*, *дзяло́ў*, *кăрянно́й*, *ляка́рства*, *прăляула́*, *ăбяшша́лси*, *пясо́к*; но: *имшы́к*, *ишшо́* (2 р.), *се^{i}во́* (всего), *ў Е^{i}ра́хтури-ти*, *свѣ^{a}жо́й.*

Позиция перед мягкими согласными: *те^{i}пе́рца*, *се^{i}б'ѣ* (4 р.), *нăприде́ш*, *пре^{i}де́м*, *се^{i}ме́йсва*, *бире́ш*, *бе^{i}ре́зъвай*, *ў зе^{i}мл'ѣ*, *де^{i}ви́цник*, *прине^{i}се́ть*, *бире́м*, *нăпике́м*, *дине́к*; но: *бяре́ть*, *бяли́ть*, *няв'ѣста*, *пăдняв'ѣстицы*, *у няв'ѣсьти.*

Позиция перед ['а]: *дявя́тай*, *дяся́тьня*, *дявя́тьня*, *яд'ять*, *няльзя́*, *răстяря́хи*, *ăдзяя́ла*, *вяля́ть*, *зямля́*; но: *ме^{i}ня́* (3 р.), *ве^{i}ньца́л*, *дле^{i} се^{i}бя́*, *у христья́н*, *ве^{i}ньца́ють*, *ат ме^{i}ня́.*

Нужно учесть при этом, что слова *венчать*, *крестьяне*, *меня, тебя, себя* встречаются с предударной [и] и в современных говорах с ассимилятивно-диссимилятивным яканьем [Захарова 1977: 61]. Отклонения в формах личных и возвратного местоимений при ассимилятивно-умеренном яканье (случаи произношения [и] вместо [а]) отмечены В. Н. Сидоровым и объясняются, по его мнению, тем, что в этих формах представлен «вариант фонемы *и*» [Сидоров 1949: 103–104].

Как видно, в вышеприведенных записях Е. Будде [а] при последующем мягком согласном чаще появляется в позиции перед [á], чем перед другими гласными. Хотя отклонения имеются для всех положений, но, в общем, прослеживается ассимилятивно-умеренный тип; следовательно, для данного говора он был характерен и в конце XIX в.

текстах не обнаружено примеров замены *е* или *ѣ* на *я* в позициях перед ударными **е* и **ě*.

[6] В. Н. Сидоров использует термин Н. Н. Дурново — «ассимилятивное яканье второго типа» [Сидоров 1949: 103].

Существует точка зрения, что ассимилятивно-умеренное яканье возникло в результате «наслоения» ассимилятивности на умеренный тип [Аванесов 1949: 89]. Однако первичность умеренного яканья в чистом виде для рассматриваемой системы не очевидна.

Для решения этого вопроса важны данные памятников соседних территорий. Так, В. Н. Новопокровская, исследовавшая рязанские документы 1-й половины XVII в., делает вывод о наличии в соответствующих говорах ассимилятивно-диссимилятивного яканья кидусовского типа [Новопокровская 1956: 5–6], что свидетельствует о его достаточно раннем возникновении на данной территории. Если говорить о прочих областях, то данный тип вокализма реконструируется и для новосильских говоров рассматриваемого периода [Новицкая 1959: 10–11]. О древности ассимилятивной тенденции в предударном вокализме собственно мещерских говоров может дополнительно свидетельствовать обнаруженный в «приложении руки» к тексту XVI в. пример *пля/мя*^{н}*нико*^{м} (Д.) [АРГ: № 140, л. 66] (грамота написана в Муромском уезде, то есть по соседству с мещерской территорией, и датирована 1516/1517 г.; опубликованный документ является списком 1586–1587 гг., однако есть основания не считать рассматриваемое написание ошибкой именно переписчика — в основном тексте подобных замен нет, хотя там встречаются в том числе и слова *племя*^{н}*ники* л. 65, *племя*^{н}*нико*^{м} л. 65 об.).

Что же касается умеренного яканья, то здесь данные несколько другие: деловые документы 1-й половины XVII в., созданные в том числе на тех территориях, где оно сейчас распространено, в большинстве случаев либо совсем не отражают этот тип вокализма, либо свидетельствуют, что в то время только шел процесс его формирования, о тульских говорах см. [Рыбочкина 1970: 6][7]; о среднерусских говорах западной зоны (ржевских, старицких, торжковских и тверских) — [Галинская 2002: 209]. Существует мнение, что умеренное яканье формировалось в волоколамских говорах XVI в., хотя в соответствующих текстах есть и пример *семдясятного* [Иванов 1959: 49]; при этом предполагается, что в середине XVII в. рассматриваемый тип уже имелся в коломенских говорах [Горшкова 1947:

[7] Е. А. Рыбочкина указывает, что в исследованных ею документах встречаются замены *е* и *ѣ* на *я* (после парных мягких согласных) в позиции и перед мягкими, и перед твердыми согласными, при этом после шипящих и аффрикат написания *а* на месте *е* и *ѣ* имеются лишь в положении перед твердыми. На основании этого Е. А. Рыбочкина делает вывод, что «старая тульская письменность отражает определенный этап перехода от диссимилятивного яканья к умеренному». Есть и современные данные, подтверждающие развитие умеренного яканья в тульских говорах из яканья диссимилятивного (см., например, [Савинов 2003]). Это является важным свидетельством возможности формирования умеренного яканья на базе вокализма южнорусского типа.

45–46] (следует учесть, что сведения доступны не для всех периодов и областей).

Вероятно, именно ассимилятивно-диссимилятивная система (которая, как указано выше, восстанавливается для соседней рязанской местности, а кроме этого, имеется в части современных говоров Мещеры [Мораховская 1962: 74 (карта)]) могла быть основой для ассимилятивно-умеренного яканья в некоторых мещерских говорах XVII в. Важно, что возможность изменения ассимилятивно-диссимилятивного яканья в умеренное подтверждается диалектологическими данными (переходные системы есть в нескольких населенных пунктах на рязанской территории) [Там же]; кроме этого, в части говоров с умеренным яканьем наблюдаются отклонения, указывающие на кидусовскую основу, в частности, произнесение [а] перед сочетанием *tt*' при ударном гласном верхнего подъема [Там же: 95–96].

Можно предположить, что в истории предударного вокализма некоторых мещерских говоров (тех из них, которые имели южнорусскую основу[8]) принципы ассимилятивности и умеренности оказались определенным образом связаны (приходя на смену диссимилятивности), причем уже во время формирования ассимилятивно-диссимилятивного яканья. Различные стадии развития предударного вокализма в направлении от диссимилятивного яканья к умеренному зафиксированы в современных говорах Мещеры[9].

Примечательно то, что в наиболее частотных ассимилятивно-диссимилятивных типах уже присутствует тенденция к умеренности (так что точнее было бы называть их ассимилятивно-диссимилятивно-умеренными)[10]. Наличие диссимилятивности и ассимилятивности очевидно и проявляется в произношении [а] перед ударными гласными верхнего подъема и [á] вне зависимости от прочих условий; умеренность же охватывает положение перед различными типами ударных гласных. Так, в новоселковском типе она распространяется на позицию только перед этимологическими гласными среднего подъема. При этом данный факт нельзя связывать с неразличением рефлексов **ô* и **о* (а также **ъ* в сильной позиции) под ударением. Известно, что в говоре с. Новоселки Р. И. Аванесовым отмечено наличие фонемы ⟨ô⟩ [Аванесов 1949: 84]. Кроме этого, семифонемная система ударного вокализма характерна и для других говоров с данным типом яканья [Мораховская 1962: 82; Захарова 1977: 54].

---

[8] О говорах, предположительно имеющих северную основу, см. ниже.

[9] Вряд ли можно ожидать, что в рукописях XVII в. найдет отражение, к примеру, умеренно-диссимилятивное яканье — это связано с указанными выше причинами, ограничивающими показательность примеров из письменных источников. Однако типы яканья с диссимиляцией, несомненно, были на территории Мещеры в XVII в. (поскольку они имеются там и сейчас).

[10] Исключение — бельский тип ассимилятивно-диссимилятивного яканья (на базе донского); в мещерских говорах он не отмечен.

Вопрос о происхождении кидусовского типа яканья до конца не решен[11]. К. Ф. Захарова отмечает, что население деревень с новоселковским и кидусовским типами «этнически и социально не было однородным». Кроме этого, она указывает на важное языковое отличие — в говорах с новоселковским типом яканья в отличие от говоров с яканьем кидусовским часто отмечается непереход [е] в [о] под ударением перед твердым согласным [Захарова 1977: 58]. К этому можно добавить и тот факт, что новоселковское яканье чаще сочетается с семифонемной системой ударного вокализма (см. выше), а кидусовское — с пятифонемной [Мораховская 1962: 85][12].

Таким образом, в настоящее время основные черты вокализма этих двух групп говоров существенно различаются.

С другой стороны, О. Н. Мораховской отмечено, что «для Рязанщины в целом и для рязанской мещеры в частности характерно распространение кидусовского и новоселковского подтипов яканья в отдельных мелких группах сел вперемежку, а не на больших территориях», то есть соответствующие говоры «территориально как бы вкраплены один в другой на всем пространстве распространения ассимилятивно-диссимилятивного яканья» [Мораховская 1962: 75]. Ею также зафиксированы системы, переходные от новоселковской к кидусовской [Там же: 83]. Такие случаи, конечно, можно связывать и с влиянием соседних говоров друг на друга, а не с действием фонетических процессов, однако и фонетически подобное развитие типов вполне объяснимо.

В кидусовской системе умеренность уже распространяется не только на положение перед **е* (ь), **о* (ъ), но и на позицию перед этимологическими фонемами верхне-среднего подъема. Важен тот факт, что в позиции перед совпавшими в своем звучании **е* и **ě* закрепляется именно гласный [е] или [и], а не [а].

В говорах с семифонемным вокализмом еще могла действовать тенденция к диссимилятивности в позиции перед гласными верхне-среднего подъема, поэтому в них сохранялось новоселковское яканье[13]. Различия же систем ударного вокализма в двух рассматриваемых типах говоров следует связывать как раз с переходом или непереходом в них [е] в [о] под ударением, поскольку именно этот переход может служить одной из предпосы-

---

[11] Проблема связи суджанского и кидусовского типов яканья здесь не рассматривается: К. Ф. Захаровой доказана невозможность происхождения кидусовского типа из суджанского, см. [Захарова 1977].

[12] Кидусовское яканье было впервые зафиксировано в с. Кидусово, говор которого также имеет пять гласных фонем (см. [Аванесов 1949а: 150–156]).

[13] К. Ф. Захарова отмечает и наличие элементов умеренного яканья в говорах с ассимилятивно-диссимилятивными типами, в том числе новоселковским. Проявляется это в том, что перед мягкими согласными в первом предударном слоге вместо [а] может произноситься звук [ä] или [е] (при этом перед ударными гласными среднего подъема в новоселковском типе сохраняется [и]) [Захарова 1977: 55].

лок утраты фонемы ⟨ê⟩ (см., например, [Горшкова 1972: 102]). Таким образом, говоры с первоначально единым типом предударного вокализма (видимо, архаическим диссимилятивным яканьем) в дальнейшем могли пойти по разным путям развития в связи с наличием / отсутствием в них изменения [е] в [о].

Упомянутые выше говоры с типом вокализма, переходным от новоселковского к кидусовскому, имеют именно пятифонемную систему ударного вокализма, и в трех из них переход [е] в [о] отмечен без отклонений [Мораховская 1962: 83]. То есть они в целом типологически близки к говорам с «чистым» кидусовским яканьем, «переходность» заметна лишь в области предударного вокализма, что может указывать на фонетическую основу появления [и] в позиции перед **ě*.

При этом не обязательно считать, что кидусовское яканье появлялось именно в говорах со сложившейся новоселковской системой после совпадения в них фонем ⟨ê⟩ и ⟨е⟩[14]. Оно могло формироваться на базе умеренно-диссимилятивного яканья — в тех случаях, когда произношение гласного *не-а* в позиции перед **ě* появлялось еще до окончательного развития ассимилятивности в положении перед ударным [’а]. О подобных типах вокализма в рязанских говорах см. [Мораховская 1962: 77], в них все же сохраняются и следы произношения [а] перед **ě*, то есть, по всей видимости, умеренность все же сначала развивалась в позиции перед этимологическими гласными среднего подъема.

Далее можно предполагать развитие из кидусовского типа ассимилятивно-умеренного и умеренного яканья (то есть дальнейшее распространение умеренности в системе вокализма); при этом ассимилятивность, как более новая по сравнению с диссимилятивностью тенденция, удерживается дольше[15]. Случаи изменения ассимилятивно-умеренного яканья в умеренное известны — Н. Б. Бахилина приводит в качестве примера говоры двух сел пензенской мещеры (говоры этой территории генетически связаны с мещерскими говорами восточной части Рязанской области [Бахилина 1957: 288]). В 20-е годы XX в. в этих селах отмечалось ассимилятивно-умеренное яканье, в середине же века — уже умеренный тип вокализма [Там же: 227–228]. Н. Б. Бахилина также предполагает, что в прошлом умеренное яканье с ассимиляцией было свойственно всем говорам пензенской мещеры, хотя сейчас оно фиксируется лишь в отдельных селах, вообще сохранивших архаичный говор (в других населенных пунктах наблюдается умеренное яканье) [Там же: 265].

---

[14] Тем более, что новоселковское яканье может преобразовываться в сильное [Мораховская 1962: 87–89].

[15] О том, что тенденция к ассимилятивности в позиции перед ударным [а] заменяет прежний принцип диссимилятивности, как раз свидетельствуют типы яканья, переходные от умеренно-диссимилятивного к ассимилятивно-диссимилятивному, о них см. [Мораховская 1962: 76–78].

Замещение принципа диссимилятивности в позиции перед гласными среднего и верхне-среднего подъема именно тенденцией к умеренности, видимо, обусловлено влиянием соседних согласных. Показательно, что при одинаковой реализации фонем неверхнего подъема в положении перед ударными **ô/*о* (*ъ), представленной в новоселковском типе вокализма, этой реализацией обычно является гласный [а], а не [и][16]. То же наблюдается в кидусовской системе яканья, при том что перед ударными **ě/*е* (*ь), наоборот, обычно произносится [и] или [е] (как уже было отмечено выше).

Воздействие соседних согласных традиционно считается и причиной формирования умеренного яканья, см., например, [Аванесов 1949: 79]. Но есть и другая точка зрения: Д. М. Савинов считает, что возникновение этого типа вокализма в тульских говорах обусловлено не воздействием согласных, а ассимиляцией по ряду, так как перед [е] и [и] в этих говорах согласные могут быть немягкими [Савинов 2000: 16–18], разбор данной теории см. в [Князев 2001: 33–36]. Здесь нужно отметить, что некоторые мещерские говоры, в которых наблюдается несмягчение согласных перед [е], характеризуются особыми, «смешанными», системами предударного вокализма (см. ниже).

Существует также мнение, что при умеренном яканье, как и в диссимилятивных моделях, действует диссимиляция по долготе (поскольку длительность ударных гласных в положении после мягких больше, чем в положении после твердых), см. [Князев, Пожарицкая 2002: 277–278]; но тогда не совсем понятно отсутствие тенденции к умеренности в системах вокализма после твердых согласных. В то же время можно предполагать, что для влияния последующего согласного, как мягкого, так и *твердого*, важна была мягкость звука перед предударным гласным (ср. переход [е] в [о] перед твердым согласным, регулярно происходивший лишь в диалектах с развитой корреляцией по твердости-мягкости, то есть в тех, в которых перед [е] произносился смягченный согласный [Горшкова, Хабургаев 1981: 84; Галинская 2004: 130]). Интересно при этом, что в мещерских говорах, характеризующихся несмягчением согласных перед [е], наряду с ассимилятивно-диссимилятивным яканьем обычно имеется еканье; то есть такое несмягчение «как бы препятствует последовательности ассимилятивно-диссимилятивного яканья и поддерживает еканье» [Мораховская 1962: 90–91]. Говоры, сочетающие еканье и ассимилятивно-диссимилятивное яканье, были отмечены и С. С. Высотским [Высотский 1949: 36], однако вне связи с качеством согласных перед звуком [е]. Кроме этого, С. С. Высотский обнаружил следы яканья при уже́ распространившемся еканье в гово-

[16] Существует также точка зрения, что новоселковский тип возникал (через ступень умеренно-диссимилятивного яканья) в результате ассимиляции гласного *не-а* в 1-м предударном слоге ударному гласному на месте ⟨о⟩, который в говорах с рассматриваемым типом вокализма часто является звуком средне-нижнего подъема, и ударному [а] [Касаткина, Савинов 2007: 405].

ре деревни Лека; показательно здесь то, что для этого говора как раз характерно несмягчение согласных перед [е] [Там же: 70].

В системах предударного вокализма после твердых нет таких условий для влияния последующих согласных звуков; вероятно, поэтому модели аканья (в узком смысле) в русских говорах менее разнообразны. Здесь основным путем утраты принципа диссимилятивности[17] может быть постепенное распространение произношения [а] на позиции перед всеми ударными гласными. Возможно, не случайным является то, что на большой территории русских говоров ассимилятивно-диссимилятивное и умеренное (или ассимилятивно-умеренное) яканье сосуществует с сильным аканьем [ДАРЯ I: карты 1, 3] (или, к примеру, с жиздринским [Князев 2001: 16 (таблица 1.11)])[18].

Таким образом, свидетельства памятников письменности в сопоставлении с современными диалектными данными позволяют предположить, что **в некоторых мещерских говорах умеренное яканье образовалось на основе ассимилятивно-умеренного, восходящего, в свою очередь, к ассимилятивно-диссимилятивному вокализму, в котором тенденция к умеренности уже присутствовала**. Это еще раз подтверждает высказанную в [Князев 2001; Князев, Пожарицкая 2002] точку зрения об отсутствии непосредственной связи с владимирско-поволжским вокализмом по крайней мере для части говоров с умеренностью в системе яканья.

Отдельную проблему составляют говоры, характеризующиеся предударным вокализмом, близким к умеренному яканью, но сохраняющие частичные различия в реализации гласных фонем неверхнего подъема в первом предударном слоге (тороповский, новороссийский, соколовский типы вокализма; см. о них в [Орлова 1948; Сидоров 1966; 1966а]). Так, в говорах с тороповским типом вокализма отмечается произношение [а] в позиции перед мягким согласным, однако только на месте этимологического **а*.

Здесь, во-первых, нужно отметить, что элементы различения гласных при общем неразличении фиксируются и в говорах, значительно удаленных от северного ареала, в частности на территориях к юго-востоку от Мосальска и южнее Одоева, см. [Образование… 1970: 156 (карта); Князев, Пожарицкая 2002: 273]. На этот «малоизвестный факт, парадоксальный для южнорусского наречия» указывал и С. С. Высотский [Высотский 1975: 15–16].

---

[17] О. Н. Мораховская указывает на случаи произношения [ъ] в первом предударном слоге после твердых согласных в некоторых мещерских говорах (перед различными типами ударных гласных), которые трактуются ею как следы имевшейся ранее зависимости предударного гласного от гласного ударного [Мораховская 1962: 99].

[18] Хотя зафиксированы и говоры, в которых наблюдается начальный этап перехода от задонского диссимилятивного аканья (в узком смысле) к умеренно-диссимилятивному аканью в результате действия процесса ассимиляции, см. [Касаткина, Щигель 1995].

С другой стороны, в целом ряде севернорусских говоров отмечены случаи произношения [а] в соответствии с **е* (реже **ё*) в позиции перед твердым согласным [Образование... 1970: 156 (карта)]. Видимо, именно на основе такого произношения в говорах с севернорусской основой могут развиваться типы вокализма, близкие к умеренному яканью (о формировании таких типов путем утраты ёканья и изменения предударного [е] в [а] см. [Захарова 1985: 39–40]).

Для проверки всех предполагаемых выводов требуется дальнейшее изучение как памятников письменности, так и современных говоров.

Литература

Аванесов 1949 — Р. И. Аванесов. Очерки русской диалектологии. М., 1949.

Аванесов 1949а — Р. И. Аванесов. Очерки диалектологии рязанской мещеры. I. Описание одного говора по течению р. Пры // Материалы и исследования по русской диалектологии. Т. I. М.; Л., 1949. С. 135–236.

АРГ — Акты русского государства 1505–1526 гг. М., 1975.

Баранникова, Бондалетов 1980 — Л. И. Баранникова, В. Д. Бондалетов. Сборник упражнений по русской диалектологии. М., 1980.

Бахилина 1957 — Н. Б. Бахилина. Мещерские говоры на территории Пензенской области // Труды Института языкознания АН СССР. Т. VII. М., 1957. С. 220–290.

Будде 1896 — Е. Будде. К истории великорусских говоров: Опыт историко-сравнительного исследования народного говора в Касимовском уезде Рязанской губернии. Казань, 1896.

Высотский 1949 — С. С. Высотский. О говоре д. Лека (по материалам экспедиции 1945 г.) // Материалы и исследования по русской диалектологии. Т. II. М.; Л., 1949. С. 3–71.

Высотский 1975 — С. С. Высотский. К проблеме изучения вокализма южнорусских говоров // Русские говоры. М., 1975. С. 3–19.

Галинская 2002 — Е. А. Галинская. Историческая фонетика русских диалектов в лингвогеографическом аспекте. М., 2002.

Галинская 2004 — Е. А. Галинская. Историческая фонетика русского языка. М., 2004.

Горшкова 1947 — К. В. Горшкова. К истории говоров южного Подмосковья // Доклады и сообщения филол. ф-та МГУ. Вып. 3. М., 1947. С. 43–48.

Горшкова 1972 — К. В. Горшкова. Историческая диалектология русского языка. М., 1972.

Горшкова, Хабургаев 1981 — К. В. Горшкова, Г. А. Хабургаев. Историческая грамматика русского языка. М., 1981.

ДАРЯ I — Диалектологический атлас русского языка (Центр европейской части СССР). Вып. I. Фонетика. М., 1986.

ДДГ — Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950.

Зализняк 1985 — А. А. Зализняк. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.

Захарова 1977 — К. Ф. З а х а р о в а. К вопросу о генетической основе типов ассимилятивно-диссимилятивного яканья // Диалектологические исследования по русскому языку. М., 1977. С. 49–63.

Захарова 1985 — К. Ф. З а х а р о в а. Об основе умеренного яканья в восточных среднерусских говорах // Диалектография русского языка. М., 1985. С. 31–40.

Захарова, Орлова 1970 — К. Ф. З а х а р о в а, В. Г. О р л о в а. Диалектное членение русского языка. М., 1970.

Иванов 1959 — В. В. И в а н о в. Из истории безударного вокализма русского языка (аканье и сопутствующие ему явления в волоколамских говорах XV–XVIII вв.) // Вопросы истории русского языка / Под ред. П. С. Кузнецова. М., 1959. С. 36–66.

Калнынь 1957 — Л. Э. К а л н ы н ь. К истории коломенских говоров // Труды Института языкознания АН СССР. Т. VII. М., 1957. С. 5–87.

Касаткин 1999 — Л. Л. К а с а т к и н. Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник для истории русского языка. М., 1999.

Касаткина, Савинов 2007 — Р. Ф. К а с а т к и н а, Д. М. С а в и н о в. Еще раз к истории развития ассимилятивно-диссимилятивного вокализма в южнорусских говорах // Проблемы фонетики. V. М., 2007. С. 395–407.

Касаткина, Щигель 1995 — Р. Ф. К а с а т к и н а, Е. В. Щ и г е л ь. Ассимилятивно-диссимилятивное аканье // Проблемы фонетики. II. М., 1995. С. 295–309.

Князев 2001 — С. В. К н я з е в. К истории формирования некоторых типов аканья и яканья в русском языке // Вопросы русского языкознания. Вып. IX. Диалектная фонетика русского языка в диахронном и синхронном аспектах. М., 2001. С. 8–42.

Князев, Пожарицкая 2002 — С. В. К н я з е в, С. К. П о ж а р и ц к а я. Еще раз о механизме формирования умеренного яканья в русском языке // Аванесовский сборник. К 100-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР Р. И. Аванесова. М., 2002. С. 273–279.

Котков 1980 — С. И. К о т к о в. Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М., 1980.

Мораховская 1962 — О. Н. М о р а х о в с к а я. Соотношение типов яканья в говорах рязанской мещеры // Материалы и исследования по русской диалектологии. НС. Т. III. М., 1962. С. 72–100.

Новицкая 1959 — С. И. Н о в и ц к а я. Новосильские говоры в их истории и современном состоянии (фонетика и морфология): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1959.

Новопокровская 1956 — В. Н. Н о в о п о к р о в с к а я. Диалектные особенности рязанских говоров XVII в.: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Рязань, 1956.

Образование... 1970 — Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров (по материалам лингвистической географии). М., 1970.

Орлова 1948 — В. Г. О р л о в а. Говоры северо-восточной части Рязанской области // Бюллетень диалектологического сектора Института русского языка. Вып. 3. М.; Л., 1948. С. 46–56.

Пам. Влад. — Памятники деловой письменности XVII в.: Владимирский край / Под ред. С. И. Коткова. М., 1984.

Русская диалектология 1989 — Русская диалектология / Под ред. Л. Л. Касаткина. М., 1989.

Русское государство 1961 — Русское государство в XVII в. М., 1961.

Рыбочкина 1970 — Е. А. Р ы б о ч к и н а. Фонетика и морфология тульских говоров XVII в.: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1970.

Савинов 2000 — Д. М. С а в и н о в. Вокализм первого предударного слога некоторых тульских говоров (Белевский и Веневский районы): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2000.

Савинов 2003 — Д. М. С а в и н о в. О диссимилятивной основе предударного вокализма в говорах Тульской обл. // Русистика на пороге XXI в.: Проблемы и перспективы. М., 2003. С. 390–393.

Сидоров 1949 — В. Н. С и д о р о в. Наблюдения над языком одного из говоров рязанской мещеры // Материалы и исследования по русской диалектологии. Т. I. М.; Л., 1949. С. 93–134.

Сидоров 1966 — В. Н. С и д о р о в. Умеренное яканье в среднерусских говорах и севернорусское ёканье // В. Н. С и д о р о в. Из истории звуков русского языка. М., 1966. С. 98–140.

Сидоров 1966а — В. Н. С и д о р о в. Об одной разновидности умеренного яканья в среднерусских говорах // В. Н. С и д о р о в. Из истории звуков русского языка. М., 1966. С. 141–158.

Сидоров 1969 — В. Н. С и д о р о в. Два пути образования умеренного яканья из ёканья // В. Н. С и д о р о в. Из русской исторической фонетики. М., 1969. С. 7–15.

Строганова 1957 — Т. Г. С т р о г а н о в а. К изучению говоров междуречья Оки-Клязьмы // Труды Института языкознания АН СССР. Т. VII. М., 1957. С. 88–158.

Хабургаев 1966 — Г. А. Х а б у р г а е в. Заметки по исторической фонетике южновеликорусского наречия: (Введение. Вокализм) // Учен. зап. Моск. обл. пед. ин-та. Т. 163. Вып. 12. М., 1966. С. 271–314.

Шахматов 1941 — А. А. Ш а х м а т о в. Очерк современного русского литературного языка. М., 1941.

Е. А. ГАЛИНСКАЯ

НЕСТАНДАРТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛОГА «К» В ИСТОРИИ РУССКИХ ДИАЛЕКТОВ

Дошедшие до нас памятники деловой письменности XVII века, представляющие практически все территории исконного распространения русского языка, отражают многочисленные и разнообразные фонетические диалектные особенности. В том числе тексты разной территориальной локализации более или менее регулярно манифестируют явление, которое и сейчас широко распространено в русских диалектах: произношение фрикативного задненебного звука на месте предлога «к» перед следующими взрывными согласными (см. [ДАРЯ I, карты 87, 88]). При этом существенно чаще отражается [х] перед глухими, чем [γ] перед звонкими. Примеры из рукописей:

Перед [к]: *х кн(я)зю* Стб. Новг. 1619, дело 1, л. 13; *х камѣню* Вел. Луки, л. 201 об.; *ни* ^{х} *каки*^{м} Вел. Луки, л. 425; *к реке х Каспли* Смол., № 24; *х Казарину Бѣгічеву* Смол., № 280; *х клети* Смол., № 181; *ни х кому* Смол., № 86; *к Олене х Козиной Головкѣ* Смол., № 101; *х Коломне* Смол., № 281; *х Копытцким воротамъ* Смол., № 132; *х Копытецким воротам* Смол., № 229; *х кресному целованью* Смол., № 264; *х королю* Смол., № 158, 182, 227 (V).

Перед [т], [д]: *х то*^{и} *дере*^{в}*ни* Стб. Новг. 1622, дело 40, л. 2; *х тому же* Торж., л. 356 об., *х Третьяку* Смол., № 280; *хъ дву*^{м} Стар., л. 34[1].

Перед [п]: *х Петровскому игумену* Смол., № 193.

Возможно, это явление возникло перед взрывными согласными первоначально как диссимилятивное[2], а затем в некоторых говорах предлог «х» стал спорадически употребляться и перед другими звуками, что изредка фиксируется диалектологами в современном произношении (см. примеры, приводимые Е. Г. Буровой в статье, посвященной изменениям и заменам «к» в русских говорах [Бурова 1967: 218, 219], и [ДАРЯ I: карты 87, 88]). Отражение подобного рода явления также отмечено в одной из исследованных нами рукописей: *х жи*^{тш}*нице* Стар., л. 40.

---

[1] В последнем примере за буквой *х* должен стоять звук [γ], так как следует предполагать наличие ассимилятивного озвончения, последовательно произошедшего в русском языке после падения редуцированных.

[2] Другую точку зрения высказывает Л. Л. Касаткин, см. [Касаткин 1999: 248–249].

В письменных источниках XVII века нам удалось обнаружить отражение гораздо более локально ограниченного варианта развития предлога «к». Речь идет о произношении [т] перед взрывным [к]. Приводимый ниже материал извлечен из расходных книг казначеев Тихвинского Успенского монастыря. Следует сказать, что изучен был большой массив текстов (около 3000 листов), происходящих как из этого монастыря, так и из расположенного к северу от него Александрова Свирского монастыря, и лишь в почерке одного писца Тихвинского монастыря (старца Иринарха) регулярно — в одиннадцати случаях — отражена замена [к] на [т]:

т колокольни Тихв.7, л. 18; *т коню*^{ш}*ни* Тихв.21, л. 70 (3 р.); Тихв.24, л. 6 об. (2 р.), 7; *т кожано*^{м} Тихв.9, л. 23 об.; Тихв.21, л. 7 об.; *т казе*^{н}*ному дѣлу* Тихв.22, л. 51; *т казе*^{н}*ны*^{м} *сѣня*^{м} Тихв.15, л. 19.

В почерке другого писца этого же монастыря (старца Авраамия) обнаружен еще один пример: *т казе*^{н}*ному дѣлу* Тихв.29, л. 3.

Таким образом, данное явление, видимо, воспринималось писцами как очевидно нестандартное, и далеко не все из них позволяли себе отразить его на письме, так что обнаружение подобного рода написаний можно считать исследовательской удачей.

Произношение [т] в соответствии с предлогом «к» перед знаменательным словом, начинающимся с [к], в настоящее время распространено очень мало — как раз в центральной части Ладого-Тихвинской группы говоров (около 20 населенных пунктов), там, где и расположен Тихвинский Успенский монастырь, а также в двух разрозненных населенных пунктах Белозерско-Бежецких говоров и в четырех пунктах Вологодской группы [ДАРЯ I: карта 88]. В начале XX века подобное произношение отмечалось В. Мансиккой в говорах северо-восточной части Пудожского уезда [Мансикка 1915: 155] (эта территория в ДАРЯ не картографирована).

А. М. Селищев высказывал предположение о том, что подобного рода диссимилятивный процесс «не отразился на **кк** серединном (*лекко*, *мякко*)» потому, что в последних случаях произносится один [к̄] с более длительной выдержкой; в предложных же сочетаниях этого не происходит вследствие того, что «чувствовалась в сочетании и часть, относящаяся к предлогу, и часть, относящаяся к имени» [Селищев 1921: 170]. С такой интерпретацией, однако, согласиться нельзя, поскольку в русском языке предложные сочетания образуют одно фонетическое слово, и единственно возможным немодифицированным произношением стыка предлога «к» и знаменательного слова, начинающегося со звука [к], является [к̄] с долгим затвором. По мнению Р. И. Аванесова, диссимиляция в этом случае объясняется невыразительностью [к̄] с долгим затвором в абсолютном начале на стыке предлога и знаменательного слова, которая и преодолевается путем передвижки места затвора первой части сочетания вперед, в зону [т] [Аванесов 1949: 164].

Еще более нетривиальные орфограммы обнаружились в одном почерке, которым написаны четыре текста, входящие в состав рукописи 1620–1634 гг., содержащей отказные, отдельные, раздельные, отписные, сыск-

ные, межевые и мерные записи по Вологодскому уезду (см. список источников, сокращ. — Волог.). Данные тексты, которые представляют собой отписные и межевые записи, занимают листы 56–58 об., 65–67 об., 70–72, 74–78 об. и написаны никольским церковным дьячком Лисинского стана Водожской волости Вологодского уезда Замятенкой Ивановым. Этот писец, руке которого, таким образом, принадлежит только 14 листов скорописного текста, обильно отражал особенности своего произношения. Их краткий обзор следует далее.

Изменение *ě в [и] под ударением перед мягкими согласными: *к ри^{ч}ке* лл. 57 об., 58 (2 р.); *на ри^{ч}ке* лл. 67, 75, 76; *по ри^{ч}ку* лл. 75, 75 об.; *по мире* л. 67 об. (2 р.); *на мире* (т. е. при процессе измерения) л. 76 об.; *вели^{т}* (инф.) л. 74 об.; *с матфиевыми кр^{с}тьяны* лл. 66 об., 76; *матфиеву кр^{с}тянину* л. 68; *Матвия* (Р. п.) л. 70 об.; *с Ма^{т}вие^{м}* л. 70; *Матвию* л. 71 об.; *Мосия* (В. п.) л. 56 об.; *Олексиева* (В. п.) л. 56 об.; *олексие^{в} кр^{с}тяни^{н} Макшиева* л. 72; *о^{н}дрие^{в} кр^{с}тьяни^{н}* л. 72; *Тимофия* (Р. п.) л. 74; *Володимера Тимофиевича До^{л}горуково* (Р. п.) л. 74.

Изменение *ě в [и] в первом предударном слоге перед мягкими согласными: *к рикѣ* л. 67.

Переход [е] в [о]: *перешо^{т}* л. 67 (деепричастие).

Твердый долгий звонкий шипящий: *поро^{з}жы* л. 75 об.

Протетическое [в]: *во^{л}ха* л. 67.

Изменение [чн] в [шн]: *два поперешника* л. 66; *поперешнико^{м}* л. 66; *по^{л}тора поперешника* л. 67 об.

Позиционное оглушение согласных: *две бересги* л. 67; *Довотчикова* (Р. п., фамилия) лл. 72, 76 об.; *Нефе^{т}ко* л. 71; *Фторо^{и} Григорьев* л. 76 об.; *перешо^{т}* л. 67.

Позиционное озвончение согласных: *о* (= от) *дороги* л. 57 об.; *ше^{з}десят шесть* л. 71 об.; *з гавриловыми кртьяны* (sic) л. 66 об.; *з гавриловыми кр^{с}тьяны* л. 76; *з за^{и}мищами* л. 71 об.; *с лѣсо^{м} ...з боло^{т}ны^{м} з бревены^{м} и з дровяны^{м}* л. 71 об.

Упрощение групп согласных: *в Водо<u>ск</u>ую волость* лл. 56, 65, 74, 75 (ср. *в Водожескои волости* л. 75); *обы<u>сн</u>ые лю^{ди}* (т. е. обыскные) л. 66 об.; *с лѣсо^{м} ...с пове^{р}<u>сн</u>ы^{м}* (т. е. поверстным) л. 71 об.

При этом реализация *ě в [и] только перед мягкими согласными как в ударном положении, так и в позиции первого предударного слога несомненно, свидетельствует о том, что писавший был уроженцем именно русского северо-востока.

В свете того, что писец Замятенка Иванов свободно отражал свою диалектную фонетику, следует с доверием отнестись к следующим не соответствующим никаким орфографическим нормам написаниям:

на за^{и}мишно^{и} сторонѣ ивка на тороканишно^{и} сторонѣ другая а о^{т} иво^{к} по ледине пошло ***в болоту*** *а о^{т} болота* ***в Крутому*** *ру^{ч}ю* ***в дороге*** *что о^{т} др^{в}ни Ка^{р}повские* л. 57 об.;

о^{т} березы в^{в}ерхъ по ру^{ч}ю ***в полю*** *къ Яди^{н}скому к осеку* л. 58;

о^{т} рѣчки о^{т} Кропи^{в}ны к ри^{ч}ке к Вязо^{в}ке вве^{р}хъ рѣчкою Вязо^{в}кою к болоту а^{в} | ***в болоту*** *пришла зе^{м}ля др^{в}ни Патрехова* л. 58.

В последнем случае буква **в** написана два раза — в конце строки как выносная и в начале следующей строки как строчная.

Следует сказать, что в данных сочетаниях **в** идентифицируется надежно, хотя тот начерк, который здесь используется, похож на один из начерков буквы **д**. Это важно отметить, так как бывает, что в скорописи начерки букв **в** и **д** почти совпадают в знаке, похожем на треугольник, но в данном почерке «треугольник» для **д** отличается от «треугольника» для **в** наличием двух небольших ножек, так что присутствие в говоре писца именно предложно-падежных сочетаний в дательном падеже типа «в полю», «в болоту» сомнений не вызывает.

Итак, за приведенными написаниями должно стоять произношение [в] перед звонкими взрывными [б] и [д] и произношение [ф] перед глухими [п] и [к], ведь писец оставил нам свидетельства того, что фонема ⟨в⟩ перед глухим согласным выступала в позиционном варианте [ф] — ср. приведенный выше пример *Фторо^{и} Григорьев* л. 76 об[3].

И действительно, есть абсолютно единичные севернорусские говоры, в которых отмечается произношение [ф] на месте предлога «к» перед всеми глухими взрывными согласными. Это д. Кузнецово Кирилловского р-на Вологодской обл. (ДАРЯ I, н.п. № 134 С.), д. Хорошая Вохомского р-на Костромской обл. (ДАРЯ I, н.п. № 1197 С.) и д. Никитино Поназыревского р-на Костромской обл. (ДАРЯ I, н.п. № 1208 С.) — см. [Бурова 1967: 220; ДАРЯ I: карта 88]. Согласно карте ДАРЯ I № 87, перед звонкими взрывными произношение губного звука на месте предлога «к» не фиксируется вообще, ни в одном населенном пункте на всей картографированной территории. Однако среди приводимых Е. Г. Буровой примеров из тетрадей, записанных в д. Хорошая, находим и следующие: *ф^{в} го́роду*, *ф^{в} гос'т'а́м*, *ф^{в} го́р'кому*, *ф^{в} д'е́фке*, *в д'е́душку*, *ф^{в} до́му*, *ф^{в} бол'н'и́ц'е*, *ф^{в} ба́б'е*, *ф^{в} ба́бушк'е*, *в бра́т*у. И два примера такого рода обнаруживаются в записях из д. Никитино: *в до́ц'к'е*, *в дв'ер'а́м* [Бурова 1967: 220]. По какой причине этот факт не показан на карте, неясно, но очевидно, что отраженное писцом первой половины XVII века произношение вполне реально.

На карте ДАРЯ I № 88 отмечено еще шесть разрозненных населенных пунктов, где записано произношение [ф] только либо перед [к], либо перед [т]. Один из них — д. Акишево Пречистенского р-на Ярославской области (№ 504 С.) — находится в 30-ти километрах к востоку от города Пошехонье и располагается на территории современной Костромской группы говоров, а Водожская волость, откуда происходит исследуемый текст, находилась неподалеку — примерно на 20 километров севернее современного

[3] В русских говорах фонема ⟨в⟩ в начале фонетического слова реализуется одинаково вне зависимости от того, входит ли она в состав корня или является приставкой либо предлогом, см. [ДАРЯ I: Комментарии к картам. С. 158].

Пошехонья. По лингвогеографической номенклатуре это крайняя северо-западная часть Костромской группы говоров, вблизи от стыка ее с Вологодской группой (в XVII веке Водожская волость входила в Вологодский уезд). В говоре д. Акишево в середине XX века (обследование проводилось в 1946 и 1959 гг.) фиксировалось произношение [ф] только перед [к]. Как показывают приведенные примеры из рукописи первой половины XVII века, примерно четыре столетия назад рассматриваемое диалектное явление в регионе между Пошехоньем и Вологдой, во-первых, было распространено шире — там, где в XX веке оно не зафиксировано, а во-вторых, позиций появления [ф]/[в] на месте предлога «к» было больше, чем представлено теперь в д. Акишево. Губно-зубной звук появлялся не только перед глухими взрывными по крайней мере двух классов (заднеязычными и губными), но и перед звонкими взрывными, тоже по крайней мере двух классов — губными и зубными.

Возникает, естественно, вопрос о причине развития столь неординарного для русских говоров явления, как реализация предлога «к» в звуках [ф]/[в]. Сразу следует сказать, что во всех современных диалектах, где это изменение присутствует, наличествует и реализация предлога «к» в звуке [х] перед глухими взрывными — всеми или некоторыми их классами, [см. ДАРЯ I, карта 88]. Что касается реализации «к» в [γ] перед звонкими взрывными, то она в севернорусских говорах отмечается, судя по материалам ДАРЯ, существенно реже [ДАРЯ I: карта 87], в частности, в интересующих нас населенных пунктах она на карте сейчас не зафиксирована.

В первой половине XVII века ситуация в говоре, который отразил писец из Водожской волости Вологодского уезда, была идентичной современной, так как помимо приведенных выше написаний с заменой **к** на **в** имеются и следующие случаи: *к ри*^{ч}*ке х Кропи*^{в}*не* Волог. л. 58 (2 р.); *х тому*^{ж} *за*^{и}*мищу* Волог. л. 57. Из этого естественным образом вытекает заключение о том, что следует говорить об изменении ф р и к а т и в н ы х заднеязычных в фрикативные губные (см. также [Бурова 1967: 225]).

В русских диалектах хорошо известна связь фрикативных заднеязычных и фрикативных губных. Это, во-первых, существовавшая еще в древнерусском языке замена [ф] в иноязычных заимствованиях на [х] и [хв], а также гиперкорректная обратная замена [х] и [хв] на [ф], которая стала появляться в говорах в процессе усвоения фонемы ⟨ф⟩[4]. Во-вторых, это произношение [ф] на месте [х] в окончаниях предложного падежа множественного числа существительных (*дома́*[*ф*]) и в родительном и предложном падежах множественного числа прилагательных (*из бе́лы*[*ф*], *в бе́лы*[*ф*]). В-третьих, это произношение [х] в окончании *-ов* родительного падежа

[4] Признавая гиперкорректным произношение типа [*ф*]*ост* в южнорусских говорах, Л. Л. Касаткин применительно к севернорусским диалектам видит, вслед за В. Г. Орловой, чисто фонетическое изменение [xv] → [xf] ([xφ]) → [f] с утратой [х], см. [Касаткин 1987: 33–34].

множественного числа существительных (*столо́*[*х*]) и в исходе основ на месте фонемы ⟨в⟩ (*гото́*[*х*], *рука́*[*х*]). И, наконец, в-четвертых, есть одно явление, видимо, непосредственно связанное с реализацией предлога «к» в [ф]/[в]. Это произношение [γ] (реже [г]) на месте начального [в] фонетического слова (чаще всего это предлог «в») перед звонкими согласными ([γ] *Москве́*, [γ] *больни́цу,* [γ] *во́ду*, [γ] *ри́гах* и т. д.) и [х] перед глухими ([х] *по́ле*, [х]*перёд*, [х] *це́рковь* и т. д.). Данное явление присутствует, не имея очерченного ареала, в целом ряде севернорусских говоров и в некоторых южнорусских — небольшими островками или в разрозненных населенных пунктах [ДАРЯ I: карта 57].

В целом употребление [γ], [х] на месте ⟨в⟩ распространено намного больше, чем употребление [в], [ф] на месте [γ], [х] из предлога «к». При этом наложение данных явлений отмечается только в одном населенном пункте — в упомянутой уже д. Никитино (ДАРЯ I, н.п. № 1208 С.). Правда, в прошлом обе диалектные особенности могли быть распространены шире. Об этом можно судить хотя бы по тому, что в современном говоре, восходящем к говору первой половины XVII века, который отражен в исследованной нами вологодской рукописи, произношение губных согласных на месте предлога «к» нивелировалось совершенно точно.

Возможно, одно из этих явлений возникло фонетическим путем, а другое — как результат гиперкоррекции, что привело к смешению предлогов «в» и «к». В этой связи может оказаться важным то, как сами носители говора воспринимали тот губной звук, который они произносили на месте предлога «к», и тут материал нам дает как раз текст XVII века: во всех случаях — и перед звонкими, и перед глухими — писец Замятенка Иванов пишет букву **в**, то есть в его сознании это был предлог «в».

Вероятно, в древности в севернорусских диалектах развилось произношение начальных [γ], [х] на месте ⟨в⟩ перед губно-зубными согласными в качестве диссимиляции по месту образования. Затем подобное произношение распространилось на положение перед другими согласными звуками, а самой частотной позицией, где соответствующая замена происходила, был предлог «в»[5]. В дальнейшем случаи типа [γ] *лесу*, [*х*] *песке* стали все же восприниматься как ненормативные и заменяться на [*в*] *лесу*, [*ф*] *песке*. И в виде гиперкоррекции в некоторых говорах (которых в начале XVII века, повторим, было больше по крайней мере на один, чем сейчас) вместо [х] и, видимо, [γ], звучавших в соответствии с предлогом «к» перед взрывными согласными, стал употребляться предлог «в», реализующийся соответственно в [ф] перед глухими взрывными и в [в] — перед звонкими, то есть произношение типа [*х*] *полю*, [γ] *болоту* стало заменяться на [*ф*] *полю*, [*в*] *болоту*.

[5] Несколько другое мнение о механизме этой диссимиляции излагается в [Русская диалектология 2005: 81–82], но для нашего последующего вывода различие точек зрения по данному вопросу несущественно.

Источники

Вел. Луки — Отказные, отдельные, раздельные, сыскные, межевые и мерные книги поместий, вотчин и пустых земель Великолукского уезда 1616–1637 гг. (РГАДА, ф. 1209, оп. 2, № 8367).

Волог. — Отдельные, раздельные, отписные, сыскные, межевые и мерные книги поместий, вотчин и пустых земель Вологодского уезда 1620–1634 гг. (РГАДА, ф. 1209, оп. 2, № 14821).

Смол. — Памятники обороны Смоленска 1609–1611 гг. / Под ред. и с предисл. действительного члена Ю. В. Готье. М., 1912.

Стар. — Книги сбора кабацкой прибыли Старицкого кабака 1641–1642 гг. (РГАДА, ф. 137, оп. 1, Старица № 1).

Стб. Новг. 1619 — Оклеенные столбцы Поместного стола Новгородской приказной избы 1619 г. (РГАДА, ф. 1209, оп. 1245, ст. № 42768).

Стб. Новг. 1622 — Оклеенные и неоклеенные столбцы Поместного стола Новгородской приказной избы 1622 г. (РГАДА, ф. 1209, оп. 1246, ст. № 43363).

Тихв.7 — Тихвинский Успенский монастырь. Книга расходная казначея, старца Иринарха (черновая). 1623–1624 гг. (СПб. филиал Института российской истории РАН, ф. 3, № 7).

Тихв.9 — Тихвинский Успенский монастырь. Книга расходная казначея, старца Иринарха. 1624 г. (Там же, № 9).

Тихв.15 — Тихвинский Успенский монастырь. Книга расходная казначея, старца Иринарха. 1627–1628 гг. (Там же, № 15).

Тихв.21 — Тихвинский Успенский монастырь. Книга расходная казначея, старца Иринарха. 1628–1631 гг. (Там же, № 21).

Тихв.22 — Тихвинский Успенский монастырь. Книга расходная казначея, старца Иринарха. 1629–1631 гг. (Там же, № 22).

Тихв.24 — Тихвинский Успенский монастырь. Книга расходная казначея, старца Иринарха. 1629–1630 гг. (Там же, № 24).

Тихв.29 — Тихвинский Успенский монастырь. Книги расходные казначея, старца Авраамия. 1631–1634 гг. (Там же, № 29).

Торж. — Отказные книги на поместья и вотчины Новоторжского уезда 1614–1628 гг. (РГАДА, ф. 1209, оп. 2, № 11463).

Литература

Аванесов 1949 — Р. И. Аванесов. Очерки русской диалектологии. Ч. I. М., 1949.

Бурова 1967 — Е. Г. Бурова. Диалектные изменения и замены *к* при сочетании его с последующими взрывными согласными (в предложно-падежных конструкциях) // Очерки по фонетике севернорусских говоров. М., 1967. С. 211–227.

ДАРЯ I — Диалектологический атлас русского языка (Центр европейской части СССР). Вып. I. Фонетика. М., 1986.

Касаткин 1987 — Л. Л. Касаткин. Разновидности фонетических гиперизмов в русских диалектах // Русские диалекты: Лингвогеографический аспект. М., 1987. С. 39–51.

Касаткин 1999 — Л. Л. К а с а т к и н. Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник для истории русского языка. М., 1999.

Мансикка 1915 — В. М а н с и к к а. О говоре северо-восточной части Пудожского уезда // Изв. ОРЯС. 1915. Т. 19. Кн. 4. С. 143–173.

Русская диалектология 2005 — Русская диалектология / Под ред. Л. Л. Касаткина. М., 2005.

Селищев 1921 — А. М. С е л и щ е в. Диалектологический очерк Сибири. Иркутск, 1921.

Р. А. ЕВСТИФЕЕВА

ПОРЯДОК СЛОВ В АТРИБУТИВНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ НОВГОРОДСКОЙ ПЕРВОЙ ЛЕТОПИСИ *

Новгородская первая летопись (далее — НПЛ)[1] — памятник, пользующийся постоянным вниманием исследователей языка древнерусской письменности (см., например, недавние работы [Петрухин 2003; Сахарова 2005; Гиппиус 2006]). Синтаксические характеристики памятника становились предметом специальных описаний [Истрина 1923] и привлекались при создании общей истории русского синтаксиса [Коробчинская 1955; Спринчак 1960]. Однако вопрос о порядке слов в атрибутивных словосочетаниях в НПЛ специально не рассматривался. Вообще исследование взаиморасположения слов внутри именной группы остается на периферии общей теории порядка слов в русском языке, ориентированной на главные члены предложения. И еще менее этот вопрос изучен применительно к древнерусскому языку [Борковский 1949; Виднес 1953; Лаптева 1963а; Ковтунова 1969; Ворт 2006]. Одной из причин недостаточного внимания к теме является представление о том, что характерная для современного русского литературного языка препозиция атрибута в таких словосочетаниях была унаследована из древнерусского. С этой точки зрения постпозиция атрибута воспринималась как элемент книжного языка (появившийся в нем под влиянием греческого языка). Для более позднего материала этот вывод вполне оправдан. Однако древние русские оригинальные тексты такую трактовку не вполне подтверждают. Хотя постпозиция атрибута в наиболее ранних из дошедших до нас древнерусских текстах встречается не чаще, чем препозиция, она все-таки довольно распространена. В частности, В. И. Борковский обнаружил, что в древнерусских грамотах различной территориальной принадлежности постпозиция атрибута представлена в

* Работа выполнена в рамках проекта «Синтаксическая разметка подкорпуса древнерусских переводных текстов» программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «Русский язык, литература и фольклор в информационном обществе: формирование электронных научных фондов».

[1] Работа основана на материале Синодального списка НПЛ (ГИМ, Синод. собр., № 786. XIII—XIV вв.). Приносим благодарность А. А. Гиппиусу за предоставленную возможность использования электронного набора этого списка.

20 %[2] примеров атрибутивных словосочетаний. В детальном анализе этих примеров В. И. Борковский исходил из того, что постпозитивному расположению атрибута свойственна «некоторая степень предикативности» [Борковский 1949: 227], — с чем едва ли можно согласиться. Но полнота и корректность этого исследования такова, что некоторые из наблюдений автора, которым не было найдено объяснения, могут служить и для иных интерпретаций; в частности, могут свидетельствовать о том, что постпозиция атрибута имела нейтральное значение. Например, как установил В. И. Борковский, у прилагательных *золотый*, *серебряный* «именная форма ⟨…⟩ всегда в постпозиции» [Там же: 254]. Местоименная[3] форма соответствующих прилагательных также отмечается преимущественно в постпозиции. Наоборот, в основном препозиция атрибута характерна для словосочетаний, которые Борковский называет «лексическими». К их числу он относит такие «книжные» сочетания, как «прилагательное *святый* в сочетании со словами *богъ*, *духъ*, *спасъ*, *троица*, *богородица*, в сочетании с именами святых» [Там же: 225]. Таким образом, многие из приводимых Борковским данных позволяют предполагать скорее исконный приоритет постпозиции атрибута для древнерусского языка.

Д. Ворт попытался развить мысль Борковского об обусловленности постпозиции «полупредикативностью», опираясь на однородные выборки, изучение которых, по его мнению, «обнаруживает намного более сложную ситуацию» [Ворт 2006: 270]. По его мнению, на порядок слов в атрибутивной паре влияют одушевленность субстантива и наличие предлога. К сожалению, выборки, на которых строятся наблюдения Д. Ворта (сочетания прилагательного *новгородьскъ* с существительными), недостаточно представительны. Во-первых, при анализе взаиморасположения существительного с атрибутом *новгородьскъ* автором не учитываются тема-рематические отношения в тексте. Во-вторых, не принято во внимание территориальное различие источников, а между тем очевидно, что для новгородских грамот, например, словосочетание «посадник новогородский» имеет гораздо более устойчивый характер, чем для псковских грамот. Вообще, сочетания прилагательного *новгородьскъ* с одушевленными существительными — это преимущественно обозначения социального статуса, изучение которых требует специального анализа[4] (с учетом, в частности, иноязычных влияний).

Наиболее полно и подробно древнерусские атрибутивные словосочетания исследовались О. А. Лаптевой [Лаптева 1963а]. По ее мнению, «основной функцией постпозитивного контактно расположенного нечленного

---

[2] В исследовании указано соотношение препозиции и постпозиции по множеству выделенных автором разрядов, но общий итог не подведен из-за большого количества сложных случаев.

[3] Членные и местоименные формы автор не различает.

[4] О терминологически связанных сочетаниях см. ниже, в разделе «Двучленные конструкции с прилагательными».

качественного прилагательного в атрибутивном употреблении являлось обозначение им признака, особо в высказывании не выделяемого и не играющего центральной роли в формировании коммуникативной структуры высказывания» [Лаптева 1963б: 10]. Иными словами, постпозиция атрибута, согласно О. А. Лаптевой, была семантически нейтральной.

Представляется, однако, что вопрос не закрыт и выводы О. А. Лаптевой нуждаются в обосновании и развитии с привлечением дополнительных данных; в особенности интересно рассмотреть в этом аспекте трехчленные конструкции. Такое исследование имеет смысл не только в том, чтобы подтвердить или уточнить упомянутый вывод О. А. Лаптевой о нейтральности постпозиции атрибута, но и в более широком контексте. Прежде всего, систематизация и анализ широкого круга атрибутивных конструкций в древних памятниках может дать материал для решения важной задачи лингвистической группировки памятников[5].

С этой точки зрения представляют интерес такие типы атрибутивных сочетаний, которые наиболее значительным образом различаются в разных памятниках и вдобавок могут быть сравнительно легко формализованы. В наибольшей степени этим требованиям соответствуют:

а) взаиморасположение субстантива и относящегося к нему местоимения (местоименного прилагательного): **сынъ мои** / **мои сынъ**;

б) распределение позиций внутри двухатрибутной бессоюзной конструкции — преимущественно с местоимением в роли одного из атрибутов (**красныи онъ мужь** / **мужь онъ красныи** / **вси мужи оны**).

Материалом для классификации послужили представленные на первых 100 листах Синодального списка НПЛ [6]) сочетания субстантивов (в том числе субстантивированных прилагательных) с атрибутами — прилагательными, местоимениями, порядковыми числительными. Атрибутивные причастия (их в тексте не много) не учитывались ввиду неоднозначности их синтаксической роли.

Помимо согласованных атрибутов, привлечены некоторые категории несогласованных атрибутов: местоимения группы *его*, приложения типа **гюрги кнѧзь**, количественные числительные. Однако несогласованные атрибуты, выраженные существительным в родительном падеже (типа **полъ дънѣпра**), не привлекались.

Принципиальное значение имеет учет неодиночных атрибутов, поэтому сочетания с одиночным атрибутом и бессоюзные сочетания с неодиноч-

---

[5] Подобным образом, опираясь на лингвистические особенности фрагментов текста, А. А. Гиппиус осуществил своеобразную лингвистическую стратификацию текста НПЛ (А. А. Гиппиус назвал эту работу «составлением лингвистического атласа текста») [Гиппиус 2006]. Настоящее исследование, как кажется, может послужить дополнением к его работе.

[6] По разным причинам не учитывается материал содержащейся в НПЛ «Повести о взятии Царьграда фрягами» (л. 64–72 по Синодальному списку), занимающей в летописи обособленное положение.

ными атрибутами, в особенности трехчленные сочетания (типа **красныи онъ оуноша**), рассмотрены раздельно. То же касается сочетаний с двумя атрибутами, один из которых — приложение (типа **ладога городъ камянъ**).

Ниже приведены сведения о порядке слов в группах сочетаний (двух- или трехэлементных), распределенных в соответствии с различными типами атрибутов.

Двучленные согласованные конструкции

Двучленные конструкции с местоимениями

1. свои

препозиция (порядок типа **своими попъ**) — 33 примера: 17 об.-18 [7], 19-10, 19-11, 22 об.-2, 35 об.-10, 39-6, 43 об.-16, 47 об.-17, 52 об.-18, 53-1, 54 об.-13, 58-15, 63-12, 72 об.-2, 76-5, 76 об.-10, 79-6, 79 об.-8, 80-12, 82-7, 82 об.-13, 83-2, 83 об.-12, 87-13, 89 об.-2, 89 об.-5, 89 об.-20, 90-4, 91-11, 91 об.-13, 93-6, 95-17, 97-17;

постпозиция (порядок типа **отрокъ свои**) — 36 примеров: 1-6, 1 об.-7, 11 об.-7, 12 об.-5, 14-6, 15-1, 15-12, 18-15, 22 об.-4, 32 об.-3, 36-11, 38-10, 39-18, 39 об.-11, 40-15, 45-11, 51-3, 51-11, 57 об.-5, 59-3, 59 об.-10, 64-3, 73 об.-10, 79-12, 81 об.-7, 83-12, 83-13, 89-11, 89-15, 89-15, 89 об.-17, 90-6, 90-9, 93 об.-7, 97-7, 97 об.-8.

Несмотря на то, что количество двучленных конструкций с местоимением *свои* в препозиции (33 примера) приблизительно равно количеству аналогичных конструкций с ним же в постпозиции (36 примеров), обращает на себя внимание, что препозитивное употребление этого местоимения отсутствует до л. 17 об. (при этом постпозиция атрибута на этих листах отмечена 7 раз); и, напротив, употребление *свои* в препозиции на отрезке текста после л. 70 составляет половину примеров его препозитивного употребления, тогда как количество примеров на *свои* в постпозиции после л. 70 составляет лишь треть от их общего числа.

2. мои, твои, нашь, вашь

Местоимения этой группы встречаются в древнерусских текстах существенно реже, чем местоимение *свои*, при этом они особенно редко стоят перед существительным. Такие редкие примеры препозиции местоимений этой группы мы находим только начиная с 83-го листа — т. е. приблизительно с середины памятника.

препозиция (порядок типа **вашеи братии**) — 5 примеров: 83-12, 91 об.-2, 92 об.-14, 97-5, 97 об.-4.

---

[7] Здесь и далее примеры приводятся по Синодальному списку НПЛ с указанием листа и строки рукописи.

Значительную часть постпозитивно оформленных словосочетаний этой группы составляют сочетания местоимения **нашь** с существительным **грѣхъ**:

постпозиция — 30 примеров, в том числе: **по грѣхомъ нашимъ** — 8 примеров: 12 об.-9, 29-11, 30 об.-8, 64-12, 80 об.-10, 81 об.-15, 95 об.-4, 95 об.-13; **ꙁа грѣхы наша** — 4 примера: 32-3, 54-5, 99 об.-7, 99 об.-17; прочие — 18 примеров: 12 об.-9, 21-14, 59 об.-11, 59 об.-13, 72-11, 73 об.-11, 76-2, 78 об.-15, 79 об.-6, 81 об.-16, 81 об.-16, 82 об.-14, 85 об.-3, 88 об.-3, 91-17, 97 об.-5, 97 об.-6, 97 об.-21.

Если исключить из числа примеров с постпозицией приведенные устойчивые словосочетания, легко заметить, что оставшиеся примеры в основном относятся ко второй половине выбранного фрагмента.

3. онъ, тъ, сь

В этой группе выделяется местоимение **тъ**, история которого имеет непосредственное отношение к проблеме позиции атрибута в субстантивно-атрибутивных словосочетаниях. Как известно, в болгарском языке местоимение **тъ** служит постпозитивным указателем артиклевого значения определенности. В современном русском литературном языке оно располагается перед именем. В древнерусском языке, по мнению П. С. Кузнецова, «намечается тенденция к развитию нового члена, также из указательного местоимения, однако иного, чем то, которое легло в основу местоименного прилагательного. В данном случае выступает указательное местоимение *тъ*, *та*, *то*. В некоторых из наших памятников оно выступает в роли определенного члена ⟨…⟩ Подобно местоимению, игравшему в древности (т. е. в дописьменную эпоху. — *Р. Е.*) роль члена, и местоимение *тъ* также обычно ставилось после того слова, с которым оно непосредственно было связано ⟨…⟩ Таким образом, в ⟨древне⟩русском языке намечалась тенденция к образованию постпозитивного определенного члена из указательного местоимения, подобная той, которая в болгарском языке привела к образованию подлинного члена[8]» [Кузнецов 1953: 166–167]. П. С. Кузнецов отмечает «различное распространение явления по говорам» [Там же: 167]. Таким образом, на расположении местоимения **тъ** могли сказаться как процесс постепенного перехода его в препозицию, так и постепенное закрепление его в диалектах в роли постпозитивного артикля. На местоимении **сь** эти тенденции отразились в меньшей степени, но сохранение его в наречиях именно в постпозиции по отношению к субстантиву («днесь», «ночесь») указывает на то, что местоимение **сь** в некоторых диалектах также проявляло склонность к образованию артикля. Наличие этих тенденций заставляет обращать внимание на позицию каждого из указательных местоимений в отдельности.

[8] Как известно, эта тенденция сохранилась в современных севернорусских говорах.

Местоимение **онъ** встречается в НПЛ крайне редко и только в значении ‘противоположный’ в сочетаниях с существительными **полъ** и **страна**.

препозиция (порядок типа **онъ полъ**) — 5 примеров: 6 об.-4, 8-15, 30-4, 73 об.-4, 90 об.-12.

Местоимение **тъ** употребляется преимущественно в контексте **въ то же лѣто / томь же лѣтѣ**. Летописный текст особенно богат такими контекстами, в обследуемом тексте это словосочетание встретилось 221 раз. Эти примеры исключаются из общего количества препозитивного употребления местоимения **тъ** (всего 276 примеров). Для остальных 54 примеров употребление **тъ** и **тъ же** рассматриваем раздельно.

тъ же

препозиция (порядок типа **тои же осени**) — 40 примеров: 25 об.-3, 25 об.-7, 26 об.-9, 26 об.-13, 27-5, 28-12, 28 об.-14, 30-8, 30-12, 31-6, 31 об.-3, 33-17, 33 об.-15, 35-14, 36-1, 40-10, 40 об.-12, 40 об.-18, 41-14, 45 об.-9, 47-12, 47-15, 48-2, 49-2, 54-9, 55-4, 55 об.-2, 56-12, 58 об.-4, 60-6, 60 об.-4, 60 об.-10, 75 об.-15, 78-17, 81-13, 87 об.-19, 93-6, 93 об.-18, 94 об.-3, 95-4.

постпозиция (1 пример): **мѣсѧца того же** 46-15.

Постпозитивное оформление местоимения при субстантиве **мѣсѧць** связано, возможно, с влиянием сочетаний типа **мѣсѧць мартъ**, где название месяца почти всегда ставится на втором месте (см. об этом в разделе «Двучленные конструкции с приложениями»).

тъ

препозиция (порядок типа **томь вечерѣ**) — 14 примеров: 1-14, 1-17, 15-14, 19 об.-13, 24-2, 28 об.-11, 30-17, 32-4, 34 об.-11, 40-17, 44 об.-7, 78-9, 85-20, 91 об.-10;

постпозиция (порядок типа **мужь тъ**) — 8 примеров: 1-10, 4-1, 39 об.-1, 40-6, 82-13, 98 об.-12, 98 об.-14, 98 об.-17.

Таким образом, очевидно, что **тъ же** почти всегда находится в препозиции к субстантиву, в то время как **тъ** колеблется между обеими позициями.

Та же картина, только с меньшим количеством фиксаций, наблюдается в употреблении местоимения **сь** и **сь же**.

сь же

препозиция — 13 примеров, в том числе словосочетание **семь же лѣтѣ** — 9 примеров: 6 об.-14, 8-10, 8-11, 9 об.-5, 12-5, 12 об.-11, 13-8, 13-13, 13 об.-19; прочие (**на сеи же сторонѣ** и др.) — 4 примера: 8-15, 89 об.-6, 96 об.-18, 99 об.-11.

Примеров постпозиции нет.

сь

препозиция — 1 пример: **се ꙁло** 98 об.-9;

постпозиция — 2 примера: **на цр҃квь сию** 59 об.-12; **въ цр҃кви сеи** 59 об.-16.

4. вьсь

У этого местоимения выделяются различные значения [ССЯ, I: 368, 369; СДЯ, V: 281 и др.]. Однако наблюдение над текстом НПЛ и других памятников показывает, что значение не влияет на выбор его позиции в словосочетании, поэтому его можно не учитывать.

препозиция (тип **всѧ братиꙗ**) — 55 примеров: 6 об.-11, 19 об.-1, 19 об.-16, 21-12, 23-5, 27-17, 29-16, 29 об.-1, 29 об.-4, 32-1, 32-2, 32-3, 32-5, 36-18, 37-1, 38 об.-4, 42 об.-3, 43 об.-7, 47 об.-16, 53 об.-2, 53 об.-6, 53 об.-14, 54-14, 54 об.-5, 57 об.-16, 58-13, 58-16, 60-4, 61 об.-4, 62-5, 63-15, 64-1, 64-1, 72 об.-2, 73 об.-3, 74 об.-7, 74 об.-15, 76-2, 76-15, 77 об.-9, 82-16, 82 об.-20, 83-4, 83 об.-5, 84-2, 84 об.-2, 87-2, 88-1, 91-6, 93-13, 93 об.-21, 94-16, 95-3, 95-8, 96-8.

постпозиция (тип **ꙗ** ⟨…⟩ **всѧ**) — 20 примеров: 1 об.-11, 8 об.-13, 9-17, 10-3, 11 об.-16, 19-6, 22-2, 23 об.-1, 23 об.-3, 23 об.-5, 25-18, 43 об.-8, 45-2, 55 об.-8, 62 об.-6, 74-12, 83-1, 84 об.-14, 89-4, 93 об.-13.

Таким образом, для местоимения **вьсь** на всем протяжении текста характерна преимущественно препозиция. Можно заметить, что в начале текста примеров с постпозицией несколько больше, далее их число сокращается.

5. инъ

препозиция (порядок типа **инъ кн҃зь**) — 10 примеров: 17 об.-1, 22 об.-1, 28 об.-17, 52 об.-17, 53-7, 57 об.-3, 81 об.-20, 96 об.-15, 98 об.-15, 99-14.

постпозиция — 1 пример: **кн҃зѧ иного развѣ ст҃осла(в̂)** 34 об.-12. В этом примере постпозиция местоимения определяется его связью с предлогом **развѣ**.

6. мъногъ[9]

препозиция — 2 примера: **многы кыꙗны** 16-17; **многы | странъ** 96-18

постпозиция — 3 примера: **множьство много** 40 об.-5; **дорове мнозѝ** 44-17; **товаръ многъ** 88-13.

В двух контекстах **многъ** находится в дистантной постпозиции: **дары принесе многы** 97-2; **моръ бысть въ людехъ многъ** 30 об.-5.

7. другыи

препозиция — 4 примера: **на | дроугыи полъ** 1-15; **къ дру|гомоу градоу** 52 об.-11; **на | дроугыи дн҃ь** 54-3; **въ дроузѣмь манастыи|ри** 94-3.

---

[9] Вопрос о том, является ли **многъ** местоимением или прилагательным, остается дискуссионным. Большинство словарей (ССЯ, Словарь русского языка XI–XVII вв., Словарь русского языка XVIII в.) содержат только одну словарную статью: **многыи**. Только в Словаре древнерусского языка XI–XIV вв. **мъногъ** выделено в отдельную статью в качестве «мест.-прил.».

8. остальные местоимения

самъ

препозиция — 3 примера: **самого кн҃зѧ** 4 об.-7; **самого ст҃ослава** 20-2; **сами поуть҃ники** 54 об.-10;

постпозиция — 2 примера: **ростисла(в̂) самъ** 30-10; **кн҃зѧ самого** 44-4.

которыи

препозиция — 2 примера: **которы|и еп(с̂)пъ** 29-4; **котораго пле|мене** 95 об.-17.

вьсѧкъ

препозиция — 1 пример: **вь|сѧкого ꙗзыка** 63 об.-15.

Обобщая приведенные выше данные, можно сказать следующее:

а) притяжательные местоимения тяготеют в НПЛ к постпозиции (для **свои** выбор позиции, по-видимому, несуществен);

б) указательные местоимения **тъ же** и **сь же** обычно находятся в препозиции к субстантиву; те же местоимения без **же** (**тъ**, **сь**) могут значительно чаще находиться в постпозиции;

в) для **вьсь**, **инъ**, **мъногъ** характерна препозиция, при этом для *инъ* — исключительно препозиция.

Двучленные конструкции с порядковыми числительными

Согласно авторитетным грамматическим описаниям славянских языков, славянские числительные (как порядковые, так и количественные) находятся всегда в препозиции [Мейе 2001: 386; Бирнбаум 1986: 145; Обнорский 1946: 63]. Однако показания письменных текстов не всегда это подтверждают. В «Исторической грамматике русского языка» под редакцией С. Г. Бархударова сообщается, что в древнерусских памятниках в 90 % случаев отражена препозиция порядковых числительных по отношению к субстантивам, в 10 % — постпозиция [ИГРЯ 1978: 176-177]. По данным В. И. Борковского, эти позиции для порядковых числительных составляют, соответственно, 67,9 % и 32,1 % [Борковский 1949: 297].

Ниже приведены соответствующие данные из НПЛ. В них не учитываются примеры летописных зачал **въ лѣто** + *числ.*, поскольку эти клише, в силу их высокой частотности в летописном тексте, могут искажать реальную картину.

препозиция — 26 примеров, в том числе словосочетания типа **въ X день** — 20 примеров: 6 об.-4, 10 об.-14, 13-18, 14 об.-14, 17 об.-9, 19 об.-4, 24 об.-5, 26 об.-6, 28 об.-12, 30 об.-2, 30 об.-18, 32 об.-10, 36 об.-17, 46-10, 47-2, 63-8, 63 об.-11, 78-14, 82-14, 83-19; прочие (порядок типа **· д҃і · каланда · авгоу(с̂)**) — 6 примеров: 17 об.-6, 17 об.-8, 24-1, 35 об.-7, 78 об.-6, 84-12.

постпозиция — 13 примеров, в том числе словосочетание типа **въ часъ X** (например, **въ часъ ·г҃·**) — 7 примеров: 2 об.-17, 4-17, 9-15, 30 об.-2,

32 об.-14, 44-11, 46-11; прочие (**въ не(д҃)** **·г҃·** и т. п.) — 6 примеров: 19 об.-6, 28-16, 17 об.-10, 18-7, 35 об.-8, 41 об.-18.

Эти данные весьма близки к выводам Борковского.

Если обратить внимание на распределение контекстов по тексту летописи, можно заметить отсутствие постпозитивных порядковых числительных после л. 46[10].

Двучленные конструкции с прилагательными

Классификация словосочетаний с атрибутом-прилагательным может быть грамматической — и тогда внимание обращается на падежные различия элементов словосочетаний — или лексической, основанной на учете совпадающих элементов словосочетаний (субстантивов или атрибутов).

Основания для грамматической классификации лежат в синтаксической плоскости: «представляется целесообразным разграничивать косвенные падежи как падежи вообще непредикативные ⟨…⟩ и прямые падежи» [Лаптева 1963а: 173]. При анализе текста часто сложно определить, выполняет ли атрибут роль определения в предложении или входит в состав именного сказуемого. Это касается, впрочем, только прилагательных в прямых падежах. Поэтому, если данные, касающиеся порядка слов, различаются для сочетаний в прямых и косвенных падежах, можно предполагать, что показания сочетаний, стоящих в косвенных падежах, надежнее.

Лексическая классификация основана на признаках лексикализации и фразеологизации сочетания. Порядок слов во фразеологическом словосочетании часто отличается от стандартного порядка слов в определенной языковой системе: он может сохранять тот порядок, который был в предыдущем состоянии той же системы, а может отражать порядок, принятый в иноязычной системе, из которой было сделано заимствование.

В существующих работах по порядку слов в атрибутивных словосочетаниях этот вопрос рассматривается достаточно подробно. Но при этом исследователи расходятся во взглядах на то, какие словосочетания следует считать фразеологизованными. Причиной тому является отсутствие строгих критериев для выделения фразеологизованного словосочетания в древнем тексте и отсутствие четких представлений о том, как протекали в древнерусском языке процессы лексикализации и фразеологизации словосочетаний.

В. И. Борковский, использовавший термин «лексические сочетания», не объясняет его свойств и не указывает критериев определения таких сочетаний. Выделенные им «лексические словосочетания» — это по преимуществу сочетания с атрибутами **свѧтыи** и **великыи**.

[10] Точнее говоря, далее исчезают контексты, в которых содержалось указание на час, индикт и неделю. Это соответствует наблюдению А. А. Гиппиуса, установившего наличие «изоглоссы» на л. 46 об. [Гиппиус 2006: 39, 157, 204–205].

Ю. Д. Соболева в специальной работе, посвященной выявлению в языке НПЛ механизмов фразеологизации, говорит о «поступательном процессе фразеологического развития» [Соболева 1986: 87]. Для древнерусского текста, по ее мнению, можно говорить преимущественно об «устойчивых сочетаниях», представляющих собой «специальные обозначения, терминологические и ономастические» [Там же: 88]. Даже при наличии у термина переносного значения (как, напр., *люди добрыи* ‘свидетели’), нельзя говорить о фразеологизации: «Фразеологические сочетания ⟨…⟩ создаются как средство дать образное обозначение тому, что уже названо в языке ⟨…⟩. Составные наименования с образно-метафорическим значением компонентов ⟨…⟩ — это поиск номинации» [Там же: 91].

Соболева выделяет в НПЛ следующие типы устойчивых сочетаний:

1. «составные названия и термины». Все они принадлежат социальной сфере: названия должностей (*мужи передьнии*), податей (*серебро закамьское*) и т. п.;

2. «составные топонимы». Здесь ставится проблема отнесения к составу топонима нарицательных существительных (типа *Жданя гора*). К составным топонимам относятся те, в составе которых содержится нарицательное существительное, не являющееся родовым обозначением для данного топонима (типа *Новыи торгъ*);

3. «составные названия праздников».

Примеры, которые приводит Соболева, отличаются по позиционному оформлению атрибута: в первой группе атрибут находится в постпозиции к субстантиву, во второй и третьей — в препозиции. Однако вопрос о словопорядке в устойчивых сочетаниях и о влиянии на него иноязычных образцов (что было бы особенно уместно применительно к названиям церковных праздников) в работе Соболевой не ставится.

Список типов устойчивых сочетаний, приведенный в исследовании О. А. Лаптевой, более полон, чем тот, который предлагает Ю. Д. Соболева. Лаптева противопоставляет устойчивость отдельных сочетаний древнерусского узуса фразеологизации. Однако, по ее мнению, «степень связанности значений компонентов таких устойчивых словосочетаний и отхода от прямого номинативного значения весьма неодинакова. Она может быть вполне отчетливой, но может быть и весьма незначительной, а может и вообще отсутствовать» [Лаптева 1963а: 490].

Разработка методики определения устойчивых сочетаний применительно к древнерусскому языку представляет значительные трудности, связанные с неизученностью многих необходимых параметров. Одним из простых критериев может служить частотность сочетаний[11]. Так, если сочета-

[11] Ср.: «Несомненно, по-видимому (sic! — *Р. Е.*), что многократная повторяемость словосочетания уже сама по себе создает большее единство, большую спаянность значения словосочетания, чем в параллельной конструкции свободного лексического наполнения» [Лаптева 1963а: 494].

ние **рꙋсскаꙗ ꙁемлѧ** (кстати, не выделяемое Лаптевой) встретилось в тексте 8 раз, можно полагать, что оно оформлялось во многом «автоматически». Тем более необходимым представляется выделение из текста таких формульных типов сочетаний, как названия улиц (**на рогатеи ꙋлици**) или личные имена (**игорь ꙗрославиць**).

В приведенном ниже разборе двучленных атрибутивных сочетаний с прилагательными-определениями группы словосочетаний выделяются на основе их сравнительно высокой частотности в тексте или близости к таким словосочетаниям по значению. В последнем случае устанавливается, можно ли считать, что позицию атрибута диктует значение, более общее, чем значение конкретного словосочетания или слова[12].

Для сочетаний, не охваченных лексической классификацией, приводятся данные, классифицирующие их по грамматическому параметру.

1. Сочетания с неизменяемой позицией атрибута: постпозиция

1.1. *антропоним + членное прилагательное* (порядок типа **ꙗрославъ цьрниговьскыи**) — 9 примеров: 56 об.-3, 77 об.-1, 79-9, 83 об.-*19,* 96 об.-19, 99-16, 99-17, 99-18, 99-19.

Сочетания этого типа представляют собой сложное наименование лица путем соединения личного имени и прозвища. На материале древнерусских памятников в целом некоторые сочетания такого типа «не обнаруживают яркой устойчивости и занимают промежуточное положение между прилагательными-эпитетами книжного характера и прилагательными-прозвищами» [Лаптева 1963а: 618]. Книжные эпитеты, как показывает собранный Лаптевой материал, препозитивны. Напротив, используемые в НПЛ определения-прилагательные при именах собственных постпозитивны. Таким образом, связь прилагательных рассматриваемого типа с книжными эпитетами хотя и должна быть учтена, представляется в данном случае более слабой, чем их близость к прозвищам.

Атрибуты, входящие в состав таких наименований, — это преимущественно оттопонимические прилагательные (*псковский*, *галицкий* и т. п.). Вопрос о том, в каких случаях они являются прозвищами, неоднозначен, его решение находится в синтаксической плоскости. О. А. Лаптева обратила внимание на «некоторые случаи конструктивно выраженного равноправия имени собственного и относящегося к нему прилагательного; это равноправие проявляется, в частности, в притяжательных конструкциях, когда имя собственное заменяется соответствующим притяжательным прилагатель-

[12] Не включены в подсчеты ни по двучленным, ни по трехчленным конструкциям сочетания: **бра(т҃) его ильинъ. гаврила** 47-4; **варвароꙋ · гюргевоꙋю · олекшиницѧ** 55 об.-10; **полюжаꙗ городьшиницѧ · жирошкина дъци** 59-14; **кнѧгыню кюръ михаиловоꙋю** 74-6; **иꙁгнаниꙗ ми|трофанѧ архиеп(с҃)па** 77 об.-3 и трудное чтение **ѿ лоꙋкинъ по(ж҃)ръ** 8-16.

ным, а прилагательное-прозвище остается без изменения» [Лаптева 1963а: 6]. Похожие конструкции встречаются и в НПЛ. Например, в словосочетании **бра(т҃) его ильинъ гаврила** (47-4), несмотря на то, что личное имя и существительное **братъ** принимают форму родительного-винительного падежа, притяжательное прилагательное **ильинъ** остается без изменения.

Другим свидетельством близости таких прилагательных приложениям может служить повторение предлога, свойственного именно конструкциям с приложением[13]: **съ воло|димиромь съ пльсковьскъмь** 83 об.-19.

1.2. *термин родства + притяжательная форма антропонима* — 8 примеров.

Сочетания этого типа целесообразно привести полностью, так как, несмотря на малочисленность, они отражают процесс смены приемов оформления таких наименований в летописи. В первых двух примерах используются лексемы **сынъ** и **дъчи**: **сн҃а ст҃ославлѧ** 2 об.-14; **дъчерь мьсти|славлю** 8-7. Следующие три сочетания представляют собой наименование княгини при помощи притяжательного прилагательного, производного от имени супруга-князя: **кнѧгъини и|ꙁѧславлѧвлѧꙗ** (так!) 27-4; **кнѧгъини · ꙗ|рославлѧꙗ** 61 об.-10; **кнѧгъини всеволожаꙗ** 72 об.-4. В последних трех примерах употребляется множественное число лексем **дѣти** и **вноуци**: **дѣтии дмитровъ|хъ** 75-17; **вноукъ ро|стиславле** 78 об.-14; **вноуци ростисла|вли** 79-1.

Сочетания с лексемами **сынъ** и **дъчи** могут рассматриваться как усеченные трехчленные сочетания типа **володимиръ сынъ ꙗрославль** (см. ниже «Трехчленные конструкции с атрибутом-приложением»): этот тип трехчленных конструкций, отличающийся от типа **сынъ свѧтославль** только наличием личного имени в первой позиции, также присутствует только на начальных листах НПЛ. Таким образом, речь идет об одном и том же клише, представленном в двух вариантах.

1.3. *сочетания со словом* **цьркы**

а) **цьркы** + *прилагательное (как наименование церкви)* — 5 примеров: **цр҃къ печерьскаꙗ** 5-1, 5 об.-18; **чр҃къ антонова** 10-11; **цр҃къ... варѧꙁьскаꙗ** 44-9; **цр҃ко|вь въ роусѣ ст҃го сп҃са · влд҃чьню** 61 об.-16.

Сочетания этого типа довольно малочисленны. Более распространенным, по-видимому, было использование в наименовании церкви родительного падежа атрибута, причем в качестве атрибута выступает обычно конструкция «*святой* + имя собственное».

В следующей группе сочетаний, образованных соединением существительного **цьркы** с прилагательными **нова** или **камѧна**, последовательность элементов могла определяться тема-рематическими отношениями (**нова** — в отличие от старой церкви; **камѧна** — в отличие от деревянной). С другой

[13] О повторе предлога см. ниже, в разделе «Двучленные конструкции с приложениями».

стороны, эти сочетания можно рассматривать и в качестве связанных, учитывая, что, например, словосочетание **цр҃квь камѧна** в абсолютном большинстве примеров (23 из 31) выступает с предикатом **ꙁаложити**. Адреса примеров, содержащих этот глагол, отмечены подчеркиванием:

б) *словосочетание* **цр҃квь камѧна** — 31 пример: 8 об.-6, 9 об.-3, 10-6, 11 об.-5, 16 об.-2, 23 об.-9, 24-6, 27 об.-5, 29-8, 33 об.-3, 33 об.-16, 38-15, 42-15, 43-14, 45 об.-13, 46-16, 46 об.-2, 48-17, 55-8, 55 об.-2, 56 об.-7, 59-16, 60-14, 60 об.-8, 61 об.-9, 63 об.-3, 77-3, 88-20, 92-2, 92-4, 99 об.-19.

Кроме глагола **ꙁаложити**, встречаются глаголы **освѧтити**, **съвершити**, **съꙁдати**, **коньчати**. По употреблению глаголов в массиве примеров с сочетанием **цр҃квь камѧна** можно провести следующие изоглоссы: до л. 33 об. глагол **ꙁаложити** преобладает, но перемежается и другими глаголами (**освѧтити**, **съвершити**, **съꙁдати**); на протяжении лл. 33 об. — 61 об. встречается только **ꙁаложити**; наконец, между лл. 61 об. и 63 об. строгость употребления одного только глагола **ꙁаложити** нарушается и преобладающим, хотя и не единственным, становится глагол **съвершити**[14].

Изоглосса на л. 62 об. подтверждена и другими данными нашего исследования (и совпадает с одной из изоглосс, выделенных А. А. Гиппиусом [Гиппиус 2006: 168-169, 181-182, 204-205]).

в) *словосочетание* **цр҃квь нова** — 3 примера: 41-7, 46-9, 49 об.-1.

Репертуар глаголов, управляющих объектом **цр҃квь нова**, отличается от того, который управляет словосочетанием **цр҃квь камѧна**. В двух случаях используется глагол **поставити**, в одном — **съроуѥбити**.

Учитывая гибридный характер языка летописи, следует заметить, что приведенные словосочетания не могут рассматриваться как относящиеся исключительно к сфере церковнославянского языка.

2. Сочетания с неизменяемой позицией атрибута: препозиция

Если принять, что сочетания с препозитивным атрибутом были свойственны живой речи по крайней мере какой-то части летописцев, следует искать их исключительно в бытовой тематике. На нашем материале это справедливо только для топонимов. Остальные сочетания с фиксированной препозицией атрибута, наоборт, связаны с христианством: имена святых, обозначения праздников, названия церквей и др.

2.1. *сочетания с атрибутом* **ст҃ыи**

Конструкция с прилагательным **ст҃ыи** составляет большую часть таких сочетаний. Лаптева, обращая внимание на эту конструкцию, указывает:

[14] Таким образом, меняется не только атрибутивная лексема, но и сам принцип указания на постройку церкви: фиксируется не закладка церкви, а окончание постройки.

«На характер расположения прилагательного *святой* в словосочетании имеет влияние принадлежность текста к определенной группе памятников. Основным способом расположения прилагательного *святой*, имеющим абсолютное количественное преобладание, является его препозиция» [Лаптева 1963а: 676–677]. В НПЛ препозиция является единственным способом постановки этого прилагательного.

2.1.1. **ст҃ыи** + *личное имя* (134 примера): 1 об.-13, 2 об.-2, 2 об.-16, 3-1, 3 об.-18, 4 об.-9, 4 об.-12, 5 об.-7, 5 об.-13, 7-7, 7 об.-1, 8-14, 9-13, 10-7, 10 об.-6, 11 об.-5, 12-3, 13-7, 13-18, 14 об.-8, 14 об.-13, 16 об.-6, 17 об.-7, 17 об.-14, 17 об.-18, 20-5, 23 об.-4, 23 об.-6, 27-11, 27-15, 27 об.-6, 27 об.-18, 29-1, 29-5, 29-9, 29 об.-4, 29 об.-8, 31-7, 31-17, 32-18, 32 об.-13, 33-12, 33 об.-5, 33 об.-12, 35 об.-2, 37 об.-3, 38-15, 39-4, 40-2, 40-2, 41-8, 41-10, 42-4, 43-6, 44-12, 44-16, 44 об.-1, 44 об.-3, 44 об.-4, 45 об.-3, 45 об.-13, 46-9, 47-3, 47 об.-4, 47 об.-13, 47 об.-14, 47 об.-18, 48 об.-6, 48 об.-7, 49-18, 50-10, 52-5, 52-7, 53-9, 53-16, 54-1, 54 об.-18, 55-2, 55-14, 55-15, 55 об.-7, 55 об.-12, 55 об.-14, 55 об.-15, 56 об.-8, 56 об.-14, 56 об.-16, 57-8, 58 об.-5, 59-10, 59-13, 59 об.-5, 60-12, 60 об.-2, 60 об.-9, 61-13, 62-3, 62-4, 63-8, 63-14, 63 об.-11, 64-9, 72 об.-1, 72 об.-16, 73-2, 73-14, 73-16, 75-4, 76-1, 77-12, 77 об.-13, 79-14, 82-7, 82 об.-13, 83-16, 84 об.-7, 85 об.-12, 85 об.-18, 88-17, 88-21, 88 об.-2, 88 об.-6, 90-17, 90 об.-6, 91-7, 92-2, 92-5, 93-1, 93 об.-12, 94-4, 94 об.-20, 95-1, 99 об.-13, 99 об.-20.

Упоминание святого в летописи служит преимущественно для обозначения церквей и дней года; значительную часть примеров составляют предложные метонимические конструкции (**на|ст҃го варихисиꙗ** 47 об.-4).

Обозначение *даты* при помощи имени святого представляет собой эллиптическую конструкцию, раскрытую на л. 14 об.: **на | памѧ(т҃) · ст҃го никифора · февра(р҃) | въ ·ѳ҃· д(н҃)ь** 14 об.-12. Такой подтип сочетания, где дата раскрыта, встречается в виде, предположительно, связанного сочетания следующего вида: **м(с҃)цѧ июнѧ · въ ·д҃· | на ст҃го митрофана** 49-17, — т. е. указываются обыкновенно и точная дата, и имя святого, причем именно в приведенной последовательности.

Эллиптическая конструкция с именем святого для называния церкви раскрывается, вероятно, через словосочетание **въ имѧ**. В развернутом виде конструкция встречается в тексте от л. 49 об. до л. 60 об. — и, кроме того, во фразах практически одинакового состава. Приведем их полностью: **постави цр҃квь новоу · арх|еп(с҃)пъ гаврила · на жатоуни въ и|мѧ ст҃хъ ·г҃·и отрокъ** 49 об.-1; **постави цьрковь въ нї|ꙁоу на хоутинѣ · варламъ | цьрнець · а мирьскымь имень||мь · алекса · михалевиць · въ имѧ | ст҃го сп҃са преображениꙗ** 51-16; **съроубиша | цр҃квь на островѣ · мартоурии | игоуменъ · въ им⟨ѧ⟩ ст҃го прео|браженикꙗ** 51 об.-8; **ꙁаложи цр҃квь ка|мѧноу · на городьнъıхъ воротѣхъ · | бо҃любивъıи археп(с҃)пъ новгородьскъı|и мартоурии · въ имѧ ст҃ъıꙗ бц҃ѧ | положениѥ ризъı и поꙗса** · 55-8; **цр҃квь сию юже съꙁда|хъ · рабъ твои археп(с҃)пъ мартꙋ|рии · въ имѧ ст҃го твоѥго прѣ|ображениꙗ** · 59 об.-12; **ꙁа|ложи цр҃квь камѧноу · кн҃ꙁь | ве-**

ликъıи ꙗрославъ · сн҃ъ воло|димирь въноукъ мьстиславль · | въ имѧ ст҃го сп҃са преображе|нїꙗ · 60–13.

С незначительныи отклонениями приведенные примеры воспроизводят следующую схему: глагол действия + **цр҃квь** + местоположение + имя духовного лица + **въ имѧ** + (атрибутивное сочетание с атрибутом **ст҃ъıи**). Как кажется, это наиболее развернутая из устойчивых конструкций, встречающихся в НПЛ.

2.1.2. **ст҃аꙗ бц҃ѧ** (33 примера): 2 об.-5, 9 об.-4, 10-11, 14 об.-8, 16 об.-2, 23 об.-10, 25-12, 25-17, 27 об.-8, 29-15, 29 об.-2, 30-16, 32-11, 34-7, 37-3, 37 об.-7, 42-16, 43-6, 47 об.-9, 48-18, 49-16, 52-1, 55-5, 55-11, 55-16, 57-4, 59 об.-6, 60-1, 61 об.-12, 72 об.-8, 73-16, 88-18, 93 об.-21.

В отличие от имен святых и сочетания **ст҃ъıи съпасъ**, словосочетание **ст҃аꙗ бц҃ѧ** встречается не только как название церкви, ср.: **побѣди ѧ | кн҃зь романъ · съ новгородьци · | силою кр(с҃)тьною · и ст҃ою бц҃ею** 37-1.

Другие словосочетания используются только как названия церквей:

2.1.3. **ст҃ъıи съпасъ** (9 примеров): 29-4, 33 об.-2, 39-2, 48 об.-9, 51 об.-2, 60-8, 62-1, 73-4, 77 об.-4.

2.1.4. **ст҃ъıи** + *названия христианских символов, евангельских персонажей, церковных праздников и т. п.* (28 примеров): **ст҃го влд҃кы** 7 об.-2, **ст҃го въскрс҃ениѧ** 17 об.-2, **ст҃ыꙗ пѧтницѣ** 29 об.-12, **ст҃го въздвиженїꙗ** 31-1, **ст҃го дх҃а** 32-13, **ст҃ыꙗ цр҃цѧ** 33-11, **сто(г҃) | възнесенїꙗ** 40-2, **оу ст҃го блговѣщениѧ** 43 об.-18, **ст҃хъ | оц҃ь** 44-16, **ст҃го бо҃ꙗвле|нїꙗ** 45-17, **ст҃хъ оц҃ь** 45-18, **ст҃го въ|знесенїꙗ** 46 об.-2, **ст҃го | блг҃овѣщенїꙗ** 49 об.-8, **ст҃го | образа** 50-13, **ст҃ыꙗ пѧтъни|ци** 50-15, **ст҃го | възнесенїꙗ** 50 об.-1, **ст҃го прео|браженїꙗ** 51 об.-10, **ст҃хъ ап(с҃)лъ** 51 об.-14, **ст҃го въскрс҃енїꙗ** 51 об.-17, **ст҃оую ап(с҃)лоу** 53 об.-9, **ст҃ы|ꙗ трц҃ѧ** 54-2, **ст҃го възвдвиженїꙗ** 54-2, **ст҃го | въскрсенїꙗ** 55 об.-2, **ст҃го възвдвиженїꙗ** 55 об.-14, **ст҃го въскрс҃е|нїꙗ** 57-6, **ст҃го възвдвиже|нїꙗ** 57-9, **ст҃го прео|браженїꙗ** 59-17, **ст҃го преображенїꙗ** 61 об.-15.

2.2. *сочетания со словом* **манастырь** (10 примеров).

Сочетания со словом **манастырь** относятся к трем монастырям: Печерский монастырь: 7 об.-5, 26-8, 29-14; Антонов монастырь: 47 об.-9; **аркажь (оркажь) манастырь**: 48 об.-1, 49-16, 55-5, 72 об.-8, 72 об.-12, 94-1. Сочетания этого типа входят в более распространенную конструкцию, имеющую вид **ст҃аꙗ бц҃ѧ въ … манастыри**. Первые два примера (7 об.-5 и 26-8) не включают сочетания **ст҃аꙗ бц҃ѧ** и поэтому представляют собой исключения; еще один пример с отсутствием этого сочетания описывает постройку новой церкви в монастыре и исключением в полном смысле слова не является.

Сочетания со словом **манастырь** едва ли показательны для других случаев, поскольку они входят в состав устойчивых наименований.

2.3. *названия праздников со словом* **дн҃ь** (типа **до ꙗковлѧ дн҃і**) —
9 примеров: 11 об.-15, 23-6, 35-12, 35-13, 51-9, 51 об.-7, 54 об.-5, 58-6, 58 об.-12.

Все специальные именования дней года со словом **дн҃ь** и атрибутом-прилагательным, произведенным от имени собственного (исключение: **до велика дн҃и** 35-13), относятся к церковному календарю. Вероятно, именно это обстоятельство определяет стабильную препозицию, несмотря на то, что названия праздников частотны в речевом обиходе.

2.4. *топонимы*

2.4.1. *словосочетание* **роуськаꙗ ѕемлѧ** (8 примеров): 4-7, 6 об.-11, 28 об.-8, 35-17, 78 об.-19, 79-5, 79 об.-6, 96 об.-4. Сюда же, по-видимому, можно отнести словосочетание **роу(с҃)скъꙗ о|бласти** 26-2.

2.4.2. *названия улиц* (**на ꙗколи оулици** и т. п.) — 11 примеров: 16 об.-7, 41-11, 44 об.-1, 45 об.-4, 53 об.-17, 54-4, 54-10, 54 об.-15, 56 об.-11, 72 об.-16, 77-9.

2.4.3. *названия районов города (концов)* — 9 примеров: **въ нерєвьскемь коньци** 38-16, 41 об.-9, 54-11, 73-16, 90-18, 91-1; **въ людини конь|ци** 54 об.-3, 90 об.-9, 93 об.-3.

3. Сочетания с преобладанием препозиции атрибута

3.1. *топонимы*

3.1.1. *названия подворий (дворов)*

препозиция (16 примеров): **на ѧ|рославли дворѣ** 73-12, 79-7, 80-13, 80 об.-15, 82-17, 83-11, 88 об.-1, 93-18; **въ єп(с҃)пль дво|ръ** 17-4, 22 об.-8; **кн҃жь дворъ** 86-13, 93-20; **на | петрѧтинѣ дворѣ** 11 об.-6; **миро|шкинъ дворъ** 74 об.-8; **въ влд҃цьни дворѣ** 76-9; **савъ|кине дворе** 53 об.-16.

постпозиция (1 пример): **на дворъ ꙗкоунь** 80 об.-16.

Названия княжеского и епископского подворий (**ѧрославль дворъ**, на котором собиралось новгородское вече) обладали высокой социальной значимостью. Названия дворов менее известных лиц, упоминаемые в НПЛ в основном в таких контекстах, как **миро|шкинъ дворъ и дмитровъ ѕажь|гоша** 74 об.-8, подобной ролью не обладали. Вероятно, поэтому в последних оказывалось возможным постпозитивное расположения атрибута.

3.1.2. *названия со словом* **божьницѧ**

препозиция (2 примера): **въ камѧнъꙗ божнице** 88-3; **въ варѧѕьскои божници** 88-5.

постпозиция (1 пример): **божницю | антонову** 11-13.

3.2. *сочетания с субстантивом* **моужь**

Эти сочетания в классификации Лаптевой охарактеризованы как «словосочетания со значением социальной принадлежности общественной груп-

пы или лица, образуемые соединением названных слов (атрибутов *лучьшии*, *добрии*, *лепьшии*, *нарочитыи*, *вячьшии* и субстантивов *мужи*, *людие*, *кияне*, *новгородци*, *купьци*, *боляре. — Р. Е.*) (при сохранении исходного положительного оценочного элемента в значении прилагательного)» [Лаптева 1963а: 659]. В форме мн. числа (тип **лоучьшии моужи**) они, как правило, использовались для наименования социально привилегированных групп. Атрибут в этих сочетаниях располагается преимущественно в препозиции, что отмечала и Лаптева, приводя, однако, меньшее количество примеров: в ее материале, включавшем несколько летописей, отмечается 12 примеров препозиции атрибута на 3 примера его постпозиции. В изученном нами материале НПЛ обнаружено 14 примеров препозиции атрибута.

препозиция (порядок типа **добръıхъ моужь**) — 14 примеров: 13 об.-9, 15 об.-17, 16 об.-9, 20-1, 21-17, 28-9, 47-18, 52-18, 58 об.-18, 61-7, 63-5, 83-7, 94-11, 96-12.

постпозиция (5 примеров): **моужа храбра ѕѣло** 15 об.-15; **моу(ж҃) | новгородьстии** 82-20; **моу(ж҃) ста|реишии** 94 об.-8; в двух примерах после слова **моужь** имеется не один, а два атрибута: **поставиша а|рхеп(с҃)па нифонта · моужа | ст҃а · и ѕѣло богащѧ сѧ б҃а** 13-15; **въведоша | въ дворъ арсению · цьрньцѧ съ ху|тина · моу(ж҃) добра и ѕѣло богаща|сѧ б҃а** 95-6.

Как можно заметить, некоторые сочетания из списка постпозиций относятся к тому же семантическому типу, что и отмеченные выше препозитивные сочетания. Из этого можно заключить, что в сочетаниях, использовавшихся для указания на высокий социальный статус субъекта, препозиция атрибута преобладала, но не была обязательной.

К этой группе примыкает сочетание **коупьце вѧчьшее** 33 об.-9.

3.3. *сочетания с субстантивом* **кн҃ѕь**

Сочетания этой подгруппы разделяют с предыдущим типом значение деятеля в иерархически значимой роли. До середины текста такие словосочетания встречаются довольно редко, а начиная с середины представлены двумя «компактными сериями»: на л. 73 об. и лл. 96 — 98 об.

препозиция (порядок типа **черниговьскъıи кн҃ѕь**) — 12 примеров: 16-14, 22 об.-17, 36 об.-8, 50 об.-5, 73 об.-12, 73 об.-14, 96-16, 97 об.-1, 97 об.-2, 97 об.-15, 98 об.-5, 98 об.-16;

постпозиция (порядок типа **кн҃ѕѧ берладьскаго**) — 6 примеров: 26 об.-1, 73 об.-4, 96 об.-20, 97-4, 97-15, 98-16.

4. Сочетания с равными показателями

Сочетания, в которых, на первый взгляд, атрибуты не занимают устойчивой позиции по отношению к субстантиву, при внимательном рассмотрении обнаруживают склонность к препозитивному расположению атрибута, тогда как постпозиция атрибута оказывается обусловленной особыми причинами и встречается в определенных местах рукописи.

4.1. *праздники*

4.1.1. *сочетания со словом* **недѧлѧ**

Оба постпозитивных варианта находятся на лл. 75-78. Препозитивные варианты находятся в разных местах рукописи.

препозиция — 3 примера: **въ мѧ(с̂)поу(с̂)ю не(д̂)** 16-2, **по ч(с̂)тѣи не(д̂)** 42-13, **по ч(с̂)тѣи не(д̂)** 83-20.

постпозиция — 2 примера: **въ не(д̂) | мѧ(с̂)поу(с̂)ю** 75-11; **въ не(д̂) сыропоу(с̂)ноую** 78-14.

4.1.2. *сочетания со словом* **соубота**

Обозначения праздничных дней при помощи субстантивно-атрибутивного сочетания со словом **соубота** примыкают к вышеозначенной группе по семантическому наполнению. Впрочем, информативность их незначительна: равная цифра при минимальном количестве примеров едва ли может быть верно интерпретирована. Однако и эти данные могут быть истолкованы, хоть и крайне предположительно. Учитывая общую распространенность постпозиции на ранних листах НПЛ, пример с постпозицией на 15 л. может быть осмыслен именно в контексте этой тенденции (т. е. это сочетание не испытало воздействия фиксированных правил и было оформлено по более привычной для писца модели).

препозиция — 1 пример: **въ мѧ(с̂)поу(с̂)ноую соу(б̂)** 82 об.-20.
постпозиция — 1 пример: **въ соуботоу пѧнтикость|ноую** 15-3.

4.2. *сочетания с атрибутом* **бж҃ии**

Здесь ярко представлены различные тенденции, указанные нами на примере других сочетаний: спорадическая постпозиция на начальных листах, регулярная препозиция в основном текстовом массиве и равноправное присутствие обеих позиций, начиная с листов восьмого десятка.

препозиция (порядок типа **бж҃иѥю | волею**) — 6 примеров: 16 об.-12, 32 об.-15, 41 об.-5, 49-5, 85 об.-12, 89-5.

постпозиция (порядок типа **гнѣвъ бж҃ии**) — 5 примеров: 4-6, 77-2, 77 об.-7, 86 об.-12, 96 об.-2.

Сложно указать причину, по которой сочетания, обозначающие церковный праздник или объясняющие события вышним промыслом, оказываются неединообразно оформленными. Можно констатировать, однако, их тяготение к постпозиции атрибута на раннем этапе сложения текста НПЛ и, следовательно, на более раннем этапе языкового развития в целом.

5. Сочетания, не образующие групп

Среди сочетаний, не составляющих определенных групп, выделяется небольшая группа топонимов — следует заметить, что во всех сочетаниях

этой группы атрибут постпозитивен. Это отличает такие топонимы от сочетаний с субстантивами **коньць**, **оулица**, **дворъ**. Причем, если особое оформление обозначений дворов поддается объяснению (см. выше), то поведение названий улиц и концов Новгорода, отмеченное выше как парадоксальное, следует признать еще более странным, учитывая обычную постпозитивность атрибутов в топонимах.

ѿ роу|чьꙗ плътьницьнаго 15-5; **область новгородьскоую** 22 об.-14; **волости новгородьске|и** 46-2; **сквозе ꙁемлю чю(д҃)скоую** 78-19; **ис поустынѧ | ктриѥвьскꙑꙗ** 96-3; **валъ половьчьскꙑ** 96 об.-13; **въ коурга|нъ половьчьскꙑи** 98-9.

Массив нетопонимических малочастотных и единичных атрибутивных сочетаний распределяется по позициям следующим образом[15]:

препозиция (порядок типа **бещисльноѥ число**) — 40 примеров: 4 об.-6, 6 об.-6, 10-16, 10 об.-10, 12 об.-8, 14 об.-16, 23 об.-17, 24-3, 30-3, 32 об.-8, 33-17, 36-18, 41 об.-1, 42 об.-3, 44-1, 48-8, 50 об.-7, 51-18, 57-2, 57 об.-6, 60-5, 63 об.-8, 74-12, 77 об.-19, 81 об.-5, 82-6, 85 об.-11, 85 об.-16, 85 об.-20, 87 об.-2, 89-12, 89 об.-8, 89 об.-19, 90 об.-11, 90 об.-16, 93-10, 93 об.-19, 96 об.-5, 96 об.-14, 97 об.-9.

постпозиция 74 примера, в том числе:
топонимы 7 примеров *(см. выше)*

прочие (порядок типа **ꙁнамениѥ | ꙁмиѥво**) — 67 примеров: 2-9, 5 об.-12, 11-6, 11-10, 11 об.-8, 11 об.-11, 12-12, 12-12, 13 об.-8, 14-2, 15 об.-11, 17 об.-9, 18-4, 19 об.-4, 21-8, 22-17, 25 об.-11, 26-17, 30 об.-13, 32-7, 33 об.-9, 34 об.-7, 37-3, 39-10, 42-7, 43 об.-17, 46-11, 47 об.-11, 48 об.-3, 49 об.-14, 49 об.-16, 50-12, 53 об.-18, 54-3, 55-9, 56 об.-6, 57-15, 57-16, 58 об.-4, 59 об.-7, 60-4, 74 об.-3, 75-13, 75 об.-17, 76-13, 77 об.-6, 77 об.-12, 78-7, 79 об.-11, 80 об.-2, 81 об.-6, 85 об.-10, 86-1, 86 об.-2, 87 об.-3, 90-5, 90-8, 90-9, 90-12, 91 об.-7, 93-9, 95 об.-14, 96-20, 96 об.-8, 98-6, 98 об.-7, 99-21.

Слой атрибутивных сочетаний с прилагательным, не поддающийся далее лексическому дроблению, можно рассматривать с точки зрения, которую мы выше отметили как «грамматическую».

Грамматический анализ призван выявить возможную взаимозависимость порядка слов, падежности и выбора краткой или полной формы прилагательного.

	Препозиция	Постпозиция
прямые падежи	21	55
косвенные падежи	19	12
краткая форма	12	39
полная форма	28	28

[15] Подчеркиванием выделены сочетания, входящие в состав предложений со сказуемым в форме **бысть**.

Из первых двух строк следует, что постпозиция широко употребляется в прямых падежах и редко — в косвенных. Нижние строки показывают, что препозиция мало совместима с краткой формой. Образуется тройная корреляция: ***прямые падежи — краткая форма — постпозиция***.

Этот феномен во многом объяснен Лаптевой; корреляция постпозиции и прямых падежей (а также именной формы) отражает общий процесс переоформления предикативности в языке: «Постепенно с нечленностью прилагательного стало связываться представление о предикативном значении; такое же представление стало связываться и с постпозицией прилагательного вообще, в связи с тем, что постпозиция в определенную эпоху стала характеристикой нечленной формы» [Лаптева 1963б: 14]. Предикативность, именная форма и постпозиция атрибута взаимосвязаны, таким образом, и в современном русском языке (ср. *Он очень мил*; *Заявление принято*). Поэтому наличие указанной корреляции в текстах древнерусского этапа следует признать закономерным.

Подведем итоги работы с атрибутивными двучленами, включающими атрибут-прилагательное.

Общее соотношение препозитивных и постпозитивных двучленов: 336 препозиций — 151 постпозиция. Сочетания, которые встречаются равно в обеих позициях, оказываются склонными к препозиции на ранних листах рукописи.

Сочетаний, встречающихся только в препозитивном оформлении, больше, чем исключительно постпозитивных (9 типов против 4). Сочетаний, предпочитающих постпозитивное оформление, не встречается, в отличие от сочетаний, предпочитающих препозицию (4 типа).

Если вычесть выделенные нами сочетания из общей массы двучленных сочетаний, оказывается, что в оставшемся массиве сочетаний преобладают постпозитивные (74 против 39). Последнее суждение, впрочем, может быть корректировано в дальнейшем при проведении дополнительного выявления устойчивых сочетаний, развившихся в древнерусском языке.

Несомненной, однако, представляется связь между сочетаниями, принесенными книжной культурой, и препозицией атрибута: пять из девяти типов сочетаний, встречающихся исключительно с препозицией атрибута, — обозначения святых, названия монастырей и церковных праздников[16]. Среди сочетаний, предпочитающих препозицию, — сочетания с субстантивом **божница**.

---

[16] См. о том же: «Против укоренившейся точки зрения о греческом (через церковно-славянский) характере постпозиции прилагательного и исконно-русском характере его препозиции свидетельствует, в частности, то обстоятельство, что в грамотах, как и в летописях, прилагательные-эпитеты церковно-книжного характера обычно занимают не постпозитивное, а препозитивное положение» [Лаптева 1963б: 18].

Интересно наличие связи между высокими ступенями социальной иерархии и препозицией — но связи более слабой, чем отмеченная выше. Такие словосочетания, как **на ѧрославли дворѣ**, **добрыхъ моужь**, **черниговьскыи кн҃зь,** оформлены преимущественно препозитивно, но встречаются и с постпозитивным атрибутом.

Неясными представляются причины противоположного оформления сочетаний с субстантивами **божьницѧ** и **манастырь**, с одной стороны, и **цьркы**, с другой, а также антропонимов, с одной стороны, и топонимов, с другой. Атрибутивное оформление слова **цьркы** имеет и другие важные характеристики: атрибуты не только постпозитивны, но имеют преимущественно именную форму (**нова**, **камѧна**).

Итак, двучленные атрибутивные конструкции проанализированы нами с точки зрения выявления сочетаний, оформленных единообразно. Целью такого анализа было исследование того, маркирована ли какая-либо из позиций согласованного атрибута определенным кругом лексики. Объяснить причины препозитивной постановки атрибута в топонимах и постпозитивной в сочетаниях с субстантивом **цьркы** затруднительно, но общее правило может быть сформулировано следующим образом: ***постпозитивно оформляются различные виды антропонимов, последовательно препозитивно — словосочетания, маркирующие церковную сферу***, ***непоследовательно препозитивно — словосочетания, маркирующие высшие ступени светской иерархии***.

При этом лексический анализ двучленов с атрибутом-прилагательным более информативен, чем грамматический, т. к. последний предоставляет данные только по ***процессу синтаксического переоформления атрибутивности в истории русского языка***.

Двучленные конструкции с количественными числительными

Существующие в научной литературе суждения о позиции количественного числительного во многом совпадают с заключениями о позиции порядкового числительного, приведенными нами выше. Более естественной для числительного считается препозиция; и только В. И. Борковский, подсчитывая точное число пре- и постпозиций количественных числительных в древнерусских грамотах, указывает, что на 92,7 % первых приходится 7,3 % вторых. Это соотношение значительно отличается от наблюдаемого у порядковых числительных (среди них фиксировалось, напомним, 67,9 % на 32,1 %).

Интересно, что на нашем материале намечается та же противопоставленность порядковых и количественных числительных.

препозиция (порядок типа **по т҃і · грв҃нъ**) — 91 пример: 1 об.-8, 2 об.-13, 5-15, 9-2, 9 об.-12, 11 об.-10, 11 об.-10, 17-8, 17-9, 18 об.-13, 19 об.-2, 19 об.-4, 19 об.-9, 19 об.-10, 20 об.-5, 20 об.-5, 20 об.-18, 21-9, 21 об.-12, 21 об.-12, 22-4, 22 об.-9, 22 об.-18, 23-1, 23-3, 23-12, 23 об.-13, 24-4, 24-18, 24 об.-11,

25 об.-12, 27-11, 30-9, 32-8, 32 об.-17, 32 об.-18, 35 об.-14, 36-15, 36 об.-7, 36 об.-16, 37-9, 37-12, 37-13, 37-13, 37 об.-17, 38 об.-13, 40-10, 43 об.-9, 44-2, 44 об.-14, 48-1, 48 об.-8, 49-3, 49-4, 49-11, 49 об.-18, 52 об.-14, 53-14, 53 об.-1, 54-15, 58 об.-12, 59-6, 62 об.-5, 64-6, 72-8, 73 об.-7, 74 об.-14, 74 об.-17, 78 об.-6, 79 об.-17, 80-8, 81 об.-3, 81 об.-4, 81 об.-4, 82 об.-10, 83 об.-18, 84-1, 85-5, 86-9, 87 об.-11, 91 об.-11, 92-7, 92 об.-2, 93 об.-5, 93 об.-19, 98-6, 98-18, 98 об.-15, 98 об.-18, 99-1, 99-5.

постпозиция (порядок типа **лодии ѯ**) — 14+11 примеров (подчеркнуты сочетания, входящие в тексте в состав противопоставлений и перечислений): 13-9, 25 об.-12, 27 об.-1, 36-12, 36-13, 40-1, 41 об.-10, 42 об.-4, 44-15, 54-1, 54-12, 54 об.-4, 60-7, 61 об.-9, 62-13, 62-14, 74-18, 77-5, 77-6, 77-10, 77-11, 87 об.-12, 88-7, 90-19, 96-5.

Процентное соотношение препозиций и постпозиций при учете постпозиций в сочетаниях, включенных в перечисления, составляет 78,5 % препозиций на 21,5 % постпозиций. При исключении перечислительных числительных получаем 86,7 % препозиций на 13,3 % постпозиций.

Препозиций в группе числительных всегда больше, чем постпозиций. При этом у количественных числительных препозиции решительно преобладают, а у порядковых — преобладают лишь с небольшим перевесом.

Двучленные конструкции с местоимением его / ее / их

постпозиция (порядок типа **кости ею**) — 64 примера: 2 об.-15, 6 об.-13, 7 об.-13, 8 об.-14, 17-11, 18-18, 18 об.-8, 20-5, 21-16, 21 об.-12, 21 об.-17, 24-9, 25 об.-6, 28-8, 29-12, 31-18, 34-17, 34-17, 35 об.-3, 35 об.-17, 37-7, 42 об.-7, 47 об.-10, 50-7, 51-5, 53-15, 55-3, 55-7, 55 об.-8, 57 об.-13, 59 об.-17, 59 об.-18, 62 об.-13, 73-8, 73 об.-15, 74 об.-3, 74 об.-8, 74 об.-10, 74 об.-11, 74 об.-12, 75 об.-13, 75 об.-18, 76-9, 76 об.-3, 78-2, 78 об.-1, 78 об.-1, 80 об.-17, 83-3, 85 об.-14, 89-21, 89 об.-6, 89 об.-6, 91-20, 91 об.-9, 92-16, 93 об.-6, 95 об.-10, 95 об.-17, 95 об.-18, 98-4, 98-8, 98-13, 99-13.

По этим данным видно, что поведение местоимения **его** сходно с показаниями слова **свои** и местоимениями группы **мои**, но его постпозитивное положение более последовательно, чем в группе **мои** или же у колеблющегося между позициями местоимения **свои**.

Можно вообще говорить об относительно ***последовательном постпозитивном оформлении притяжательности*** в НПЛ: вспомним сочетания «имя + отчество» и «субстантив—степень родства + притяжательная форма антропонима»; среди сочетаний, не выделенных нами в группы, атрибуты со значением притяжательности встречаются в основном в постпозиции (13 сочетаний типа **дворѫнѣ Свѧтославли** против 2-х сочетаний типа **Ꙗрославль полкъ**).

НПЛ не уникальный в этом отношении памятник. При описании старославянских памятников Вайан специально выделял притяжательные прилагательные: «Место имен прилагательных и числительных свободное; наиболее обычным является положение их перед существительным, если

только это не притяжательные прилагательные, которые, играя роль дополнений к имени существительному ⟨…⟩, ставятся, как правило, после него» [Вайан 2002: 413]. На русском материале это явление также отмечено: «Расположение прилагательного зависит от принадлежности его к притяжательным ⟨…⟩. Притяжательные прилагательные в древнерусских памятниках обычно (61,8 %) постпозитивны» [ИГРЯ 1978: 178].

Наряду с постпозитивной постановкой для притяжательных прилагательных часто отмечают широкое употребление их в краткой форме. На материале НПЛ это явление отмечено Е. С. Истриной: «Прилагательные притяжательные употребляются в Синод. сп. исключительно в нечленной форме» [Истрина 1923: 140]. Другой древнерусский текст, в котором притяжательные прилагательные ведут себя таким же образом, — «Русская правда»: «В нечленном употреблении постоянны ⟨…⟩ притяжательные по образованию прилагательные (*княжь*, *сестринъ* ⟨…⟩)» [Обнорский 1946: 25].

Притяжательные прилагательные дольше других семантических типов прилагательных сохраняли именную форму и при этом придерживались постпозитивной постановки.

Двучленные конструкции с приложениями

Проблема порядка слов в согласованном атрибутивном сочетании заставляет обратиться и к сочетаниям с атрибутами-приложениями: возможно, и в этих структурах порядок слов был иным, чем принято указывать в исторических грамматиках.

Традиционные описания словопорядка в сочетаниях с приложениями отличаются тем же недостатком, что и в случае с синтаксисом согласованных сочетаний, — чрезмерно широким использованием понятия «выделенности» для обозначения менее привычного порядка слов, не требующим, с точки зрения авторов, дополнительных объяснений. Например, Л. А. Коробчинская пишет: «Нарицательное имя-приложение может выступать и в постпозиции к определяемому — собственному имени. В таких случаях смысловая нагрузка предложения увеличивается» [Коробчинская 1955: 82].

Кроме того, обращая внимание на нередкий в сочетаниях с приложениями повтор предлога, В. И. Борковский [Борковский 1949: 322] видел в этом явлении подтверждение выделенности существительного-приложения по сравнению с определяемым существительным. Однако в свете исследований, признающих повторение предлога закономерным явлением древнерусской разговорной речи (см. ниже), позиция приложения при повторении предлога указывает, вероятно, как раз на нейтральное положение атрибута-существительного.

Рассмотрим материал НПЛ, содержащий сочетания с приложениями.

Двучленные конструкции с существительными

Среди аппозитивных сочетаний двух существительных, так же как среди согласованных двучленных, мы проводим группировку, руководствуясь лексическими основаниями. В обоих случаях такой подход оказывается продуктивным, причем смысловое распределение позиций среди аппозитивных сочетаний оказывается во многом таким же, как среди согласованных.

Неизбежно присутствует при обсуждении приложений вопрос о повторе предлога. Повтор предлога может встречаться также и в атрибутивных двучленах с прилагательными. В нашем материале такие случаи отсутствуют. Но проблема повтора предлога тесным образом связана с вопросом о позиции прилагательного — в силу известного «запрета», как его называет Д. Ворт, на повторение предлога при препозитивном прилагательном [Ворт 2006: 229; Зализняк 2004: 164].

Адреса сочетаний с повторением предлога выделяются подчеркиванием.

I. *Названия месяцев*

Обозначения месяцев выделены нами в отдельную группу как ввиду их многочисленности, так и в силу их своеобразного исторического развития: для современного русского языка, особенно в его разговорной разновидности, оба варианта расстановки компонентов в этом сочетании (*март месяц* / *месяц март*) равноправны. Причем результаты запроса как в поисковой системе Яндекс, так и в Национальном корпусе русского языка показывают значительное преобладание конструкции *март месяц*.

а) «*месяц* + название» (порядок типа **м(с҃)цѧ марта**) — 79 примеров: 2 об.-18, 3-12, 3 об.-8, 4-15, 5-6, 5-17, 7-16, 7 об.-9, 9-14, 10 об.-13, 11-18, 13-17, 13 об.-11, 15 об.-10, 15 об.-15, 16-1, 17-6, 17 об.-6, 17 об.-13, 19 об.-3, 19 об.-8, 20 об.-14, 22-15, 24-16, 30 об.-2, 30 об.-18, 31 об.-3, 32 об.-13, 33-6, 33-7, 35 об.-7, 37-5, 37 об.-2, 39-2, 42-1, 42 об.-2, 42 об.-13, 43-5, 44-8, 46-8, 47-1, 47 об.-3, 47 об.-5, 48-10, 48-16, 48 об.-14, 49-17, 52-5, 52 об.-3, 52 об.-5, 54 об.-17, 55-13, 55-14, 56 об.-12, 56 об.-14, 56 об.-16, 57-8, 59 об.-2, 59 об.-4, 60 об.-2, 60 об.-3, 61-11, 62-3, 63-7, 63-13, 72 об.-1, 77-12, 78-13, 79-14, 82-14, 83-18, 84 об.-8, 85 об.-18, 87 об.-19, 88 об.-16, 90-2, 91-4, 94 об.-20, 99 об.-12.

б) «название + *месяц*» (порядок типа **маиѧ · м(с҃)цѧ**) — 2 примера: 42-17, 58 об.-10

Очевидно, что для летописного текста указание на дату, наиболее часто повторяющееся, — словосочетание повышенной устойчивости. Есть основания для предположения о том, что оно имеет книжную окраску: сочетания, обозначающие месяцы года, единственные среди аппозитивных конструкций, где не встречается повторения предлога.

II. *Географические объекты*

Имена собственные составляют основной массив аппозитивных сочетаний в древнерусском и церковнославянском языках. Топонимы — наи-

более прозрачная для рассмотрения группа имен собственных, т. к. приложение в данном случае всегда представляет собой родовое понятие по отношению к имени собственному — понятию видовому.

а) «тип объекта + имя» (порядок типа **горо(д҃)** · **кыевъ**) — 19 примеров: 2 об.-2, 7 об.-13, 8-15, 14 об.-12, 32 об.-9, 51-4, 51-14, 60 об.-16, 61-8, 63 об.-10, 73 об.-2, 78 об.-2, 82 об.-5, 84 об.-7, 85-4, 85-6, 92-13, 98 об.-11, 99 об.-14.

б) «имя + тип объекта» (порядок типа **дѣтиньць**… **городъ**) — 3 примера: 6 об.-5, 43 об.-10, 98-19.

Несмотря на преобладание препозиции родового понятия, постпозиция также отмечается.

III. *Сочетания с личными именами*

1. *сочетания «имя + отчество»*

В сочетании с именем отчество выступает в роли приложения. Это проявляется также и в синтаксическом плане: повторение предлога, нередко встречающееся в сочетаниях «имя-отчество» в НПЛ, за исключением этого типа сочетаний свойственно только конструкциям типа **съ посадникомь съ Нежатою** 32 об.-2, т. е. именно аппозитивным сочетаниям.

Случаи с повторением предлога выделены подчеркиванием.

препозиция (порядок типа **дв҃двцѧ** · **изѧсла(в҃)**) — 4 примера: 31-3, 31-14, 54 об.-8, 81-19.

постпозиция (порядок типа **игорь ꙗрославиць**) — 120 примеров: 3 об.-4, 8-11, 11 об.-3, 12-9, 13 об.-16, 15-16, 15 об.-16, 16-6, 16 об.-17, 17 об.-11, 17 об.-16, 18-11, 19 об.-11, 20 об.-9, 21-2, 21-5, 22-13, 23 об.-8, 24 об.-1, 24 об.-9, 25-4, 26-11, 28-18, 28 об.-2, 28 об.-13, 30-13, 31-2, 31 об.-7, 33 об.-7, 33 об.-15, 35-1, 36-8, 37 об.-13, 38-4, 38-6, 38-17, 38 об.-1, 38 об.-6, 38 об.-15, 39 об.-4, 40-4, 40-8, 40-12, 41-4, 41-4, 41-7, 41-9, 43-7, 45-13, 46 об.-11, 46 об.-15, 47-13, 47-14, 48-13, 48 об.-1, 49 об.-11, 50-14, 51 об.-1, 54 об.-8, 54 об.-9, 56-8, 57-5, 62-14, 62-16, 62-17, 62 об.-1, 62 об.-2, 62 об.-3, 62 об.-8, 63 об.-9, 64-10, 72-16, 72 об.-11, 73-3, 73-5, 73-11, 73-12, 75-2, 75-12, 75-19, 75 об.-1, 76 об.-7, 76 об.-11, 76 об.-13, 77 об.-4, 79-2, 79-4, 79 об.-18, 80 об.-6, 80 об.-11, 81-8, 81-19, 81 об.-19, 82-5, 82-12, 83 об.-7, 83 об.-8, 83 об.-8, 83 об.-9, 84-7, 87-4, 87-5, 87-9, 87-10, 87-11, 87 об.-16, 87 об.-20, 88-11, 88 об.-15, 89-21, 90-11, 91-1, 91 об.-20, 92-17, 93 об.-17, 94-12, 95 об.-9, 96 об.-16, 99-17, 99-20.

Повторение предлога долгое время считалось характерным для языка устной поэзии, но в исследованиях последнего времени рассматривается как черта древнерусского некнижного языка в целом: «Повторение предлога внутри именной группы представляло собой в др.-р. языке автоматический синтаксический механизм, принципиально сходный с согласованием по падежу и не связанный с каким-либо подчеркиванием или эмфазой» [Зализняк 2004: 164]. Подтверждением тому, что для конструкции «имя-отчество» повторение предлога — отражение именно естественной речи,

служит то, что в берестяных грамотах предлог при имени обязательно дублируется перед отчеством.

Сочетания имени и отчества с повторением предлога указывают на то, что расположение отчества после имени отражает нейтральное речевое употребление, а несколько случаев препозиции отчества объясняются, по-видимому, контекстными факторами.

2. *обозначение лица через имя собственное и термин родства*

а) *«субстантив, обозначающий степень родства, + личное имя в номинативе»* (порядок типа **ѿ бра(т҃) всеволодка**) — 18 примеров: 17 об.-5, 18 об.-3, 21-13, 28-4, 37 об.-5, 39 об.-5, 39 об.-16, 40 об.-9, 40 об.-12, 40 об.-13, 40 об.-18, 41-16, 41 об.-12, 43-17, 53 об.-8, 61-17, 62-15, 87 об.-16.

б) *«личное имя в номинативе + субстантив, обозначающий степень родства»* — 1 пример: **воло|димиръ сн҃ъ** 1 об.-17.

В распределении этой конструкции по тексту НПЛ можно увидеть факторы внеграмматические: 8 примеров из 18-ти, т. е. примерно половина, содержатся на 3-х листах рукописи (39-41) из 100, охваченных нами. Остальные примеры также в основном стоят недалеко друг от друга. Конструкция, обозначающая лицо через термин родства и имя, появляется в НПЛ редко и преимущественно плотными группами. Этим следует объяснять соседство обоих примеров с повтором предлога.

3. *обозначение лица через имя собственное и социальную характеристику*

3.1. *князь*

а) «**кн҃зь** + *личное имя*» (порядок типа **кн҃зѧ Глѣба**) — 74 примера: 5-17, 7 об.-7, 10-5, 14-14, 14 об.-9, 27 об.-14, 28 об.-2, 32 об.-10, 33-13, 34-3, 37-2, 37-16, 37 об.-18, 39-6, 40-11, 40 об.-16, 41 об.-11, 44 об.-12, 44 об.-17, 47-4, 47-16, 50-11, 50 об.-4, 50 об.-13, 50 об.-15, 51-1, 51-8, 52-10, 52 об.-1, 56-2, 58-7, 60 об.-10, 73-19, 75 об.-6, 76 об.-12, 77-15, 77 об.-8, 77 об.-18, 78-9, 78-17, 79-13, 79-19, 80-11, 80 об.-3, 80 об.-6, 80 об.-14, 81-6, 82 об.-10, 82 об.-17, 83-9, 83-20, 84 об.-3, 84 об.-9, 85 об.-4, 86-15, 86-16, 87-17, 87 об.-14, 88-10, 91-10, 91 об.-7, 92-8, 92-19, 93-5, 93-7, 93-15, 94-5, 94-15, 94 об.-4, 94 об.-13, 95-7, 95-21, 95-13, 95 об.-2.

б) «*личное имя* + **кн҃зь**» (порядок типа **володимиромь кн҃зѣмь**) — 11 примеров: 3-2, 4 об.-4, 6 об.-17, 20-16, 22-10, 27-1, 30-12, 41-15, 58-7, 78 об.-4, 94-19.

На каждый из вариантов словопорядка приходится по одному повтору предлога, но значимость этих двух примеров с повтором неодинаковая. Предложных сочетаний с существительным **кн҃зь** на первом месте 12 (14 об.-9, 44 об.-12, 47-4, 47-16, 50 об.-15, 52-10, 56-2, 73-19, 75 об.-6, 77-15, 84 об.-3, 87-17), включая одно сочетание с повтором предлога, выделенное подчеркиванием. Среди сочетаний с обратным порядком сочетание с предлогом всего одно. Таким образом, если для сочетаний с **кн҃зь** в

начальной позиции одно сочетание с повтором предлога реализует меньше 10 % возможностей для повтора предлога, то сочетание с **кн҃зь** в финальной позиции, дублирующее предлог, оказывается 100 %-ой реализацией конструкции.

3.2. *«должности церковные + личное имя»*

а) «должность + имя собственное» (порядок типа **при еп(с҃)пѣ фе-до(р҃)(є҃)**) — 53 примера: 4 об.-10, 7 об-8, 9 об-2, 12-3, 13-13, 13-5, 15 об-3, 16 об-4, 16 об-8, 23 об-6, 25-14, 26 об-17, 27-7, 28-9, 28 об-15, 30 об-16, 32-10, 33-4, 33-14, 33 об-1, 33 об-18, 42-14, 45-16, 45 об-12, 46 об-3, 47-8, 47 об-8, 48 об-11, 49 об-1, 51 об-6, 51 об-16, 54 об-16, 55-1, 55-4, 55 об-4, 56 об-15, 56-17, 57-3, 57-7, 58 об-6, 63 об-6, 73-7, 75-7, 77-15, 77 об-11, 80 об-4, 82 об-12, 88-20, 88 об-10, 92-6, 92 об-20, 93 об-8, 94-9.

б) «личное имя + должность» (порядок типа **феодосомь игоуменомь**) — 18 примеров: 5-2, 5 об.-9, 8 об.-1, 10-4, 11 об.-12, 13 об.-13, 15 об.-1, 25-6, 25 об.-18, 27 об.-7, 30-15, 34-1, 51-17, 51 об.-9, 55-7, 59-11, 93-2, 95-5.

В сочетаниях, подобных рассмотренным выше, но обозначающих верховных служителей церковной иерархии, наблюдается сходная ситуация с повтором предлога. При препозиции родового понятия повтор предлога отмечен у одного сочетания из девяти. При постпозиции предложные сочетания отсутствуют, чем и объясняется отсутствие конструкций с повтором в этой категории сочетаний.

3.3. *«должности светские + личное имя»*

а) «должность + личное имя» (порядок типа **съ пос⟨а⟩дникомь ꙁахариєю**) — 15 примеров: 32 об.-11, 10-2, 24-13, 32 об.-4, 33-9, 36 об.-12, 52 об.-9, 57 об.-1, 61-6, 74-17, 74 об.-2, 75 об.-7, 87-18, 94-10, 99-3.

б) «личное имя + должность» (порядок типа **мирославъ посадникъ**) — 17 примеров: 16-8, 18-8, 25-3, 34 об.-14, 34 об.-15, 50 об.-2, 56-8, 56-9, 59-5, 62 об.-4, 79 об.-4, 80 об.-1, 85-8, 85 об.-19, 86 об.-17, 91 об.-16, 95 об.-5.

Здесь снова не находим позиций для повтора предлога во второй группе примеров. Однако показания первой группы значительно отличаются от данных по предыдущим типам сочетаний: предложных сочетаний 11 (32 об.-6, 10-2, 24-8, 32 об.-2, 33-5, 36 об.-7, 52 об.-5, 57 об.-1, 74-10, 75 об.-5, 87-9), из них 3 с повтором предлога. Т. е. в рассматриваемой группе частотность повторения предлога значительно выше, чем в сочетаниях, обозначающих князя или служителя церкви.

Повтор предлога — не единственная зона, где различия между церковным и светским, а также между элитарным и профанным реализуются на синтаксическом уровне. Позиционное распределение собственного и нарицательного имени показывает следующую градацию:

	Препозиция нарицательного имени	Постпозиция нарицательного имени
Князь	75	11
Духовное лицо	54	18
Светское лицо, стоящее ниже князя	15	17

Из этих данных видно, что, как и в случае с согласованными атрибутами, позиция несогласованного определения зависит от семантики сочетания. У сочетаний со словом **кн҃зь** структура устойчивая — **кн҃зь** стоит в препозиции; в обозначениях церковных служителей структура значительно расшатанная, а именование светской должности чаще стоит в постпозиции по отношению к личному имени. Маркированность среди приложений именно субстантива **кн҃зь** может объясняться тем, что в сочетании с этим субстантивом лексическое варьирование невозможно — в отличие от сочетаний с **еп(с҃)пъ/архиеп(с҃)пъ/владыка** и т. п.

IV. Прочие — 15 примеров: **лариона роу(с҃)на** 3-9, **цр҃ко|вь бл҃говѣщениѥ** 6 об.-16, **данила | пр҃рка** 49 об.-4, **ро|мана пъкта** 62 об.-4, **кюръ | михаилъ** 74-2, **·ѡ҃· зла(т҃)оустьць** 77-19, **иворъ новотържь|чь** 80 об.-12, **альѯандры ц(с҃)рцѧ** 85 об.-19, **дмитра пльсковитї|на** 86 об.-16, **иванка поповицѧ** 86 об.-19, **кю|ръ михаилъ** 89-17, **ѿ г҃а ба** 90-4, **моу(ж҃) проу(с҃)** 90 об.-19, **сьмьюнъ ѥмї|нъ** 91 об.-10, **семьюноу ѥминоу** 92-1.

Отмеченная нами взаимосвязь препозиции согласованного атрибута и церковной / элитарной светской тематики (в отличие от постпозиции, обслуживающей «низкую» бытовую сферу) позволила нам вновь поднять вопрос о том, какая позиция атрибута была присуща древнерусскому языку — или по крайней мере части его диалектов. Открывающаяся теперь зависимость позиции атрибута-приложения от тех же самых факторов заставляет ставить вопрос также и о порядке слов при аппозитивной связи в словосочетании.

Неясно, насколько ответу на вопрос о нейтральной позиции для приложения может служить фактор повторения предлога.

Основная интерпретация конструкции с повторением предлога, предложенная Вортом [Ворт 2006] и поддержанная Зализняком [Зализняк 2004: 164], заключается в предположении, что «у начального предлога есть только один „синтаксический слуга“, а именно — существительное, следующее за предлогом» [Ворт 2006: 230]. Положение, при котором существительное подчинено предлогу, нужно автору для того, чтобы объяснить замеченный им парадокс, который он называет «pN-запрет»: невозможность повторения предлога в группах с препозитивным прилагательным, — при том что повтор предлога при постпозитивном прилагательном часто встречается в летописи и почти обязателен в грамотах.

Тезис о том, что постпозиция прилагательного есть «вклинивание» существительного [Ворт 2006: 230], а не перемещение прилагательного, пред-

полагает неожиданную роль существительного во фразе. Существительное не только зависит от предлога, но и двигается вокруг прилагательного.

Естественнее считать постпозицию атрибута элементом структуры того же языка, который повторял предлог в атрибутивном словосочетании. Препозиция и одиночный предлог рассматриваются в таком случае как пришедшие из другого (церковнославянского) языка элементы, принявшие стилистический статус.

Интересные данные в недавнем исследовании, посвященном повтору предлога, приводит Ф. Р. Минлос [Минлос 2007]. Основная интерпретация конструкции, предложенная им, сосредоточена на объяснении функции повторенного предлога при постпозитивном атрибуте. При этом предполагается, что «постпозиция прилагательных в древнерусском языке является результатом перемещения имени» [Там же: 70, ср. с. 216 наст. изд.]. Такое предположение имеет свои основания, хотя и не обязательно верно: повтор древнегреческого артикля при постпозитивном атрибуте не отменяет свободной позиции греческого атрибута. Древнерусский атрибут мог также иметь свободную постановку.

Однако данные по динамике конструкции с повторением предлога на протяжении Синодального, Комиссионного списков НПЛ и Новгородской четвертой летописи указывают на то, что повторение предлога при постпозитивном атрибуте (речь идет, насколько можно судить по примерам, о согласованном, не об аппозитивном атрибуте) — явление, возникшее в раннедревнерусский период, но не унаследованное от дописьменной эпохи. Данные эти таковы: «Повтор предлога между нераспространенным именем нарицательным и личным именем, а также между личным именем и отчеством становится с течением времени более редким; повтор предлога между распространенным именем нарицательным и личным именем, перед постпозитивным атрибутом и в конструкциях с топонимами, наоборот, более частым» [Там же: 62]. Для первых ста листов Синодального списка НПЛ, обследованных нами с целью реконструкции нейтральной позиции атрибута, повтор предлога перед постпозитивным согласованным атрибутом не характерен вовсе. Сведения о том, что такой повтор нарастает в несколько более поздних новгородских летописных текстах, позволяют предполагать, что в чуть более позднюю эпоху, чем охваченная нами, постпозиция атрибута была следствием перемещения атрибута относительно вершины именного сочетания и получала маркировку при помощи повторенного предлога под действием факторов, указанных Ф. Р. Минлосом, но в то время, когда создавались первые листы Синодального списка, постпозиция была естественным положением согласованного атрибута.

Что касается несогласованных атрибутов, то, как мы показали выше, среди предложных употреблений сочетаний, в которых имя собственное стоит перед нарицательным (**Гюрги кн҃ѕь**), повторение предлога почти обязательно. Среди сочетаний типа **кн҃ѕь Гюрги**, наоборот, повторение предлога нечасто.

Доля сочетаний с повторением предлога в общем количестве предложных сочетаний регулируется факторами семантическими.

Язык летописи старается избегать постпозитивных определений, не допуская их при обозначении явлений церковной жизни. При этом феномены светской жизни отчасти приближены к церковным, но все же оставлены в светском статусе. Явления обыкновенные, не относящиеся ни к религиозной жизни, ни к сферам социальной элитарности, обозначены в соответствии с древнерусским узусом или близко к нему.

Это закономерно приводит нас к предположению о том, что для древнерусского языка на определенном этапе развития ***нейтральным мог быть порядок слов типа «Москва-река» и «Илья-пророк»***.

Трехчленные конструкции

Трехчленные согласованные конструкции (с местоимениями)

Среди трехчленных конструкций наиболее информативны бессоюзные сочетания субстантива с двумя атрибутами: другие типы трехчленов представлены единичными примерами, на основании которых трудно вывести общее правило. Бессоюзных согласованных трехчленов, где в роли обоих атрибутов выступали бы прилагательные, в нашем материале всего 4[17], и это также недостаточный объем для анализа.

Трехчлен в НПЛ содержит в себе, как правило, одно местоимение, но нередки примеры с двумя местоимениями. Формула трехчлена НПЛ — «*весь* + субстантив + прилагательное / притяжательное местоимение».

Приведем список адресов трехчленных конструкций: 7 об.-11, 8 об.-4, 9 об.-15, 15-18, 15 об.-8, 16-12, 18-9, 18 об.-17, 22 об.-7, 24-8, 24 об.-17, 25 об.-1, 27-8, 29 об.-5, 31 об.-16, 36 об.-9, 37-17, 41-1, 42 об.-17, 44 об.-8, 45 об.-6, 47-10, 49-1, 55 об.-18, 58 об.-1, 59 об.-14, 60-1, 60 об.-13, 63 об.-2, 82-9, 84 об.-15, 85-13, 88-6, 88 об.-20, 89-13, 89-14, 89 об.-3, 89 об.-12, 89 об.-13, 90-6, 93-16, 93 об.-8, 94-13, 94 об.-6, 95-9, 96 об.-2, 96 об.-4, 96 об.-11, 97-1, 97-18, 99-3 (сочетаний, где субстантив расположен на первом месте, — 6, на 2-м месте — 27, на 3-м месте — 18).

Трехчленная атрибутивная конструкция, как, по-видимому, искусственная и формульная, меняет состав на протяжении текста НПЛ. Различия в принципах составления трехчленного сочетания касаются не только порядка слов, но и оформления атрибутивных позиций конкретными местоименными лексемами. Расширение атрибутивного двучлена местоимением в большей части примеров можно было бы признать факультативным для передачи смысла сообщения.

---

[17] **кр҃ѣ(с҃)** | **ч(с҃)тнъıи · володимирь** 4 об.-8, **ц҃рквь н⟨овꙋ⟩... ноѕдрь|циноꙋ** 55 об.-13, **ст҃ыѧ** | **пѧтницѧ ѕаморьскии** 72 об.-19, **оканьнъıи про|клѧтъıи глѣбъ** 89 об.-15.

Таким образом, структура трехчлена свидетельствует в большей степени о выучке или индивидуальной программе писца или переводчика, нежели о языковом узусе. В случае с НПЛ, созданной разными авторами, ***структура трехчлена может служить дополнительным параметром к определению «изоглосс» внутри текста***.

Трехчленные местоименные конструкции позволяют определить изоглоссы в следующих фрагментах:

1. лл. 1–29 об.: двучлен «атрибут-субстантив» или «субстантив-атрибут» расширен препозитивным местоимением **вьсь** (на 14 примеров 2 исключения, одно из которых объясняется дистантной позицией местоимения);

2. лл. 31 об.–63 об.: субстантив с препозитивным местоимением **вьсь** и постпозитивным атрибутом — прилагательным или, чаще, притяжательным местоимением (на 14 примеров 1 исключение, в котором препозитивную позицию занимает атрибут **ст҃ыи**);

3. лл. 82–88: субстантив с двумя постпозитивными атрибутами, в основном местоимениями (всего 4 примера);

4. лл. 88 об.–90: субстантив с двумя препозитивными атрибутами, первый из которых местоимение (в 4 случаях из 7 — указательное);

5. лл. 93 и дальше: субстантив с препозитивным местоимением, в основном местоимением **вьсь** (в 2 случаях из 11 — **тъ**; в одном случае **вьсь** постпозитивно) и препозитивным или постпозитивным атрибутом[18].

Резко выделяется на общем фоне 4-я модель; она полностью приходится на вставной рассказ о преступлении Глеба Рязанского. Происхождение 3-й модели совершенно неясно, а 5-я модель представляет собой отсутствие единства построения трехчлена. Ситуацию можно обобщить следующим образом: первая, слабоустойчивая модель сменяется между лл. 29 об. и 31 об. второй, очень устойчивой, моделью, которая исчезает перед «Повестью о взятии Царьграда». После «Повести» появляется новая, третья модель, идущая вплоть до другого вставного фрагмента (который предлагает собственную, своеобразную модель). После этого фрагмента устанавливается совершенно неустойчивая модель, отчасти напоминающая вторую, наиболее устойчивую, и почти совпадающая с первой, соответствовавшей этапу постепенного сложения второй модели. Таким образом, в качестве эталонного трехчлена НПЛ при дальнейших обращениях к теме следует, видимо, использовать вторую модель.

Изоглосса на отрезке «начало л. 29 об. — конечные строки л. 31 об.» известна: л. 29 об., строка 8 [Гиппиус 2006: 204–205]. Прочие разрывы слишком дистантны, чтобы можно было определить, о какой именно изоглоссе может идти речь. Но ситуация, когда наиболее сильный разрыв происходит в районе л. 63 об., наблюдается и для трехчленов с атрибутом-приложением (см. ниже).

---

[18] Пятая модель похожа на первую, но отличается нерегулярностью в постановке местоимения *весь*.

Трехчленные конструкции с числительными

Числительные в составе трехчленов сравнительно редки. Интересно, что появляются они часто на близких участках текста (см. пять независимых примеров и при этом по два примера на лл. 21, 53, 89 об.): **цр҃кви съроубиша в҃ деревѧнѣ** 14 об.-7; **инѣхъ моу(ж) ѕ҃** 21-4; **дроу|гыꙗ г҃ великы** 21-10; **одинъ коцеи малъ** 39-9; **стхъ г҃-и отрокъ** 49 об.-3; **в҃і моу(ж) вѧчьшихъ** 53-5; **а҃ моу(ж) вѧчьшихъ** 53-11; **инѣхъ д҃ моу(ж)** 62 об.-5; **вси ѕ҃ кнзь** 89 об.-4; **одинѣхъ кн҃зъ ѕ҃** 89 об.-19; **а дроугоую ст҃хъ | г҃ отрокъ** 92-5.

Порядок типа **церкви съроубиша в҃ деревѧнѣ**: 14 об.-3, 21-3, 21-6, 39-6, 49 об.-2, 53-3, 53-5, 62 об.-3, 89 об.-3, 89 об.-10, 92-3

Несмотря на то, что на первый взгляд структурой трехчлена с числительным в составе кажется формула «прилагательное / местоимение + числительное + субстантив», на фоне данных, полученных при работе с двучленами, приведенный материал может быть интерпретирован иначе. Местоимения, которым свойственна препозиция, оттесняют числительное внутрь трехчлена; ***взаиморaспределение числительного и субстантива повторяет показания двучленов***: отмечается и пре– и постпозиция числительного, но препозиция превалирует.

Трехчленные конструкции с атрибутом-приложением

Рассмотрение трехчленных атрибутивных конструкций с аппозитивным членом необходимо для дополнения данных по всем рассмотренным выше типам атрибутивных словосочетаний. На этом материале не только прослеживается взаиморасположение согласованных и аппозитивных атрибутов и расположение их относительно общего субстантива, но и детализируется представление о трехчленных атрибутивных конструкциях как о единицах формульных, функционирующих в тексте по собственным правилам и, в частности, складывающихся к определенному времени и разрушающихся с постепенным развитием летописной традиции.

Трехчленные конструкции в НПЛ включают незначительное количество местоименных атрибутов. Местоимения не выходят за пределы круга сочетаний, обозначающих лицо через родство с другим лицом, поэтому мы рассматриваем их в пределах этого круга.

I. *Сочетания с атрибутом* **ст҃ыи**

Эти сочетания приводятся полностью, т. к. в их строении важно не только наличие согласованного атрибута, но и положение различных аппозитивных атрибутов.

1. **ст҃ыи** *в первой позиции*

ст҃го федора тирона 8 об.-16, **ст҃го пр⟨р(о)ка⟩ | илѭ** 24 об.-12, **на | ст҃го еп(с)па · тарасиѧ** 37-5, **на ст҃го ап(с)ла ти|ти** 42 об.-2, **на | ст҃го мч҃нка ермиа** 47 об.-5, **на ст҃го | данила стълъпника** 52 об.-3, **на ст҃го ап(с)ла петра**

52 об.-6, **ст҃го | ꙗ҃ · мл(ѥ)тиваго** 53 об.-10, **ст҃го ап(ѥ)ла филипа** 54 об.-15, **на ст҃го | ап(ѥ)ла варѳоломеꙗ** 61-11, **ст҃го прⷪ҃ка илиѥ** 63 об.-4, **сто(ѩ) сьмена стъ|лъпника** 72 об.-13, **на | сто(ѩ) прⷪ҃ка илии** 90-2, **на ст҃го ·мѡ҃ · ꙁла(ѩ)** 91-5.

2. *прочие способы расположения*
археп(ѥ)пъ ст҃ъıи нифонтъ 23 об.-12.

Здесь, как и в двучленах, атрибут **ст҃ъıи** выбирает препозицию. Субстантивы **прⷪ҃къ** и **ап(ѥ)лъ** как приложения по отношению к личному имени также в препозиции, а позиция (**архи**)**еп(ѥ)па** колеблется — и в этом мы в очередной раз видим принцип распределения атрибута по позициям, различающий степени сакральности.

II. *Сочетания «должность + личное имя + атрибут»*

Здесь трехчлены разделяются на подгруппы в зависимости от субстантива-вершины. Результаты, которые дает такое рассмотрение, позволяют с еще большей уверенностью говорить о влиянии социального статуса лица на расположение определенных типов приложений.

1. *сочетания с субстантивом* **кн҃ꙁь**

а) *сочетание* «**кн҃ꙁь** + *имя-отчество*»:

а1) *порядок* «**кн҃ꙁь** + *имя* + *отчество*» (порядок типа **кн҃ꙁь ст҃ославъ · олговиць**) — 18 примеров: 17 об.-4, 19-13, 20 об.-12, 29 об.-3, 29 об.-15, 33 об.-17, 37 об.-1, 37 об.-8, 38-13, 39 об.-10, 46 об.-4, 48-11, 56-14, 58 об.-7, 75 об.-15, 81-18, 88-14, 95-21.

а2) *другие способы расположения:* **кн҃ꙁь мьстиславиць | всѣволодъ** 18-13, **кн҃ꙁѧ глѣ|бовицѧ · иꙁѧслава** 45 об.-7, **игорѧ кн҃ꙁѧ олговицѧ** 25-9.

Лидирующий порядок «**кн҃ꙁь** + имя + отчество» демонстрирует отмеченную ранее препозитивность субстантива **кн҃ꙁь** по отношению к личному имени и также уже отмеченную постпозитивность отчества. Три примера с иным расположением членов относятся к ранним листам НПЛ и отражают присоединение к титулу князя не имени, а отчества. Имя, поставленное в одном случае перед таким двучленом, а в двух других — после него, оказывается не вершиной, а, наоборот, приложением. Дать более глубокую интерпретацию затруднительно, но можно заметить, что такое положение отражает известное явление большей самостоятельности отчества в ранний древнерусский период по сравнению с поздним, где оно закреплено позиционно и не употребляется дистантно по отношению к имени.

б) *сочетание* «**кн҃ꙁь** + *личное имя* + *атрибут*»:

б1) порядок «**кн҃ꙁь** + *атрибут* + личное имя»: **кн҃ꙁь кыѥвьскъıи ꙗро|пълкъ** 20-13; **при | кн҃ꙁи роусьстѣмь ростисла(ѩ)** 33-4; **при кн҃ꙁи новгородь|стемь ст҃ославе** 33-8.

б2) другие варианты расположения: **всѣсла(ѩ) полочьскъıи кн҃ꙁ** 6 об.-9; **глѣ|бъ кн҃ꙁь рѧꙁаньскъıи** 41-12; **кнѧꙁѧ володимира пльсковьска(ѩ)** 77-1; **мьстиславъ же кыѥвьскъı|и кн҃ꙁь** 98 об.-8.

В отличие от отчества, согласованные определения, относящиеся к субстантиву **кн҃зь**, стабильной позиции не имеют, как и в случае двучленной конструкции.

2. *Сочетания с церковными должностями*

Сюда включаются сочетания с субстантивами **игоуменъ**, **(архи)еп(с҃)пъ**, **митрополитъ**. Наиболее частотен субстантив **архиеп(с҃)пъ**, часто в сочетании с атрибутом **новъгородьскъıи**; причем с определенного момента трехчленное обозначение новгородского архиепископа, по-видимому, становится формулой.

а) сочетания «*имя + должность + атрибут*» (порядок типа **федосъ игоуменъ печерьскъıи**) — 11 примеров: 5-5, 5-9, 7-1, 8-1, 31-10, 33-2, 38 об.-17, 46 об.-18, 49-14, 52-4, 92 об.-4.

В этой группе начиная с л. 33 до л. 52 фигурирует только новгородский архиепископ (сочетания, обозначающие новгородского архиепископа, приведены в следующем пункте). Затем вплоть до л. 92 об. наступает перерыв в использовании трехчленного сочетания для обозначения духовных иерархов.

б) *сочетания «должность + атрибут + личное имя»* (= сочетания с атрибутом **новъгородьскъıи,** порядок типа **архї|еп(с҃)пъ · новъгородьскъıи · никита**) — 6 примеров: 7-14, 25 об.-16, 32-15, 38 об.-2, 47 об.-1, 94 об.-18. Изоглоссы употребления этого сочетания близки тем, что отмечены выше: активное употребление на лл. от 32 до 47 об., затем прекращение использования, а на середине 90-х лл. — возобновление. Здесь, как и в трехчленах с субстантивом **кн҃зь**, центром оказывается сочетание **архиеп(с҃)пъ новъгородьскъıи**, а личное имя выбирает то препозицию, то постпозицию по отношению к двучленному сочетанию.

в) *сочетания «атрибут + должность + личное имя»* (= сочетания с атрибутом **боголюбивыи**) — 3 примера: **бо҃люби|въıи археп(с҃)пъ нифонтъ** 27 об.-3; **бо҃||любивъıи археп(с҃)пъ гаврила** 50-18; **бо҃любивъıи а||рхеп(с҃)пъ мартоурии** 59-18.

Порядок компонентов этого сочетания связан с семантикой согласованного атрибута. Его позиция, как и позиция атрибутов, относящихся к кругу христианской лексики, — перед определяемым субстантивом.

г) *другие варианты расположения* — 4 примера: **археп(с҃)пъ · бо҃любивъı|и · илиꙗ** 37 об.-4, **игу|мена печерьскаго ѳедоса** 5 об.-15, **іѡ҃ · скопечь митрополи(т҃)** 5 об.-17, **мефодии патомьскъı|и еп(с҃)пъ** 96-1.

Субстантивы-приложения, связанные с церковной иерархией, выбирают постпозицию по отношению к личному имени. Исключения редки и периферийны по значению, не считая прилагательного **бо҃любивъıи**. Это прилагательное включается, несомненно, в одну группу с прилагательным **ст҃ъıи**, позиция которого определяется семантикой.

Обращает на себя внимание, однако, меньшая регулярность постпозитивного приложения по отношению к имени, чем в сочетаниях, где приложением выступает субстантив **кн҃зь**.

3. *Сочетания со светскими должностями*

а) *сочетания «имя-отчество + должность»* (порядок типа **къснѧтинъ мосѣовиць посад|никъ**) — 4 примера: 10-9, 80-20, 81 об.-18, 86 об.-17.

Зона распространения такого порядка довольно компактна: с л. 80 об. по л. 86 об.

б) *другие варианты словопорядка в сочетании «имя-отчество + должность»* — 2 примера: **посадникъ новегородѣ иванко ꙁа|харининиць** 40-4; **ꙗкоꙋна тъісѧцьскаго намнѣ|жицѧ** 80 об.-13.

Выводы о предпочтительном словопорядке на таком небольшом материале сделать невозможно. Формульность трехчленных сочетаний, их связь с книжным и юридическим языком не позволяет интерпретировать разброс в возможностях словопорядка на таком маленьком участке иначе, чем через отсутствие единой формулы ввиду малой частотности самого сочетания.

в) *сочетания «имя + должность + атрибут»* (порядок типа **⟨п⟩авь|лъ посадникъ · ладожскъıи**) — 3 примера: 9-5, 9 об.-6, 64-7.

г) *другие варианты словопорядка в сочетании «должность + атрибут + имя»* (порядок типа **посадника новгородьскаго · | иванка**) — 2 примера: 15 об.-14, 57 об.-7.

Для именований лиц, занимающих светские должности, можно предполагать следующий принцип выбора позиции для атрибута: приложение ставится часто после имени лица, а атрибут к названию должности ставится только после субстантива.

Социальный аспект в построении трехчленной конструкции с приложением проявляется в той же степени, что в подобных им двучленных аппозитивных конструкциях. Язык летописи различает князя, церковного иерарха и представителя светской социальной иерархии.

4. *Сочетания с субстантивами, обозначающими степень родства*

а) *сочетания с субстантивами, обозначающими степень родства, и местоимениями:*

а1) **свои**: порядок типа **оц҃ѧ своѥго володимира** — 18 примеров: 1 об.-6, 17-3, 18 об.-18, 22-11, 25 об.-4, 30 об.-5, 39 об.-14, 41-16, 74-16, 75-9, 83 об.-1, 87-8, 91 об.-6, 94-20, 94 об.-11, 95-19, 98-8, 98-11; порядок типа **всеволодоꙋ · братаноꙋ своѥмꙋ** — 4 примера: 14-8, 31-4, 88 об.-21, 89-8.

Местоимение **свои** всегда следует за нарицательным именем. Обращает на себя внимание то, что примеры на постпозицию приложения по отно-

шению к имени — ранние, что более или менее соотносится с группой примеров а3, где оба поздних примера находятся в тексте вставной повести.

а2) **мои** — 3 примера: **съ сн҃мь моимь ꙗрославомь** 75 об.-10, **моу(ж҃) мои новгородьци** 85-11, **ра|ба твоего германа** 48 об.-17. Местоимения группы *мои* выступают исключительно в постпозиции.

а3) **ѥго**: порядок типа **сн҃а ѥго мь|стислава** — 11 примеров: 11-5, 19-15, 20-14, 21 об.-6, 24-17, 34-18, 42-5, 42 об.-11, 43 об.-4, 80 об.-20, 81-3; порядок типа **ꙗропълкъ бра(т҃) наю** — 3 примера: 14-6, 17-10, 90-7.

4 исключения: ⟨**ѥ**⟩**го** ⟨**б**⟩**ра(т҃)** ⟨**и**⟩**горь** 24-17.

Местоимение **ѥго** так же стабильно следует за субстантивом (за исключением одного примера), как это можно было наблюдать в двучленах. Постпозиция атрибута-приложения отмечается, так же, как у местоимения **свои**, в двух случаях — в начальных фрагментах летописи и в повести о Глебе.

б) *сочетания с субстантивами, обозначающими степень родства, местоимениями и притяжательными прилагательными:*

б1) порядок типа **володимиръ... сн҃ъ | ꙗрославль** — 9 примеров: 2 об.-8, 3-10, 8-5, 8 об.-11, 10 об.-4, 13 об.-18, 25 об.-8, 27 об.-15, 28-11.

б2) другие примеры: **мьстислава гюргє|въ въноукъ** 31 об.-13, **съ ст҃о-славо|мь · съ олговомь въноукомь** 44 об.-6, **лоуку | мирошкинъ отро(к҃)** 62 об.-1.

Первые 9 примеров этого списка построены по единой модели: имя, затем лексема **сн҃ъ** (в одном случае **бра(т҃)**), на последнем месте притяжательное прилагательное. Другая часть примеров показывает иную ситуацию: для построения трехчлена привлекается лексема **въноукъ**, причем меняется и порядок — прилагательное оказывается в препозиции. Последняя фиксация подобной конструкции — с лексемой, имеющей значение, близкое к значению родственной связи.

Изоглосса, разделяющая два вида «родственного» трехчлена, проходит между лл. 28 и 31 об., т. е. накладывается на ту, что выделялась для согласованных трехчленов с местоимениями.

Рубеж, после которого сочетания типа 4б полностью исчезают из текста НПЛ, — л. 62 об., — довольно близко совпадает с моментом, после которого исчезал местоименный согласованный трехчлен регулярной структуры.

5. *Сочетания типа* **рабъ бж҃и** + *имя*: **раба бж҃иꙗ хрьст-|на** 55 об.-6; **рабъ бж҃и па|рфоурии** 73-4.

6. *Прочие:* **ладогоу городъ камѧ|⟨н⟩ъ** 9-7, **блг҃овѣрнаго влд҃кы | илию** 37-4, **городъ медвежю головоу** 51-14, **великыи кн҃ѕь | всеволодъ** 72-9, **лаѕорь | всеволожь моу(ж҃)** 73-9, **рьжевкоу · городь|ць мьстиславль** 83 об.-17, **къ ст҃ѣи бц҃и блг҃овѣщени(ю҃)** 88 об.-12, **дроугого | по(п҃) бориса** 92 об.-15.

Данные, представляемые трехчленами, включающими приложения, в некоторых зонах подтверждают наблюдения над двучленами, а в некоторых уточняют и существенно дополняют.

Так же, как в случае с двучленами, разные ступени социальной иерархии по-разному оформляются приложениями и согласованными атрибутами: **прр҃къ**, **ап(с҃)лъ**, **кн҃зь** как приложения препозитивны, а как субстантивы допускают только препозицию атрибута. Церковные чины оформляются постпозитивным приложением к имени и постпозитивным атрибутом к субстантиву; исключение — атрибут **бл҃любивъıи**. Наименования светских должностей оформлены постпозитивным приложением, если лицо названо по имени-отчеству, и постпозитивным согласованным атрибутом.

Местоимение **свои**, местоимения группы **мои** и несогласованные притяжательные местоимения, выступающие в трехчленных конструкциях, оформлены в них вполне однозначно. Двучленные местоименные конструкции были вариативны; трехчленные, наоборот, для позиции местоимения-атрибута не знают исключений.

Сочетания, обозначающие лицо через родственную связь при помощи субстантива и притяжательного местоимения, получают своеобразное оформление в ранних записях и во вставной повести о Глебе Рязанском: имя стоит в первой позиции, местоименное словосочетание — во второй. Иными словами, обозначение родственной связи, оформленной в трехчлене как двучленное приложение, оказывается постпозитивным личному имени. Но такая ситуация наблюдается только на начальном этапе создания текста.

Наконец, оформление особой разновидности трехчлена с приложением дает две изоглоссы, одна из которых (4б) накладывается на лингвистический атлас НПЛ и подтверждает таким образом существование изоглоссы на заключительных строчках л. 29 об., а другая пока не объяснена — но тот факт, что она проявилась в двух различных фрагментах нашего исследования, требует внимания и дальнейшей работы над материалом.

Выводы

Анализ двучленных и трехчленных атрибутивных словосочетаний, включающих сочетания с согласованными местоимениями и прилагательными, с местоимением *его* / *ее* / *ихъ*, а также аппозитивные сочетания, с учетом лексических и, в меньшей степени, грамматических факторов, позволил привести новые данные для обоснования тезиса о нейтральности постпозитивного употребления согласованного атрибута в языке того периода, когда складывалась начальная часть НПЛ, и поставить вопрос о нейтральном распределении элементов в аппозитивном сочетании.

Результаты проведенного анализа могут быть использованы также для лингвистической группировки памятников древнерусской письменности и для дополнения «лингвистического атласа» НПЛ.

Наиболее выразительные данные по **лингвистической группировке** представляет употребление в НПЛ местоимений и трехчленных конструкций.

Позиция местоимения часто меняется от постпозиции на самых ранних листах к препозиции на листах от 30-х до 90-х, а на 90-х лл. представлены обыкновенно обе позиции. Так, препозитивное употребление местоимения **свои** отмечено только с л. 18, в то время как на лл. с 1 по 18 встречаются 7 фиксаций постпозитивного **свои**. Местоимения группы **мои** в постпозиции встречаются в основном после л. 59 об., однако в препозиции — только после л. 83. Очевидно, что на согласованных притяжательных местоимениях не просто сказывались собственно синтаксические факторы, но и само употребление этих местоимений в значительной степени связано в истории русского языка с разграничением на книжную (где местоимения этого типа активны) и разговорную разновидности. Ввиду этого более поздние части НПЛ имеют большее количество случаев как препозиции, так и постпозиции. Ранние же листы НПЛ отражают постпозицию **свои** и очень спорадическую постпозицию для **мои** при отсутствии, впрочем, и препозиции. Однако, при составлении «местоименной карты» выявить более характерную для этих местоимений позицию в НПЛ помогают трехчленные конструкции, показания которых в данном вопросе однородны.

Местоимение **вьсь** также демонстрирует конкуренцию позиций для начала текста и препозицию для дальнейших листов. Напротив, последовательно постпозитивное употребление несогласованных местоимений не различает ранних и поздних фрагментов текста.

Позиционное оформление указательных местоимений отражает их сложную историю в истории русского языка: периферийное присутствие местоимений **онъ** (только с субстантивами **полъ** и **страна**) и **сь** на фоне активности местоимения **тъ**, проявляющейся прежде всего при постпозитивном положении этого местоимения. Употребление указательных местоимений в НПЛ соотносится как с наличием в литературном русском языке указательных (препозитивных) местоимений, ведущих свое происхождение от местоимения **тъ**, так и с характерным для северной диалектной зоны наличием постпозитивного артикля, ведущего происхождение от того же местоимения. Поэтому данные, представляемые этими местоимениями, затруднительно интерпретировать с точки зрения вопроса о порядке слов.

Данные по употреблению местоимений относительно субстантива в двучленных и трехчленных конструкциях могут быть представлены в виде следующей таблицы:

свои	пост
мои	пост
онъ	пре
тъ	пре
тъ же	пре

сь	пост
сь же	пре/пост
вьсь	пре
инъ	пре (только)
мъногъ	пост
несогл	пост

Информация о ***структуре трехчлена*** также необходима для последующей лингвистической группировки памятников. Впрочем, в качестве формулы трехчлена приходится иметь в виду сразу две модели: модель «**вьсь** + атрибут-субстантив / субстантив-атрибут» и модель «**вьсь** + субстантив + притяжательное местоимение» — равноправные в тексте НПЛ.

Дополнения к **лингвистическому атласу НПЛ** позволяют сделать наблюдения над различными типами атрибутивных сочетаний:

А) порядковые числительные. Одна из изоглосс, уже отмеченных в исследовательской литературе, — проходящая через л. 46 об., — разделяет зоны смешанного и только препозитивного оформления числительных.

Б) сочетание **цр҃квь камѧна** и управляющий этим сочетанием глагол. Глагольные лексемы при этом сочетании позволяют выделить две изоглоссы: одну на л. 33 об., другую между лл. 61 об. и 63 об.

В) согласованные трехчленные конструкции. Различия в формуле трехчленной конструкции позволяют выделить следующие изоглоссы: между лл. 29 об. и 31 об., после л. 63 об., между лл. 88 и 88 об., лл. 90 и 93.

Г) трехчленные конструкции с одним аппозитивным атрибутом, обозначающие лицо через указание родственной связи с другим лицом. Изоглосса, разделяющая два вида «родственного» трехчлена, проходит между лл. 28 и 31 об. После л. 62 об. конструкция полностью уходит из текста НПЛ.

Изоглосса между лл. 29 об. и 31 об., а также изоглосса, находящаяся между лл. 62 об. и 63 об., выделяются, таким образом, на основании сразу нескольких критериев.

Наконец, подробный обзор атрибутивных конструкций в НПЛ представляет важнейшие данные по **вопросу о нейтральной позиции атрибута** в древнерусском языке.

Аппозитивные сочетания дают различные показания по словопорядку в зависимости от семантического фактора, разграничивающего, с одной стороны, социально значимое и профанное, а с другой — светское и религиозное. Причем реализуется различие внутри градуальной оппозиции «князь — церковнослужители — знать» при помощи двух синтаксических маркеров — словопорядка и конструкции повторения предлога. Предлог редко повторяется в конструкциях, именующих князя, несколько чаще — в указаниях на священнослужителя, еще чаще — в именованиях представителей светской знати. То же явление отмечается в трехчленных сочетаниях, включающих одну аппозицию. Оно заставляет ставить вопрос о том, не

был ли нейтральным для языка авторов НПЛ порядок типа «Илья пророк» и не был ли, наоборот, порядок слов типа «пророк Илья» явлением книжного языка.

Сочетания существительного с атрибутом-прилагательным различают церковное, социально значимое и профанное также в рамках градуальной оппозиции, находящей отражение на уровне словопорядка. Первый член оппозиции сопровождается последовательно препозитивным оформлением, срединный — обоими вариантами расположения атрибута, последний — регулярной постпозицией.

Таким образом, постпозиция атрибута проявляет себя а) на ранних фрагментах текста НПЛ, б) в сочетании с существительными, относящимися к сфере бытового, профанного. Напротив, препозиция в особенности свойственна а) листам НПЛ начиная с пятого десятка и б) сочетаниям, именующим явления церковной жизни. Это подкрепляет предположение Лаптевой об **исконной постпозиции древнерусского атрибута**.

Еще один довод в пользу тезиса Лаптевой — замеченная нами тройная корреляция ***«прямой падеж — краткая форма — постпозиция»***.

Учитывая данные анализа, представленного в настоящей статье, в дальнейшем необходимой представляется постановка вопроса о порядке слов в атрибутивных сочетаниях с родительным падежом, не рассмотренных в нашем исследовании, а также изучение других памятников раннедревнерусской письменности, включая переводные. Возможно, в представления о словопорядке в атрибутивных сочетаниях древнерусского языка будут внесены существенные уточнения.

Литература

Бирнбаум 1986 — Х. Бирнбаум. Праславянский язык. М., 1986.

Борковский 1949 — В. И. Борковский. Синтаксис древнерусских грамот (простое предложение). Львов, 1949.

Вайан 2002 — А. Вайан. Руководство по старославянскому языку. М., 2002.

Виднес 1953 — M. Vidnäs. La position de l'adjectif épithète en vieux russe. Helsinki, 1953.

Ворт 2006 — Д. Ворт. Одушевленность и позиция прилагательного: случай *новъгородьскъ*. Опыт микроисследования // Д. Ворт. Очерки по русской филологии. М., 2006. С. 269–285.

Гиппиус 2006 — А. А. Гиппиус. Новгородская владычная летопись XII—XIV вв. и ее авторы (история и структура текста в лингвистическом освещении) // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2004–2005. М., 2006. С. 114–251.

Зализняк 2004 — А. А. Зализняк. Слово о полку Игореве: взгляд лингвиста. М., 2004.

ИГРЯ 1978 — Историческая грамматика русского языка: Синтаксис. Простое предложение. М., 1978.

Истрина 1923 — Е. С. И с т р и н а. Синтаксические явления Синодального списка I Новгородской летописи. (= ИОРЯС, т. XXIV, XXVI). Пг., 1923.

Ковтунова 1969 — И. И. К о в т у н о в а. Порядок слов в современном русском языке и формирование норм словорасположения в XVIII — первой трети XIX в.: Автореф. дис. … докт. филол. наук. М., 1973.

Коробчинская 1955 — Л. А. К о р о б ч и н с к а я. Функции порядка слов в древнерусском языке // Вопр. языкознания. Кн. 1. Львов, 1955. С. 73–85.

Кузнецов 1953 — П. С. К у з н е ц о в. Историческая грамматика русского языка: Морфология. М., 1953.

Курц 1963 — И. К у р ц. Проблема члена в старославянском языке (конструкция существительного с местоимением указательным и с атрибутом) // Исследования по синтаксису старославянского языка. Прага, 1963. С. 121–182.

Лаптева 1963а — О. А. Л а п т е в а. Расположение одиночного качественного прилагательного в составе атрибутивного словосочетания в русских текстах XI–XVII вв.: Дис. … канд. филол. наук. М., 1963.

Лаптева 1963б — О. А. Л а п т е в а. Расположение одиночного качественного прилагательного в составе атрибутивного словосочетания в русских текстах XI–XVII вв.: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1963.

Мейе 2001 — А. М е й е. Общеславянский язык. М., 2001.

Минлос 2007 — Ф. Р. М и н л о с. Повтор предлогов в Новгородской первой летописи // Рус. яз. в науч. освещении. 2008. № 13. С. 52—72.

НПЛ 2001 — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Рязань, 2001.

Обнорский 1946 — С. П. О б н о р с к и й. Очерки по истории русского литературного языка. М.; Л., 1946.

Петрухин 2003 — П. В. П е т р у х и н. Лингвистическая гетерогенность и употребление прошедших времен в древнерусском летописании: Дис. ... канд. филол. наук. М., 2003.

Сахарова 2005 — А. В. С а х а р о в а. Причастные обороты в древнерусской летописи: содержательные параметры их употребления для глаголов восприятия // Рус. яз. в науч. освещении. 2005. № 2. С. 250–266.

СДЯ — Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. Т. 1–. М., 1988–.

Соболева 1986 — Ю. Д. С о б о л е в а. Атрибутивные бинарные словосочетания и потенциальные возможности их фразеологизации (на материале Синодального списка I Новгородской летописи) // Способы и средства связи языковых единиц в тексте. Курск, 1986. С. 87–98.

Спринчак 1960 — А. Я. С п р и н ч а к. Очерк русского исторического синтаксиса (простое предложение). Киев, 1960.

ССЯ — Словарь старославянского языка. Т. 1–6. СПб., 2006.

Ф. Р. МИНЛОС

ПОЗИЦИЯ АТРИБУТА ВНУТРИ ИМЕННОЙ ГРУППЫ В ЯЗЫКЕ ПСКОВСКОЙ ЛЕТОПИСИ

0. Введение

В настоящей работе описывается линейное положение атрибута относительно имени (постпозиция / препозиция) на материале одного памятника старорусского языка — Строевского списка Псковской 3-ей летописи (далее Строев. ПТЛ)[1]. Этот список датируется XVI в.; основная часть памятника — погодные записи, относящиеся к XV в. Известно, что в некоторых отношениях Строевский список отражает яркие особенности некнижного псковского диалектного языка (см. [Зализняк 2004; Николаев 2005; Шевелева 2006]).

В большинстве современных славянских языков нормальное положение почти всех согласованных определений в именной группе — препозиция. В средневековых славянских памятниках некоторые атрибуты во многих случаях выступают в постпозиции (из современных славянских языков наиболее регулярно постпозиция определенных классов атрибутов представлена в польском). Например, по подсчетам, произведенным В. З. Санниковым, в древнерусских текстах неместоименные прилагательные находились в постпозиции в 39,2 % случаев, в старорусском эта доля снизилась до 31,8 % [Санников 1968: 62]). В известных нам работах противопоставление постпозитивных и препозитивных атрибутов в древнерусском связывается с коммуникативным выделением [Лаптева 1959; Обнорский 1946: 167, 171], с противопоставлением разных регистров или языков [Widnäs 1953; Обнорский 1946: 26], с одушевленностью имени и наличием предлога (статья Д. Ворта, опубликованная в 1982 г., см. русский перевод [Ворт 2006]).

Мы исходим из того, что позиция атрибута в древнерусском и среднерусском определяется целым рядом факторов.

---

[1] Работа выполнена в рамках программы Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям» (проект «История восточнославянского лингвистического ландшафта») и при поддержке гранта РГНФ № 05-04-04-051а.

Во-первых, позиция атрибута зависит от лексем (или их классов), входящих в словосочетание, а также, вероятно, от семантических характеристик словосочетания.

Во-вторых, существует связь позиции атрибута с разновидностью языка. В самом общем виде она сводится к тому, что постпозиция атрибутов (по крайней мере некоторых классов) преобладала в церковно-книжном языке (особенно в тексте Библии и в житиях), а препозиция атрибутов — в языке некнижном; эта корреляция (а также зависимость позиции атрибута в древних славянских переводах от греческого оригинала) продемонстрирована на представительном материале в монографии [Widnäs 1953]. Хорошо документированное наличие такой корреляции не следует путать с историческими предположениями о том, что какому-то из идиомов исходно был присущ лишь один порядок.

В-третьих, позиция прилагательного может зависеть от наличия / отсутствия предлога. На материале сочетаний с прилагательным *новъгородьскии* в новгородских пергаменных грамотах Д. Ворт сделал следующее наблюдение: в сочетаниях с неодушевленными существительными наличие предлога коррелирует с препозицией атрибута[2], а для одушевленных существительных характерна постпозиция атрибута вне зависимости от наличия или отсутствия предлога. В настоящей работе зависимость позиции атрибута от одушевленности имени не рассматривается, т. к. на материале Строев. ПТЛ нам не удалось выявить эту закономерность; корреляция с наличием предлога, напротив, оказалось релевантной для многих атрибутивных сочетаний. Указанную корреляцию можно проиллюстрировать изящной парой примеров, взятых из одной погодной записи: *владыка нареченныи новгородскои* (1471)[3] ~ *оу нареченого владыке новгородского* (1471); однако следует подчеркнуть, что зависимость носит лишь статистический характер.

В-четвертых, кажется вполне вероятным, что позиция атрибута связана с коммуникативным выделением элементов именной группы. В данной работе, однако, эта проблема не рассматривается. Из-за того, что задачи пишущего (а тем более подразумеваемые интонационные контуры) нам не даны объективно, верифицировать (или фальсифицировать) эту гипотезу о позиции прилагательного как отражении коммуникативного выделения сложнее всего; показательно, что если одни авторы связывают коммуника-

---

[2] «… [Н]еодушевленные существительные, явно имеющие склонность к порядку NA в конструкциях без предлогов, в предложных словосочетаниях почти неизменно относятся к типу pAN» [Ворт 2006: 284].

[3] По умолчанию все цитаты даются из Строев. ПТЛ. В качестве адреса цитаты дается год, полученный вычитанием 5508 лет из года, указанного при погодной записи в тексте. Примеры даются в упрощенной орфографии по изданию [ПСРЛ V, 2]. Отдельные словоформы или словосочетания, не являющиеся цитатами из конкретного места рукописи, приводятся в обобщенной орфографии, нормы которой мы не эксплицируем.

тивное выделение с постпозицией прилагательного [Обнорский 1946; Коробчинская 1955: 79], то другие — с препозицией [Лаптева 1959]. Следует полагать, что рассмотрение этой гипотезы (возможно, объясняющей какую-то часть фактов) станет более продуктивным после того, как будут лучше изучены факторы, поддающиеся непосредственному наблюдению.

Сделаем некоторые замечания, касающиеся отбора материала и определения основных используемых понятий.

Мы рассматриваем только сочетания согласуемых атрибутов с обычными существительными (не рассматриваются именные группы, вершинами которых являются местоимения или эллиптические нули). Не рассматриваются т. н. «несогласованные определения», т. е. зависимые в родительном падеже (хотя их линейное положение относительно имени тоже в общем случае не является фиксированным). Мы исключили из рассмотрения все числительные, кроме *одинъ*, т. к. их свойства в целом иные (отметим, что в нашем тексте встречается как старое согласование местоимений с числительным, например *тая 9 лѣт* (1463), так и новое согласование с именем «минуя» числительное, например, *вси шесть насад* (1473)). С другой стороны, заодно с атрибутивными притяжательными местоимениями мы рассматриваем и неизменяемые притяжательные местоимения (*ихъ*, *его*, *ее*).

Как ясно из названия статьи, нас интересуют только те атрибуты, которые относятся к именной группе. Мы исключаем из рассмотрения конструкции, в которых группу прилагательного следует относить к глаголу. Прежде всего это конструкции вида *бысть* NA (краткая форма): *бысть зима тепла* (1303), *тогда бяше гость силенъ немецкии* (1360), *бысть зима снезна велми много* (1421), *быша морози велици* (1471). Кроме того, вне нашего рассмотрения остались конструкции с глаголами движения и атрибутом *здоровъ* (и некоторые сходные): *и поидоша* ***псковичи*** *со князем великим Констянтином во свою землю вси* ***здорови*** (1407), ***островичи*** *вси отъидоша* ***здрави*** (1426). Однако многие другие случаи дистантного расположения имени и атрибута мы рассматриваем в качестве неконтактных именных групп — т. е. групп, разорванных элементами, не входящими в данную именную группу. В большинстве случаев именную группу разрывает одна словоформа: ***князя*** *просили* ***псковсково*** (1472), ***людеи*** *ему* ***своихъ*** *так же не слати* (1473), *а какъ* ***князя*** *где* ***великого*** *наедем* (1478). Эти разорванные группы представляют собой, по всей видимости, в известной степени самостоятельное явление, но при определенном обобщении этим различием можно, как кажется, пренебречь. По умолчанию неконтактные группы учитываются в подсчетах наравне с контактными, однако важные классы случаев оговариваются особо.

При наличии сочинения атрибутов или имен мы учитываем только одно сочетание одного атрибута с одним именем. Например, в примере с сочинением имен *владычнѣ благословение и челобитье* (1456) мы учитываем только *владычнѣ благословение*, в примере с сочинением атрибутов *послоу новогородскому и псковскомоу* (1461) — только *послоу новогородскому*.

Для максимальной однородности рассматриваемого материала мы учитываем только сочетания с прототипическими предлогами (в нашем материале это *в*, *без*, *до*, *из*, *за*, *к*, *на*, *о*, *от*, *по*, *под*, *пред*, *при*, *с*, *у*, *черес* / *чрес*). Таким образом, из рассмотрения полностью исключаются сочетания с некоторыми другими сходными единицами, стоящими перед именной группой (*возле*, *мимо*, *опрѣче* / *опречь* / *опричь*, *подле*, *преж(е)*, *против(у)*), после первой словоформы именной группы (*ради*, *дѣля*) или устроенных более сложно (*в… мѣсто*, например: ***в*** *розбѣглои* ***мѣсто*** *посохи новгороцкои*, 1561). Отметим, что среди учитываемых предложных групп есть некоторое количество таких, в которых предлог слился с последующим согласным и не представлен в записи (например, *своим отцомъ* в контексте *хотим о том своим отцомъ горазно мышлити*, 1464).

Рассматриваемый летописный текст, конечно, не может быть лингвистически однородным. Во-первых, существуют лингвистические различия в записях, относящихся к разным периодам; во-вторых, в гибридном языке летописи выделяются полюса, тяготеющие к церковному (библейские цитаты) и к народному (записи, касающиеся городских происшествий) языку соответственно. Однако в данном исследовании мы по умолчанию пренебрегаем этими различиями, а некоторые случаи оговариваем особо.

В первом разделе рассматриваются те сочетания, в которых обычно встречается какой-то один порядок, без заметной корреляции с наличием предлога. Во втором разделе демонстрируется корреляция между наличием предлога и препозицией атрибута, а также приводятся сочетания, для которых материал (содержащий в основном предложные или, наоборот, беспредложные сочетания) оказывается, с учетом описанной корреляции, недостаточно показательным. В третьем разделе приводятся некоторые наблюдения над порядком элементов в именных группах, в которых представлено более одного атрибута. В четвертом разделе указывается на возможности теоретического моделирования рассмотренного явления.

1. Лексическая обусловленность позиции атрибута

Самым общим лексическим правилом, определяющим препозицию атрибута, является вхождение в топонимические и микротопонимические обозначения: *в Медвежью голову* (1234), *Новыи городок* (1341), *оу Лоужскых ворот* (1453), *Роускии конець* (1463), *с Бельскои гоубѣ* (1471), *в Домонтовѣ стѣны* (1438), *на Романовѣ горѣ* (1442) и др. Препозиция в основном наблюдается и у сочетаний *Великая рѣка* и *Великии Новъгород* (отметим и само сочетание *Новъ-город*). К топонимической сфере семантически близки сочетания вроде *Новогородская земля* и *Полотская волость* (см. данные о них в таблицах 7–8). Как видно из таблиц, в этих сочетаниях препозиция преобладает (особенно показательны данные по беспредложным группам), при этом в сочетаниях с лексемами *область* / *волость* / *власть* препозиция

регулярнее, чем в сочетании с лексемой *земля*; как кажется, это коррелирует с большей терминологичностью обозначений вроде *Полотская волость*.

В препозиции достаточно устойчиво фиксируются указательные и порядковые атрибуты: *тъ*, *прочии*, *инои*, *другои*, *третии* и т. п. Примеры: *на третьее лѣто* (1327), *на шестои недели* (1428); одно из исключений: *грамоты дроугыа* (1470). Исключения связаны преимущественно с церковнославянским регистром: *в роды иныа* (1470), *в род инъ* (1470), *в час сии* (1266), *от жизни сея* (1352), *моръ сеи* (1407). В иллюстративных целях был сделан подсчет всех примеров с местоименными атрибутами на лл. 1–71 об.: *тои* — 171 с препозицией; 3 с постпозицией, *иныи* — 13 с препозицией, 0 с постпозицией; порядковые числительные и *другыи* — 54 с препозицией, 0 с постпозицией.

Сочетание *крестное цѣлование* встречается, в основном, в таком порядке: *на хрестном цѣловании* (1403), *кресное цѣлование* (1477), всего 22 примера препозиции (13 с предлогом, 9 без предлога). Отмечено 5 примеров с постпозицией, все они принадлежат погодным записям 1477–1478 гг. (например, *челование крестное*, 1478). В материале грамот, обследованных М. Виднес, для этого сочетания отмечена последовательная препозиция, см. [Widnäs 1953: 44, 50, 59].

Атрибут *малыи* встречается в препозиции 13 раз, один раз в постпозиции; 2 одинаковых примера с предлогом: *с малою дроужиною* (1271, 1272), многочисленные сочетания с лексемами *дѣти*, *дѣтки* (*малыа дѣти* (1327, 1404, 1406), *малымъ дѣтемъ* (1272, 1409), *много… малых детеи* (1507), *малыа дѣти* (1341, 1352), *малых дѣтокъ* (1341)), и еще пара примеров: *малыхъ робятъ* (1481), *малъ пристоупъ* (1461); единственный пример с постпозицией: *дѣтокъ малыхъ* (1480).

Сочетаний, в которых атрибуты относительно устойчиво фиксируются в постпозиции, меньше. Прежде всего это относительные прилагательные с суффиксом -(*ь*)*ск*-. Например, сочетание *дѣти боярскии* фиксируется исключительно с постпозицией атрибута (13 примеров без предлога: *дѣти боярьскии* (1474), *дѣти боярскии многы* (1478), *много… дѣтеи боярьскихъ* (1563) и др., 2 примера с предложными группами: *з детми боярскыми* (1559), *оу дѣтеи боярских* (1561)); ср. также *сына боярьского* (1474).

При лексемах *посадникъ*, *князь*, *бояре*, *местеръ* / *маистръ*, *пискоуп* / (*арци*)*бискоупъ* и некоторых других прилагательные с суффиксом -(*ь*)*ск*-, образованные от названий городов, стран и народов, обычно стоят в постпозиции. Так, с лексемой *посадникъ* есть 110 примеров постпозитивного употребления такого рода прилагательных (среди них 12 с предлогом) и 4 препозитивных (все примеры без предлога). Некоторые примеры: *посадникъ псковскеи* (1472), *с посадники с новогородскыми* (1456), *оу посадниковъ псковскых* (1474), *псковскии посадники* (1447), *псковскым посадником* (1475). С лексемой *князь* находим 68 примеров постпозиции относительного прилагательного (из них 13 с предлогом) и 11 примеров препозиции (из них 4 с предлогом). Некоторые примеры: *князю псковскому* (1453, 1463,

1474), *съ князем литовскимъ* (1407), *сынъ Воинев полоцкого князя* (1341), *от литовскыхъ князеи* (1471)[4].

Постпозиция атрибута, независимо от наличия / отсутствия предлога, устойчиво фиксируется также в сочетании *посадникъ степенныи*: 20 примеров постпозиции (из них 7 с предлогом), 1 пример препозиции (без предлога), например: *посадникъ степенныи* (1463 — bis, 1464, 1474), *при посаднике степенном* (1450, 1453, 1462), *Василья Онаньина степенного посадника* (1476).

Таким образом, основные сочетания, относительно устойчиво зафиксированные с постпозицией атрибута, являются наименованиями лиц по социальному положению или занимаемому официальному посту (*князь литовскои*, *посадник псковскои*, *бискоупъ рызскыи*).

Однако постпозиция в такого рода сочетаниях характерна, видимо, только для относительных прилагательных. Сочетание *добрыи люди*, также обозначающее социальную группу, в большинстве случаев фиксируется с препозицией прилагательного. Это сочетание 1 раз зафиксировано с постпозицией атрибута (*много людеи добрых* (1407)) и 11 раз с препозицией (с предлогом: *оу добрых людеи* (1240), без предлога: *инъхъ добрых людеи* (1348), *добрых людеи* (1352), *добрии люди* (1435), *много… добрых людеи* (1435), *инѣх много… добрых людеи* (1449), *инѣм добрым людемъ* (1450), *а с нимъ бояръ добрых людеи много* (1454), *инѣх добрых людеи* (1456), *30 человекъ добрых людеи* (1464), *иных добрыхъ людеи* (1477)). Отметим, среди остальных примеров с этим прилагательным количество препозиций и постпозиций совпадает: препозиция — *в добрѣ исповѣдании* (1352), *по добром господине* (1272), *добрыа мысли* (1407), *добро слово* (1474), постпозиция — *вѣсть добру* (1343), *много людеи добрых* (1407), *инѣх немець добрых* (1463), *зобница хмеля доброго* (1467).

Указательный атрибут *таковъ* довольно часто выступает в постпозиции, что объясняется, как кажется, структурой всего предложения, где *таковъ* семантически примыкает к содержанию сообщения, излагаемому далее: *опасноую далъ грамоту таковоу* ⟨содержание грамоты⟩ (1471), *отвѣт таковъ дал* ⟨содержание ответа⟩ (1474), *отвѣт таковъ починили* ⟨содержание ответа⟩ (1478).

2. Предлог и линейная позиция атрибута

Количественные данные, демонстрирующие корреляцию наличия предлога в именной группе с препозицией атрибута, представлены в таблицах 1–10. В этих таблицах сокращение AN обозначает последовательность

[4] В этих подсчетах мы исходили из того, что в сочетаниях вроде *князь псковьскыи Василеи Васильевич* (1478) атрибут относится к слову *князь*, а в сочетаниях вроде *князь Витофтъ литовскии* (1406) атрибут относится к имени собственному (как и в группах вроде *Товтил Полочс*[*кии*] (1262)).

атрибут–имя, а NA — последовательность **имя–атрибут**. Одна таблица содержит данные для одного словосочетания (сочетания двух конкретных лексем) или для группы словосочетаний, для которых можно предположить семантическое и синтаксическое единообразие[5].

Таблица 1

Адъективные притяжательные местоимения (*свои*, *мои*, etc.)

	AN	NA
+ предлог	201	54
– предлог	223	157

Таблица 2

Неизменяемые притяжательные местоимения (*ихъ*, *его*, *ее*)

	AN	NA
+ предлог	27	5
– предлог	30	99

Таблица 3

вьсь

	AN	NA
+ предлог	157	1
– предлог	181	32

Таблица 4

Склоняемые формы *мног-*

	AN	NA
+ предлог	28	6
– предлог	13	10

Таблица 5

***посолъ псковскии* / *новогородскии* / *юрьевскии* в обоих порядках**

	AN	NA
+ предлог	13	5
– предлог	18	42

Таблица 6

Сочетания с атрибутом *владычень*

	AN	NA
+ предлог	6	1
– предлог	7	11

[5] Более обобщенные данные имеют лишь относительную ценность, так как словосочетания различаются как по частоте сочетаемости с предлогом, так и по тяготению к тому или иному порядку; соответственно, общая статистика будет зависеть не только от реальной взаимосвязи предлога и порядка слов, но и от соотношения разного рода словосочетаний в этом обобщенном материале.

Таблица 7

псковскаа / новогородскаа / немецкаа* и т. п. *земля

	AN	NA
+ предлог	47	5
– предлог	15	11

Таблица 8

псковскаа / новогородскаа* и т. п. *область / волость / власть

	AN	NA
+ предлог	15	4
– предлог	14	7

Таблица 9

псковское челобитье

	AN	NA
+ предлог	4	1
– предлог	3	6

Таблица 10

князь великии / великии князь[6]

	AN	NA
косвенные падежи, + предлог	99	26
косвенные падежи, – предлог	113	69
им. падеж	11	165

Для наглядности приведем полные данные по сочетаниям с прилагательным *владычень*. 1. Предложные группы, препозиция: *во владычни дворѣ* (1434), *про владычню землю и воду* (1465), *по владычню Ионину челобитью* (1470), *въ владычень дворъ* (1471), *во владычни селе* (1478), *на владычни сторонѣ* (1478); 2. Предложные группы, постпозиция: *о подъездах владычных* (1411); 3. Беспредложные группы, препозиция: *владычень дворъ* (1433), *владычне благословение* (1434), *от Прокопьева двора владычня намѣстника* (1454), *владычнѣ благословение* (1456), *владычне благословение* (1470), *своего посла Радивона вл*[*адычня*] *столника* (1471), *владыченъ намъстникъ* (1471); 4. Беспредложные группы, постпозиция: *оброк владычень и вся полшины владычня* (1438), *тоу послиноу владычню всю* (1438), *намѣстника владычня* (1427), *воды и земля владычня* (1465), *доуховника владычня* (1471); *ключника владычня* (1471, 2x); *ризника владычня* (1471, 2x), *Ивана намѣстника владычня* (1474). В подсчетах не учтены сочетания с *ради* (*владычня ради поклона* (1428), *владычня ради челобитиа*

[6] В таблице не учитываются данные погодных записей за XII в., так как в рассматриваемом словосочетании там преобладает препозиция, в том числе и в именительном падеже. Кроме того, из подсчетов исключен титул *царь и великии князь*, фиксирующийся в записях 1550–1560-х гг. исключительно с таким порядком.

(1471)) и пример *от Ивана владычьника владычня* (1470), где непосредственного перед интересующей нас группой с атрибутом (*владычьника владычня*) предлога нет.

Как видно, некоторые рассмотренные атрибуты чаще стоят в препозиции (все изменяемые местоимения), другие — в постпозиции (неизменяемые посессивы); прилагательные ведут себя различным образом.

В составленных таблицах среди примеров с постпозитивным атрибутом преобладают беспредложные именные группы, тогда как среди примеров с препозицией предложных групп либо больше, чем беспредложных, либо примерно столько же. Препозитивных предложных групп значительно больше, чем препозитивных беспредложных, в тех сочетаниях, которые чаще встречаются с предлогами: сочетания со склоняемыми формам *мног-* и сочетания типа *земля псковскаа* (таблицы 4 и 7); отметим, что почти все предложные примеры с *мног-* являются летописными штампами с предлогом *съ*, повторяющимися в тексте по несколько раз (*съ многым замышлениемъ* (1323), *со многым полоном* (1463), *со многим добытком* (1471), *съ многою печалию и тоугою* (1323)). Более обычной является ситуация, когда беспредложных групп больше, чем предложных.

Для титула великого князя мы рассмотрели достаточно представительные данные по именительному падежу отдельно. Для этого сочетания мы наблюдаем наибольший контраст между именительным падежом (в подавляющем большинстве примеров постпозиция атрибута) и сочетаниями с предлогом (значительно чаще препозиция). Наши наблюдения над этим сочетанием подтверждаются данными, полученными в работе М. Виднес. На материале великорусских деловых документов XV в. там показано, что рассматриваемое сочетание в именительном падеже в абсолютном большинстве случаев (133 пример из 139) имеет постпозитивный атрибут, тогда как во всех остальных падежах в 2–4 раза больше примеров с препозицией [Widnäs 1953: 49]. Зависимость позиции атрибута от наличия предлога в работе М. Виднес не рассматривается.

Есть ряд сочетаний и типов сочетаний с устойчивой позицией атрибута, которые встречаются преимущественно в предложных или в беспредложных группах. Учитывая приведенные выше данные о зависимости позиции от наличия предлога, следует считать, что у нас нет надежных данных о позиции атрибута в этих сочетаниях. Вот эти сочетания:

— согласуемые формы *мног-*: данные приведены выше. Если бы не учитывалось влияние предлога на позицию атрибута, можно было бы решить, что этот атрибут тяготеет к препозиции, что не совсем верно. По всей видимости, сходным образом ведет себя и основа *неколик-*, на которую есть лишь небольшое количество примеров: *по неколицѣхъ днехъ* (1266), *по неколицех днехъ* (1271), *по неколичех днех* (1471);

— *псковскаа пошлина*: 8 примеров, отмечена только препозиция, только в предложных сочетаниях: *не по псковскои пошлине* (1435), *на всеи псковскои пошлинѣ* (1463), *на всѣх псковьских послинах и старынахъ* (1478) и т. п.;

— *великаа честь*: почти все примеры — это летописный штамп *с великою честью*, 11 раз отмеченный в таком порядке, с препозицией прилагательного (в беспредложных формах колебания: *велика честь* (1473) ~ *честь великоу* (1473));

— сочетания с *обидныи*: 12 примеров, только препозиция, однако большинство (9) примеров — с предлогом. Примеры: *на обидном мѣстѣ* (1444), *о обидных дѣлехъ* (1470), *обиднии люди* (1471).

— *сынъ посадничь*: 10 примеров, отмечена только постпозиция, только в беспредложных сочетаниях: *сынъ посадничь* (1449), *сыновъ посадничих* (1474), *инии сыновъ посадничи* (1478); также один раз *брат посадничь* (1242).

— сочетания с *княжь*; 15 примеров, большинство (11) примеров — с препозицией. Во всех примерах с предлогом атрибут стоит перед именем (*на князи селѣ* (1341); *на княжем дворѣ* (1384); *из князя двора* (1436); *в князи дворъ* (1460), *на князи дворѣ* (1477), *на князь двор своего государя* (1473)), а в беспредложных именных группах количество примеров с двумя линейными положениями атрибута сопоставимо: 5 примеров с препозицией (*княжи дворъ* (1459), *князь дворъ* (1480), *всю князюю послиноу* (1456), *всю княжюю пошлиноу* (1460), *княжии намѣстники* (1467), *княжая продажя* (1475)), 3 примера с постпозицией (*намѣстники княжии* (1467), *всю пошлину князю* (1448), неконтактная группа: *и* ***продажи*** *по пригородомъ намѣстникомъ имати* ***княжиа*** (1476)).

3. Именные группы более чем с одним атрибутом

Именные группы в рассматриваемом тексте редко включают в себя более чем два атрибута, поэтому для простоты мы ниже будем исходить из того, что описываем именную группу с двумя атрибутами. Отметим, что в именных группах с двумя атрибутами один из них в большинстве случаев является местоименным.

При описании именных групп с двумя атрибутами следует рассмотреть два вопроса: во-первых, в каком порядке они располагаются в том случае, если стоят с одной стороны от имени, во-вторых, влияет ли в каких-то случаях наличие одного атрибута на выбор препозиции / постпозиции другого.

Порядок атрибутов, которые находятся в препозиции, не отличается заметным образом от порядка препозитивных атрибутов, известного в других языках (например, в славянских или германских языках). Приведем несколько показательных (но достаточно тривиальных) примеров: *о каковых ни боуди церковных вещех* (1469), *инаа их замышлениа* (1323), *въ иныа далекиа земли* (1471), *иных многых воевод* (1559), *многыхъ живыхъ нѣмець* (1559), *съ многими татарьскими силами своими* (1478), *по всеи моеи сдержаве* (1474), *вся псковская сила* (1471), *по его засылным грамотамъ* (1476), *на нашоу на псковскоую силоу* (1471), *с нашими с прежними оспо-*

дари (1477), *свою крѣпостьноую ларноую грамотоу* (1470), *по старому крестному целованию* (1428), *новогородскии бояръскии ключники* (1476). Позиция местоименного атрибута между обычным прилагательным и именем не характерна для памятника, ср. два примера в одном книжном пассаже в конце записи за 1352: *многоядныя своа зоубы*, *хоудыи мои оум*, в контексте речи, обращенной к новгородскому епископу: *прежнии твоя братья* (1469), в собственно церковных контекстах: *честнаго ея оуспениа* (1327), *пречистоую его матерь* (1477).

Постпозитивные атрибуты в некоторых случаях стоят в том же порядке, в котором мы бы ожидали их увидеть в препозиции, в некоторых других — в «зеркальном» порядке. Например, последовательность притяжательного местоимения и прилагательного выглядит точно так же, как такая же последовательность в препозиции: *рать свою большую* (1559), *грамоти свои взмѣтныа* (1477), а последовательность притяжательного атрибута и квантификатора *весь* «зеркальна» относительно обычного препозитивного порядка (ср. приведенное выше *по всеи моеи сдержаве*): *тоу послиноу владычню всю* (1438), *земля их вся* (1266), *товаръ ихъ весь* (1348), *кони бо их вси* (1473), *землю ихъ всю* (1559). Обозначения последовательностей как прямой или зеркальной следует понимать лишь как техническую терминологию. Склоняемый квантификатор *мног-* находится в постпозитивной группе после прилагательного: *инии коупцы псковьскыа многыа* (1478), *дѣти боярскии многы* (1478), *с иным товаром съ разноличнымъ съ многым* (1478); такие порядки являются зеркальными. Как кажется, прямым является порядок прилагательных в таких примерах (хотя прямого подтверждения на материале Строев. ПТЛ мы дать не можем): *конеи великих немецких много* (1407), *с силою великою литовскою* (1426), *силоу велику литовскоую* (1433). Если верить примеру *великых киевскых княжеи древних* (1471), прямым следует считать и порядок в сходных примерах *князь великии литовскии* (1266), *князь же великии литовскии* (1341), *на княжении великом литовском* (1440)[7] (несмотря на то, что можно было бы ожидать идиоматизации сочетания *великии князь* и, как следствие, порядка *киевскии великии князь*, — в этом случае зафиксированный порядок является зеркальным). Что касается примеров *посадник псковскыи степенныи* (1463), *посадники псковскии степеннии* (1466), то, так как *посадник степенныи* фиксируется обычно именно в таком порядке (в нашем материале — за одним исключением), для решения вопроса о прямом порядке трудно найти конкретный пример. Исходя из общих соображений, терминологическое сочетание *посадник степеннии* / *степеннии посадник* модифицируется тут атрибутом *псковскыи*, поэтому гипотетический препозитивный порядок был бы *псковскыи степенныи посадник* (и, соответственно, наличный порядок является зеркальным). Предположительно прямой порядок: *град нов*

[7] Ср. также *о княженьа великоя Литовскоя земли* (1433), *о княженьа великоа Роускоа земли* (1434).

деревянъ (1464); предположительно обратный порядок: *преждьного посадника псковского старого* (1471), *владыка нареченныи новгородскои* (1471). Отметим еще то, что постпозитивный атрибут может находиться как перед зависимым именем в родительном падеже (*князя великого сынъ вятшеи Васильа Дмитрѣевича* (1417, с характерным разрывом зависимой составляющей), *силу московскоую князя Данилья* (1471)), так и после него: *брат великого князя меньшии* (1408).

Как кажется, имеющегося материала недостаточно для описания того, как распределены прямой и зеркальный порядок в постпозиции и какие явления стоят за этим распределением.

По некоторым данным, наличие в именной группе местоимения увеличивает вероятность того, что неместоименный атрибут будет постпозитивным ([Ворт 2006: 283–284], устное сообщение Р. А. Евстифеевой, [Минлос 2007: 61]). Например, в сочетаниях относительных топонимических прилагательных с лексемами *волость* / *власть* заметно преобладание препозиции атрибута (29 примеров препозиции, в частности, *Полотскую волость*, 1403; *из Вышегородскои волости*, 1471; 11 примеров постпозиции, в частности, *волость Новогородскоую*, 1428). При этом среди примеров с постпозицией около половины (6 словосочетаний) составляют такие, в которых имя модифицировано атрибутом *вьсь* (все примеры постпозитивного атрибута в предложной группе принадлежат этому типу): *въ всеи волости Псковскои* (1465), *по всеи области Псковское* (1466), *по всеи власти Псковскои* (1467), *по всеи волости Новогородскои* (1467), *всю область Новогородскоую* (1327), *всю область Псковскоую* (1343). Отмечен всего один пример с препозитивным атрибутом при квантификаторе *вьсь*: *по всеи Псковскои волости* (1471). Такую же корреляцию можно усмотреть и на материале некоторых других сочетаний:

псковская воля (*по псковскои воли*, 1409, 1410, 1463, 1471; *на всеи псковскои воли*, 1474 ~ *на всеи воли псковскои*, 1474),

псковская / *новогородская старина* (*не по псковскои старины*, 1462; *по псковскои старине*, 1463; *не по псковскои старине*, 1475; *а новгородскои старине ни которои не быти*, 1478 ~ *старинь* (sic!) *псковскых много*, 1449; *вся старины псковскыа*, 1449; *на всѣх старинахъ псковскых*, 1473).

4. Теоретическая модель

В порождающей грамматике вариации линейного порядка описываются как конкуренция исходного порядка и перемещения. В частности, исследования именной группы проводились в рамках предположения, что препозиция всех атрибутов является исходной конструкцией не только для германских, но и для тех языков, где многие прилагательные находятся в постпозиции (романские, семитские, кельтские языки). Постпозиция атрибутов в этом случае объясняется как результат перемещения ядра именной

группы (имени) или какой-то части именной группы (имени и части атрибутов) в структурно более высокую позицию (что поверхностно отражается как его перемещение ближе к началу этой группы)[8]. Такое перемещение постулировалось и для объяснения других явлений.

Если принять указанную модель, связь наличия предлога и препозиции атрибута можно сформулировать так: предлог блокирует перемещение имени. Эта ситуация напоминает распределение двух положений финитного глагола (конечная позиция и вторая позиция в клаузе), существующее в немецком языке: в предложениях без подчинительного союза вторая позиция (*Marie glaubt, Hans sah den Mann*), в предложениях с подчинительным союзом — конечная позиция (*Marie glaubt, dass Hans den Mann sah*). Это явление было проинтерпретировано в рамках X'-теории следующим образом: исходная позиция глагола в немецком языке — на конце клаузы; финитный глагол оказывается на втором месте в клаузе в результате перемещения; позиция, в которую перемещается финитный глагол — та же структурная позиция, которую занимает союз в придаточных предложениях; соответственно, если она уже занята союзом, глагол в нее переместиться не может и стоит в конце клаузы [Den Besten 1983]. Желание точно таким же образом объяснить распределение препозитивных и постпозитивных атрибутов в древнерусском и среднерусском наталкивается на тот факт, что постпозитивные атрибуты (результат перемещения имени) всё-таки бывают в предложных группах. Таким образом, формальная модель такой системы выглядит несколько сложнее, однако ее изложение выходит за рамки данной статьи.

Литература

Ворт 2006 — Д. Ворт. Повторение предлога в древнерусском // Д. Ворт. Очерки по русской филологии. М., 2006. С. 269–285.

Зализняк 2004 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М., 2004.

Коробчинская 1955 — Л. А. Коробчинская. Функции порядка слов в древнерусском языке // Вопросы языкознания. Кн. 1. Львов, 1955. С. 73–85.

Лаптева 1959 — О. А. Лаптева. Расположение древнерусского одиночного атрибутивного прилагательного // Славянское языкознание. Сборник статей. М., 1959. С. 98–112.

Минлос 2007 — Ф. Р. Минлос. Повтор предлога в Новгородской первой летописи // Рус. яз. в науч. осв. 2007. № 13. С. 52—72.

Николаев 2005 — С. Л. Николаев. Рефлексы *s (*z), *š (*ž) и *sj (*zj) в псковских говорах и в двух псковских рукописях XV–XVII вв.// Исследования по славянской диалектологии. 6. Славянская диалектология и история языка. М., 2006. С. 94–111.

[8] См., например, [Cinque 1994]. Указанное направление исследований именной группы развивалось с начала 90-х годов в рамках X'-теории. Доступное изложение основных положений этого формализма можно найти в [Тестелец 2001: 559–583].

Обнорский 1946 — С. П. Обнорский. Очерки по истории русского литературного языка. М.; Л., 1946.

ПСРЛ V, 2 — Полное собрание русских летописей. Т. V, вып. 2. Псковские летописи. М., 2000.

Санников 1968 — В. З. Санников. Согласованное определение // Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Члены предложения. М., 1968. С. 47–95.

Тестелец 2001 — Я. Г. Тестелец. Введение в общий синтаксис. М., 2001.

Шевелева 2006 — М. Н. Шевелева. Некнижные конструкции с формами глагола быти в Псковских летописях // Вереница литер. К 60-летию В. М. Живова. М., 2006. С. 215–241.

Cinque 1994 — G. Cinque. On the evidence for partial N-movement in the Romance DP' // G. Cinque, J. Koster, J.-Y. Pollock, L. Rizzi, R. Zanuttini (eds). Towards Universal Grammar: Studies in Honor of Richard Kayne. Georgetown Univ. Press, Washington DC, 1994. P. 85–110.

den Besten 1983 — H. den Besten. On the Interaction of Root Transformations and Lexical Deletive Rules // On the Formal Nature of the Westgermania / W. Abraham (ed.). Amsterdam, 1983. P. 47–131.

Widnäs 1953 — M. Widnäs. La position l'adjectif épithète en vieux russe. Helsingfors, 1953.

М. Н. ШЕВЕЛЁВА

ЕЩЕ РАЗ О ИСТОРИИ ДРЕВНЕРУССКОГО ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТА

Предлагаемая вниманию читателей статья была задумана как продолжение работы, опубликованной в журнале «Русский язык в научном освещении», 2007, № 2 (14) [Шевелёва 2007], и должна была быть посвящена исследованию употребления плюсквамперфекта в памятниках XV–XVI вв. разной диалектной локализации. Однако поскольку названная работа вызвала весьма обстоятельный ответ П. В. Петрухина и Д. В. Сичинавы [Петрухин, Сичинава 2008], возникла необходимость обсудить некоторые исходные положения в трактовке древнерусского плюсквамперфекта и основные возражения авторов, высказанные по поводу моей статьи, прежде чем переходить к рассмотрению материала поздних памятников. Хочется надеяться, что продолжение дискуссии приблизит нас к более адекватному пониманию природы обсуждаемого явления, поможет выработать более точное знание.

1. Напомним, что основная идея работы [Шевелева 2007] — необходимость построения истории русского глагола на основе принципов историко-диалектологических и лингвогеографических исследований, последовательно применяемых в других областях исторической русистики, но гораздо в меньшей степени — в области глагольной грамматики, строящейся традиционно прежде всего на данных памятников письменности. Система русского глагола отнюдь не монолитна — ни в синхронном, ни в диахроническом аспектах, — она включает разные диалектные системы, но исследование их истории в значительно большей степени, чем в фонетике или морфологии имени, затруднено церковнославянским характером большинства наших письменных источников. Плюсквамперфект — одно из звеньев глагольной системы, где на восточнославянской территории обнаруживаются явные диалектные различия, нуждающиеся в историко-лингвистическом исследовании.

В современных северных и северо-восточных говорах (архангельских, вологодских) — территории регулярной представленности «нового» плюсквамперфекта типа *был* + *-л* — эти формы фиксируются в следующих основных значениях:

Русский язык в научном освещении. № 2 (16). 2008. С. 217—245.

1) результативном (смещенно-перфектном) типа *Отец тоже был потонул*, наиболее часто встречающемся в говорах, имеющих данную форму, — по свидетельству диалектологов, *был* + *-л* в таком употреблении синонимичен причастному перфекту (плюсквамперфекту) типа *У нас Галя наплакавши была*, в этих говорах отсутствующему [Пожарицкая 1991: 789; 1996: 273–274];

2) антирезультативных (не достигнутого или аннулированного результата) типа *Я за морошкой была пошла, да воротилась*;

3) отделенного от настоящего прошедшего, с результатом не связанного, типа *Я была лошадей кормила* (примеры из: [Пожарицкая 1996]; см. [Шевелева 2007]).

В исследованных на данный момент древнерусских памятниках у «нового» («русского») плюсквамперфекта отмечены те же три типа значений, однако их представленность в памятниках разной диалектной локализации неодинакова. В северо-западных (псковско-новгородских) памятниках плюсквамперфект *был* + *-л* употребляется в антирезультативных значениях (2) и в значении дистанцированного от настоящего прошлого (3), но не зафиксирован в результативном значении (1). В южнорусской Киевской летописи (КЛ) и северо-восточной Суздальской летописи (СЛ) отмечены единичные случаи результативного (смещенно-перфектного) значения (1) и случаи антирезультативных значений (2); примеров употреблений плюсквамперфекта в значении дистанцированного прошедшего (3) в КЛ нет совсем, для СЛ можно с некоторой вероятностью предполагать наличие значения (3) в диалектной системе по косвенным данным (единичные примеры употребления книжного плюсквамперфекта в несвойственном ему значении неактуального прошедшего) [Шевелева 2007].

Исследованное для сопоставления с «новой» формой *был* + *-л* употребление книжного плюсквамперфекта показало, что значение отделенного от настоящего прошедшего, не связанного с результатом, (3) ему не свойственно: таких употреблений нет в наиболее архаичной КЛ, как и в стандартных церковнославянских текстах; книжный плюсквамперфект употребляется в значениях результативном (1) и — в соответствующих контекстных условиях — антирезультативных (2). При этом условия реализации антирезультативных значений для книжного и «нового» плюсквамперфекта оказываются теми же самыми: в нарративном контексте это противопоставление последующему развитию событий, аннулировавших результат данного действия или воспрепятствовавших его достижению, в прямой речи это противопоставление положению дел в момент речи (в обоих случаях противопоставление часто бывает эксплицировано лексическими и синтаксическими компонентами контекста — конструкцией с противительными союзами *а*, *же*, *нъ*; соотношением лексических значений глаголов типа *потопи… иже бѧху пошли* КЛ, 187; *прише*[л] *былъ… и бѣжа прочь* СЛ, 155 об.; наречиями типа *нынѣ же* и др.) [Шевелева 2007]. Обнаруживается также преимущественная связь «нового» плюсквамперфекта с контекстами

прямой речи, что вполне естественно для формы разговорного языка в летописном тексте; с другой стороны, именно контекст прямой речи создает наиболее благоприятные условия для реализации антирезультативных значений — о том же относительно «старого» болгарского плюсквамперфекта см. [Маслов 1956: 241; 1959: 281; 1987/2004: 442; Князев 2007: 423].

Сопоставление выявленных у обеих форм значений и условий их реализации по данным памятников и «новой» формы по данным современных говоров обнаруживает явные соответствия первых двух значений и позволяет предположить, какова была «семантическая цепочка» развития значений «нового» плюсквамперфекта. По-видимому, развитие шло от исконного смещенно-перфектного значения славянского плюсквамперфекта (1), регулярно представленного до сих пор в севернорусских говорах, как и в западнославянских языках [Horák 1964; Маслов 1984 / 2004], к антирезультативным значениям (2), развивающимся в контекстах противопоставления последующему ходу событий, особенно часто — в прямой речи. В значительной части русских говоров, и прежде всего — в говорах Центра, ставших основой русского литературного языка, употребление плюсквамперфекта постепенно закрепляется за такими «антирезультативными» контекстами и антирезультативное значение становится грамматическим значением самой структуры, которая фактически фразеологизируется, круг связанных с ней лексем ограничивается — и вспомогательный глагол плюсквамперфекта превращается в модально-временную частицу. Однако диалектная зона современных северо-восточных говоров хорошо сохраняет оба прежних значения плюсквамперфекта — (1) и (2) — и их исконное распределение, при этом обращает на себя внимание точное соответствие между «старым» (для древнерусского — «книжным») плюсквамперфектом и современным севернорусским (ср.: *хлеб озяб был весь* — **сполонилсѧ бѧшеть днѣпръ** КЛ, 1187 г., 227; *вся заросла была, дак вот дед-от подчистил* — **изгыблъ бѣ і обрѣтесѧ** Зогр.Ев., Л. XV, 24 — примеры см. [Шевелева 2007]), что свидетельствует в пользу архаичности результативного значения севернорусского плюсквамперфекта *был* + *-л.* Ранняя утрата результативного значения плюсквамперфекта в северо-западной диалектной зоне могла быть связана с развитием здесь причастного перфекта (плюсквамперфекта) [Шевелева 2007].

Развитие значения отделенного от настоящего прошедшего (3), не связанного с результатом, было, видимо, последним в «семантической цепочке» основных значений «нового» плюсквамперфекта. Оно характерно именно для «новой» формы *был* + *-л* в отличие от «старой» *бѣ* (*бѧше*) *-л*. Вероятно, это значение связано с эволюцией формального устройства плюсквамперфекта — превращением прежнего *-л*-причастия в претерит: соответственно, структура *был* + *-л* становится образованием, состоящим из двух лично-глагольных форм в прошедшем времени — смыслового и вспомогательного, указывающего на отделенность обозначаемого прошедшего действия от настоящего и, видимо, подчеркивающего факт его

существования в прошлом, акцентирующего его (см. [Шевелева 2007: 1.2, 2.2.3]; ср.: [Пожарицкая 1996: 273]). Повторю, что мне представляется реалистичной такая интерпретация грамматической структуры формы *был* + *-л* в восточнославянских диалектах (как и в других славянских, переживших превращение *-л*-причастия в личную форму глагола) именно в связи с этой морфологической трансформацией *-л*-причастия, послужившей причиной целого ряда грамматических изменений (ср., например, разрушение структуры *буду* + *-л* и превращение *будет* в условный союз — см. [Соболевский 1907: 245–246; Кузнецов 1953: 256; Хабургаев 1978] и др.). Диалектный ареал и хронология развития значения (3) на восточнославянской территории пока неясны, однако все древнерусские северные говоры — и северо-западные, и северо-восточные — это значение знали, очевидно, уже в раннюю эпоху.

2. Основные возражения П. В. Петрухина и Д. В. Сичинавы по поводу изложенной интерпретации основных направлений эволюции славянского плюсквамперфекта в восточнославянских диалектах связаны: во-первых — с трактовкой формального устройства новой формы *был* + *-л*; во-вторых — с отождествлением на уровне грамматических категорий «сверхсложного» плюсквамперфекта *был* + *-л* и исконного славянского плюсквамперфекта *бѣ* (*бѧше*) *-л* (т. е. с представлением о том, «будто обе формы манифестируют одну и ту же грамматическую категорию» (с. 226)), а также с отождествлением формы *был* + *-л* с соответствующими современными диалектными структурами (с. 248), с другой стороны; в-третьих — с интерпретацией семантики «нового» плюсквамперфекта, и прежде всего — с положением о наличии у этой формы результативного значения. Последний пункт является центральным в возражениях авторов [Петрухин, Сичинава 2008] и краеугольным камнем всей их концепции.

Рассмотрим возражения наших оппонентов.

2.1. Характеризуя формальное устройство новой «сверхсложной» формы как «сочетание вспомогательного глагола *был* и перфекта знаменательного глагола, а не как сочетание перфекта вспомогательного глагола с *л*-причастием» (с. 226), или, что по мнению П. В. Петрухина и Д. В. Сичинавы то же самое, как «причасти[е] с двумя вспомогательными глаголами (связками)» [Петрухин, Сичинава 2006: 193], авторы связывают именно с такой формальной организацией данной структуры ее разрыв с категорией плюсквамперфекта и превращение в принципиально новое временно́е образование, маркирующее отсутствие связи прошедшего действия с моментом речи.

Трактовка «нового» плюсквамперфекта как сочетания вспомогательного глагола *был* с перфектом (т. е. как *-л есмь* + *был*, а не *-л* + *есмь был*) не вызывает принципиальных возражений — ясно, что трехкомпонентность нового образования могла привести к переосмыслению связей между ком-

понентами. Возражения вызывает интерпретация *-л*-формы для древнерусского языка XII–XIII вв. как причастия, на чем настаивают наши оппоненты и даже выражают недоумение по поводу высказанного в [Шевелева 2007] несогласия с такой трактовкой, полагая этот подход соответствующим «общепринятой практике» (с. 230–231). Однако такой взгляд на грамматическую природу перфекта в древнерусском языке XI–XIII вв. уже довольно давно не является общепринятым. В работах многих авторов, в том числе и цитируемых в [Петрухин, Сичинава 2008], показано, что уже в раннедревнерусскую эпоху грамматическая структура перфекта трансформировалась: в 3-м лице связка в живом языке последовательно отсутствует [Зализняк 2004: 179], в 1–2 лицах она, очевидно, уже в раннюю эпоху превращается в синтаксический синоним личного местоимения [Хабургаев 1978; Горшкова, Хабургаев 1981: 309–312; Зализняк 2004: 178–179]. Г. А. Хабургаев, взгляды которого на устройство раннедревнерусской временной системы в [Петрухин, Сичинава 2008] упоминаются вполне сочувственно, предпочитал даже применительно к древнерусскому называть перфект «формами на *-л* (исторически — формами перфекта)» [Горшкова, Хабургаев 1981: 308], подчеркивая их грамматическую и семантическую трансформацию и разрыв с прежним вспомогательным глаголом: по его мнению, превращение «образований на *-л»* в универсальный претерит «должно было оформиться не позднее XI столетия» [Хабургаев 1991: 48 и др.].

Для древненовгородской территории взаимозаменимость связки и личного местоимения уже в ранний период бесспорна: в берестяных грамотах представлены практически только модели *далъ есмь* или *я далъ* (обычно при эмфазе), в 3 лице — *далъ* [Зализняк 2004: 178–179]. По-видимому, таковой ситуация была в XII в. на всей древнерусской территории, однако, поскольку бытовых текстов южнодревнерусского происхождения у нас нет, а в летописях, как справедливо отмечено в [Петрухин, Сичинава 2008], встречается и трехчленная модель типа *я есмь далъ*, не исключена вероятность сохранения в XI–XII вв. трехчленных моделей в этой части восточнославянских диалектов (см. об этом: [Зализняк 2004: 179; Шевелева 2002: 60]). Заметим, правда, что трехчленная модель встречается и в летописях XV–XVI вв. (причем и северо-западных), где ее уже явно не следует непосредственно связывать с разговорным употреблением (традиционно употребляемая связка там, видимо, переосмысляется в показатель, дублирующий и тем самым подчеркивающий значение лица, т. е. фактически в усилительно-выделительную частицу типа ‘ведь’, ‘же’: *А мы есмы тыя грамоты, государь, по твоему слову послали* Пск.3 лет., 1477 г., л. 184 об. и под. — см. [Шевелева 2006: 225–226]). Однако справедливо, что для XII в. вопрос о статусе трехчленных моделей в летописях неновгородской локализации решенным считать нельзя.

При этом обратим внимание на то, что в ранних летописях представлены и обе двучленные модели, в том числе и модель с личным местоимением без связки (типа *я далъ*), ср.: *Се брате мира <u>еси не оулюбилъ</u>* … КЛ,

1193 г., л. 234 — *А ты снималсѧ с Половци с Лоукоморьскими* КЛ, 1193 г., л. 233 об.; *Мы пошли до Киева…то не можемъ.оуже сѧ есмы изнемоглѣ* КЛ, 1185 г., 225 об.–226; *а нынѣ ꙗ вамъ во ѡцѧ мѣсто ѡсталсѧ* КЛ, 1180 г., л. 217–217 об. и др. Вряд ли стоит считать принципиально значимым факт отсутствия в КЛ примеров «нового» плюсквамперфекта 1–2 лица с местоимением без связки («при сохранении местоимения всегда используется трехчленная модель, ср.: *ты же еси бра*^{т} *оудоумалъ былъ тако…* КЛ, 1149 г., л. 136 [Петрухин, Сичинава 2008: 231]): все-таки этих случаев всего три, и статистика здесь вряд ли может быть очень показательной, а в перфекте, как мы только что видели, модель типа *ꙗ далъ* в КЛ вполне возможна.

Однако даже если не принимать во внимание эти аргументы и исходить из того, что для XII в. нельзя с уверенностью считать связку эквивалентом личного местоимения и процесс разрушения старого перфекта завершившимся, форма на *-л* здесь уже не может быть прежним причастием, т. е. именной формой глагола.

Процесс грамматической трансформации перфекта, безусловно, был длительным, а значит постепенным. Совершенно справедливо А. А. Зализняк, отмечая взаимозаменимость связки перфекта и личного местоимения в новгородских берестяных грамотах, говорит о их «семантическом сближении», об «отношении[ях], близки[х] к отношениям двух синонимов», устанавливающихся вследствие «смыслов[ой] эквивалентности моделей *далъ есмь*…и *ꙗ далъ*» [Зализняк 2004: 179], а не о прямой синонимии уже в ранний период. Даже если этот процесс в XII в. был еще только в стадии завершения, *-л*-форма разрушающегося перфекта уже стала восприниматься как претерит, т. е. личная форма глагола, а не причастие. Об этом свидетельствуют бесспорные случаи употребления *-л*-претерита как универсального прошедшего времени — в аористном и др. значениях — как из берестяных грамот, так и из летописей XII в.; ср., например, длинный нарративный текст грамоты №724 XII в. с цепочкой «перфектов» (*-л*-претеритов) в аористном значении последовательных событий в прошлом [Зализняк 2004: 353], ср. в летописях в аористных контекстах цепи сменяющих друг друга событий: *Поставлен же бы*^{с} *м*^{с}*цѧ генва*^{р}*. въ .кг. дн҃ь на памѧ*^{т} *ста*^{г} *мч҃нка Климента епп*^{с}*а. а в Ростовъ пришелъ на свои столъ* // *м*^{с}*цѧ февра*^{л} *въ .ке. дн҃ь. на памѧ*^{т} *ста*^{г} *ѡца Тарасьꙗ.тогда сущю великому кнѧзю Ростовѣ в полюдьи. а в Суждаль вышелъ м*^{с}*ца марта въ .і. дн҃ь на памѧ*^{т} *ста*^{г} *мч҃нка Кондрата. а в Володимерь вшелъ того*^{ж} *м*^{с}*ца въ .зі. дн҃ь в пѧто*^{к} *на канунъ ста*^{г} *ѡлексѣꙗ чл҃вка Бж҃ьꙗ* (СЛ, 1190 г., л. 138–138 об.). и др. Перед нами, безусловно, личная форма прошедшего времени, а не причастие с опущенной связкой.

Но главное противоречие, если считать *-л*-форму причастием, возникает при трактовке формальной структуры «нового» плюсквамперфекта. Недоумевая по поводу моего несогласия рассматривать *-л*-форму как причастие, П. В. Петрухин и Д. В. Сичинава тем не менее определяют *был* в составе

«сверхсложной» формы как вспомогательный глагол (см. выше). Так что же это — глагол (личная форма) или причастие (именная) в роли вспомогательного глагола, некая причастная связка? Сомневаюсь, что это имелось в виду, однако если *-л*-форма трактуется как причастие, компонент *был* должен трактоваться точно так же. В таком случае характеристика «сверхсложной» формы как «причастие с двумя вспомогательными глаголами (связками)» [Петрухин, Сичинава 2006: 193] может подразумевать только определение структуры, в которой одна из связок тоже является причастием (хотя в противоречие этому в то же время называется почему-то вспомогательным глаголом). И какое значение можно в таком случае ожидать от этой «сверхсложной» структуры, включающей два причастных компонента (смысловой и связочный) и факультативную связку в презенсе, кроме так нелюбимого моими оппонентами результативного?

В действительности, надо полагать, специфика семантики «новой» формы могла развиться только в том случае, если входящие в ее состав компоненты (и смысловой, и вспомогательный) уже были не причастными, а личными глагольными формами. Только в этом случае могли переосмыслиться связи между тремя компонентами и *был* мог стать «отдельным» вспомогательным глаголом, оторвавшись от связки *есмь* (как это предполагается в [Петрухин, Сичинава 2006; 2008]; см. выше). Именно это имеется в виду в [Шевелева 2007], когда структура «нового» плюсквамперфекта определяется как «образование, состоящее из двух финитно-глагольных компонентов — основного и вспомогательного» (с. 219). Моих оппонентов здесь, к сожалению, ввел в заблуждение термин «финитный»: они поняли его как «независимый» и «полнозначный», что никак не имелось в виду. «Финитную» форму глагола я понимаю только как личную форму глагола в противоположность форме причастной (именной). Именно превратившись из причастной в личную форму глагола, *был* становится вспомогательным глаголом, и структура «сверхсложной» формы меняется: она теперь состоит из двух глагольных (а не именных) компонентов — знаменательного и вспомогательного — в претерите и в 1–2 лицах факультативной связки в презенсе, которая все больше сближается по функции, а затем и семантике с местоимением, утрачивая свою глагольность. Повторю, что именно с этой грамматической трансформацией мне кажется реалистичным связывать развитие специфического значения «нового» плюсквамперфекта, отсутствующего у «старой» формы, — значения подчеркнуто не связанного с настоящим прошедшего (3) — см.выше.

Говоря о семантике новой формы и связывая ее с эволюцией грамматической семантики составляющих компонентов, я отнюдь не предлагаю рассматривать *был* как полнозначное независимое сказуемое — это принципиально неверно (ср. соответствующий упрек в [Петрухин, Сичинава 2008]). Речь идет о «внутренней форме» грамматического значения «нового» плюсквамперфекта, очевидным образом вытекающего из значений его составляющих: вспомогательный глагол дублирует претериальное морфо-

логическое значение знаменательного глагола, в то же время обозначая (за счет семантики несов. вида) его отстояние от момента речи. Ни о каком повышении синтаксического статуса вспомогательного глагола *был* и усилении его лексической самостоятельности речи, конечно же, нет.

2.2. Вопрос о том, каким образом развивается характерное именно для «сверхсложной» формы значение неактуального прошедшего, П. В. Петрухин и Д. В. Сичинава не обсуждают — их интересуют только синхронное древнерусское состояние и типологические параллели. А поскольку данные древнерусских источников, по мнению наших оппонентов, показывают употребление «русского» плюсквамперфекта только как неактуального прошедшего (в нашей терминологии, в значениях (2) и (3), см. выше, — насколько справедливо такое заключение, мы обсудим ниже) и типологические данные свидетельствуют в пользу этого, авторы приходят к выводу, что «сверхсложная» форма представляет принципиально иную, нежели исконный славянский плюсквамперфект, морфологическую категорию. Предлагается отказаться называть эту форму плюсквамперфектом, дабы разрушить иллюзорное представление о тождестве их значений, «по крайней мере первоначальном», и о преемственной связи между ними (с. 226). Отвергается возможность соотнесения в древнерусской письменности исконного плюсквамперфекта и «русского» как книжной и некнижной форм, представляющих одну и ту же грамматическую категорию [Там же].

Последнее утверждение вступает при этом в прямое противоречие с предлагаемыми в [Петрухин, Сичинава 2008] интерпретациями семантики конкретных летописных контекстов, для которых допускается действие механизмов такого соотнесения: в одном случае предполагается, что «русский» плюсквамперфект употреблен в несвойственном ему результативном значении под влиянием книжного (с. 235), в другом, наоборот, что книжная форма в антирезультативном значении просто «замещает сверхсложное прошедшее» (с. 246), причем здесь прямо говорится, что в подобных контекстах при «переносе из делового регистра в книжный сверхсложная форма могла заменяться на плюсквамперфект» [Там же]. О интерпретации семантики этих контекстов мы поговорим ниже, но как можно предполагать действие механизма пересчета, вследствие которого заменяется книжный плюсквамперфект на «русский» и наоборот, если постулировалось отсутствие между ними грамматической соотнесенности и принадлежность их разным морфологическим категориям? В чем же тогда упрекают наши оппоненты Б. А. Успенского, предполагающего регистровые различия между книжным и «русским» плюсквамперфектом [Успенский 2002: 251] — см. [Петрухин, Сичинава 2008: 226]? Почему стали соотноситься разные формы с разными значениями, представляющие разные грамматические категории?

Но как бы то ни было, положение о принципиальном различии значений книжного и «русского» плюсквамперфекта и отсутствии связи меж-

ду ними является основополагающим в концепции П. В. Петрухина — Д. В. Сичинавы[1].

С другой стороны, наши оппоненты отказываются непосредственно связывать древнерусскую «сверхсложную» форму и с современным севернорусским плюсквамперфектом: «Для нас „русский плюсквамперфект“ (или, в нашей терминологии, сверхсложное прошедшее) — исключительно древнерусская форма» (с. 248), «мы не рассматриваем ни одну из (диалектных. — *М. Ш.*) структур как «русский плюсквамперфект»» [Там же]; «мы оставили открытым вопрос о том, насколько справедливо выводить семантику диалектных форм непосредственно из семантики сверхсложного прошедшего» [Там же]. Таким образом, современным русским диалектным структурам *был* + *-л* отказывается в праве считаться достоверным источником для реконструкции истории плюсквамперфекта в русском языке. Достоверными признаются только данные древнерусских памятников (с оговорками, что примеры из «гибридного» языка летописей тоже не могут быть надежными в силу высокой степени вариативности разного характера (с. 240)) и типологические соответствия. При этом для соответствующих структур других славянских языков — сербохорватского, болгарского, чеш-

[1] Надо сказать, что ссылка в связи с этим на работы Г. А. Хабургаева, который якобы «демонстрирует четкое семантическое противопоставление двух форм (сверхсложной и перфекта)» [Петрухин, Сичинава 2008: 241], не вполне оправданна. Г. А. Хабургаев видел антирезультативные значения («прерванного» или «отмененного» прошедшего) у обеих форм плюсквамперфекта, причем у книжного — не только в древнерусских, но и в старославянских памятниках [Хабургаев 1986: 204–205; Горшкова, Хабургаев 1981: 340–341], ср. разбор старославянских примеров: **маритѣ…видѣ дъва анг҃ела въ обѣлахъ сѣдѧшта. единого оу главы і единого оу ногоу. ідеже бѣ лежало тѣло исв҃о** Ин. XX (Зогр., Мар.ев.) и контекста из Притчи о блудном сыне **изгыблъ бѣ и обрѣте сѧ** Л., XV [Хабургаев 1986: 204–205]. У книжного плюсквамперфекта в древнерусских летописях Г. А. Хабургаев видел те же значения — либо результативное («когда надо зафиксировать состояние, уже наличное к моменту осуществившегося в прошлом действия»), либо задаваемое контекстом антирезультативное («значение нереализованного или «отмененного» последующими действиями более раннего действия или состояния») — в качестве примеров последнего рассматривается контекст: *Оу Ярополка же жена грекини бѣ и бяше была черницею. бѣ бо привелъ оц҃ь его Ст҃ославъ и вда ю за Ярополка…* из ПВЛ (Лавр., л. 23 об., 977 г.) и др. [Горшкова, Хабургаев 1981: 340–341]. При этом, говоря о значении «отмененного» прошедшего у «русского» плюсквамперфекта, Г. А. Хабургаев тоже отмечает, что первоначально это значение, по-видимому, возникало узуально, при необходимости подчеркнуть «незавершенность» или «отмену» предшествующего другому прошедшего действия: «[э]то, первоначально частное, значение постепенно закрепляется в качестве основного» [Горшкова, Хабургаев 1981: 339]. Так что ни о каком четком семантическом противопоставлении двух форм плюсквамперфекта здесь речи не идет. Концепция Г. А. Хабургаева оказывается гораздо ближе к предложенной в [Шевелева 2007], чем к концепции [Петрухин, Сичинава 2008].

ского, словацкого, даже украинского и белорусского — такое право признается (см. с. 232–234): там есть «новый» плюсквамперфект, и его значения обсуждаются для сопоставления с древнерусским, а в современных русских говорах, по мнению авторов, — нет, все данные ненадежны. И это при том, что диалектологи устанавливают в говорах севернорусского наречия вполне определенную зону представленности формы плюсквамперфекта, имеющей соответствия в других славянских языках, см.: [Пожарицкая 1996: 268; Вопросник ОЛА: 198] и др.! Не думаю, чтобы перед нами было проявление некоего глубинного недоверия к русской диалектологии (хотя в определенной мере и это не исключено), — просто наши оппоненты исходят из приоритета типологических данных, и степень родства сравниваемых идиомов для них безразлична. Однако в данном случае сам объект сравнения — «новый» плюсквамперфект в древнерусском — является одновременно и объектом реконструкции. Безусловно, данные древнерусских источников ограниченны, потому что у нас нет некнижных (бытовых) текстов неновгородского происхождения. Конечно, современные говоры могли уже как-либо изменить свойственные им в древнерусскую эпоху значения исследуемой формы. Ни тот ни другой из этих взятых в отдельности источников не может быть надежным для реконструкции древнерусского состояния. В таком случае, мы должны либо признать ситуацию безвыходной и отказаться от всяких историко-лингвистических реконструкций (и это положение имеет силу отнюдь не только для «русского» плюсквамперфекта, а практически является общим), либо следовать классическому методу исторического языкознания: сопоставлению данных памятников с данными современных говоров — с учетом общеславянских лингвогеографических данных.

Иным способом получить результат реконструкции, который может считаться в наибольшей степени надежным, вряд ли возможно — рискую повторить общеизвестную истину. Привлечение типологических данных в исторической русистике чрезвычайно ценно: думаю, именно в исследовании истории глагольной системы это особенно перспективно — тому свидетельствуют замечательные достижения, представленные в работах Ю. С. Маслова, Л. П. Якубинского, А. А. Зализняка [Маслов 1964/2004 и др.; Якубинский 1953: п. 709; Зализняк 2004: 173–174]. Однако это не замена, а дополнение и углубление классического сравнительно-исторического исследования.

Наши оппоненты совершенно правы: в моей трактовке истории плюсквамперфекта в русском языке диалектным данным придается значительно большее значение, нежели в предложенной в [Петрухин, Сичинава 2006; 2008].

2.3. Главным аргументом принципиально важного для концепции П. В. Петрухина — Д. В. Сичинавы «отмежевывания» от книжного плюсквамперфекта, с одной стороны, и от современного севернорусского — с другой,

является тезис об отсутствии у «нового» плюсквамперфекта результативного значения. Имеющиеся примеры формы *был* + *-л* с таким значением из летописей XII–XIII вв. они считают ненадежными, данные говоров — непоказательными и тоже, видимо, ненадежными, данные других славянских языков — сомнительными. Результативное значение признается основным значением книжного, т. е. исконного славянского плюсквамперфекта, противопоставляющим его новой форме.

Обсуждая проблему результативного (смещенно-перфектного) значения славянского плюсквамперфекта, надо обратить внимание на следующее. В [Петрухин, Сичинава 2008] (смещенно-)перфектное значение постоянно сближается, если не отождествляется авторами, с относительным (т. е. таксисным) значением предшествования в прошлом (см. с. 226, 249 и др.). В действительности это совсем не одно и то же — на это специально обращалось внимание в [Шевелева 2007]. Позволю себе привести цитату из обобщающей работы Ю. С. Маслова, посвященной проблеме грамматической семантики перфектности: «Своей временной двойственностью перфектность как будто сближается с таксисом. Поэтому важно подчеркнуть различие между ними: при таксисе речь идет о временно́м соотношении двух (или более) р а з н ы х действий (в широком смысле), каждое из которых названо, прямо обозначено отдельным предикатом (или свернутым предикатом); при перфектности — фактически о двух этапах развития о д н о й ситуации, обозначенных одним предикатом (или свернутым предикатом)» [Маслов 1987 / 2004: 427] — это относится ко всем видам перфектных значений, в том числе темпорально-смещенным (плюсквамперфектным). В [Шевелева 2007] специально подчеркивалось, что славянский плюсквамперфект никогда не был темпорально-таксисной формой, выражающей чистое «согласование времен» (с. 216) (ср. [Петрухин, Сичинава 2008: 226], где «старая» форма плюсквамперфекта связывается с типом временной системы, в которой «определяющую роль играла категория таксиса» с «классическ[им] согласовани[ем] времен»). Специфику значения славянского плюсквамперфекта можно связывать с его «внутренней формой»: в состав этого праславянского аналитического образования входил исконно причастный *-л*-компонент [Шевелева 2007: 216–217].

П. В. Петрухин и Д. В. Сичинава возражают против отнесения к перфектному значению ряда контекстов, в которых они видят другие значения, выделяемые ими особо (с. 241–247). Однако я понимаю «перфектность» шире, чем мои оппоненты, — в смысле работы [Маслов 1987/2004 и др.] (что, впрочем, соответствует ее пониманию и во многих других работах по аспектологии — см., например: [Падучева 1996; Князев 2007 и др.]). Все называемые в [Петрухин, Сичинава 2008: 241–247] значения, которые они считают не относящимися к перфектности, в действительности входят в сферу перфектной семантики. Выделение частных подтипов перфектного значения плюсквамперфекта и обсуждение различий между ними в целях работы [Шевелева 2007] (как, впрочем, и настоящей) несу-

щественно. Очевидно, что выделенные мною три основных типа значений плюсквамперфекта (см. выше, 1.) — это общие типы, допускающие более частную специализацию[2].

Так, по мнению моих оппонентов, «[к] перфектным явно не относится… специфическое употребление» плюсквамперфекта в контекстах описания природы типа: *Симъ же бѧше полкомъ нѣлзѣ битисѧ с ними тѣсноты ради.зане бѧху болота пришли по ѡли на подъ горы* (КЛ, 1144 г., л. 116 об.).

О такой разновидности перфектного значения, известной не только в древнерусском, но и (у более узкого круга глаголов) в современном русском языке, писали многие исследователи — А. А. Потебня, П. С. Кузнецов, Ю. С. Маслов, Е. В. Падучева и др.

П. С. Кузнецов рассматривал такое употребление перфекта при описании природных явлений как случаи сохранения перфектом «свое[го] прежне[го] значени[я]», «когда передается состояние, отнесенное к настоящему времени» [Кузнецов 1953: 246], — и в памятниках, «например: *а по сторонамъ того рва обойти нельзя… пришли лѣса и болота* (Книга Большой чертеж XVII в.) — в значении ‘идут’, ‘подходят’», и в современных говорах, «например: *Две реки пошло с Водлозера* (в олонецких говорах) — в значении ‘идет’, ‘вытекает’», и (хотя реже, чем в говорах) в современном литературном языке, «например: *Скалы нависли над морем* (в значении ‘висят’), …*серые тучи закрыли горы до подошвы*» [Там же]. Конечно, это грамматическая метафора, но на основе статально-перфектного значения: «пространственное соотношение изображается как «факт совершившийся и пребывающий доныне»» [Потебня 1958: 257; Маслов 1987/2004: 436]. Ю. С. Маслов назвал это возникающее на базе статально-перфектного метафорическое значение реляционным (примеры: *Руда залегла здесь глубоко*; *Скалы нависли над морем*; *Горы обступили село*; *Дорога свернула вправо*) — здесь «[п]ерфектность превратилась в элемент образной мотивировки (внутренней формы)» [Маслов 1987/2004: 435–436].

П. В. Петрухин и Д. В. Сичинава возражают против объединения в рамках статально-перфектного значения подобных контекстов, где описывается положение неподвижных природных объектов, и контекстов типа: *Кнѧзем же Роускимъ нѣлзѣ бѣ ѣхати по ни*[x] *оуже борзо.сполонилсѧ бѧшеть Днѣпръ. бѣ бо вѣсна* (КЛ, 1187 г., л. 227) — «болото не обладало такой подвижностью, как Днепр весной…» [Петрухин, Сичинава 2008: 244, сс. 18]. Действительно, это разные подтипы обсуждаемого значения. Так, Е. В. Падучева, рассматривая разные типы перфектных видовых пар, в особую группу выделяет «глаголы, выражающие относительное расположение неподвижных объектов ⟨…⟩: *Сад дошел (≈ сейчас доходит) до са-*

[2] В этом же смысле, в известной степени условно — как синоним термина «смещенно-перфектное» значение — используется термин «результативное» значение плюсквамперфекта (см. выше, 1).

мой реки; Канава отделила (≈ сейчас отделяет) нашу ферму от соседней» [Падучева 1996: 157] — но к перфектным парам относятся и глаголы других семантических классов, в том числе обозначающие положение подвижных объектов, ср.: «глаголы полного охвата» (*Вода наполнила — наполняет бассейн*), «глаголы преграды» (*Шкаф заслонил — заслоняет окно* — ср. выше пример П. С. Кузнецова: *…тучи закрыли горы*) и др. [Падучева 1996: 157–158]. Как уже было сказано, в наших целях детальное описание частных подтипов рассматриваемых перфектных значений не требовалось.

Возражения моих оппонентов вызывает отнесение к перфектному значению контекстов, содержащих обстоятельства времени, типа: *В то же веремѧ пришелъ бѣ Гюргевичь старѣишии Ростиславъ.роскоторавъсѧ съ ѿцмь своимъ* (КЛ, 1148 г., л. 134); *Тогды же пришелъ бѧшеть Романъ исъ Смоленьска. къ братьи своеи вь помощь* (КЛ, 1175 г., л. 211); *В лѣ҃ ѕ҃.ѡ҃.з҃ м҃ца маꙗ въ ѳі. ѡгородилосѧ бѧшеть слнце грозно* (СЛ, 1299 г., 171 об.) и под. — на том основании, что перфект (как и «перфект, опрокинутый в прошлое»), «будучи ориентированным на момент референции, не сочетается с обстоятельствами, фиксирующими время описываемого события» [Петрухин, Сичинава 2008: 242]. Однако «временная двойственность» перфекта, «соединение в одной предикативной единице ⟨…⟩ двух так или иначе связанных между собой временных планов» [Маслов 1987/2004: 426] препятствует его сочетанию с обстоятельствами времени, которые соотносятся с предшествующим временным планом, но никак не с теми, которые соотносятся с последующим (для презентного перфекта — типа ‘сейчас’, в нашем случае — типа *в то времѧ*, *тогда* и под., указывающими на временную локализацию результирующего состояния: ‘в то время он был пришедшим’ ≈ ‘к тому времени пришел’, ‘солнце в тот день было огородившимся’ — ср. темпоральные локализаторы при северо-западном причастном плюсквамперфекте: *две недели около маю была ушоцци* и под. [Кузьмина, Немченко 1971: 188]).

В некоторых контекстах временной локализатор действительно относится к предшествующему временному плану, что для перфекта не характерно, хотя полностью не запрещено (см. об этом [Князев 2007: 510–513]). Так, в рассказе о смерти князя Святослава Всеволодовича представлена акциональная перфектность «логических последствий», дальше всего отстоящая от статальной, — «имплицируются прямые или косвенные логические последствия действия, чем-то важные для говорящего или мыслимого наблюдателя» [Маслов 1987/2004: 436], ср.: *...и возбноувъ и ре҃ ко кнѧгинѣ своеи. коли боудеть рче ст҃хъ Маковѣи. ѡна же в понедѣлникъ. кнѧзь же рче. ѡ не дождочю ти ꙗ того бѧшеть бо ѡц҃ь его Всеволодъ во дн҃ь ст҃хъ Макъкавеи пошелъ къ Бв҃и* (КЛ, 1194 г., 235) — значимость факта смерти отца князя именно в день памяти святых Маккавеев и соотнесенность этого факта со временем основных событий очевидна. Можно согласиться с тем, что в подобных случаях мы имеем дело с особым подтипом употребления плюсквамперфекта, но думаю, что его тем не менее следует

относить к перфектному типу, а не просто к хронологическому «прошедшему в прошедшем», как предлагают мои оппоненты (с. 242).

В [Шевелева 2007: 233, 239] специально подчеркивалось, что перфектность значения славянского плюсквамперфекта не следует путать с таксисным значением предшествования и, соответственно, предполагать обязательное наличие в данном контексте эксплицитно выраженного действия, по отношению к которому плюсквамперфект выражает предшествование. «Временная двойственность» плюсквамперфекта допускает употребления, когда предшествующий временной план задается более широким контекстом и само «предшествование» может представать не по отношению к какому-то другому действию данного контекста, а по отношению к тому моменту движения основной линии повествовательного времени, к которому относится второй временной план плюсквамперфекта (т. е. локализуется результат). Это принципиально важно для понимания рассмотренных выше контекстов с локализаторами типа: *В лѣ҃т....м҃ца маꙗ въ .ѳі. ѡгородилоса бѧшеть сн҃це грозно* (СЛ, 1299 г., 171 об.); *В то же верема пришелъ бѣ Гюргевичь старѣишии Ростиславъ...* (КЛ, 1148 г., 134) и под. Как уже говорилось в [Шевелева 2007], в летописи такие контексты могут быть и в начале записи или даже представлять собой отдельную запись, единственной временной формой которой оказывается плюсквамперфект (как в приведенном контексте из СЛ под 1299 г.). При трактовке подобных случаев надо учитывать предшествующий контекст, поскольку отход от основной линии движения событий может выявляться именно по отношению к нему (см. подробно [Шевелева 2007]). В [Петрухин, Сичинава 2008] такие случаи рассматриваются как особое значение плюсквамперфекта, отличное от «перфектного», называемое «начало нового эпизода» (с. 243). Однако перфектность здесь никуда не исчезает — на основной линии повествования локализуется результат данного действия, а не его совершение, ср. с более широким контекстом: *Того же лѣ҃т родиса Игорю сн҃ъ и нарекоша има ему Ѡлегъ а въ кр҃щеньи Павелъ. Тогды же пришелъ бѧшеть Романъ ись Смоленьска кь братьи своеи в помощь* (КЛ, 1175 г., 211); *Того же лѣта на ѡсень скоупиша҃* (sic!) *на снемъ.оу Городка // Мьстислави҃ Изѧславъ Володимиръ Двдвичь.и бра҃т его Изѧславъ. и тоу вси быша. В то же верема. пришелъ бѣ Гюргевичь старѣишии Ростиславъ. роскоторавъса съ ѿц҃мь своимъ…* (КЛ, 1148 г., 133 об.–134). В таких случаях временные показатели типа *тогда*, *в то же верема* при плюсквамперфекте указывают на отнесенность результата действия *пришелъ бѧшеть* (*пришелъ бѣ*) к тому же времени, что и предшествующего аориста *родиса* (*быша*), а это значит, что последовательное движение событий в этой точке приостанавливается, само же действие могло совершиться и несколько ранее — для повествователя точный момент его осуществления несуществен (современный перевод «в то же время (тогда) пришел…» эту специфику семантики скрывает, а современное «к тому времени» несколько огрубляет, хотя для ряда контекстов последнее будет более точным). Употребление аориста предпола-

гало бы движение повествовательного времени вперед, плюсквамперфект же в сочетании с локализаторами типа *в то же времѧ* (с которыми он, кстати, очень хорошо сочетается) дает возможность обозначить остановку и синхронизировать результат данного действия с предшествующим членом цепи событий.

Думаю, что именно эта «остановка» задает ту особую функцию сигнализации о «каком-то существенном изменении в нарративе, будь то начало нового эпизода, смена действующего лица или места действия» [Петрухин, Сичинава 2008: 243], которую мои оппоненты рассматривают как особое значение плюсквамперфекта. Останавливая движение летописного времени, плюсквамперфект здесь указывает на отход от линии последовательных событий, а значит — на «изменение в нарративе», часто связанное с переходом к новому сюжету (персонажу и т. д.).

Все рассмотренные частные значения и дискурсивные функции плюсквамперфекта не противоречат его перфектной семантике, а, напротив, развиваются на ее основе. И главное, что я хочу подчеркнуть, — это то, что перфектность нельзя отождествлять с относительностью.

Именно из отождествления перфектного значения с относительным исходят П. В. Петрухин и Д. В. Сичинава при оценке диалектного материала. На основании того, что у севернорусских конструкций *был* + *-л* «почти отсутствуют относительные употребления со значением предшествования в прошлом» [Петрухин, Сичинава 2008: 249], делается вывод о нехарактерности для них перфектного значения (с. 249–250). Вот здесь действительно возникает недоумение: почему же так упорно продолжают игнорироваться диалектные примеры рассматриваемых конструкций с явно выраженным перфектным значением, представленные во всех записях диалектологов? Почему даже не упоминаются контексты типа: *Отец тоже был потонул*; *Тот год хлеб озяб был весь*; *Все ребята у ней там были родились*; *Наше время было прошло*; *Померли были все*; *Корова опять отелилась была*; *Все засохло было в то время* и под. [Пожарицкая 1991: 789; 1996: 273; Мансикка 1915: 162 и др.]? Мои оппоненты цитируют работу [Пожарицкая 1996] в связи с тем, что относительное употребление для севернорусских форм *был* + *-л* мало характерно, — позволю себе процитировать ту же работу в связи с интерпретацией приведенных примеров, поскольку П. В. Петрухин и Д. В. Сичинава этой части работы почему-то не заметили:

«В высказываниях с одним сказуемым (которых подавляющее большинство) конструкции с формами глагола *быть* имеют значение давнопрошедшего времени, обозначая действие, результат которого актуален не для момента речи, а для какого-то времени в прошлом, о котором ведется рассказ ⟨…⟩ (далее следуют приведенные выше и аналогичные им примеры. — *М. Ш.*).

Как видим, и в этих контекстах не обязательно предполагается “отмена” результатов действия, выраженного сказуемым с формами глагола *быть*.

Форма основного глагола в составе этих конструкций представляется нам эквивалентной деепричастию в составе так называемого северо-за-

падного перфекта, называемого также результативом (ср. *Катя за грибами ушоццы*; *У нас Галя наплакавши была*), который в рассматриваемых говорах не встречается» [Пожарицкая 1996: 272–274].

Там же говорится о преобладании среди диалектных конструкций *был* + *-л* указанных результативных с непереходными глаголами СВ.

Можно только гадать, что здесь показалось нашим оппонентам настолько ненадежным, что даже не заслуживало упоминания, — видимо, прежде всего несоответствие теоретическому положению о нехарактерности для «нового» плюсквамперфекта перфектного значения. Но как еще могут быть истолкованы контексты типа *Померли были все* и под.? Как отмененный или недостигнутый результат? Думаю, даже самое изощренное воображение не предложит здесь антирезультативного понимания.

Это то же перфектное значение, которое мы видели у «старого» плюсквамперфекта в древнерусских летописях, ср. *Тот год хлеб озяб был весь* (арх.) — *В лѣ҃т...м҃ца маю въ .ѳі. ѡгородилосѧ бѧшеть сл҃нце грозно* (СЛ, 1229 г., 171 об.) и под. (обратим внимание, что в обоих случаях могут присутствовать обстоятельства времени, локализующие результирующее состояние, — так же, как и при северо-западном причастном перфекте, см. выше).

Перфектное значение у «нового» плюсквамперфекта известно и в других славянских языках, в частности, как уже говорилось в [Шевелева 2007], для словацкого языка исследователи считают это значение основным (примеры типа: Izba bola vychladla и под.) [Horák 1964: 289; Маслов 1984/2004: 233–234]. П. В. Петрухин и Д. В. Сичинава считают все эти данные ненадежными и склоняются к объяснению перфектного значения «сверхсложных форм» в западнославянских языках иноязычным (немецким) влиянием [Петрухин, Сичинава 2008: 233][3].

Можно, конечно, и для севернорусских форм попытаться найти какое-нибудь подобное объяснение — для каждого славянского языка оно будет своим. Однако сопоставление этих фактов показывает, что в разных частях Славии у новых форм плюсквамперфекта обнаруживается перфектное (результативное) значение, соответствующее исконному значению старого славянского плюсквамперфекта, представленного в памятниках древней книжности и в современных южнославянских (прежде всего, болгарском) языках. Даже если это значение сейчас является не самым частотным (хотя для словацких и севернорусских говоров это, видимо, не так), наиболее

[3] При этом речь опять ведется о таксисном относительном употреблении — как в [Петрухин, Сичинава 2008: 233], так и в работе [Чернов 1961: 8–9], к которой отсылают авторы. В работах же Э. Горака и Ю. С. Маслова речь идет не о таксисе, а о перфектности и приводятся словацкие примеры отнюдь не относительного употребления в придаточных предложениях, о которых говорят наши оппоненты, ср.: *Bežala, ako by deti pred nejakým nešťastím mala zachrániť. Izba bola vychladla, rozložila rýchle ohňa, naložila dreva*… ‘Она бежала, как будто нужно было уберечь детей от какого-то несчастья. Комната была выстывшей, она быстро развела огонь, наложила дров…’ [Маслов 1984/2004: 234].

реалистичным объяснением этих «совпадений» будет признание перфектного значения «нового» славянского плюсквамперфекта праславянским архаизмом, более или менее последовательно сохраняемым по славянским диалектам. Развитие грамматического значения новой формы идет от этого исконного значения к антирезультативным и далее к неактуальному прошедшему (см. выше, 1), поэтому первичное перфектное значение со временем может отходить на второй план или вообще утрачиваться. Но даже если бы у нас были только эти диалектные факты (или даже данные только словацких и севернорусских говоров) и материал по употреблению «старого» плюсквамперфекта, наиболее естественное объяснение этих фактов их генетической связью не утратило бы силы.

2.4. Однако некоторые данные по употреблению «нового» плюсквамперфекта в перфектном значении из древнерусских памятников у нас все-таки есть.

П. В. Петрухин и Д. В. Сичинава критикуют приводимые в [Шевелева 2007] примеры такого употребления из КЛ и СЛ, считая их все ненадежными. По отношению к некоторым из этих примеров возможность иной интерпретации или ненадежность данного чтения отмечалась и в [Шевелева 2007]. Так, могу согласиться с тем, что для контекста: *В се же лѣто посла Всеволодъ С҃тополка в Новъгородъ.шюрина своего смолвѧсѧ с Новьгородьци.которыхъ то <u>былъ приѩлъ</u> и поѩша и Новгородци и сѣде* (*и*) *на столѣ* (КЛ, 1142 г., 114 об.) — антирезультативную интерпретацию надо признать предпочтительной (князь Всеволод договорился с новгородскими послами, которые до этого — как следует из предшествующего контекста — были им задержаны): рассмотренный в [Петрухин, Сичинава 2008] широкий контекст убеждает в этом.

Для двух контекстов, в которых в Ипат. списке КЛ читается *бы* + *-л* в соответствии с плюсквамперфектом *был* + *-л* Хлебн. и Погод. списков, наши оппоненты предпочитают считать искаженным чтение с плюсквамперфектом: *И се слышавъ Всеволодъ не поусти с҃на своего С҃тослава ни моужии новгородьскыхъ.иже то <u>бы</u>* (Х., П. — *<u>был</u>*) *<u>привелъ</u> к собѣ* (КЛ, 1140 г., 114); *Изѧславъ же не хотѧше ис Киева поити.зане <u>оулюбилъ бы</u>* (Х., П. —*<u>был</u>*) *Киевъ ему* (КЛ, 1155 г., л. 172); по их мнению, сослагательное наклонение *бы* + *-л* в значении плюсквамперфекта *бѣ* + *-л* здесь более вероятно. Соглашаясь с тем, что представленное в Лавр. летописи чтение второго примера с глаголом *оулюбѣти* ‘нравиться, полюбиться’ в этом контексте явно исконно [Петрухин, Сичинава 2008: 234], я не могу согласиться с тем, что чтение Ипат. списка с сослагательным наклонением первично по отношению к чтению с «русским» плюсквамперфектом. Тот известный факт, что формы сослагательного наклонения встречаются иногда в летописях в значении плюсквамперфекта и «могут иногда соответствовать „нормальным“ плюсквамперфектным формам более ранних списков» [Петрухин, Сичинава 2008: 235], свидетельствует о грамматическом сме-

шении (причины которого надо объяснять), а не о грамматической правильности. Не думаю, что грамматически ошибочное чтение можно считать предпочтительным сравнительно с чтением с «русским» плюсквамперфектом в перфектном значении, — только постулат о принципиальной невозможности перфектного значения у «сверхсложной» формы может объяснить противоположное решение[4]. Наше предположение об ошибочной замене *был* на *бы* в приведенных контекстах из Ипат. списка КЛ явно подтверждается и встречающимися по спискам поздних летописей XV–XVI вв. примерами точно таких же замен в составе «русского» плюсквамперфекта — например в Никон. лет., где «русский» плюсквамперфект употребляется чаще книжного и уже всегда, в том числе и в этих случаях с заменами *был* → *бы*, в антирезультативном значении (см. ниже, 3), ср.: *А той братъ его патріархъ* <u>*пошелъ былъ*</u> (в А., Б., Т. списках — <u>*бы*</u>) *на Москву милостыня ради…, и не дошедъ преставися въ Каѳѣ* (Никон. лет., 1464 г., 116); *А Мамичь-Бердѣй сказывалъ:* <u>*взялъ былъ*</u> (в списке Н. — <u>*бы*</u>) *изъ Нагай царя, и царь имъ не учинилъ никоторые помочи, и онъ царя убилъ и всѣхъ Нагай побилъ*… (Никон. лет., 1556 г., 266).

Еще для двух примеров с «русским» плюсквамперфектом П. В. Петрухин и Д. В. Сичинава отклоняют результативную интерпретацию исходя из более широкого контекста. Это послание Рюрика к Владимиру Галицкому: *…есть ми // весть.ажь Всеволодъ сватъ мои всѣлъ на конѧ како ми сѧ* <u>*былъ ѡбѣчалъ*</u> *помочи на Ѡлговича и стати оу Чернигова. а творѧть ми сѧ како же сѧ оуже совокоупилъ с братомъ моимъ Дв҃домъ.и волость ихъ жьжета и Вѧтьскыѣ городы поималѣ и пожьглѣ* (КЛ, 1196 г., 239 об.–240). В [Шевелева 2007: 242] этот пример трактуется как контекст «выполненного обещания», т. е. результативный, поскольку действия Всеволода и его соратников являются результатом выполнения данного обещания. В [Петрухин, Сичинава 2008: 235–236] обращено внимание на то, что поход в Чернигов должен был состояться за год до описываемых событий и тогда не состоялся. Однако в момент речи персонажа, произносящего этот текст, поход все-таки состоялся и данное ранее обещание оказалось выполнено — думаю, что обе трактовки здесь возможны (в зависимости от того, с чем соотносилось действие *како ми сѧ былъ ѡбѣчалъ*), хотя результативная кажется более вероятной.

---

[4] В действительности, случаи смешения книжного плюсквамперфекта с сослагательным наклонением могут быть, наоборот, обусловлены соотнесением формы сослагательного наклонения (включающей в свой состав вспомогательный глагол с основой *бы-*) с некнижным плюсквамперфектом со вспомогательным глаголом *был.* В пользу этого говорят встречающиеся в памятниках случаи употребления «аномальных» структур *бысть* + *-л* в функции плюсквамперфекта, ср. в епифаниевской части Жития Сергия Радонежского: *И слоучисѧ въ иное времѧ сицево искушеніе.поне*ж *съ искоушеніем бывае*т *и мл*с*ть бж҃іа нѣкогда* <u>*недостало бы*</u>с *хлѣба и соли оу игоумена* (ЖСР, 90 об.) — читается во всех списках Пространной редакции ЖСР [Духанина 2006: 12; 2008:14].

Еще менее вероятным представляется антирезультативное понимание контекста: *Брате ѡже тѧ привели старѣишаꙗ дружина.а поѣди Ростову.а ѿтолѣ миръ възмевѣ. тобе Ростовци привели и болѧре.а мене былъ с братомъ бъ привелъ и Володимерци.а Суздаль буди нама ѡбче.да кого всхотѧть.то имъ буди кнѧзь* (СЛ, 1177 г., 128 об.). В [Шевелева 2007: 243] отмечалось, что в этой речи Всеволод, предлагая Мстиславу мир, утверждает законность своего наследственного права на Владимирское княжение, перешедшее к нему от только что умершего брата, и противопоставляет тем самым себя Мстиславу, такового права не имеющему, — результативный плюсквамперфект *а мене былъ с братомъ бъ привелъ* и является обоснованием этого исконного права. Мои оппоненты обращают внимание на то, что Всеволод говорит, что «был призван *с братом*, которого теперь уже нет в живых» (с. 239), следовательно, значение формы *был* + *-л* надо признать антирезультативным — но это, по-моему, мало согласуется с утверждением незыблемости изначального наследственного права на Владимирский стол.

Совсем не допускает антирезультативного понимания контекст из рассказа о убиении Андрея Боголюбского, читающийся с «русским» плюсквамперфектом в СЛ и в КЛ по Хлебн. и Погод. спискам, — это признают и мои оппоненты: *а всѣхъ невѣрны*[x] *оубиицъ числомъ .к. иже сѧ были снѧли на ѡканьныи свѣтъ. того дни оу Петра оу Кучкова з(ѧ)тѧ* (СЛ, 1175 г., 124 об.). Однако П. В. Петрухин и Д. В. Сичинава предпочитают и здесь видеть искаженное чтение: правильным и исходным они считают чтение *иже сѧ бѧху снѧли*, представленное в Ипат. списке, а чтение СЛ и Хлебн. и Погод. списков КЛ появившимся в результате замены писцом СЛ имперфекта *бѧху* в составе книжного плюсквамперфекта на разговорную *-л*-форму [Петрухин, Сичинава 2008: 235]. Не будем подробно обсуждать вопрос о том, что предложенная версия оказывается несколько странной с текстологической точки зрения: ведь исходным чтением этого восходящего к одному источнику рассказа КЛ и СЛ признается чтение одного Ипат. списка, а чтение всех списков СЛ и двух списков КЛ объявляется дефектным — на основании того, что «русский» плюсквамперфект в нем имеет перфектное значение. При этом в качестве единственного подтверждающего эту дефектность аргумента приводится пунктуационная (!) ошибка Лавр. списка СЛ: придаточное предложение *иже сѧ были снѧли* здесь начинается с большой буквы [Там же]. Не говоря даже о том, что синтаксические структуры текста вообще-то не имели в наших рукописях регулярного графико-орфографического и пунктуационного выражения (бывают ведь и случаи постановки точки в середине слова!), неясно, как же эта замена *бѧху* на *были* инициативного переписчика Лавр. списка СЛ проникла в Хлебн. и Погод. списки КЛ. И на каких еще основаниях чтение разных списков двух летописей признается не восходящим к первоначальному тексту и дефектным, кроме как на основании того, что «русский» плюсквамперфект здесь имеет незаконное с точки зрения нашей теоретической концепции пер-

фектное значение? Но самое важное то, каким механизмом предполагается объяснять замену формы книжного плюсквамперфекта на разговорную. Во-первых, наши оппоненты объявили их разными морфологическими категориями — почему тогда подразумевается их соотнесенность, действие механизма пересчета (см. о том же выше, 2.2.)? Во-вторых, если все-таки концепция П. В. Петрухина — Д. В. Сичинавы допускает, как выясняется из анализа конкретного материала, что это категории «не совсем разные» и они могут соотноситься, почему пересчет идет в противоположном обычному направлении: не книжная форма употребляется в значении разговорной, как это подчас бывает (и как предполагается в [Петрухин, Сичинава 2008] для ряда контекстов с книжным плюсквамперфектом — см. ниже), а, наоборот, почему-то разговорную форму вдруг вставляют вместо книжной? Зачем? И что же переписчик — не знал, как разговорная форма употребляется, не чувствовал, что она не может передать перфектного значения? Слишком много остается вопросов, если признать чтение с «русским» плюсквамперфектом в перфектном значении здесь дефектным и не соответствующим реальной грамматике.

Как мы видим, случаи употребления «русского» плюсквамперфекта в перфектном значении, хоть и немногочисленные, в древнерусских летописях есть. Еще больше таких примеров в западнорусских памятниках XV–XVI вв. (см. ниже). Эти факты вполне соответствуют данным современных восточнославянских и западнославянских диалектов и употреблению «исконного» плюсквамперфекта южнославянского типа.

2.5. Другое дело, что в древнерусских памятниках, как отмечалось и в [Шевелева 2007], «русский» плюсквамперфект чаще встречается в антирезультативных значениях. Возможно, это в определенной степени связано с тем, что наиболее благоприятный контекст для развития результативного значения плюсквамперфекта в антирезультативное — это контекст прямой речи (где в летописях чаще всего и появляется разговорный плюсквамперфект); подобное явление обнаруживается и у «старого» славянского плюсквамперфекта в современном болгарском (см.: [Маслов 1987/2004: 442] и др. — см. выше, 1.). В [Шевелева 2007] подробно рассматривались условия, в которых возникают значения аннулированного или недостигнутого результата, — оказалось, что и для «книжного», и для «русского» плюсквамперфекта они те же самые: это контекст противопоставления последующему ходу событий (см. выше, 1.).

П. В. Петрухин и Д. В. Сичинава антирезультативное значение «книжного» плюсквамперфекта считают несамостоятельным: в нарративном контексте такого рода всегда присутствует «друг[ая] форм[а] прошедшего времени, „перечеркивающ(ая)“ действие, выраженное плюсквамперфектом» (приводятся примеры типа: (*Вѧчеславъ*)*...ѿꙗ городы ѡпѧть.иже* *<u>бѧшеть</u>* *ѿ него Всеволодъ* *<u>ѿꙗлъ</u>* (КЛ, 1146 г., 121 об.) и др.) [Петрухин, Сичинава 2008: 244]. Употребления «книжного» плюсквамперфекта в ан-

тирезультативном контексте в прямой речи (типа: *Помниши ли жидовине вь которыхъ поръмѣхъ пришелъ бѧшеть.ты нынѣ в оксамитѣ стоиши* КЛ, 1175 г., 208 об.) рассматриваются как аномальные и объясняются тем, что книжная форма здесь «замещает» разговорную, т. е. механизмом пересчета в книжный регистр [Там же: 245–246].

Однако повторю, что контекстные условия реализации значений отмененного и недостигнутого результата у «книжной» и «русской» форм одинаковы. В нарративе и при «русском» плюсквамперфекте с таким значением в контексте присутствует другая форма прошедшего времени, «перечеркивающая» результат действия, выраженного плюсквамперфектом, ср.: *А Болгарьскыи кнѧ^з^ прише^л^ былъ на Пуреша ротника Юргева.и слышавъ ѡже великыи кнѧ^з^ Юрги с бра^т^ею жжеть села Мордовьскаꙗ.и бѣжа прочь ночи* (СЛ, 1227 г., 155 об.). В прямой речи противопоставление положению дел в момент речи эксплицировано противительной конструкцией, обстоятельствами типа *нынѣ же* при предикате, относящемся к ситуации в настоящем, или другими средствами контекста, ср.: *Се прислалъ сѧ еси к нама. а се нама далъ тѧ былъ бъ и волость твою по твоеи винѣ.нынѣ же ти гнѣва ѿдаевѣ и волости подъ тобою не ѿимаевѣ* (КЛ, 1152 г., 163) и под., см.: [Шевелева 2007: 244–245]. Тем не менее, для книжного плюсквамперфекта П. В. Петрухин и Д. В. Сичинава считают антирезультативные значения контекстно обусловленными, а для «русского» — нет; почему? Не возражая против того, что «контекстная обусловленность» могла исторически послужить источником развития этого значения «сверхсложной» формы (т. е., значит, все-таки не возражая, что антирезультативные значения могли развиться из результативных в соответствующем контексте?), мои оппоненты не согласны видеть такую контекстную обусловленность на синхронном древнерусском уровне [Петрухин, Сичинава 2008: 231–232, сс. 7]. Имеющиеся примеры в последнем не убеждают. Думаю, что это значение уже становится наиболее частотным (и в этом смысле я его назвала основным, хотя, согласна, лучше так не использовать данный термин, т. к. наименьшей зависимости от контекста здесь нет) — и, вероятно, идет развитие по пути уменьшения его обусловленности контекстом, но вряд ли в древнерусскую эпоху этот процесс был завершен[5].

[5] Возражая против первичности результативного значения «нового» плюсквамперфекта, П. В. Петрухин и Д. В. Сичинава полагают, что этому противоречит факт частого использования в прямой речи персонажей в результативных «плюсквамперфектных» контекстах перфекта — «там, где в языке, имеющем „классический“ плюсквамперфект западноевропейского типа, непременно выступал бы последний» (с. 240–241) (приводится пример из КЛ: *се брате ты еси ко мнѣ ѿ ѡ^ц^а пришелъ еси.ѡже ѡ^ц^ь тѧ приѡбидилъ и волости ти не далъ.казъ же тѧ приихъ въ правду.ꙗко достоиного брата своего и волость ти есмь далъ.ако ни ѡ^ц^ь того вдалъ*… 1149 г., л. 135 об.–136). Такие употребления действительно встречаются, но в том-то и дело, что славянский плюсквамперфект никогда не был плюсквамперфектом «классического» западноевропейского типа и для выражения чисто

Обратим внимание, что в описанных С. К. Пожарицкой севернорусских говорах, где представлены все три типа значения плюсквамперфекта (см. выше, 1.), антирезультативные значения тоже, кажется, появляются в соответствующем контексте, ср.: *Парализовало ей было, да отошло*; *Я за морошкой была пошла, да воротилась; Така бывалошна чистенка-та стара была, вся заросла была, дак вот дед-от подчистил* [Пожарицкая 1996: 272]. Обратим еще раз внимание на сходство значений и контекстов употребления этих диалектных форм и плюсквамперфекта в древних текстах — как «нового», так и «книжного», ср. старославянский пример из Притчи о блудном сыне: **мрътвъ бѣ і оживє. изгыблъ бѣ і обрѣтєсѧ** Л.XV (Зогр.Ев.) — диалектный: *…вся заросла была, дак вот дед-от подчистил* (см. об этом: [Шевелева 2007: 2.2.2., 3.1.2.]). При этом, как отмечает С. К. Пожарицкая в комментарии к диалектному материалу [Пожарицкая 1996: 272], в исследованных говорах плюсквамперфектная форма лишь в единичных случаях обозначает прошедшее действие, результат которого «отменен» последующим, — значит, для этой современной диалектной системы антирезультативное значение тоже нельзя признать основным зна-

таксисных отношений его использование не было обязательным (см. выше, 2.2.). Именно поэтому в прямой речи он появляется прежде всего тогда, когда надо подчеркнуть противопоставление результативного прошедшего действия (достигшего результата или направленного на него) положению дел в момент речи, когда этот результат оказался аннулированным последовавшими за ним событиями, — это характерно для плюсквамперфекта (причем «старого»!) и в современном болгарском языке [Маслов 1959: 281] и др. При этом подчеркну еще раз, что в контексте противопоставления антирезультативное значение может приобретать и перфект [Шевелева 2007: 242–243]. Мои оппоненты возражают против этого, сосредоточившись на примере: *а язъ самъ хотѣлъ есмь ити к Володимероу* (Х., П. — *Володимерю*). *но есть ми весть…* (КЛ, 1196 г., 239 об.–240), — по их мнению, дело здесь в несочетаемости «сверхсложного прошедшего» с модальным глаголом *хотѣти*, что отличает его от современной конструкции с *было* [Петрухин, Сичинава 2008: 237]. Однако подобные примеры с перфектом, получившим в контексте антирезультативность, встречаются отнюдь не только с модальными глаголами, и таких примеров немало, ср.: *Нынѣ же како еси со мною оумолвилъ на чемь еси ко мнѣ кр҃тъ цѣловалъ.того еси всего не исправилъ* (КЛ, 1196 г., 241) [Шевелева 2007: 243]; ср.: *ты же како ми сѧ еси ѡбѣчалъ всѣсти на конѧ и помочи ми. ты же еси то лѣто и зимоу* [*перевелъ*].*а нынѣча еси в҃ѣлъ то како ми еси помоглъ* (КЛ, 1196 г., 241) — контекст «невыполненного обещания»; ср. аналогичные примеры из других памятников XII в.: *Крилѣ еси имѣлъ ꙗко же суть оу серафимъ.да почто ꙗ еси вдалъ сотонѣ. да ꙗ изрѣжеть ис корене. образъ еси имѣлъ молни//инъ.да почто сѧ еси створилъ темнообразенъ. Горѣ мнѣ ꙗко очи еси имѣлъ.ꙗко же и многоочитии.да ослѣпилъ ꙗ есть змѣи* (ЖАЮ, 75–75 об.) — в противопоставленных членах пар *еси имѣлъ — еси вдалъ*, *еси имѣлъ — еси створилъ*, *еси имѣлъ — ослѣпилъ есть* второй член имеет перфектное значение, первый — отмененной ситуации. Задается это антирезультативное значение контекстом противопоставления последующему развитию событий и, соответственно, положению дел в момент речи.

чением «русского» плюсквамперфекта. Вряд ли оно было таковым в раннедревнерусскую эпоху хотя бы в части восточнославянских диалектов.

Несколько наивно предполагать, что единственным безусловным свидетельством в пользу первичности перфектного значения «нового» плюсквамперфекта и вторичности по отношению к нему антирезультативных должно быть соответствующее распределение этих форм по памятникам XI–XIII вв. [ср.: Петрухин, Сичинава 2008: 232]. Во-первых, развитие антирезультативных значений в соответствующих контекстных условиях явно относится уже к праславянской эпохе. Во-вторых, какую-либо динамику в представленности значений (1) и (2) можно обнаружить на более длительном временном отрезке (хотя бы XII–XV вв.), но вряд ли в пределах летописных записей за 200 лет — не таким быстрым и активным был этот процесс. Красиво, конечно, было бы, если бы самый древний имеющийся у нас пример имел результативное значение, а последующие — антирезультативное, но это совсем не обязательно, т. к. значения отмененного или недостигнутого результата в раннедревнерусскую эпоху, несомненно, существовали[6].

2.6. Как уже говорилось выше (см. 1.), значение дистанцированного от настоящего прошедшего, не связанного с результатом, древнерусские северо-западные (и, очевидно, северо-восточные) говоры знали уже в XII в., для южнодревнерусских говоров ранних примеров пока нет. Повторю, что именно это значение мне представляется специфичным для «новой» формы плюсквамперфекта и развитие его, очевидно, связано с грамматической трансформацией ее структуры (см. 1.). Аналогичное значение отмечается у «нового» плюсквамперфекта и в западнославянских языках, о чем говорилось в [Шевелева 2007: 218, 229]. Однако специально подчеркну, что, ссылаясь на исследователей, которые, описывая это значение не связанного с настоящим прошедшего, говорят о «взаимозаменимости» плюсквамперфекта с простым прошедшим и о якобы «синонимии» этих форм, я специально обращаю внимание на семантический компонент отделенности данного факта от момента речи, отличающий это значение плюсквамперфекта «от общефактического значения прошедшего несов. вида и аористического

[6] Надо сказать, что приводимый в [Петрухин, Сичинава 2006: 201; 2008: 232] пример как «самый ранний из известных на сегодня примеров сверхсложной формы» из ПВЛ по Лавр. (под 1074 г.) не обсуждается в [Шевелева 2007] только потому, что он читается лишь в этом списке ПВЛ, — по традиции мы с определенной надежностью возводим к первоначальному тексту ПВЛ чтения, представленные более чем в одном списке. По крайней мере, чтобы утверждать обратное, необходимо специальное текстологическое исследование, не входившее в мои задачи. Вполне могу допустить, что этот контекст восходит к XI в., — это ничего принципиально не меняет, т. к., как уже было сказано, развитие значения (2) по всем, в том числе лингвогеографическим, данным должно быть отнесено к еще более ранней эпохе.

значения прошедшего сов. вида» [Там же: 229]. Мои оппоненты этого почему-то не заметили (как не заметили и кавычек при слове «синонимия» — имелось в виду, что она кажущаяся) и увидели здесь непоследовательность и постулирование у плюсквамперфекта аористного значения (с. 230, сс. 6). В действительности такая «взаимозаменимость» двух противопоставленных грамматических форм в определенных условиях, при которой не меняется основной смысл высказывания, а меняются лишь некоторые дополнительные семантические компоненты, известна в грамматике: в частности, в славянской аспектологии подобное явление называют «конкуренцией видов» (см., например: [Бондарко 1971: 36–42]). При этом А. В. Бондарко специально подчеркивает, что «[к]онкуренция видов не есть смешение», «[в]о всех случаях конкуренции видов сохраняется четкое различие между значениями ⟨…⟩ совершенного и несовершенного видов. Возможность замены одного вида другим без изменения основного смысла высказывания не снимает видовых различий» [Там же: 42]. Вот с этими соображениями я полностью согласна — как в отношении славянских видов, так и применительно к «новому» славянскому плюсквамперфекту в его «конкуренции» с простым прошедшим.

Могу еще добавить, что в рассматриваемом значении «нового» плюсквамперфекта, видимо, присутствует также некоторый выделительный модальный компонент (связанный с удостоверительностью, развившейся из акцентируемой индикативности [Шевелева 2007: 219]). На это обращалось внимание в диалектологических описаниях (ср.: «сказуемое, оформленное таким образом, производит впечатление семантического центра всего высказывания; кажется, что таким способом актуализируется обозначение того действия, которое говорящему представляется главным» [Пожарицкая 1996: 273]), то же отмечается и в западнорусских памятниках XV–XVI вв. (см. в след. номере журнала).

И еще раз подчеркну, что подобные употребления плюсквамперфекта *был* + *-л* в современных говорах (типа: *Раньше-то была по Мезени ходила*; *Я была лошадей кормила*; *Он уехал, дак она взади поехала была* и под.) не следует смешивать с синтаксическими конструкциями с самостоятельным глаголом *быть* в претерите. П. В. Петрухин и Д. В. Сичинава, возмущаясь моей неспособностью увидеть в конструкциях типа *Кудряшка была пела ходила померла уж*; *Гриша был бригадиром работал*; *Старик был ловил там пеледей* и под. «явление сериализации», или «двойных глаголов», известное во многих языках мира (с. 250–251), решительно не хотят признать, что это явление свойственно и разговорному литературному языку, а потому для русского языка не является диалектно ограниченным. Поскольку этот факт отмечался в работах исследователей русского диалектного синтаксиса [Лаптева 1970; Трубинский 1975: 161; Пожарицкая 1996: 275] — см. об этом [Шевелева 2007: 220–221], игнорирование его в [Петрухин, Сичинава 2008] и упрек в наивности представлений о «спонтанности разговорной речи» несколько странны. Даже если указанное явление

соединения нескольких глаголов соотносить с иноязычными параллелями, в русском языке его нельзя рассматривать как явление диалектное, характерное только для говоров Севера.

Вопрос о синтаксической структуре этих высказываний, конечно же, требует знания интонационного членения фразы; уточню, что членение с обозначением пауз после каждого глагола (*Кудряшка была* / *пела* / *ходила*; *Старик был* / *ловил там пеледей*) [Шевелева 2007: 221] сделано не «абсолютно произвольно», как полагают наши оппоненты, а со слов записавшей эти материалы С. К. Пожарицкой. Кстати, именно при таком членении вполне ясно, что значит *пела ходила* (это ответ на вопрос о том, кто из женщин в деревне хорошо поет), оставшееся непонятным моим оппонентам (с. 250).

Еще большее возмущение П. В. Петрухина и Д. В. Сичинавы вызывает «неуместное», с их точки зрения, соотнесение в [Шевелева 2007: 221–224] диалектных конструкций с несогласованным «вводящим» ситуацию *было* (типа *Было ловили рыбу*; *Вот было раньше как робили* и под.) и известных в древнерусских летописях и стандартных церковнославянских текстах конструкций с «вводящим» **бысть** или **боудеть** (реже с **есть**) (типа: *И бы҃ на дроугои неделѣ во вторникъ на ѡбѣднѣ потрѧсесѧ землѧ* КЛ, 1195 г., л. 238; *Бы҃ на зимоу придоша пльсковици поклонишасѧ кн҃зю* Новг.1 лет., 1232 г., л. 231 и под.). Указывая на то, что в канонических церковнославянских переводах эти структуры с **бысть** (и **боудеть**) имеют соответствия в греческом и древнееврейском тексте Библии, П. В. Петрухин и Д. В. Сичинава видят в них гебраизм, пришедший в славянские тексты через греческое посредство (с. 252–253). Я с этим совершенно согласна — конечно, перед нами «типично библейский синтаксис» [Там же] и устойчивые формулы (**и**) **бысть**, (**и**) **боудеть** принадлежат традиции библейского нарратива. Об этом подробно говорится в специально посвященной судьбе конструкций с «вводящими» ситуацию формами глагола *быти* в русском языке работе [Шевелева 2008].

Однако в том-то все и дело, что синтаксис этих конструкций известен и в русском языке: и в современном литературном, и в диалектном. В современном русском литературном языке именно такой синтаксис представляют конструкции с *Бывало*…, *Бывает*… (*Бывало, я приходил сюда* и под.), а также с другими глаголами существования (*случалось*, *случается* и некоторыми другими); в диалектном и разговорном языке это еще конструкции с *Было* и с *Есть* (см. об этом: [Шевелева 2008]). Именно к этим конструкциям с независимыми указывающими на ситуацию *есть* и *будет* восходят русские условные союзы *если* и *буде* (а если «вводящий» бытийный глагол находился в интерпозиции — и диалектные модальные частицы *есть*, *буде*) [Там же].

Таким образом, в данном случае я, в противоположность моим оппонентам, предлагаю видеть в этих русских конструкциях с «вводящими» *Было*, *Бывало* и под. и древнееврейских библейских конструкциях с «вводящим» ‘и было’, ‘и будет’ некоторое типологическое соответствие. В се-

митских языках такой показатель типа ‘было’ указывает на отнесение всей ситуации к плану прошлого. Славянские конструкции с «вводящим» бытийным глаголом восходят, по всей видимости, к архаичному синтаксису устного повествования с характерными для него бессоюзными связями (см. [Шевелева 2007: 224; 2008] — о типологических аналогах таких структур в других, в том числе неродственных, языках см. там же). Именно потому, видимо, восходящая к библейской традиции формула **и бысть**… получила широкое распространение в древнерусских летописях, что она вполне соответствовала славянскому синтаксису. До сих пор этот синтаксис сохранился в русском литературном языке с *бывало* и *случалось*, в диалектах и в разговорном языке — и с самим бытийным глаголом. Так что к русской диалектологии проблема истории этих конструкций, вопреки мнению наших оппонентов, все-таки некоторое отношение имеет, но только в том смысле, что северные говоры хорошо сохраняют этот архаизм — замещение позиции «вводящего» ситуацию глагола самим глаголом *быть*. Работают все эти «вводящие» независимые предикаты *было*, *будет*, *есть*, конечно же, на уровне синтаксиса, и подобные структуры с историей плюсквамперфекта не связаны (см. о том же: [Пожарицкая 1996: 277; 2007: 102]).

3. Исследование истории древнерусского плюсквамперфекта требует обращения к материалам памятников XV–XVI вв. и более поздним разной диалектной локализации.

Изучение данных памятников XV–XVI вв. обнаружило существование очевидных диалектных различий в употреблении «русского» плюсквамперфекта, показывающих, что судьба этого позднепраславянского новообразования уже к XV в. неодинаково складывалась в разных восточнославянских диалектных зонах.

Представлению этого материала текстов XV–XVI вв. (летописей и др.) посвящено продолжение настоящей работы в следующем номере журнала. Скажем сейчас кратко, в чем состоит суть выявленных диалектных различий в употреблении «русского» плюсквамперфекта.

В московских памятниках XV–XVI вв., в частности в оригинальной части Никоновской летописи за XV–XVI вв., «русский» плюсквамперфект употребляется практически только в антирезультативных значениях. Значение отделенного от настоящего прошедшего в этой зоне остается, видимо, прежде всего во фразеологизированных реликтах.

В северо-западных памятниках, в частности в Псковских летописях, плюсквамперфект встречается в этих же двух типах значений: антирезультативных (2) и дистанцированного прошедшего (3), причем последнее значение здесь вполне свободно, но антирезультативных употреблений становится больше в поздних записях за XVI в. — видимо, как и в Центре, это значение (2) начинает доминировать.

Совсем другую картину показывают памятники Юго-Западной Руси XV–XVI вв. При том, что «новый» плюсквамперфект здесь очень употреби-

телен — значительно употребительнее, чем в памятниках великорусских, — в большинстве случаев он используется в результативном значении, например: *были пакь та*^{м} *и жены многы издалека смотрячи которыи* *были пришли* *з Галилеи за ісѡ*^{м} *послоугоуючи ему* Пересопн.Ев., л. 120 (Мт. 27, 55); *а южь ся* *было* *темно* *оучинило* *бо* *іс* *еще к нимь* *не пришель быль.а на мори* *ѿ* *велико*^{г} // *вѣтроу вълны* *были встали* Пересопн.Ев., л. 365 об. (Ин. 6, 17); *да с преславного ѡбличья его оуже оуся краса* *сплыла была* Страст. Христ., л. 10 об. и др. [Жукова 2008]; см. также: [Соболевский 1907: 242].

При этом встречается плюсквамперфект в юго-западнорусских памятниках XV–XVI вв. и в других своих значениях — антирезультативном и не связанного с настоящим прошедшего, т. е. сохраняет полный спектр своей семантики. Здесь мы имеем дело с отражением диалектной системы, сохранившей «новый» славянский плюсквамперфект вплоть до нашего времени (украинские, белорусские говоры). Точно такую же картину сохранения всех трех значений плюсквамперфекта при преобладании первичного перфектного мы видели в современных русских северо-восточных говорах — см. выше (письменные памятники от этой зоны вологодских и архангельских говоров, к сожалению, найти гораздо сложнее). Это соответствие не находящихся в контакте двух групп восточнославянских диалектов показывает, что в обоих случаях перед нами системы, хорошо сохранившие «новый» славянский плюсквамперфект с присущими ему тремя типами значений (аналогичная ситуация наблюдается и в части западнославянских диалектов, имеющих во временной системе плюсквамперфект, — словацких, польских, в старочешском). Все это свидетельствует в пользу высказанного выше предположения об архаичности употребления плюсквамперфекта *был -л* в севернорусских говорах.

Детальное описание употребления плюсквамперфекта в памятниках XV–XVI вв. — в следующем номере журнала.

Литература и источники

Бондарко 1971 — А. В. Бондарко. Вид и время русского глагола. М., 1971.

Вопросник ОЛА — Вопросник Общеславянского лингвистического атласа. М., 1965.

Горшкова, Хабургаев 1981 — К. В. Горшкова, Г. А. Хабургаев. Историческая грамматика русского языка. М., 1981.

Духанина 2006 — А. В. Духанина. К вопросу об атрибуции пространной редакции Жития Сергия Радонежского: лингвистические данные // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2006. № 3 (25). С. 5–19.

Духанина 2008 — А. В. Духанина. Морфологические нормы в сочинениях Епифания Премудрого (система глагола): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2008.

ЖАЮ — Житие Андрея Юродивого по сп. РНБ, Соловецкое собр., № 216 / 216.

ЖСР — Житие Сергия Радонежского по сп. РГБ, Троицк. собр., № 698.

Жукова 2008 — Т. С. Жукова. «Новый» плюсквамперфект в памятниках Юго-Западной Руси XV–XVI вв.: Курсовая работа, 2008 (рукопись).

Зализняк 2004 — А. А. З а л и з н я к. Древненовгородский диалект. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004.

Ипат. — Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. СПб., 1908. Репр. изд.: М., 1998.

КЛ — Киевская летопись XII в. (см.: Ипат.).

Князев 2007 — Ю. П. К н я з е в. Грамматическая семантика: Русский язык в типологической перспективе. М., 2007.

Кузнецов 1953 — П. С. К у з н е ц о в. Историческая грамматика русского языка: Морфология. М., 1953.

Кузьмина, Немченко 1971 — И. Б. К у з ь м и н а, Е. В. Н е м ч е н к о. Синтаксис причастных форм в русских говорах. М., 1971.

Лавр. — Полное собрание русских летописей. Лаврентьевская летопись. Т. 1. Вып. 1–3. Л., 1926–1928. Репр. изд.: М., 1997.

Лаптева 1970 — О. А. Л а п т е в а. Общие устно-речевые синтаксические явления литературного языка и диалектов // Русская разговорная речь. Саратов, 1970. С. 135–140.

Мансикка 1915 — В. М а н с и к к а. О говоре северо-восточной части Пудожского уезда // ИОРЯС. 1914. Т. XIX. Кн. 4. С. 141–173.

Маслов 1956 — Ю. С. М а с л о в. Очерк болгарской грамматики. М., 1956.

Маслов 1959 — Ю. С. М а с л о в. Глагольный вид в современном болгарском литературном языке: (Значение и употребление) // Вопросы грамматики болгарского литературного языка. М., 1959. С. 157–312.

Маслов 1964/2004 — Ю. С. М а с л о в. К утрате простых форм претерита в германских, романских и славянских языках // Избранные труды. М., 2004. С. 293–302.

Маслов 1984/2004 — Ю. С. М а с л о в. Структура повествовательного текста и типология претериальных систем славянского глагола (очерки по аспектологии) // Избранные труды. М., 2004. С. 216–249.

Маслов 1987/2004 — Ю. С. М а с л о в. Перфектность // Избранные труды. М., 2004. С. 426–444.

Никон. лет. — Полное собрание русских летописей. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. Т. XII. Спб., 1901; Т. XIII. Спб., 1901. Репр. изд.: М., 2000.

Новг. 1 лет. — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.

Падучева 1996 — Е. В. П а д у ч е в а. Семантические исследования (Семантика вида и времени в русском языке; Семантика нарратива). М., 1996.

ПВЛ — Повесть временных лет (см. Лавр.).

Пересопн. Ев. — Пересопницкое Евангелие. Изд.: Пересопницьке Евангелїе 1556–1561. Київ, 2001.

Петрухин, Сичинава 2006 — П. В. П е т р у х и н, Д. В. С и ч и н а в а. «Русский плюсквамперфект» в типологической перспективе // Вереница литер: К 60-летию В. М. Живова. М., 2006. С. 193–214.

Петрухин, Сичинава 2008 — П. В. П е т р у х и н, Д. В. С и ч и н а в а. Еще раз о восточнославянском сверхсложном прошедшем, плюсквамперфекте и современных диалектных конструкциях // Рус. яз. в науч. освещении. 2008. № 1 (15). С. 224–258.

Пожарицкая 1991 — С. К. П о ж а р и ц к а я. О семантике некоторых форм прошедшего времени глагола в севернорусском наречии // Revue des études slaves. 1991. LXIII(4). С. 788–799.

Пожарицкая 1996 — С. К. Пожарицкая. Отражение эволюции древнерусского плюсквамперфекта в говорах севернорусского наречия Архангельской области // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования 1991–1993 гг. М., 1996. С. 268–279.

Пожарицкая 2007 — С. К. Пожарицкая. Реликты *бы*, *было*, *буде*, *бывает*, *бывало* // Русский язык: исторические судьбы и современность. III Междунар. конгресс исследователей русского языка: Тр. и мат-лы. МГУ, 2007. С. 102.

Потебня 1958 — А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике. М., 1958. Т. I–II.

Пск. 3 лет. — Псковская 3-я летопись. Изд.: Псковские летописи. Вып. 2. М., 1955.

СЛ — Суздальская летопись по Лаврентьевскому списку (см. Лавр.).

Соболевский 1907 — А. И. Соболевский. Лекции по истории русского языка. 4-е изд. М., 1907.

Страст. Христ. — «Страсти Христовы» в западнорусском списке XV в. СПб., 1901.

Трубинский 1975 — В. И. Трубинский. К вопросу о тавтологии в структуре предиката (на материале диалектных конструкций со словом *есть*) // Севернорусские говоры. Вып. 2. Л., 1975. С. 148–162.

Успенский 2002 — Б. А. Успенский. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). М., 2002.

Хабургаев 1978 — Г. А. Хабургаев. Судьба вспомогательного глагола древних славянских аналитических форм в русском языке // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1978. № 4. С. 42–53.

Хабургаев 1986 — Г. А. Хабургаев. Старославянский язык. М., 1986.

Хабургаев 1991 — Г. А. Хабургаев. Древнерусский и древнепольский глагол в сравнении со старославянским (к реконструкции праславянской системы претеритов) // Исследования по глаголу в славянских языках. История славянского глагола. М., 1991. С. 42–54.

Чернов 1961 — В. И. Чернов. Плюсквамперфект в истории русского языка сравнительно с чешским и старославянским языками: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Л., 1961.

Шевелева 2002 — М. Н. Шевелева. Судьба форм презенса глагола **быти** по данным древнерусских памятников // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 2002. № 5. С. 55–72.

Шевелева 2006 — М. Н. Шевелева. Некнижные конструкции с формами глагола **быти** в Псковских летописях // Вереница литер: К 60-летию В. М. Живова. М., 2006. С. 215–241.

Шевелева 2007 — М. Н. Шевелева. «Русский плюсквамперфект» в древнерусских памятниках и современных говорах // Рус. яз. в науч. освещении. 2007. № 2 (14). С. 214–252.

Шевелева 2008 — М. Н. Шевелева. О судьбе древнерусских конструкций с независимыми формами глагола *быти* в русском языке // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 2008. № 6.

Якубинский 1953 — П. Я. Якубинский. История древнерусского языка. М., 1953.

Horák 1964 — E. Horák. Predminulý čas v slovenčine // Slovenská reč. 1964. R. 29. № 5. S. 286–298.

М. А. БОБРИК

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О БЕРЕСТЯНОЙ ГРАМОТЕ 916

Грамота 916 (внестратиграфическая дата — 2-я пол. XIII в.) относится к тем немногим берестяным документам, в которых воспроизводится готовый текст. Таким текстом может быть молитва (БГ 419, 652 и 653), заговор (БГ 715 и 930), фрагмент церковной службы (БГ 128, 727, 906, 914), проповедь (Торж. 17). От основного корпуса берестяных грамот эти документы отличаются и содержанием, и языком, и коммуникативной организацией. Как правило, это записи для памяти, в которых церковнославянские тексты воспроизводятся с чертами диалекта или даже просто на древненовгородском диалекте.

В ряду такого рода записей грамота 916 представляет особый интерес как законченный текст, книжный образец которого точно известен[1], — это стихира (по другой терминологии тропарь[2]) «Сия глаголет Иосиф» из так называемых царских часов сочельника Рождества. Приведу этот текст в русском переводе:

---

[1] «Литературная» основа есть также у БГ 893 и Торж. 17, но в обоих названных случаях оценка соотношения берестяной версии и ее образца затруднена. В случае грамоты 893, литературное происхождение которой подтверждается параллелями, в частности, с «Поучением» Владимира Мономаха [НГБ XI: 90], мешает прежде всего то, что грамота представляет собой фрагмент более пространного документа. Торж. 17 (1160-е — 1210-е гг.) содержит извлечение из «Слова о премудрости», известного как сочинение Кирилла Туровского, однако «Слово», в свою очередь, построено на аллюзиях и топосах [Зализняк, Малыгин, Янин 2002: 3; Зализняк 2004: 464–465], так что границы текста-образца оказываются все-таки не такими отчетливыми, как хотелось бы.

[2] Термин *тропарь* неудобен своей многозначностью. В самом общем смысле *тропарь* означает монострофичное песнопение. Чаще всего этот термин используется в частном значении ‘ключевое песнопение дня в честь святого или праздника’. С другим частным значением термина мы имеем дело в случае текста «Сия глаголет Иосиф» — это тропарь, который следовал за чтением библейского стиха. Так, наш тропарь следует за стихом «Господи, услышах слух твой и убояхся; Господи, разумех дела твоя и ужасохся». Такие тропари называются также стихирами. Говоря далее о тексте «Сия глаголет Иосиф», мы будем пользоваться термином *стихира*.

Русский язык в научном освещении. № 2 (16). 2008. С. 246—255.

И говорит Иосиф девице так: Мария, что же это? Что я вижу? Недоумеваю и удивляюсь и внутренне ужасаюсь. Прочь с глаз моих сейчас же! Мария, что же это? Вместо чести — позор, вместо радости — горе, вместо хвалы — хулу ты мне принесла. Большего укора от людей я не вынесу. Ибо от священников принял я тебя, деву Господню, из храма. И что же я вижу!

Ценность грамоты 916 состоит в том, что она дает возможность прямо сопоставить между собою разные версии одного и того же текста и наблюдать освоение фрагмента богослужения в бытовой письменности. Возможности такого сопоставления еще не исчерпаны. Грамота была опубликована и подробно прокомментирована дважды — в «Вопросах языкознания» вместе с другими находками археологического сезона 2001 г. [Зализняк, Малыгин, Янин 2002: 3–5] и во втором издании книги А. А. Зализняка «Древненовгородский диалект» [Зализняк 2004: 523]. В этих публикациях было показано, что берестяная версия стихиры в ряде отношений отличается от текста, принятого сейчас в церковном обиходе. Отмеченные отличия были интерпретированы как искажения, возникшие при воспроизведении текста по памяти или по дефектной рукописи. Так дело выглядело до тех пор, пока грамоту сравнивали только с нынешним текстом стихиры. Картина меняется, если обратиться к актуальной для автора грамоты ранней редакции славянского перевода и его греческому оригиналу. О результатах такого сопоставления и пойдет дальше речь.

1. Для удобства сопоставляемые тексты помещены в таблицу (см. ниже). Грамота 916 занимает в ней вторую колонку.

В первой колонке — греческий текст стихиры. В византийской традиции она входила в рождественский цикл из двенадцати песнопений, автором которого считался иерусалимский патриарх Софроний (VII в.). Стихиры этого гимнографического цикла переписывались в составе служебных миней и стихирарей. Как показал Э. Веллес, сопоставивший текст рождественского цикла в пяти греческих стихирарях X–XIII вв., на протяжении этого периода состав, слова и мелодии цикла оставались неизменными [Wellesz 1947: 146].

Далее, в третьей колонке помещен славянский перевод стихиры. Он приведен здесь по стихирарю XII в. из собрания БАН 34.7.6. За выписки из этого памятника с разночтениями по трем другим древним стихирарям я благодарна Марии Анатольевне Малыгиной. Именно к XII в. относятся самые ранние рукописные свидетельства нашего текста в стихирарях. Начиная с этого времени и вплоть до редакционных работ XVII в. текст славянского перевода больших изменений не переживал. Основанием для такого вывода служит материал восьми рукописей XII–XVII вв. — семи стихирарей и одного сборника Праздников[3] (список см. в библиографической

[3] «Праздники» (или «праздники двунадесятые») — тип певческой книги, который сформировался в XVI в. и включил в себя песнопения стихирарей — месячного (минейного) и постного [Захарьина 2006: 18].

части данной работы). Различия между рукописями касаются главным образом графики и орфографии, в том числе специфики записи с музыкальной нотацией (растяжное письмо), в отдельных случаях — морфологии и синтаксиса (см. ниже), и лишь однажды имеет место лексическая вариация (*си* / *сице*). Некоторые разночтения возникли, по-видимому, при реинтерпретации текста без сверки с греческим оригиналом. Так, например, в ряде рукописных стихирарей вокатив *марие* в начале текста преобразован в приложение к *девици* и стоит, соответственно, в дательном падеже: *си глаголеть иосифъ къ дѣвици марии*.

В Студийском уставе XII в. стихиры «Сия глаголет Иосиф», вопреки указанию в [Зализняк, Малыгин, Янин 2002: 306], нет [Пентковский 2001: 306]. Нет ее и в соответствующем разделе декабрьской служебной минеи из Синодального собрания (Син. 162), изданной в [Rothe 1999]. Комментируя состав того комплекта, в который входит данная минея, Горский и Невоструев касаются и состава стихир: «Во многих службах недостает некоторых стихир, или они заменяются другими, не вошедшими в состав печ⟨атной⟩ Минеи, или назначается им совсем другое употребление, иногда же оказывается и избыток». О многочисленных отличиях именно в службе сочельника Рождества от принятой ныне печатной версии говорится, далее, в комментарии к декабрьской служебной минее XVI в. Син. 502: «Вообще в стихирах на дни предпразднства и попразднства довольно разнообразия в сравнении с печ⟨атным⟩ изданием миней» [Gorskij, Nevostruev 1964: 78, 102]. Указывают авторы и адрес недостающих текстов: «Недостающие в сих Минеях стихиры составляли в древности особую книгу под названием Стихирарь» [Там же: 78]. Однако интересующий нас текст есть не во всех стихирарях. Так, например, он не вошел в стихирарь к. XIV — нач. XV в. из собрания Троице-Сергиевой Лавры [Описание 1878: № 439 (1337)].

Наконец, в крайней правой колонке таблицы для справок помещен современный церковнославянский текст стихиры — тот самый, с которым до сих пор сопоставляли грамоту 916. Курсивом отмечены места, которые в изданиях грамоты переданы иначе. Этот текст является результатом правки служебных миней в конце XVII в. (и, возможно, более поздней — точных сведений об этом нет); он заметно отличается от традиционного текста стихирарей.

Таков состав текстов. Для удобства сопоставления они разбиты на звенья. За основу нумерации принят порядок звеньев в греческом тексте. Перейдем теперь к сопоставлению грамоты с книжной версией стихиры.

2. На фоне стихирарей грамота 916 выделяется прежде всего своим некнижным обликом: церковнославянский текст стихиры записан в ней по нормам бытового письма с отражением диалектных черт [4]. Кроме отмеченных ранее цоканья и окончания Д. ед. ж. -*ѣ* (если *дьвць* написано вместо

[4] Похожее переключение на некнижную систему встретилось, в частности, в новоторжской грамоте 17, найденной в том же 2001 году. Там фрагмент проповеди, известной под именем Кирилла Туровского, переписан, по выражению А. А. Зализняка, «по-домашнему» [НГБ XI: 133].

греческий текст (Sophronios 1860, col. 4005)	БГ 916 2-й пол. XIII в. (Зализняк 2004, 523)	стихирарь БАН 34.7.6 XII в. л. 83 об. — 84	печатная Минея (Миніа 1894, л. 230)
(1) τάδε λέγει Ἰωσὴφ πρὸς τὴν Παρθένον·	(1) (с)[и] ґл҃ть есиѳ[о] (ко) дьвць	(1) сице глаголеть ишсифъ къ дѣвици	(1) Сїѧ глаголетъ ꙗсифъ к д҃вѣ:
(2) Μαρία, τί τὸ δρᾶμα τοῦτο, ὃ ἐν σοὶ τεθέαμαι;	(2) мариє : цто дьло се єжь тьбь вижю	(2) мариє чьто дѣло се ꙗже въ тебє вижоу	(2) марꙗ, что дѣло сїе, еже въ тебѣ зрю;
(3) Ἀπορῶ, καὶ ἐξίσταμαι, καὶ τὸν νοῦν καταπλήττομαι· λάθρα τοίνυν ἀπ᾽ ἐμοῦ γενοῦ ἐν τάχει·	(3) ньдоѹмью и дивлюсѧ и ѹмомь ѹжасаюсѧ : таї ѿ мьнь бѹди скоро	(3) недооумѣю и дивлюсѧ и оумъмь оужасаюсѧ таи ꙗынѣ отъ мене боуди скоро	(3) недоѹмѣю и оудивлѧюсѧ, и оумомъ оужасаюсѧ: отай *оубѡ* ѿ мене бѹди вскорѣ.
(2′) Μαρία, τί τὸ δρᾶμα τοῦτο, ὃ ἐν σοὶ τεθέαμαι;		(2′) мариє чьто дѣло се ꙗже въ тебє вижоу	(2′) марꙗ, что дѣло сїе, еже въ тебѣ вижѹ;
(4) Ἀντὶ τιμῆς αἰσχύνην, ἀντ᾽ εὐφροσύνης τὴν λύπην, ἀντὶ τοῦ ἐπαινεῖσθαι τὸν ψόγον μοι προσήγαγες·	(6) и бы ѿ цр҃кви и ѿ ерьи ѧко гн҃ю та приѧхо	(4) за чьсть срамотоу за веселиє скърбь за не хвалитисѧ хоулоу ми принесла ꙗси	(4) за честь, срамотѹ: за веселїе, скорбь: вмѣстѡ еже хвалитисѧ, оукоризнѹ *ми* принесла еси.
(5) οὐκέτι φέρω λοιπὸν τὸ ὄνειδος ἀνθρώπων·		(5) къ томоу не тьрплю оуже поношении чловѣчьскъ	(5) ктомѹ не терплю оуже поношенїи человѣческихъ:
(6) ὑπὸ γὰρ ἱερέων ἐκ τοῦ ναοῦ ὡς ἄμεμπτον Κυρίου σε παρέλαβον·	(4) хѹлѹ ми приньсла еси за цьсть срамѹтѹ за вьсьлє скорбь за нь хвалитисѧ	(6) ибо ѡтъ иѥреи и отъ цьркъвє ꙗко непорочьноу господьнѧ та приѧхъ	(6) ибо ѿ іереи изъ ц҃ркве гдни ꙗкѡ непорочнѹ тѧ прїѧхъ,
(7) καὶ τί τὸ ὁρώμενον;		(7) нъ чьто видимоє •	(7) и что видимое;

дьвиць) [Зализняк 2004: 523], характерна в этом отношении замена имени *Иѡсифъ* на *Есивъ*, т. е. на форму, принятую в новгородском обиходе и в берестяных грамотах. В Новгородской летописи эта форма предпочтительна для именования персонажей новгородской истории, как светских (посадников, горожан), так и духовных (игумена Юрьева монастыря), в то время как форма *Иѡсифъ* используется как наддиалектное имя «чужих» духовных лиц неновгородского происхождения (например, киевского митрополита или константинопольского патриарха) и библейских персонажей (в том числе мужа Марии) [НПЛ: указатель].

Главные отличия берестяной версии стихиры от книжной лежат, однако, в области синтаксиса: построение текста в грамоте настолько существенно иное, чем в стихирарях и в греческом оригинале, что грамота 916 может расцениваться как самостоятельная версия текста. А. А. Зализняк отметил замены *тьбь* вместо *во тьбь*, *ибы* вместо *ибо*, *зань* вместо *заньжь*, в которых, по его мнению, «можно предполагать как простую описку, так и то, что писавший плохо понимал соответствующее место и переосмыслял его по-своему». К числу ошибок отнесены также согласование определения *господню* с именем Марии, перестановки и пропуски во второй части текста. «Вероятно, — пишет в своем комментарии А. А. Зализняк, — в грамоте № 916 текст тропаря записан по памяти, отсюда искажения; но не исключено, что искажения имелись уже в том письменном тексте, с которого списывал или который заучил наизусть наш писец» [Зализняк 2004: 523].

Теперь текст грамоты предстает в ином, более выгодном свете. Некоторые искажения и ошибки оказываются мнимыми. Так, эпитет *гню* (звено 6) совершенно правильно отнесен в грамоте к Марии, а не к церкви. Такое же согласование в стихирарях[5], что соответствует греч. ὡς ἄμεμπτον Κυρίου, а вот в печатных минеях ошибочно *изъ цркве гдни*[6].

Не подтверждается и неправильность оборота *за нь хвалитисѧ* (звено 4). Данная конструкция читается во всех стихирарях и несомненно принадлежит древнему переводу. Для инфинитивного оборота здесь есть прямая опора в греческом тексте, где использовано сочетание предлога ἀντί ‘вместо’ и субстантивированного инфинитива τοῦ ἐπαινεῖσθαι (ἐπαινέομαι ‘я хвалюсь; меня хвалят’), которое можно перевести ‘вместо хвалы’ или более буквально ‘вместо того, чтобы мне быть хвалимым / меня хвалили’. В качестве эквивалента ἀντὶ τοῦ при инфинитиве здесь выступает сочетание *за не*, имеющее заместительное значение и тем самым семантически не тождественное тому значительно более распространенному *за не*, которое рано слилось в союз и при переводе греческих инфинитивных конструкций

[5] В чтении стихираря БАН 34.7.6 (см. таблицу) *ѧ* в окончании — очевидная описка (предвосхищение *ѧ* в *тѧ*); в Син. 572 и Син. 589 на этом месте правильное *-ю*.

[6] Возможно, редакторы поддались инерции частого в богослужебных книгах сочетания *церковь господня*.

со значением причины могло соответствовать как διὰ τό, так и ἀνθ᾽ ὧν (равносильному ἀντὶ τοῦ) [ССС I: 649, 626; СДЯ III: 328–329]. Употребление *за не* в значении ‘вместо’ было редким. Оно встречается, в частности, в Шишатовацком апостоле 1324 г. сербской редакции: Иа. 4,15 *за нѥ глати вамъ* (ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶς); в Христинопольском апостоле XII в. русской редакции в этом месте читается *за нѥже бы глати вамъ* [ССС I: 650], а в Геннадиевской библии 1499 г. и Острожской 1581 г. — *вмѣсто еже бы глати вамъ* ‘вместо того, чтобы вам говорить’ [Библия 1499: 8, 118; Библия 1581: л. 18 5-й паг.]. Аналогичные изменения претерпела и конструкция *за не хвалитисѧ* в стихире «Сия глаголет Иосиф»: в XVII в. она была исправлена на *вмѣсто еже хвалитисѧ*. Союз *зане*, наряду с *за еже* и *занеже*, воспринимался к этому времени как союз со значением причины, причем *зане и занеже* употреблялись, как правило, в глагольно-личной конструкции, а *за еже* — при инфинитиве[7]. Естественно поэтому, что для выражения заместительного значения в контексте стихиры более правильным справщики считают сочетание *вмѣсто еже*, на которое они и заменяют древнее *за не*[8].

Таким образом, искажений в берестяной версии стихиры оказывается меньше, чем представлялось до сих пор.

3. Реальный объем изменений, внесенных автором грамоты в текст стихиры, таков (графико-орфографическая сторона дела не в счет):

(2) *въ тебѣ → тьбь*

В стихирарях и печатных минеях — *въ тебѣ*, что точно повторяет греческое ἐν σοί. Автор грамоты счел это сочетание, по-видимому, непонятным или способным вызвать затруднения (если предназначал свой текст для других). Его вариант А. А. Зализняк переводит следующим образом: «Что это за дело, что я тебя [такою] вижу?» [Зализняк 2004: 523].

---

[7] В грамматике М. Смотрицкого (1619) — важнейшем источнике нормы в эту эпоху — употреблению инфинитивных конструкций с предлогами посвящен специальный раздел, в котором речь идет и о сочетании *за еже* с инфинитивом: «Еже, соузъ, неопредѣленому предложеное многажды предлоги ко, ѿ, по, за, во, ѡ, восприемлетъ: ꙗкѡ, ко еже чести, πρὸς τὸ λέγειν, до читаньѧ: ⟨…⟩ за еже чести, διὰ τὸ λέγειν, длѧ тогѡ же читалъ ⟨…⟩» [Smotrycкyj 1974: 217; ср. в московском издании 1648 г.: Грамматика 1648: 354; ср. СлРЯ XI–XVII вв., 5: 128, значение 10]; о синтаксическом распределении *зане*, *занеже* и *за еже* см. [Smotrycкyj 1974: 217; ср. Грамматика 1648: 354].

[8] В заместительном значении *за* и *въ мѣсто* синонимичны, ср. в Новгородской летописи о безвременной смерти молодого князя Феодора Ярославича: (1233) И кто не пожалуеть сего: сватба пристроена, меды изварены, невѣста приведена, князи позвани; и бысть *въ веселия мѣсто плачь и сѣтование* [НПЛ: 72; ср. СлРЯ XI–XVII вв., 2: 234].

(3) *таи нынѧ* → *таи*

Здесь оставлено только самое существенное для смысла фразы: *таи отъ мене боуди скоро*.

(2′) Опущен риторический повтор звена (2).

(4–7) На этом участке перемены наиболее значительны. Содержание этой части текста сжато до двух звеньев — (4) и (6), которые характерным образом перестроены. Звено (5) опущено, а звено (6), в котором сообщается о главном событии, из постпозитивного придаточного причины к (5) превращено в самостоятельное предложение и вынесено вперед. Союз *ибо* преобразуется при этом в сочетание *и бы*, где *бы* — аористная форма 3 л. ед. без приращения[9]. Такой оборот используется в памятниках, как правило, для того, чтобы ввести некоторую ситуацию: *и бы*(*сть*) ‘и было / случилось так, что’, ср. в Новгородской летописи и в Книге Еноха:

1216: *И бысть* заутра, высла князь Гюрги съ поклономъ къ княземъ [НПЛ: 56];

1238: *И бысть* на заутрье, увидѣ князь Всеволодъ и владыка Митрофанъ, яко уже взяту быти граду, внидоша въ церковь [НПЛ: 75];

И бы[с] егда гл҃аше Нирь къ женѣ своей Сопанимѣ паде Сопанима на ногоу Ниревоу и оумрѣ[т] [Соколов 1899: 72].

Использование в грамоте бессоюзной конструкции вместо гипотаксиса книжной версии создает эффект простоты и внятности: «И было (так), — говорит Иосиф, — от церкви и от иереев принял я тебя как божью (деву)».

(4) Глагол перенесен с конца фразы (как в греческом и церковнославянском) в ее начало, в результате чего конструкция фразы сдвинулась, а с нею вместе нарушились и пары противопоставленных друг другу понятий: вместо *за чьсть срамотоу*, *за веселиѥ скърбь*, *за не хвалитисѧ хоулоу* возникли пары *хѹлѹ... за цьсть*, *срамѹтѹ за вьсьлье*, *скорбь за нь хвалитисѧ*. Принцип антитезы при этом сохранился, хотя и (с семантической точки зрения) в смазанном виде. Фраза с инверсией *за А В... принесла* оказалась преобразованной во фразу с прямым порядком слов типа *А принесла за В*.

(6) *ѡтъ иѥреи отъ цьркъве* → *ѿ цр҃кви и ѿ ерьи*

Славянский переводчик стихиры использовал *отъ* для перевода двух разных предлогов. В греческом здесь в одном случае инструментальный ὑπό (ὑπὸ γὰρ ἱερέων ‘от иереев’), а в другом случае — ἐκ с локальным значением (ἐκ τοῦ ναοῦ ‘из храма’). Разночтения в рукописях стихирарей по-

[9] Такая форма характерна, как показала А. А. Пичхадзе, для определенных традиций древнерусской книжности, в частности, для летописей и для традиции севернорусского происхождения, представленной в «Житии Андрея Юродивого» [Пичхадзе 2006].

казывают, что для средневековых писцов это место было трудным. В трех стихирарях XII в. здесь читается бессоюзное, как и в греческом, словосочетание *ѡтъ иѥреи отъ цьркъве* (Син. 572, РНБ Q.п. I. 15 и ЦНБ 10 — РГБ, Гр. 47); в стихираре конца XV в. из собрания Троицкой Сергиевой лавры № 440 выбран вариант с повторяющимся союзом *и*: *и ѡтъ иерѣи и ѡтъ цьркы*; наконец, в нескольких стихирарях (кроме БАН 34.7.6, также в Син. 589 XII в., в стихираре из собрания Троицкой Сергиевой лавры к. XV — нач. XVI в. № 441 и в Праздниках XVII в. того же собрания) оставлен один соединительный союз: *ѡтъ иѥреи и отъ цьркъве*. Автор грамоты 916 приходит к наиболее радикальному решению: на первое место он ставит *ѿ цр҃кви*, пробуя, очевидно, прояснить смысл и сказать ‘из церкви и от иереев’.

(6) *ꙗко непорочьноу господьню* → *ꙗко гн҃ю*

Опущено *непорочьноу* (греч. ἄμεμπτον) в редком субстантивированном употреблении[10].

4. Названные переделки можно суммировать следующим образом: в грамоте 916 текст стихиры сокращен; опущены повторы и второстепенные в смысловом отношении элементы текста; в некоторых случаях пропуску или замене подвергнут книжный оборот или грецизм. Насколько преднамеренны эти изменения и пишет ли автор (вероятно, священник[11]) по памяти или списывает с рукописи, сказать трудно. Явных оснований для того, чтобы предпочесть одну из названных возможностей, у нас нет. В пользу сознательного редактирования говорит, может быть, то, что берестяная версия стихиры лишена, как выяснилось, таких грубых ошибок, как нарушение согласования или аграмматизм конструкции. Как бы то ни было, в результате переделок мы имеем грамотный текст, записанный по бытовой системе и представляющий собой краткую версию гимнографического текста[12].

---

[10] В латинском переводе, которым издатели греческого текста снабжают его публикацию, эта проблема решена другим путем — здесь восстановлено соотнесенное с *inviolatam* ‘непорочную’ существительное *puellam* ‘деву’: «Nam a sacerdotibus e templo tanquam *inviolatam* Domini *puellam* te accepi» [Sophronios 1860: 4006].

[11] Грамота найдена на усадьбе Троицк. Т, принадлежавшей клирикам Троицкой церкви [Зализняк, Малыгин, Янин 2002: 3].

[12] Составлялась ли такая адаптированная версия исключительно для себя (потому что текст по какой-то причине показался примечательным) или она подразумевала дальнейшее использование — также неясно. При сравнении берестяной версии стихиры с книжной создается впечатление (которое, конечно, может быть обманчивым), что, внося в текст перемены, автор хочет сам получше понять его смысл или разъяснить его кому-то другому. Не исключено, что грамота 916 была заготовкой для проповеди. Размеры грамоты (29 см, т. е. немного меньше, чем разворот нынешней школьной тетради) вполне соответствуют карманной записи или черновику, чего нельзя сказать о двух других «литературных» грамотах — новгородской 893 и новоторжской 17 (размером, соответственно, 62 и 55 см).

Сюжет «укорения Марии», восходящий к апокрифическому «Протоевангелию Иакова» (гл. XIII–XIV)[13], известен, кроме гимнографии, также в гомилетике и храмовой росписи. Он использован, в частности, в слове Иоанна Златоуста на Благовещение, рано переведенном у славян[14], и включен в иконографическую программу Благовещенского монастыря в Новгороде (XII в.; отмечено в [Зализняк, Малыгин, Янин 2002: 5])[15]. Берестяная грамота 916 добавляет к этому комплексу новую версию, но вопрос о ее назначении должен быть пока оставлен открытым.

Литература

Библия 1499 — Библия 1499 года и Библия в синодальном переводе с иллюстрациями. В 10 т. Т. 8. М., 1992.

Библия 1581 — Библїа. Фототип. переизд. текста с изд. 1581 года. М.; Л., 1988.

Грамматика 1648 — Грамматика 1648 г. / Предисл., науч. коммент., подгот. текста и сост. указ. Е. А. Кузьминовой. М., 2007.

---

[13] Ср. соответствующий пассаж в русском переводе И. С. Свенцицкой: «Шел уже шестой месяц (ее беременности), и тогда Иосиф вернулся после плотничьих работ и, войдя в дом, увидел ее беременною. И ударил себя по лицу, и упал ниц, и плакал горько, говоря: как теперь буду я обращаться к Господу Богу моему, как буду молиться о девице этой, ибо я привел ее из храма девою и не сумел соблюсти? Кто обманул меня? ⟨…⟩ И встал Иосиф, и позвал Марию, и сказал: Ты, бывшая на попечении Божием, что же ты сделала и забыла Господа Бога своего? Зачем осквернила свою душу, ты, которая выросла в Святая святых и пищу принимала от ангела? Она тогда заплакала горько и сказала: чиста я и не знаю мужа. И сказал ей Иосиф: Откуда же плод в чреве твоем? Она ответила: Жив Господь Бог мой, не знаю я, откуда. И Иосиф испугался, и успокоен был ею, и стал думать, как поступить с ней. И говорил Иосиф: если я утаю грех ее, то стану нарушителем Закона, а если расскажу о нем сынам Израиля, то предам невинную кровь на смерть. Что же мне сделать с нею? Отпущу ее втайне (из дому)» [Свенцицкая, Трофимова 1989: 122].

[14] Перевод этого текста содержится в Супрасльской рукописи (гл. 20). Реплика Иосифа, смущенного видом Марии (*ѡ горе мьнѣ рече· что сътворѫ азъ· лице дѣвиче· ходъ дѣвичъ· очи дѣвичи· осклабьєниє дѣвиче· бесѣда дѣвича· а ѫтроба не дѣвича· нъ матерѣ*), звучит здесь так: **повѣждъ ми рече ѡ марие · что се бъстъ не потаи мене еже ти сѧ сълоуши · нѣ сьде никогоже сеѧ бесѣдъі слъшѧ · вѣдѣ хранити таиноє · никомоуже сего нѣ слъшати · тъчыѭ мьнѣ єдномоу повѣждъ · отъкѫдоу се єсть · семоу отьца покажи ми · да тѧ проштѫ грѣха** [Заимов, Капалдо 1982, 1: 240–241].

[15] Не думаю, что появление данного сюжета в росписи Благовещенского монастыря объясняется личными предпочтениями архиепископа Илии, как предположили публикаторы грамоты; скорее дело здесь в традиционной связи сюжета «укорения Марии» с Благовещением (ср. приурочение упомянутой проповеди Иоанна Златоуста).

Заимов, Капалдо 1982, 1 — Й. З а и м о в, М. К а п а л д о. Супрасълски или Ретков сборник. Т. 1–2. София, 1982.

Зализняк 2004 — А. А. З а л и з н я к. Древненовгородский диалект. 2-е изд., перераб. с учетом находок 1995–2003 гг. М., 2004.

Зализняк, Малыгин, Янин 2002 — А. А. З а л и з н я к, П. Д. М а л ы г и н, В. Л. Я н и н. Берестяные грамоты из Новгородских и Новоторжских раскопок 2001 г. // ВЯ. 2002. № 6. С. 3–11.

Захарьина 2006 — Н. Б. З а х а р ь и н а. Русские певческие книги: Типология, пути эволюции: Автореф. дис. ... докт. искусствовед. наук. М., 2006.

Миніа 1894 — Миніа. Мѣсѧцъ декемврїй. Кіевъ, 1894.

НГБ XI — В. Л. Я н и н, А. А. З а л и з н я к, А. А. Г и п п и у с. Новгородские грамоты на бересте: (Из раскопок 1997–2000 гг.). Т. XI. М., 2004.

НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов (Полное собрание русских летописей. Т. 3). М., 2000.

Описание 1878 — Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Ч. I. М., 1878.

Пентковский 2001 — А. М. П е н т к о в с к и й. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М., 2001.

Пичхадзе 2006 — А. А. П и ч х а д з е. Южнославянские традиции в древнерусской письменности: приращение *-тъ/-сть* в аористе // Вереница литер: К 60-летию В. М. Живова. М., 2006. С. 129–146.

Свенцицкая, Трофимова 1989 — И. С. С в е н ц и ц к а я, М. К. Т р о ф и м о в а. Апокрифы древних христиан: Исследование, тексты, комментарии. М., 1989.

Сводный каталог 1984 — Сводный каталог славяно-русских книг, хранящихся в СССР. XI–XIII вв. М., 1984.

СДЯ III — Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. III. М., 1990.

СлРЯ XI–XVII вв. — Словарь русского языка XI–XVII вв. Т. I–XXVII. М., 1975–2007.

Соколов 1899 — М. С о к о л о в. Материалы и заметки по старинной славянской литературе. Вып. 3. VII: Славянская книга Эноха. II: Текст с латинским переводом // ЧОИДР. IV. 1899.

ССС I — Словарь старославянского языка. Репр. изд. Т. 1. СПб., 2006.

Gorskij, Nevostruev 1964 — A. G o r s k i j, K. N e v o s t r u e v. Opisanie slavjanskich rukopisej Moskovskoj Sinodal'noj biblioteki. Unveränderter Nachdruck (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. T. II/5). Wiesbaden, 1964.

Rothe 1999 — Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember auf der Grundlage der Handschrift Sin. 162 des Staatlichen Historischen Museums Moskau (GIM). Historisch-kritische Edition. Teil 3: 20. bis 24. Dezember / Besorgt und kommentiert von D. Christians, D. Stern und A. Wöhler; Hrsg. H. Rothe (= Patristica slavica, Bd. 6). 1999.

Smotryćkyj 1974 — M. S m o t r y ć k y j. Hrammatiki slavenskija pravilnoe syntagma. Jevje 1619 / Herausgegeben und eingeleitet von O. Horbatsch (= Specimina philologiae slavicae, Bd. 4). Frankfurt a. Main, 1974.

Sophronios 1860 — ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ ΤΩΝ Ὡρῶν ΠΟΙΗΜΑ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ// Patrologiae cursus completus. Series graeca / Accuravit J. P. Migne. T. 87. Paris, 1860. Col. 4005–4010.

Wellesz 1947 — E. W e l l e s z. The Nativity Drama of the Byzantine Church // Journal of Roman Studies, XXXVII (1947). P. 145–151.

Рукописи

1. Стихирарь минейный XII в. ГИМ (Син. 589) [Gorskij, Nevostruev 1964: 323–324].
2. Стихирарь минейный XII в. ГИМ (Син. 572) [Gorskij, Nevostruev 1964: 337–338].
3. Стихирарь минейный к. XII в. ГИМ (Син. 279) + РГБ (Григ. 47) + ЦНБ АН УССР (Коллекция отрывков № 10) [Сводный каталог, № 130–132][16].
4. Стихирарь минейный XII в. БАН 34. 7. 6 [Сводный каталог 1984, № 98].
5. Стихирарь минейный XII в. РНБ Q. п. I. 15 [Сводный каталог 1984, № 101].
6. Стихирарь месячный к. XV в. РГБ, Троицк. [Описание 1878, № 440].
7. Стихирарь месячный к. XV — нач. XVI в. РГБ, Троицк. [Описание 1878, № 441].
8. Праздники двунадесятые XVII в. РГБ, Троицк. [Описание 1878, № 448].

[16] Основная часть этого стихираря хранится в ГИМ [Сводный каталог 1984, № 131]. Стихиры сочельника Рождества пришлись на два фрагмента этой рукописи, вошедших в собрания Центральной научной библиотеки Академии наук Украины [Сводный каталог 1984, № 132] и РГБ [Сводный каталог 1984, № 130]. Обрыв текста приходится как раз на нашу стихиру и проходит через слово *цьркъ*|| *ве* [Сводный каталог 1984: 155–157].

ИНФОРМАЦИОННО-ХРОНИКАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Хроника I Международной научной конференции «Культура русской речи»

15–17 октября 2007 г. в подмосковном пансионате РАН «Звенигородский» прошла I Международная научная конференция «Культура русской речи», организованная отделом культуры русской речи Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках федеральной целевой программы «Русский язык» (2006–2010 гг.).

Участники конференции представляли прежде всего российские научно-исследовательские, образовательные, издательские и просветительские учреждения (Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Омска, Петрозаводска, Нижнего Тагила, Твери, Канска), а также Белоруссии (Минск) и Германии (Потсдам). Всего на конференции было сделано 70 докладов, из них 14 пленарных и 56 секционных.

Со вступительным словом к участникам конференции обратился директор ИРЯ РАН, член-корреспондент РАН *А. М. Молдован* (Москва), отметивший актуальность проблематики конференции и высказавший надежду на то, что доклады и дискуссии участников будут способствовать решению теоретических проблем русистики и выработке единых нормативных орфоэпических, орфографических, грамматических и др. рекомендаций, которыми смогут руководствоваться в своей практической деятельности преподаватели школ и вузов, журналисты и книгоиздатели.

Первое пленарное заседание открыл доклад председателя Орфографической комиссии РАН *В. В. Лопатина* (ИРЯ РАН, Москва) «Упорядочение орфографических правил: итоги и перспективы». В докладе был охарактеризован недавно опубликованный полный орфографический справочник «Правила русской орфографии и пунктуации»; рассмотрены новые его разделы (отсутствующие в правилах 1956 г.); затронуты проблемы и типология орфографической вариативности; намечены пути дальнейшей работы (прежде всего лексикографической) в области русской орфографии. Обсуждение правил русской орфографии и пунктуации продолжилось на секции «Орфография и орфоэпия» и в рамках круглого стола, посвященного актуальным задачам орфографической работы.

В докладе *О. Б. Сиротининой* (СГУ, Саратов) «Современное состояние русской речи и его соотношение с нормами и системой языка» были представлены следствия двадцатилетней «свободы» слова в СМИ (массовое огрубление речи, «мода» на жаргонные диффузы, обедняющие синонимическую систему языка), выделены факторы, повлиявшие на изменение системы языка, и названы необходимые ограничения для изменений кодификации. В докладе *О. А. Михайловой* (УрГУ, Екатеринбург) «Кодификация орфоэпических норм в отечественной ортологической лексикографии: к вопросу о различиях» был дан сопоставительный анализ трех современных орфоэпических словарей: «Орфоэпического словаря русского языка» под редакцией Р. И. Аванесова (1997 г.), «Словаря трудностей произношения и уда-

рения» (составитель К. С. Горбачевич, СПб., 2000 г.) и словаря из серии «Давайте говорить правильно!» (5-е издание, СПб., 2005 г.). *Н. В. Богданова* (СПбГУ, Санкт-Петербург; доклад «Вставные конструкции в звучащем спонтанном монологе (к проблеме построения грамматики русской речи)») представила типологию вставных конструкций (ВК), выявленных на материале бытовых спонтанных монологов разного типа. *М. А. Кронгауз* (РГГУ, Москва) остановился на обсуждении различных форм и способов существования «чужого» слова в русском языке. В докладе рассматривались различные стратегии отчуждения и освоения слова. *И. Т. Вепрева* (УрГУ, Екатеринбург) в своем докладе обратилась к осмыслению одной из разновидностей языковой игры, возникшей в интернет-общении, и проанализировала манипуляции с орфографическим обликом слова. Завершилось первое заседание конференции докладом заведующего отделом культуры русской речи ИРЯ РАН *А. Д. Шмелева* (Москва) «Эволюция русской языковой картины мира и культура речи». В докладе была высказана мысль о необходимости модификации самой концепции культуры речи: она должна стать динамичной и включить в себя представления о закономерностях изменения языковой концептуализации мира и взаимосвязи между социальными, культурными и языковыми процессами.

Работа конференции продолжилась во второй половине дня 15 октября по трем секциям — «Орфография и орфоэпия», «Лексика и фразеология» и «Грамматика и прагматика».

Работа секции «Орфография и орфоэпия» началась с доклада *С. М. Кузьминой* (ИРЯ РАН, Москва) «Узус против нормы в орфоэпии и орфографии», в котором сопоставлялись возможности кодификации в области орфоэпической и орфографической нормы, рассматривалась роль антиномии нормы и узуса как главной движущей силы эволюции произношения и письма, анализировались типы взаимодействия нормы и узуса в современной орфографии. На секции обсуждалось современное состояние кодификаторской деятельности орфографистов. *Н. В. Николенкова* (МГУ, Москва) высказала неодобрение тенденции включения в орфографические словари и справочники разговорной лексики, что, по ее мнению, дестабилизирует языковую норму.

В работе секции приняли участие сотрудники «Справочных служб русского языка» и справочных интернет-порталов, а также ведущие радио- и телепередач о русском языке. Вопросы рядовых носителей языка, адресованные службам русского языка, передачам о языке и интернет-порталам, позволяют филологам выделить основные проблемные точки русской орфоэпии, орфографии и пунктуации, а также способствуют поиску путей решения спорных вопросов кодификации нормы (правописание новых заимствований, строчные и прописные буквы в названиях, кавычки и т. п.). Этим вопросам был посвящен доклад *О. М. Грунченко* (ИРЯ РАН, Москва) «Трудные случаи русской орфографии (по материалам „Справочной службы русского языка“)». *В. В. Свинцов* и *В. М. Пахомов* (интернет-портал ГРАМОТА.РУ, Москва) в докладе «„Горячие точки“ русского правописания (по материалам „Справочного бюро“ интернет-портала http://www.gramota.ru/)» сделали выводы о том, какие разделы орфографических правил можно назвать «горячими точками» русского правописания (проблема употребления прописных и строчных букв, слитного, раздельного и дефисного написания, постановка кавычек в сфере номинации, орфографический облик новых заимствований и т. п.). *Е. Н. Геккина* (ИЛИ РАН, Санкт-Петер-

бург) в докладе «Кавычки vs свобода слова: вертикали выбора (по материалам справочной службы интернет-портала www.gramma.ru)» представила типологию вопросов о кавычках, опирающуюся на архивный материал справочной службы портала и позволяющую выделить в качестве самых проблемных случаи употребления слов и словосочетаний с переносным значением; составных конструкций, включающих видовые или индивидуальные наименования (ср. названия предприятий, торговые названия изделий); номинаций в метаязыковой функции. *Г. С. Куликова* (СГУ, Саратов) в докладе «„Служба русского языка“ как средство просвещения населения и источник информации о его речевой культуре» представила концепцию передачи «Служба русского языка» на саратовском радио (ГТРК «Саратов»).

Работа секции «Лексика и фразеология» началась с выступлений, посвященных текстам художественной литературы, затем продолжилась докладами, посвященными фольклорным текстам, а завершилась докладами о жаргоне и обсценной лексике. *М. В. Ляпон* (ИРЯ РАН, Москва) в докладе «Авторский эксперимент как верификация языковой нормы» (на материале текстов М. Цветаевой и И. Бродского) отметила, что регламентация предполагает, с одной стороны, защиту от натиска явной антинормы, с другой стороны, требует внимания к идионорме выдающегося субъекта литературного процесса, сотворчество которого (включая лексические окказионализмы и аграмматизмы) контролируется творческой интуицией. В языковом эксперименте писателя условно разграничиваются два вида «неповиновения»: собственно лингвистическое и вербально-логическое. Далее прозвучали два доклада преподавателей Театрального института им. Бориса Щукина (Москва) *М. П. Оссовской* и *А. М. Бруссер*. Оба выступления («Изучение и освоение речевых средств выразительности — составная часть языковой культуры общества» и «Анализ художественных текстов как способ овладения речевыми средствами выразительности») имели подзаголовок «Опыт театральной Школы». В первом докладе речь шла о том, что научиться грамотно говорить можно через умение грамотно читать вслух. Во втором докладе было убедительно показано, что анализ художественного текста — это еще один способ овладения речевыми средствами выразительности.

В докладе *О. С. Боярских* (Нижнетагильская социально-педагогическая академия) «Русский сказочный фольклор как источник прецедентных феноменов, функционирующих в дискурсе российских печатных СМИ» было отражено, что важнейшими составляющими корпуса когнитивно значимых прецедентных единиц являются прецедентные феномены, источником которых послужили русские народные сказки. В докладе *Е. В. Штельмахина* (ИФИ СПбГУ, Санкт-Петербург) «Роль метафоры в лексикографическом отображении языковой картины мира» говорилось о том, что одной из особенностей современного функционирования лексики в языке является повышенная метафоричность по сравнению с предыдущими этапами ее развития. В докладе *А. Н. Баранова* и *Д. О. Добровольского* (ИРЯ РАН, Москва) «Особенности формального и содержательного варьирования пословиц в современных СМИ) обсуждались проблемы описания варьирования во фразеологии. В качестве объекта исследования были выбраны модификации формы пословиц в текстах средств массовой информации, представленных в русскоязычном Интернете.

В вызвавшем большой интерес докладе *М. Ю. Михеева* (ВЦ МГУ, Москва) «Совмещение значений при словосло-

жении, построении фразеологических оборотов в просторечии, жаргоне, студенческом сленге и русском мате» говорилось о наложении шаблонов и паронимическом совмещении значений при образовании обсценной лексики на материале словосложения, словообразования и фразеологии русского мата. Последний доклад на секции «Лексика и фразеология» — доклад *Н. Д. Севастьяновой* (ИФИ СПбГУ, Санкт-Петербург) «Жаргонная лексика современного русского языка и нормативная лексикография» — был посвящен проблеме описания жаргонной лексики в «Нормативном толковом словаре живого русского языка». В докладе представлены практические пути решения некоторых проблем, связанных с включением жаргонной лексики в словарь (проблемы отбора словника, возможности выработки типовых толкований, сложности формирования синонимических рядов, представление иллюстративного материала).

В рамках секции «Грамматика и прагматика» были вынесены на обсуждение вопросы изменения коммуникативных стратегий, тенденций развития в морфологии и синтаксисе. *Е. В. Муравенко* (РГГУ, Москва) в докладе «Формирование направительных предлогов-послелогов *навстречу*, *наперерез*, *наперехват*, *наперекрёст* в русском языке» отметила, что формирование перечисленных предлогов характеризуют общие процессы (образование производного предлога из сочетания первообразного предлога *на* с формой винительного падежа отглагольного существительного; колебания слитного / раздельного написания; вариативность в управлении и нек. др.). Все эти процессы прослеживаются при образовании всех четырёх предлогов, но для каждого из них происходят в разное время (в названии доклада предлоги перечислены в порядке их появления в языке). *В. М. Круглов* (СПбГУ, Санкт-Петербург) в докладе «Формирование современных норм русского литературного языка: употребление коррелятов в сложноподчиненных предложениях с придаточными относительными» представил результаты исследования на материале текстов Петровской эпохи механизма выхода из употребления конструкций с повтором существительного в придаточном предложении, широко распространенных в приказном языке среднерусского периода. В докладе *Г. М. Васильевой* и *И. Н. Левиной* (РГПУ, Санкт-Петербург) рассматривались проблемы отражения литературной нормы в лексико-синтаксическом словаре — словаре нового типа, целью которого является устранение лакуны в описании синтаксической системы русского языка, что и позволяет сделать лексикографическое представление корпуса моделей сложноподчиненного изъяснительного предложения. Доклад *А. А. Яскевича* (Институт языкознания НАН Беларуси) был посвящен влиянию, которое оказывает разговорная письменная речь на смежные сферы. В докладе рассматривались изменения, затронувшие формальную сторону слов: трансформации произношения, написания, а также иные случаи коррекции семантической нагрузки слов и их элементов путем модификации формального облика языковых единиц.

В двух следующих докладах говорилось об изменениях в морфологической системе русского языка. *П. Коста* (Потсдамский университет, Германия) в докладе «Употребление имен числительных типа „до пятьдесяти трех лет“ в Интернете — норма, узус или систематическая ошибка?» рассмотрел склонение количественных числительных 50, 70 в Интернете. *И. А. Шаронов* (РГГУ, Москва) в своем выступлении «О новой тенденции в изменении числительных» поставил на обсуждение вопрос о роли

языковой нормы в замедлении изменений языковых явлений, высвеченных ортологией.

Несколько докладов было посвящено интернет-коммуникации. *А. В. Занадворова* (ИРЯ РАН, Москва) в докладе «Нормы речевого поведения в нерегламентируемых сферах общения: речевой этикет в Живом журнале» рассмотрела процесс стихийной (т. е. идущей снизу, от пользователя, а не навязываемой сверху) регламентации речевого поведения в личных журналах пользователей и в сообществах Живого журнала. *А. Н. Потсар* (СПбГУ, Санкт-Петербург) в докладе «Речевые особенности полемики в Интернете» отметила, что участники полилогов на тематических интернет-форумах, как правило, стремятся выразить себя в речи, не заботясь о поиске решения обсуждаемой проблемы. По мысли докладчика, вместо конструктивного аргументированного полилога формируется полилог фатический, для которого характерны краткость и разорванность высказываний, отсутствие структурированности, преобладание оценочных и комментирующих суждений, речевая агрессия как механизм самовыражения.

16 октября весь день работа конференции также шла по трем секциям — до перерыва по секциям «Орфография и орфоэпия», «Лексика и фразеология», «Система и норма», а после обеда по секциям «Орфография и орфоэпия», «Лексика и фразеология» и «Грамматика и прагматика».

Утреннее заседание секции «Орфография и орфоэпия» началось с доклада *С. В. Науменко* (Канский педагогический колледж) «„Орфографический фронт“ в послереформенный период (о теории и практике орфографической кодификации 30–50 гг. XX в.)», посвященного анализу разрешения ситуации «хаоса» в орфографии. Предметом рассмотрения *Е. В. Бешенковой* (ИРЯ РАН, Москва) в докладе «Написание слов с отрицанием *не* в нормативном письме и в кодификации» стала вариативность написания слов с отрицанием «не». Было продемонстрировано, что грамотное письмо не соответствует правилу, это несоответствие закрепляется словарями, но область вариативности, существующая в письме, никак не регулируется. В докладе *И. В. Нечаевой* (ИРЯ РАН, Москва) «Об основаниях орфографической нормы (на материале иноязычных неологизмов)» на конкретных примерах рассматриваются такие основания выбора нормативной орфограммы, как правила, языковые аналогии, традиция употребления, определенные тенденции развития системы письма. *Е. А. Фивейская* и *О. Н. Вербицкая* (ИФИ СПбГУ, Санкт-Петербург) в докладе «Слова в написании латиницей в нормативном словаре (к проблеме описания заимствований)» представили новый нормативный словарь, включающий в себя слова в написании латиницей. Придание статуса нормативного такому словарю вызвало споры. О других элементах нерусской графической системы в русском языке и в общем о понятии графем говорилось в докладе *С. А. Крылова* (ИВ РАН, Москва) «Графема с точки зрения семиотики». Доклад *Н. А. Федяниной* (ИРЯ им. А. С. Пушкина, Москва) «Русское ударение как проблема культуры речи» был посвящен яркой особенности современной русской речи — акцентной вариантности, рассмотренной как результат перестройки акцентной системы русского языка в процессе эволюции. Отмечена связь вариантности с подвижным ударением, влияние просторечной стихии.

Утреннее заседание секции «Лексика и фразеология» было целиком посвящено активным процессам, происходящим в лексике русского языка начала XXI века. В докладе *О. И. Северской* (ИРЯ РАН, Москва) «Заимствованные

слова: расширение и изменение значений» речь шла о трех активных процессах последних десятилетий: заимствовании иностранных слов в полном, но лексикографически не определенном объеме понятий, переосмыслении значений уже ранее заимствованных слов, изменении оценочного значения иноязычного слова. *И. Б. Левонтина* (ИРЯ РАН, Москва; доклад «Общество потребления и культура речи») отметила, что для современной языковой ситуации характерно большое количество новых явлений, многие из которых стремительно распространяются. Это не в последнюю очередь связано с динамикой языковой картины мира, в частности с существенным видоизменением целых ее фрагментов. В докладе *Анны А. Зализняк* (ИЯз РАН, Москва) «*Культурно отдыхаем*. Эволюция концепта отдыха в русском языке» рассматривалась семантическая эволюция глагола *отдохнуть* на протяжении двух столетий. В докладе *М. А. Осиповой* (ИРЯ РАН, Москва) «Успех: позиция участника и наблюдателя» речь шла о том, что в русской культуре (и советской в особенности) то, что говорящий считает своим успехом, слушающий может посчитать удачей, счастливым стечением обстоятельств. В современной речевой практике у слова *успех* формируется значение достижения, уже отмечавшееся у этого слова лексикографами в XIX веке. В докладе *Е. Я. Шмелевой* (ИРЯ РАН, Москва) «Изменения в оценке и самооценке человека в русском языке XXI века» были проанализированы слова *индивидуалист*, *эгоист* и *карьерист*, которые в последние годы приобретают положительные коннотации (ср. часто встречающиеся в Интернете сочетания *яркий индивидуалист*, *позитивный эгоист*, *успешный карьерист*), что противоречит как словарным толкованиям этих слов, так и интуиции носителей русского языка. *Е. В. Урысон* (ИРЯ РАН, Москва) в докладе «*Бродяга* и *бомж*: изменение образа бездомного» отметила, что в 90-х годах в русском языке появилось слово *бомж*, которое семантически сближается со словом *бродяга*. Новое слово обозначает, по существу, новую реалию. Слово *бродяга*, обозначающее уже несуществующий тип человека без паспорта, уходит из языка. В результате меняется данный фрагмент лексической и семантической системы языка и, следовательно, русской языковой картины мира. Доклад *А. Э. Цумарева* (ИРЯ РАН, Москва) «Обозначение качества современной продукции: неологические наблюдения» был посвящен проблеме культурно-речевой оценки новых слов. В числе лексических единиц, обозначающих качество современной продукции, наряду с лексемами *элитный*, *эксклюзивный*, *виповский*, *люксовый*, в профессиональной речи (и даже несколько шире) в последнее время стали употреблять слово *премиум* (от англ. *premium* ‘первосортный, высшего качества’) и его производные. Сложилась ситуация, при которой в речи сосуществуют два не кодифицированных словарями прилагательных *премиумный* и *премиальный*. В сообщении предпринята попытка оценить эту пару по отношению к системе, узусу и норме. В докладе *Н. Г. Брагиной* (ИРЯ им. Пушкина, Москва) «*Несвобода* в словарях и узусе» общее утверждение о том, что имена отрицательной семантики в целом имеют тенденцию к образованию своего собственного концептуального поля, которое требует отдельного описания, было проиллюстрировано на материале анализа современных употреблений слова *несвобода*.

В рамках секции «Система и норма» были прослушаны следующие доклады. *Е. С. Кара-Мурза* (МГУ, Москва) в докладе «Русский язык в рекламе: возможности законодательного регулиро-

вания» остановилась на экстралингвистическом регулировании употребления литературного русского языка. В докладе *М. В. Шульги* (МГУ, Москва) «О соотношении нормы и узуса» рассматривались факторы, регулирующие в современной речи варьирование форм им. и тв. падежей в именном сказуемом. *Е. П. Буторина* (РГГУ, Москва) в докладе «Проблемы кодификации узуса различных сфер русскоязычного общения» сообщила, что ортология в современном понимании представляет собой не столько систему запретов, сколько механизм оптимизации выбора языковых средств различных уровней для достижения конкретной коммуникативной цели. Доклад *А. А. Плетневой* (ИРЯ РАН, Москва) «Жанры текстов и грамматическая норма в современном церковнославянском языке» был посвящен проблемам функционирования современного церковнославянского языка. *А. А. Дурнева* (ИФИ СПбГУ, Санкт-Петербург; доклад «Норма и вариативность в современном русском языке: проблемы описания в „Нормативном толковом словаре живого русского языка“») остановилась на проблеме вариативности, которая требует лексикографического описания и оценки языкового материала с точки зрения соответствия языковой норме. Разработка вариантов впервые осуществляется на примере словаря синхронного типа, создаваемого в один из моментов динамического равновесия языковой системы. *Т. А. Милехина* (СГУ, Саратов) в докладе «Изменения в узусе на примере речи одного и того же человека» рассказала о трансформации картины мира (системы ценностей, традиционных этических норм) и изменении речевого поведения (огрублении речи, изменении содержания коммуникативных категорий тональности и чуждости) носителя просторечия, о чем свидетельствует анализ записей устной речи разных лет (1989 и 2007 годы).

В. И. Беликов (ИРЯ РАН, Москва) в докладе «Статистические различия в региональном лексическом узусе» остановился на частотной противопоставленности синонимов в СМИ разных городов. Доклад *М. В. Ахметовой* (журнал «Живая старина», Москва) «Региональная вариативность названий городского жилища» был посвящен практически не фиксирующейся словарями русской лексике, связанной с семантическим полем «городская недвижимость»: названиям жилых домов и типов квартир, терминам, связанным с коммунальным бытом и т. д.

На вечернем заседании секции «Орфография и орфоэпия» затрагивались проблемы не только современного литературного языка, но и разговорного русского языка. Также звучала и столь редко обсуждаемая в научной литературе проблема звучащего церковнославянского языка, в котором чрезвычайно остро стоят проблемы кодификации орфоэпических, орфографических и грамматических норм.

О. Алексей (*Агапов*) (Храм Михаила Архангела, Жуковский) в докладе «Церковнославянский язык в современном богослужении: проблема устного воспроизведения текста» отметил такую особенность звукового строя литургического текста, как наличие поэтического ритма. Проблемы орфографии современных богослужебных книг освещались в докладе *Ф. Б. Людоговского* (ИСБ РАН, МДАиС, Москва) «Орфография современного церковнославянского языка: проблема кодификации и проблема преподавания». Был поднят вопрос о способах усвоения орфографической системы: пассивный — по образцу, как это было и раньше, и активный — через усвоение системы орфографии. Истоки проблем «размытой», вариативной орфографии в современных богослужебных книгах могут восходить к тем процессам, которые были

освещены в докладе *А. Г. Кравецкого* (ИРЯ РАН, Москва) «Орфографические нормы письменного языка: споры об орфографии богослужебных книг в конце XIX — начале XX в.». Докладчик остановился на том, каким образом осуществлялось наблюдение за степенью грамматической и орфографической правильности церковнославянского языка богослужебных книг. В докладе *Т. Е. Янко* (РГГУ, Москва) была описана инновация звучащей речи, состоящая в переносе акцента в словосочетаниях типа *Соединенные Штаты* со словоформы *Штаты* на словоформу *Соединенные*: ***Соединенные*** *Штаты.* Анализу приемов, обеспечивающих предельно быструю, внятную и интонационно адекватную речь телеведущих, был посвящен доклад *Н. Ю. Ломыкиной* (МГУ, Москва) «Звучание подготовленного монолога на телевидении (В. Флярковский „Новости культуры“)».

Вечернее заседание секции «Лексика и фразеология» началось докладом *А. Д. Кошелева* (издательство «Языки славянской культуры», Москва) «О парадигмах естественного языка и общечеловеческом концепте ‘ОБМАН-ОБМАНУТЬ’». В соответствии с лексикографической традицией (А. А. Потебня, А. А. Реформатский и др.), различающей в лексическом значении лингвоспецифический компонент («ближнее значение», «значимость») и универсальный (общечеловеческий) компонент («дальнее значение», «общее значение»), в сообщении было представлено внелингвистическое (когнитивное) описание универсального компонента глагола *обмануть*, т. е. общечеловеческого концепта ‘ОБМАН-ОБМАНУТЬ’. В совместном докладе *М. А. Антошинцевой* и *Н. О. Чепурных* (ИФИ СПбГУ, Санкт-Петербург) «Эволюция консервативных участков лексической системы в современном русском языке (на материале лексики родства)» рассматривалась проблема эволюции консервативных участков лексической системы современного русского языка. В докладе был представлен краткий словарь-справочник «Лексика родства в современном русском языке», отражающий как современное состояние самой лексики родства, так и некоторые актуальные проблемы современной лексикографии. *Е. Ю. Ваулина* (ИФИ СПбГУ, Санкт-Петербург; доклад «„Интеллектуализация“ или „детерминологизация“ современного русского языка и ее влияние на развитие семантической структуры слова») отметила, что широкое распространение специальной лексики является одним из основных процессов, характеризующих современные языки. В докладе *С. Д. Шелова* (ИРЯ РАН, Москва) «Понятийная ясность научного термина и требования к терминологическим определениям» были проанализированы требования, предъявляемые к системе терминологических определений, и показано, что в разных источниках совокупность этих требований различна, причем некоторые из предъявляемых требований являются по разным причинам избыточными, а статус других остается спорным. Доклад *И. О. Ткачевой* (ИФИ СПбГУ, Санкт-Петербург) «Унификация лексикографического описания современной политической лексики» был посвящен проблеме унификации словарных толкований при описании современной политической лексики в «Нормативном толковом словаре живого русского языка». Работа секции завершилась докладом *Т. В. Базжиной* (РГГУ, Москва) «Язык власти в восприятии наивного носителя». Докладчик отметил, что среди факторов влияния на словарный состав современного русского языка особое место приобретает «словотворчество власти» — те номинации и сочетания слов, которые, описывая сферу полити-

ческого, вводятся в языковой обиход через средства массовой информации.

В секции «Грамматика и прагматика» рассматривались активные синтаксические процессы, идущие в современном русском языке. Доклад *А. В. Циммерлинга* (МГГУ, РГГУ, Москва) был посвящен нарушениям правил порядка слов и лексико-синтаксической сочетаемости в письменных текстах СМИ. В докладе *Т. Ю. Лабунской* (ИРЯ РАН, Москва) «К вопросу о согласовании сказуемого с количественно-именным подлежащим с точки зрения культуры русской речи» отмечалось, что, хотя синтаксическая связь «согласование» детально изучена и широко описана в грамматиках, до сих пор существуют не решенные до конца вопросы, связанные с координацией сказуемого с количественно-именным подлежащим. В докладе шла речь о том, почему в русском языке возникли такие «варианты» согласования подлежащего и сказуемого, чем это объясняется, какие нормативные рекомендации существуют на данный момент, на чем они основаны и соответствуют ли они речевой практике. *М. Д. Воейкова* (ИЛИ РАН, Санкт-Петербург, СПбГУ) в докладе «Выбор формы сказуемого при количественно-именных сочетаниях в роли подлежащего: механизм применения нормативных ограничений» сообщила, что даже образованные носители русского языка с трудом выбирают форму числа сказуемого при подлежащем — количественно-именном сочетании, так как правила такого выбора многочисленны, плохо структурированы и допускают противоположные решения. В докладе *Г. Е. Крейдлина* и *П. Л. Петрикей* (РГГУ, Москва) «Производные предлоги, функциональные стили и культура речи: точки соприкосновения» было показано на примере производного предлога *в отношении*, что в процессе перехода слов из одной части речи в другую меняются не только морфологические и синтаксические характеристики слова, но и сфера его употребления.

Речевой агрессии были посвящены совместный доклад *О. С. Иссерс* и *О. Н. Плотниковой*, а также доклад *Г. И. Кустовой*. *О. С. Иссерс* (ОГУ, Омск) в докладе «Речевая провокация как коммуникативная стратегия (на материале текстов интервью)» представила наблюдения над конфликтными речевыми действиями, характерными для публичного интервью. *Г. И. Кустова* (МПГУ, Москва; доклад «Косвенный речевой акт вопроса как средство речевой агрессии и негативной оценки в русской разговорной речи») проанализировала употребление несобственных («риторических») вопросов, которые используются говорящим для отрицательного воздействия на адресата — чтобы выразить недовольство, упрекнуть, уличить в некомпетентности и т. п. *С. О. Савчук* (ИРЯ РАН, Москва) в докладе «Местоимение *такой* в функции маркера чужой речи в устном высказывании» обратила внимание на новый способ оформления конструкций с прямой речью, при котором вместо глагола, вводящего чужую речь (или наряду с глаголом), используется местоимение *такой*. Доклад *Е. А. Гришиной* (ИРЯ РАН, Москва) был посвящен употреблению вариантов указательной частицы *вот* в русской непринужденной речи — прежде всего, вариантов *во* и *о*. Было показано, что в настоящий момент в русской непринужденной речи варианты *вот*, *во* и *о* могут рассматриваться как отдельные лексемы.

В последний день работы конференции (17 октября) состоялось заключительное пленарное заседание конференции, которое было открыто докладом *З. К. Тарланова* (ПетрГУ, Петрозаводск) «Русская речевая культура как трансэтнический компонент». Докладчик отметил усиливающуюся, на его взгляд,

тенденцию в русистике к утрате ясно очерченных параметров предмета исследования, остановился на характеристике русской речевой культуры как транснационального феномена — важнейшего фактора в развитии и пропаганде культур народов России и бывшего СССР. *А. П. Чудинов* (УрГПУ, Екатеринбург) выступил с докладом «Мигранты в России: языковая политика и практика межкультурной коммуникации». Докладчик отметил необходимость воспитывать культуру межнационального общения как у граждан России, так и у «гастарбайтеров». В докладе *Л. П. Крысина* (ИРЯ РАН, Москва) «Об одном типе нарушений синтаксической нормы» были рассмотрены сочинительные конструкции с разноуправляющими предикатами, при которых ставится общая управляемая именная группа (*Он организовал и управлял оркестром* — вместо нормативного: *Он организовал оркестр и управлял им*). В докладе *М. В. Китайгородской* и *Н. Н. Розановой* (ИРЯ РАН, Москва) «Городские стереотипы в культурно-речевом аспекте» речь шла о необходимости дифференцированного подхода к проблеме нормы, которая становится наиболее очевидной при изучении некодифицированных форм существования языка, прежде всего устной городской речи. *Е. Л. Березович* (УрГУ, Екатеринбург) рассмотрела обозначения сквернословия в речи диалектоносителей и провела сравнение диалектных номинативных моделей с теми, которые представлены в литературном языке. Было отмечено, что диалектные обозначения сквернословия нередко базируются на метафоре, выявлены основные модели метафорического переноса: пищевая метафора, вегетативная метафора, «звериная» метафора, «мусорная» метафора, пространственная метафора и др. В докладе *М. А. Кормилицыной* (СГУ, Саратов) шла речь о том, что важнейшей функцией речевого этикета в газете можно считать ориентацию на читателя, заботу о нем, которая проявляется в обилии метатекстовых конструкций, диалогичности, средств смягчения резкости оценок и категоричности суждений и мнений. *Е. С. Полищук* (издательство Московской Патриархии, НИВЦ МГУ) в докладе «Русский язык и церковное благочестие» рассказал о том, что вовлеченнность Русской Православной Церкви в различные сферы общественной жизни (книгоиздание, СМИ, концертные, государственные и иные мероприятия) влечет за собой необходимость соотнесения норм светского и церковного этикета; в частности, это относится и к области речевой и письменной культуры. Церковное благочестие предписывает соблюдать определенные правила как при устном общении в церковной среде, так и при подготовке текстов, использующих православную церковную лексику. В докладе рассматривались нормы обращения к церковнослужителям с учетом их сана и стилевые особенности церковных текстов (использование местоимений, строчных и прописных букв, особенности переноса слов и др.). Знание этих норм полезно для всех пишущих о жизни Русской Православной Церкви.

На конференции зачастую велись горячие споры и высказывались противоположные точки зрения. При этом участники конференции демонстрировали редкостное единение в подходах к изучению материала и методах исследования, дискуссии были конструктивными и полезными, неформальное общение ученых, заочно знакомых между собой по книгам и статьям, уже дало новый импульс коллективным исследованиям. Поэтому единогласно было принято решение сделать конференции по культуре речи регулярными и издать мате-

риалы конференции в серии «Вопросы культуры речи» (издание основанной в 1955 г. С. И. Ожеговым серии «Вопросы культуры речи» было возобновлено издательством «Наука» и Институтом русского языка им. В. В. Виноградова РАН в 2007 г.).

Е. В. Бешенкова, М. А. Осипова, Е. Я. Шмелева

Хроника международной конференции «Язык современного города (Восьмые Шмелевские чтения)»

25–27 февраля 2008 г. в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН прошла международная конференция «Язык современного города (Восьмые Шмелевские чтения)». Конференции, посвященные памяти этого выдающегося ученого, проводятся уже больше десяти лет. Они стали традиционными и привлекают внимание широкой научной общественности. Восьмые чтения были посвящены языку современного города. Проблемы изучения городской речи являлись и являются одним из ведущих направлений Отдела современного русского языка ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН (см. серию монографий «Русский язык и советское общество», «Русская разговорная речь», «Городское просторечие», «Разновидности городской устной речи» и др.). За последние годы в языке города произошли существенные изменения, поэтому обращение к данной проблематике на новом социально-экономическом фоне является актуальной научной задачей современной русистики. На конференции обсуждались следующие вопросы: методология изучения языка современного города, разновидности городской речи (разговорная речь, городское просторечие, жаргоны), язык города и современная лексикография.

В конференции приняли участие ученые из Австрии, Белоруссии, Германии, Украины, Финляндии, а также из разных городов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Красноярска, Екатеринбурга и др.).

Всего было прослушано 76 докладов, из них 25 на пленарных и 51 на секционных заседаниях.

Краткое приветственное слово произнес заместитель директора Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, д. ф. н. проф. Л. П. Крысин.

Пленарные заседания открыл доклад *О. Б. Сиротининой* (Саратов) «Речь города: проблемы, аспекты и трудности изучения». В докладе обсуждались принципиальные трудности, которые встают перед исследователем городской речи, а также проблемы, которые необходимо решить исследователю, начиная с принципа отбора информантов и заканчивая временными рамками исследования.

Доклад *Е. В. Ерофеевой* (Пермь) «Языковая ситуация современного города и методы ее исследования» был посвящен вероятностному подходу к изучению городской речи. При таком описании лингвист опирается не на наличие или отсутствие каких-либо признаков или единиц в речи исследуемой группы носителей языка, а на количественное проявление данных признаков или единиц, т. е. на их частоту в речи. В докладе применение этого подхода демонстрировалось на материале некоторых фонетических явлений, характерных для Перми.

В докладе *Л. П. Крысина* (Москва) «Некоторые принципы словарного описания русской разговорной речи» говорилось о проекте создания Толкового словаря разговорной речи. Необходи-

мость такого словаря давно ощущалась лингвистами. Неоднократно предпринимались попытки создания подобного словаря. В докладе были сформулированы принципы отбора материала (принцип диффузности, дифференциальности, маркированности), представлена предполагаемая структура словарной статьи.

В докладе *Марион Краузе* (Вена) «Язык города в свете концепции регионалекта» обсуждались проблемы статуса региональных черт в речи людей, которые по экстралингвистическим характеристикам принадлежат к носителям литературного языка. В лингвистической литературе представлены различные, подчас противоречащие друг другу мнения по этому вопросу. В одних случаях регионалект характеризуется как разновидность, не достигшая еще статуса литературного языка, в других случаях региональные черты квалифицируются как допустимые отклонения от нормы.

Стереотипные представления носителей просторечной культуры были рассмотрены в докладе *Н. А. Купиной* (Екатеринбург) «Отражение стереотипов просторечной культуры в письмах горожан уральцев». Доклад построен на материале личных писем жителей районного уральского города, адресованных в городскую и областную администрации и президенту РФ. Монофункциональность речевой культуры автора письма обусловливает переход делового документа в информативно-фатический разговорный текст. Для стиля этих писем также характерно обилие просторечных, экспрессивных выражений, «разорванный» синтаксис, фонетический принцип воспроизведения орфограмм.

Повседневной речевой практике современного горожанина в типичных ситуациях был посвящен совместный доклад *М. В. Китайгородской* и *Н. Н. Розановой* (Москва) «Язык города в ситуациях и жанрах». В докладе был представлен подход к изучению языка города, при котором в городской коммуникации вычленяется набор стереотипных ситуаций. Этим ситуациям соответствуют определенные наборы речевых жанров, которые отливаются в определенные типы текстов, традиционно называемые городскими стереотипами.

Доклад *Р. Ф. Касаткиной* (Москва) «Устная речевая традиция в языке города» был посвящен соотношению и статусу устной и письменной речи в различных ситуациях. В докладе отмечалось, что существует целый пласт слов, фонетические оболочки которых не коррелируют с письменной формой, например, *дуршлаг* и *д*[*ру*]*шлаг, бранспойт* и *бран*[*зб*]*ойт*. «Выравнивание» речи по письму приводит к орфоэпическим ошибкам.

В докладе *А. Г. Кравецкого* (Москва) «Городские профессии в историческом и языковом пространстве» название профессии рассматривалось как одна из существенных характеристик человека. Превращение профессии в устойчивую характеристику человека в историческом плане обусловлено городскими законами. Особую роль в этом процессе сыграл «Устав цехов» Павла I. В докладе обсуждалась также эволюция понятий *цех* и *артель*.

Названия городских профессий на современном материале были рассмотрены в докладе *М. А. Кронгауза* (Москва) «Пополнение лексики: новые понятийные сети». Сравнивались традиционные названия профессий и их современные аналоги, образованные, как правило, на базе заимствований: *кадровик — эйчар, уборщица — менеджер по клинингу* и т. п.

Доклад *Светлы Чмейрковой* (Прага) «Русский язык в Интернете в сравнении с чешским» был посвящен анализу коммуникации на русских и чешских

чатах, в частности рассматривались «ники» (самоназвания участников чата). Ники анализировались с точки зрения словообразования и ассоциаций, которые они вызывают у носителей чешского и русского языков.

Во второй день конференции работало три секции: 1) «Язык современного города в функциональном аспекте»; 2) «Проблемы лексикологического и лексикографического описания языка города»; 3) «Язык современного города в социокультурном аспекте», на которых был прослушано 45 докладов.

В секции «Язык современного города в функциональном аспекте» было прослушано 15 докладов. Вопросам функционирования языка в различных городских ситуациях были посвящены доклады *Е. В. Осетровой* (Красноярск) «Анонимная новость в пространстве городского общения: содержание, участники и коммуникативные сценарии», *А. В. Занадворовой* (Москва) «Особенности коммуникативного взаимодействия „водитель — пассажир“ в ситуации частного извоза», *О. С. Иссерс* (Омск) «Стратегии позиционирования ресторана в аспекте лингвистической прагматики», *Е. М. Лазуткиной* (Москва) «Тактики и приемы мгновенных реплик в городских сценках». Одной из разновидностей письменной формы городской речи был посвящен доклад *С. И. Гиндина* (Москва) «Уличные объявления как предмет лингвистического изучения и как инструмент развития речи».

Описания различных фонетических явлений в городской речи касались доклады *М. Л. Каленчук* (Москва) «Основы произношения первообразных частиц в речи москвичей», *Л. Л. Касаткина* (Москва) «Произношение сочетаний *еа, иа*, *е*, *ио*, *эо* в современном русском литературном языке», *О. В. Антоновой* (Москва) «Некоторые особенности реализации инициальной фонемы /j/ перед [и] в формах местоимений *их*, *им*, *ими*», *Т. М. Григорьевой*, *О. А. Гришиной* (Красноярск) «Суперсегментные параметры в речи красноярцев». Вопросы разнообразия и вариативности городской речи были затронуты в докладах *Б. Я. Шарифуллина* (Лесосибирск) «Речежанровое пространство города и тексты городской среды», *О. В. Сахаровой* (Киев) «Вариативность жанров бытового дискурса в киевском коммуникативном пространстве». Городскому жаргону и особенностям его употребления был посвящен доклад *Владиславы Ждановой* (Германия) «Городской жаргон как маркер этикетного поведения». Такие типичные черты разговорной речи, как склонность к гиперболизации и неопределенности, были рассмотрены в докладах *В. Ю. Балдашиновой* (Москва) «Оценка в речи жителей современного города: гендерный аспект (на материале анкеты)» и *Н. Л. Голубевой* (Москва) «О средствах неопределенности в разговорной речи и говорах». Доклад *Г. П. Нещименко* (Москва) «Коллизии между феноменом obecná čeština и чешским литературным языком» затрагивал важную проблему взаимодействия кодифицированного литературного языка и разговорной речи на материале чешского языка.

В секции «Проблемы лексикологического и лексикографического описания языка города» было прочитано 15 докладов. Городской топонимике были посвящены доклады *Е. В. Какориной* (Москва) «К проблеме изучения неофициальной городской топонимики», *Л. З. Подберезкиной* (Красноярск) «Годонимическая рефлексия как фактор формирования языковой политики в городской среде». Проблемы создания словарей языка города обсуждались в докладах *Т. И. Ерофеевой* (Пермь) «Социолингвистическая информация в словарях городской речи», *А. А. Юнаковской* (Омск) «Опыт создания словаря

дифференциально-группового типа (на материале г. Омска)». Лексикографическому описанию отдельных слов, характеризующих те или иные ситуации городского общения, были посвящены доклады *И. Б. Левонтиной* (Москва) «Особые события в современном русском языке», *Анны А. Зализняк* (Москва) «*Гости* как мероприятие в современной городской речи», *О. Е. Фроловой* (Москва) «*Пафосно* и *пафосный* в современной речи», *Е. В. Урысон* (Москва) «Современные разговорные словечки *как бы* и *конкретно*». Изменения, касающиеся грамматики разговорной речи, обсуждались в докладах *Е. В. Мариновой* (Нижний Новгород) «Грамматическое варьирование новых иноязычных слов в живой русской речи», *В. И. Беликова* (Москва) «Динамика утраты флексии в полузнаменательных наречных выражениях». О языковой картине мира большого города говорилось в докладах *Е. И. Головановой* (Челябинск) «Лексика городских профессий в контексте нового знания», *Л. В. Балашовой* (Саратов) «Метафорическая составляющая речи как отражение языковой картины мира жителя современного мегаполиса». Некоторые семантические процессы, происходящие в разговорной речи, были показаны в докладе *Р. И. Розиной* (Москва) «Номинализация в разговорной речи».

Секции «Язык современного города в социокультурном аспекте» включала 15 докладов. Анекдотам в различных аспектах были посвящены доклады *В. В. Дементьева* (Саратов) «Анекдоты семидесятых: проблема адекватности записи (на материале журнала „Крокодил“)», *Е. Я. Шмелевой* (Москва) «Анекдот как жанр городского фольклора», *Т. Е. Янко* (Москва) «Интонация и порядок слов русского анекдота». О сравнительном анализе различных речевых культур говорилось в докладах *Донны Фарины* (США) «Городские вывески в разных культурах», *Г. Е. Крейдлина* (Москва) «О некоторых особенностях финской и русской городских невербальных культур», *Н. Ю. Авиной* (Вильнюс) «Языковая игра в русской разговорной речи в иноязычном окружении (на материале г. Вильнюса)». Экскурс в историю русской городской жизни был предпринят в докладе *А. А. Плетневой* (Москва) «Биргерские промыслы: свободный труд горожанина и его оценка в языке XVII–XIX вв.». Речевые портреты жителей различных городов были представлены в докладах *Т. А. Милехиной* (Саратов) «К описанию речевого портрета горожанина в динамическом аспекте» и *Т. Лённгрен* (Тромсё) «Русские черты в речевом портрете Северного Парижа». Городской топонимике был посвящен доклад *Е. П. Захаровой* (Саратов) «Городские номинации г. Саратова». Проблемы дифференциации городской речи в возрастном аспекте были затронуты в докладе *А. П. Сдобновой* (Саратов) «Об активном словаре городских школьников».

В третий день работы конференции на пленарном заседании было прослушано 13 выступлений. Заседание открыл доклад *Е. Н. Степанова* (Одесса) «Речь горожан в социальном и цивилизационном процессе». В докладе рассматривались различные направления исследований урбанолингвистики, такие, как языковое и диалектное контактирование в городе, языковая практика и социальные роли горожан, язык города и политические процессы, языковое портретирование городов на определенных хронологических срезах и др. Анализировалась степень проработанности и перспективность развития каждого из направлений.

Доклад *И. Т. Вепревой* (Екатеринбург) «Городское многоголосие: к вопросу о взаимодействии речевых культур» был посвящен описанию конфликтов, возникающих при столкновении

речеповеденческих стереотипов *интеллигента* и *обывателя*. При сопоставлении моделей речевого поведения в различных коммуникативных ситуациях городского общения были выявлены основные зоны речеповеденческого напряжения, обусловленные разным культурным уровнем. Рассмотрение велось с позиций интеллигента. Первая конфликтная зона — грубые речевые ошибки; вторая зона — монокодовость обывателя, неумение переключать регистр общения в различных ситуациях; третья — несоблюдение элементарных этикетных правил. Этой же теме был посвящен доклад *Т. М. Николаевой* (Москва) «*Мы* и *Они*». В докладе анализировались речеповеденческие стереотипы обывателя с позиций интеллигента. Соответственно под *Мы* в докладе понималась интеллигенция, под *Они* — обыватели. В качестве представителей *Их* рассматривались в первую очередь работники сферы обслуживания.

В определенном смысле противоположная точка зрения была выражена в докладе *Ренаты Ратмайр* (Австрия) «Устная профессиональная речь города: новые формы вежливости в сфере обслуживания». Так, по результатам опроса, уровень вежливости повысился: 70 % опрошенных отметили повышение уровня вежливости в сфере обслуживания, и 14 % — в городском транспорте. Часть информантов (36 %) отмечала, что тональность уличных объявлений и надписей стала более вежливой, но само общение среди незнакомых людей на улице более вежливым не стало.

В совместном докладе *И. А. Букринской*, *О. Е. Кармаковой* (Москва) «Язык провинциального города» говорилось о том, что речь мелких «уездных» городов практически не исследована, в то время как она представляет несомненный интерес для исследователей. Жители таких городков еще очень близки к диалекту, и на их примере можно проследить различные варианты соотношения литературного языка и местных говоров. Исследовались люди в основном со средним специальным образованием, среди них встретились носители 1) диалектов; 2) регионального варианта русского языка; 3) литературного языка и местного говора (билингвы); 4) литературного языка (чаще всего приезжие).

Сравнительный анализ вербальных ассоциаций городских и сельских школьников был представлен в докладе *В. Е. Гольдина* (Саратов). Проведенное исследование показало, что главные ассоциаты стимулов в ответах школьников одних и тех же возрастных групп совпадают, однако в определенных случаях строение ассоциативных полей отражает разницу в предметно-практическом и коммуникативном опыте городских и сельских школьников. Также различается характер ассоциаций: у городских школьников больше парадигматических реакций, у сельских — синтагматических.

Доклад *С. М. Кузьминой* (Москва) «Изменения в фонетике устной публичной речи» был посвящен современным произносительным тенденциям, которые можно наблюдать, например, в речи радиоведущих. В докладе было показано, что фонетика публичной речи испытывает сильнейшее влияние разговорной стихии, т. к. на смену монологическим сообщениям дикторов пришли полилоги ведущих с гостями. Даже интонация, наиболее консервативная область фонетики, подвергалась изменениям, появился убыстренный темп, необоснованное, подчас случайное акцентирование отдельных слов.

Поколенческим различиям в значениях слов аксиологической сферы в языке современного города был посвящен доклад *Е. Л. Березович* (Екатеринбург) «„Отцы и дети“ в лексической семантике». В докладе рассматривались процессы изменения коннотативного

фона слов, их типовой сочетаемости, деактуализации некоторых значений, появление новых значений и т. п. Так, например, слово *карьера*, в языке «отцов» имевшее явно негативную окраску (не говоря уж о таких его производных, как, напр.: *карьерист*), в языке «детей» имеет нейтральную или положительную окраску.

Доклад *Хайнриха Пфандля* (Грац) «Городские шибболеты» был посвящен рассмотрению лексических, семантических и фонетических особенностей, которые выдают принадлежность человека к определенному диалекту. Термин «шибболет» в западной лингвистике используется для обозначения знака принадлежности к «своим». (Этот термин восходит к Библейской истории: военачальник из племени галаадитян, чтобы предотвратить проникновение в его отряд ефремлян, приказал каждому воину на переправе через Иордан произносить слово «шибболет»; тех, кто не мог произнести его на галаадитский манер, ждала смерть.) В докладе были рассмотрены подобные специфические городские словечки (на материале различных городов Австрии, а также Москвы и Петербурга).

В докладе *Н. Б. Мечковской* (Минск) «Разговорно-диалогическая природа и различные признаки синтаксических фразеологизмов» анализировались характерные черты фразеологизмов: употребление в диалогическом общении, разговорность, модально-эмоциональная нагруженность, более высокая степень клишированности, семантические ограничения в лексическом наполнении. Показаны различия между номинативными и коммуникативными фразеологизмами: 1) идиоматичность последних имеет более сложную природу, так как создается сдвигами как в грамматической, так и лексической семантике; 2) в них невозможна полная немотивированность значения знака его внутренней формой; 3) в их составе нет глубоких архаизмов; 4) в отличие от коммуникативных, номинативные фраземы по строению могут быть тождественны со свободными сочетаниями слов.

Различиям в книжной и разговорной идиоматике был посвящен совместный доклад *А. Н. Баранова* и *Д. О. Добровольского* (Москва) «*Имя им легион* vs. *их как грязи*». В докладе была предпринята попытка установить связи между стилистическими пометами, т. е. дискурсивными характеристиками использования идиомы и ее семантикой. На первый взгляд представляется, что такой связи не должно существовать, так как один и тот же смысл можно выразить различными средствами, однако обнаруживаются смыслы, которые в большей степени тяготеют к разговорно-сниженному типу выражения. Например, такими смысловыми полями являются таксоны с оценочной семантикой.

В докладе *А. Д. Шмелева* (Москва) «Городская коммуникативная среда и культура речи» рассматривались различные вопросы, связанные, в частности, с изменением языковой среды города в последние 10–15 лет (одним из примеров таких изменений является исчезновение жанра коммунистического лозунга и появление жанра рекламного плаката). Рассматривались также проблемы эволюции обращений и тенденция к выпадению отчеств, которую многие исследователи квалифицируют как новое явление. В докладе было показано, что людей определенных профессий (поэтов, певцов, спортсменов) в определенных ситуациях и раньше называли без отчеств.

В докладе *С. Е. Никитиной* (Москва) «„Людей как город развращает…“ (концептуальные слова жестокого романса)» была предпринята попытка анализа текста жестокого романса через призму анализа ключевых слов. К та-

ким концептуальным словам относятся, например, *квартира*, *комната*, *вокзал* и др. В заключение докладчица исполнила несколько традиционных для городской культуры жестоких романсов.

До начала конференции были изданы тезисы докладов участников конференции.

А. В. Занадворова

Всероссийские XIII филологические чтения памяти проф. Р. Т. Гриб «Теоретические и прикладные аспекты современной филологии»

27–29 марта 2008 г. в Лесосибирском педагогическом институте — филиале Сибирского федерального университета (ЛПИ — филиал СФУ) проходили Всероссийские XIII филологические чтения «Теоретические и прикладные аспекты современной филологии».

Филологические чтения в Лесосибирском пединституте проводятся ежегодно, начиная с 1996 г. Причиной их организации и проведения послужило желание членов кафедры русского языка, многие из которых были учениками профессора Раисы Тихоновны Гриб (1928–1995), отдать долг памяти этому замечательному ученому и педагогу, чья научная, методическая и преподавательская деятельность известна далеко за пределами Красноярского края.

Организаторами чтений выступили кафедра русского языка и лаборатория речевой коммуникации филологического факультета Лесосибирского пединститута. Финансовую поддержку в проведении чтений оказали администрация пединститута и Красноярский краевой фонд науки. Большую спонсорскую помощь в организации и проведении научной конференции оказали также выпускники пединститута, ученики проф. Р. Т. Гриб.

В чтениях приняли участие ученые из Абакана, Бийска, Иркутска, Кемерова, Красноярска, Лесосибирска, Москвы и ряда других городов России.

Открывая конференцию, зам. директора по научной работе ЛПИ *В. И. Семенов* и заведующий лабораторией речевой коммуникации (председатель оргкомитета конференции) *Б. Я. Шарифуллин* рассказали о жизненном и научном пути проф. Р. Т. Гриб, о ее работах и о том вкладе, который она внесла в отечественную лингвистику. Воспоминания *Р. С. Вирц* (Лесосибирск) о своем учителе были проникнуты искренней благодарностью за человеческое и научное общение, которое дарила ученикам и коллегам Р. Т. Гриб. Рассказывая о своих встречах с Раисой Тихоновной в Томске, *Л. А. Араева* (Кемерово) особо подчеркнула ее умение сплачивать вокруг себя людей, делиться с ними своими идеями и мыслями, что так важно для начинающих лингвистов.

Основной целью филологических чтений этого года были сотрудничество и координация научно-исследовательской и образовательной деятельности ученых-филологов самых разных профессиональных интересов и практиков — преподавателей вузов и учителей школ, обмен научной информацией и опытом исследовательской, методической и образовательной работы. В ходе конференции ставились и обсуждались многие дискуссионные вопросы русского языка и теоретического языкознания, рассматривались актуальные проблемы лингвистики в ее взаимодействии с целым рядом смежных областей, таких, как семиотика, психология, теория литературы, теория культуры и история. Обсуждение теоретических проблем на конференции удачно сочеталось с обсуждением методики преподавания русского языка в целом и его отдельных ключевых моментов. В некоторых до-

кладах рассматривались вопросы, относящиеся к применению компьютерных и программных средств, способствующих повышению эффективности обучения русскому языку и лингвистике в вузе и школе.

В первый день работы на пленарном заседании было заслушано 8 докладов, вызвавших большой интерес участников и гостей конференции. *О. В. Фельде* (Красноярск), посвятив свое выступление соотношению русского языка и национального характера, говорила о процессе вытеснения из русского этноисторического сознания фундаментальных понятий русской культуры. *Г. Е. Крейдлин* (Москва) в своем докладе ввел понятие семиотической концептуализации тела и подробно рассказал о возможных подходах и способах анализа тела и его частей с позиции указанного понятия. *Б. Я. Шарифуллин* (Лесосибирск) изложил свою точку зрения на «концепты» и «понятия», выделив их интегральные и дифференциальные признаки. *Н. Н. Розанова* (Москва, доклад подготовлен совместно с *М. В. Китайгородской*) провела анализ городского общения через призму коммуникативных противопоставлений. *А. В. Кравченко* (Иркутск) говорил об актуальных проблемах когнитивной лингвистики. *Л. А. Араева* (Кемерово) подробно рассказала о методике пропозиционально-фреймовой организации лексики и предложила способ электронного лексикографирования слов по фреймовому принципу. Доклад *В. И. Беликова* (Москва) был посвящен региональным различиям в лексике и фразеологии, выявленным посредством оцифрованных текстов. Проблемы, связанные с языковым манипулированием, были представлены в выступлении *А. Д. Васильева* (Красноярск), который говорил об игре словами с учетом ее разных целей, аспектов и функциональной характеристики.

Во второй день работы чтений состоялись заседания четырех секций. На заседании секции «Вопросы теории русского языка и речевой коммуникации» многие доклады были посвящены вопросам семантической реализации единиц русского языка. *М. Г. Шкуропацкая* (Бийск) анализировала слова с диминутивной семантикой. *И. В. Евсеева* (Лесосибирск) рассматривала семантическую организацию словообразовательного типа. *Т. А. Лузгина* (Лесосибирск) в своем сообщении остановилась на отадъективных глаголах и их семантике. *А. В. Проскурина* (Кемерово) говорила о языковых реализациях и потенциях словообразовательного типа. Темой сообщения *М. Н. Образцовой* (Кемерово) стали лексическая и словообразовательная мотивации производных слов. *Е. Е. Максакова* (Кемерово) представила классификацию наименований масти животных в языке телеутов. *Г. Е. Крейдлин* (Москва, доклад подготовлен совместно с *П. Л. Петрикей*) говорил о таком типе перехода существительных в предлоги, при котором происходит смена функционально-стилевой принадлежности слова.

В ряде докладов освещались вопросы, связанные с классификацией риторических приемов и стилистических фигур (*Н. Е. Булгакова* (Лесосибирск), *М. В. Веккессер* (Лесосибирск), *Г. А. Копнина* (Красноярск)). О реализации военной лексики в спортивном репортаже рассказывала *З. М. Иванова* (Лесосибирск, доклад подготовлен совместно с *В. В. Алябьевым*).

На секции «Вопросы истории, диалектологии русского языка и языка художественной литературы» выступили *Ю. В. Босекова* (Лесосибирск), *С. В. Буланкова* (Красноярск), *Л. Н. Падерина* (Ачинск), *А. Н. Смолина* (Красноярск), *Б. Я. Шарифуллин* (Лесосибирск), *Л. С. Шмульская* (Лесосибирск). Большинство докладов здесь было посвяще-

но анализу разных пластов лексики национального русского языка в том виде, в каком они представлены в произведениях отечественных писателей. *И. А. Славкина* (Лесосибирск) говорила о символике креста в динамике лексем, репрезентирующих дихотомию «свой» — «чужой». Внимание *Ф. В. Степановой* (Лесосибирск) было направлено на выявление структурно-семантических особенностей народной фитонимики деантропонимического типа. *Ю. В. Фоминых* (Лесосибирск) исследовала цветовую символику в дискурсе рок-поэзии Б. Гребенщикова. В докладе *Г. В. Шмидт* (Енисейск) рассматривались проблемы языковой интерференции на примере речи поляков, проживающих на территории Красноярского края.

Секция «Актуальные проблемы литературы» в основном была представлена докладами, внимание в которых было обращено на жанровое, тематическое и стилевое своеобразие поэтики художественных произведений сибирских писателей и их изучение в вузе и школе. *Т. А. Бахор* (Лесосибирск) говорила о концепции мира и человека в пейзажной лирике Р. Солнцева и В. Белкина. *О. В. Деревягина* (Абакан) в своем выступлении остановилась на соотношении традиций и новаторства в юмористических байках В. Н. Равнушкина. Интертекстуальным связям и перекличкам на примере творчества С. Есенина и В. Астафьева был посвящен доклад *О. А. Кашпур* (Лесосибирск). О проблеме веры в исторической прозе Ж. П. Трошева говорила *В. С. Лобарева* (Лесосибирск). Большое внимание на секции было уделено методике преподавания региональной литературы. Учителя школ г. Лесосибирска *Т. В. Бахмутова*, *Н. Л. Гончар*, *М. Н. Заяц*, *О. А. Ковалева*, *Е. А. Толкушкина*, работающие под руководством *Т. А. Бахор*, продемонстрировали электронную рабочую тетрадь по литературе.

В секции «Методика преподавания русского языка» участников (в основном, учителей школ) интересовали способы практической реализации на занятиях в школе и вузе целого ряда теоретических вопросов русского языка. Как можно нетрадиционно объяснить слова с непроверяемыми написаниями, поделилась опытом *А. Р. Золожук* (Лесосибирск). Об эффективной методике ведения занятий по орфоэпии в формате ЕГЭ рассказывала *Р. Г. Сахибулина* (Лесосибирск). На обогащение речи младших школьников многозначными словами обратили внимание в своем сообщении *Е. А. Дорушина* и *М. В. Веккессер* (Лесосибирск). О методах исследовательской деятельности школьников докладывали *Ж. А. Новоселова* (Лесосибирск) и *С. В. Мамаева* (Лесосибирск). Лекция как жанр устной речи была предметом доклада *Г. С. Малининой* (Лесосибирск). Разнообразные методы работы с краеведческим материалом на уроках русского языка продемонстрировала *М. А. Мошкина* (Ачинск).

В третий, заключительный, день конференции была организована работа трех «круглых столов» по следующим темам: «Русский язык в кругу других наук» (руководитель — *Г. Е. Крейдлин*), «Проблемы региональной лексикографии» (руководитель — *В. И. Беликов*), «Изучение языка современного города» (руководители — *Б. Я. Шарифуллин* и *Н. Н. Розанова*). Работа каждого стола открывалась кратким вступительным докладом руководителя, а в последующих обсуждениях участники делились своими мыслями и опытом работы в рамках заявленных тем.

На закрытии конференции, искренно поблагодарив ее организаторов за прекрасно проведенное научное мероприятие, многие участники подчеркивали его значимость и полезность и выражали надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

К началу Филологических чтений был подготовлен и издан очередной сборник докладов, прочитанных на конференции; в него были также включены работы тех исследователей, которые приняли участие в чтениях заочно (см.: Теоретические и прикладные аспекты современной филологии: материалы XIII Всероссийских филологических чтений имени проф. Р. Т. Гриб (1928–1995) / Сибирский федеральный ун-т. Науч. ред. проф. Б. Я. Шарифуллин; Вып. 8. Красноярск, 2008. 309 с.).

С фотоматериалами филологических чтений можно ознакомиться на сайте ЛПИ — филиала СФУ (www.lpi-wood.ru).

И. В. Евсеева

Международная научная конференция «Проблемы авторской и общей лексикографии»

17–18 октября 2007 г. в Брянске состоялась Международная научная конференция «Проблемы авторской и общей лексикографии», посвященная памяти выдающегося ученого, одного из создателей поэтического направления в авторской лексикографии, Виктора Петровича Григорьева. Организаторами этой конференции выступили Брянский государственный университет им. академика И. Г. Петровского и Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН.

Авторская лексикография относится к числу активно развивающихся областей словарной науки. Основная цель конференции и заключалась в том, чтобы проанализировать процессы, происходящие в современной авторской лексикографии, рассмотреть актуальные вопросы теории и практики создания словарей языка писателей. Среди участников конференции были сотрудники ИРЯ РАН, ИМЛИ РАН, ВИНИТИ РАН, преподаватели филологических и других гуманитарных кафедр вузов, аспиранты, работники музеев, школьные учителя.

Конференцию открыл ректор Брянского университета *А. В. Антюхов*. Он рассказал о совместной работе лингвистических кафедр БГУ и различных отделов ИРЯ РАН, имеющей многолетнюю историю. По мнению ректора, перспективы дальнейшей совместной деятельности связаны, в частности, с возможностью участия преподавателей Брянского университета, составляющих «Полный поэтический словарь Ф. И. Тютчева», в работе постоянного научного семинара ИРЯ «Теория и практика авторской лексикографии».

В начале своего выступления, посвященного этапам создания многотомного «Словаря языка русской поэзии XX века», *Л. Л. Шестакова* (Москва) рассказала о том, какое место занимала авторская лексикография в научной деятельности В. П. Григорьева. Она отметила, что составляемый в ИРЯ РАН Словарь является продолжением давних лексикографических проектов ученого, связанных с воплощением идеи сводного, «многоавторского» словаря языка поэзии, и основывается на корпусе текстов десяти поэтов. Реализацию базовых принципов «Словаря языка русской поэзии XX века» как контекстного хронологически выстроенного словаря поэтического языка конкретной эпохи демонстрируют опубликованные и готовящиеся к изданию тома. Л. Л. Шестакова добавила также, что опыт, накопленный в процессе подготовки большого Словаря, используется при создании малых дифференциальных словарей и в большой исследовательской практике составителей.

С докладом «Полный поэтический словарь Ф. И. Тютчева как исследовательский проект» выступил *А. Л. Голованевский* (Брянск). Определив актуальность этого проекта для лексикографии и новизну поставленной задачи, он особо остановился на новых лексикографических данных, полученных в процессе работы над Словарем. Например, выявлен новый тип лексического значения, не нашедший отражения в толковых словарях русского языка и известных авторских словарях. Речь идет о таких словах, как *Вера*, *Надежда*, *Счастье*, *Любовь*, *Воля*, *Беда*, *Зло*, *Смерть* и др. Глубинные философские тютчевские контексты с этими словами свидетельствуют, что при определении одного из значений этих и им подобных слов надо учитывать неподвластность человеку, независимость от него того, что обозначается названными звуковыми комплексами. Предварительно этот тип значения определяется как афористический, так как он реализуется именно в тютчевских афоризмах типа: *Мысль изреченная есть ложь*, *Любовь есть сон...* и др. Характерной чертой семантики поэтической лексики Тютчева, отмечалось в докладе, выступает неснятая полисемия, заключающаяся в совмещении первичного и вторичного, метафорического, значений.

В. А. Плунгян, *К. М. Корчагин* и *Д. В. Сичинава* (Москва) представили доклад «Поэтический корпус (ПК) в рамках Национального корпуса русского языка». ПК — это подкорпус Национального корпуса русского языка, открытый в Интернете (http://www.ruscorpora.ru/search-poet.html) для доступа в декабре 2006 г. и включающий в настоящее время несколько тысяч текстов конца XVIII — первой половины XIX в. (от Д. И. Фонвизина до Аполлона Григорьева). Как и все подкорпусы Национального корпуса русского языка, ПК имеет морфологическую и лексико-семантическую разметку. Над этими уровнями надстроен специальный слой поэтической разметки, в котором различаются два подуровня — элементов текста и текста в целом. В докладе была проведена мысль о том, что ПК значительно расширяет возможности лексикографов, работающих над словарями поэтического языка.

Далее прозвучал доклад *В. В. Леденёвой* (Москва) «Узуальная единица в словаре автора: о способах репрезентации семантического объема». Основное внимание в нем было уделено принципам передачи в авторском словаре информации о том, какая часть семантического объема лексической единицы узуса отражена конкретными ЛСВ (единицами идиолекта) и как можно ввести в словарь подобную информацию.

В докладе «Словари тезаурусного типа в поэтической лексикографии» *И. А. Тарасова* (Саратов) отметила, что в последние годы идеи тезаурусного описания, в котором семантические отношения между словами заданы в явном виде, проникают в авторскую лексикографию. Кратко остановившись на теории и практике создания словарей этого типа (отраженной в трудах Ю. И. Левина, М. Л. Гаспарова, Н. В. Павлович, С. Е. Никитиной и др.), она более подробно охарактеризовала созданный ею «Словарь ключевых слов Георгия Иванова», в котором идея тезаурусных функций нашла последовательное воплощение.

С проектом «Словаря языка А. А. Дельвига» познакомили участников конференции *Н. Л. Васильев* (Саранск) и *Д. Н. Жаткин* (Пенза). Словарь задуман как алфавитно-частотный, выстроенный по типу «Частотного словаря языка М. Ю. Лермонтова» и примыкающих к нему по составительской стратегии иных справочников, в частности «Словаря языка А. И. Полежаева». Словарь Дельвига станет помощ-

ником любому читателю, поскольку будет содержать объяснение малопонятных слов, имен собственных, обобщит разрозненные наблюдения, касающиеся русской культуры, литературы и языка первой трети XIX в.

Далее работа конференции проходила по четырем секциям. Они были посвящены проектам авторских словарей, контрастивным словарям писателей, отражению лексической системности в авторской лексикографии, отдельным языковым единицам как объекту описания в писательских словарях и другим вопросам. В выступлениях *Т. В. Бахваловой* и *А. Р. Поповой* (Орел), *М. А. Бобуновой* (Курск), *О. С. Веневцевой* (Музей-усадьба «Ясная Поляна»), *Л. И. Колодяжной* (Москва), *В. И. Макарова* и *И. М. Курносовой* (Брянск — Елец), *Б. В. Орехова* (Уфа), *И. С. Приходько* и *О. В. Февралевой* (Москва — Владимир), *Д. А. Романова* (Тула), *Ю. А. Светашовой* (Москва), участников конференции из Брянского университета — *Н. В. Атамановой*, *Е. А. Бурдиной*, *С. Я. Гехтляр*, *И. В. Косаревой*, *Т. В. Носоревой*, *Т. А. Распоповой*, *С. Н. Стародубец*, *Э. И. Сушок*, *Е. А. Чернявской* рассматривались принципы лексикографирования языка целого ряда русских писателей и поэтов: *Ф. Тютчева*, *А. К. Толстого*, *А. Фета*, *И. Тургенева*, *Н. Лескова*, *А. Блока*, *В. Маяковского*, *М. Кузмина*, *С. Есенина*, *М. Цветаевой*, *И. Бунина*, *В. Набокова* и др.

Доклады, прозвучавшие на конференции, а также статьи исследователей, принявших в ней заочное участие, были опубликованы к открытию конференции (см.: Проблемы авторской и общей лексикографии: Материалы международной научной конференции / Под ред. А. Л. Голованевского, Л. Л. Шестаковой. Брянск; М., 2007).

А. Л. Голованевский,
Л. Л. Шестакова

Международная научная конференция в Ереване

5–6 ноября 2007 г. в Ереванском государственном университете проходила международная научная конференция, посвященная 70-летию русистики в Армении и 30-летию факультета русской филологии ЕГУ.

На торжественном заседании выступил декан факультета русской филологии *П. Б. Балаян*, который рассказал о деятельности факультета, о богатых традициях русистики в Армении, зародившейся в стенах Ереванского государственного университета семь десятилетий назад. Ректор ЕГУ, член-корреспондент НАН РА, доктор исторических наук, профессор *А. Г. Симонян* подчеркнул в своем приветственном слове важную роль факультета русской филологии как в деле подготовки высококвалифицированных кадров, так и в развитии русистики, сопоставительного и типологического языкознания. Советник Посольства Российской Федерации в Армении господин *А. П. Николаев* в своем выступлении остановился, в частности, на проблеме распространения русского языка и его популяризации в Армении. С теплым приветствием к участникам конференции обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Армении *Олександр Божко*, который особо подчеркнул тот факт, что в стенах ЕГУ, на факультете русской филологии, ведется преподавание и других славянских языков, в частности украинского; он также выразил свое удовлетворение развитием армяно-украинских литературных связей. Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии в Армении доктор

Стефан Димитров выразил свое удовлетворение тем фактом, что на факультете начато преподавание болгарского языка.

После торжественного заседания началась работа научной конференции. На пленарном заседании и заседаниях шести секций было прослушано более 100 докладов. На конференции работали следующие секции: «Язык художественной литературы и проблемы поэтики русской литературы», «История русской литературы», «Русистика и когнитивные науки. Языковая типология», «Теоретические проблемы русского языкознания», «Перевод и проблемы межкультурной коммуникации», «Методические аспекты преподавания русского языка и литературы». Остановимся на докладах, затрагивающих лингвистические проблемы. В работе конференции, к сожалению, приняли участие не все иностранные коллеги, приславшие свои заявки. Однако материалы их исследований были опубликованы, поэтому также будут представлены в настоящем обзоре.

На пленарном заседании с докладом «Понятие гендера в русском языке в сопоставлении с армянским и английским языками» выступила заведующая кафедрой русского языкознания, типологии и теории коммуникации ЕГУ, доктор филологических наук, профессор *Л. Г. Брутян*. Докладчик остановился на основных понятиях, идеях и тенденциях гендерной лингвистики, таких как «язык сексизма», «гендерная дискриминация», «нейтрализация сексистского языка», «гендерная идентификация». Сквозь призму указанных проблем в докладе были рассмотрены такие частные вопросы, как лексемы с «гендерной ориентированностью»; местоимения третьего лица единственного числа; слова, обозначающие профессии, должности, титулы; обращения; антропонимы; однородные сочинительные конструкции; коммуникативное взаимодействие полов; стереотипы, модели поведения и речевого общения между полами; аргументированный дискурс.

За два дня работы секции «Русистика и когнитивные науки. Языковая типология» было прослушано около 18-ти докладов. Председатели секции — *Л. Г. Брутян*, *Р. А. Тер-Аракелян*. В докладе *К. Ш. Абрамян* (Ереван) «О словообразовательной категоризации при сопоставительном изучении языков» были представлены данные изучения словообразовательных прототипов глаголов английского, армянского и русского языков. Был сделан вывод о том, что они обладают определенным сходством, проявляющимся в возможности построения обобщенных типовых словообразовательных гнезд трех языков, которые объединяют общие для них словообразовательные категории. *Р. Р. Грдзелян* (Ереван) в докладе «Семантическая организация синонимического ряда в русском и армянском языках» сделала попытку выявить связи между способом образования синонимичных адъективов и характером семантического соответствия между ними, а также исследовала роль синонимов разного типа в организации текста. Исследование автора призвано было подтвердить общий тезис о большей семантической эксплицированности армянского языка и, наоборот, большей семантической имплицированности и диффузности русского. Доклад «Несколько нетривиальных замечаний к описанию концепта *согласие*» *Л. Е. Маркосян* (Ереван) посвятил анализу и разграничению понятий *согласие*, *счастье*, *любовь*, *лад*, увязывая их с такими особенностями русской ментальности, как фатальное отношение к явлениям окружающего мира, а точнее — отстраненность. Автор считает, что «*согласие* в русской языковой картине мира тесно связано с концептом *счастья*, и это, на-

ряду с *любовью*, является одной из главных составляющих счастья». Доклад *И. Д. Стрельцовой* (Ереван) «Частнооценочные (поведенческие) концепты в русском языке» посвящен исследованию аксиологических концептов, отрицательно характеризующих человека с точки зрения личностных свойств и этики поведения в социуме. В докладе *Э. Х. Сагоян* (Ереван) «О некоторых вопросах языковой модели мира (на материале армянских преданий)» исследовано ключевое для армянской языковой картины мира слово *камень*, которое, как считает автор, является концептом. В ходе исследования автор пришел к следующему выводу: «Особенности восприятия мира камня, представленные в языке армянских преданий семантическим полем „камень“, моделируются как иерархически организованная система когнитивных характеристик, связанных с ментальными областями восприятия». В докладе *Р. А. Тер-Аракелян* (Ереван) «Полупредикативные структуры в дискурсе» рассматривается природа вторичных ситуативных знаков в свете проблемы разграничения частей речи. Как показывает автор, «в дискурсе разница между частями речи в большей степени условна, чем в системе, это своего рода «языковая фикция» (Э. Сепир), которая придумана нами и отражает нашу способность укладывать действительность в разновидные формальные образцы». В докладе был сделан вывод, что дискурс весь пронизан предикативными и полупредикативными связями, в чем выражается особое использование грамматики в процессе речепроизводства. *Г. В. Маркосян* (Ереван) в докладе «Об одном подходе к социально-политическому дискурсу» высказывает мнение о том, что на нынешнем этапе развития языковой ситуации в РА именно медиа-дискурс стал той сферой, в которой, с одной стороны, вновь обретает свое полифункциональное бытие армянский язык, а с другой — русский язык проходит тест на внутреннюю выживаемость, если под выживаемостью понимать способность языка к живому, а не препарированному функционированию. В данном исследовании сопоставляются семантика и словоупотребление ряда русских и армянских лексем, бытующих в медиа-дискурсе. Исследованию метафорики в политическом дискурсе были посвящены представленные на конференцию материалы *Э. В. Будаева* (Екатеринбург) «Когнитивно-дискурсивная парадигма исследований политической метафорики». Автором анализируются работы российских лингвистов по изучению концептуальной метафоры. В материалах *О. Г. Ревзиной* (Москва) «Когнитивные модели в языке и в дискурсе» представлена концепция познания Дж. Лакоффа и рассматриваемые им проблемы языковой концептуализации в разновидностях дискурса, а также вопрос о соотнесенности когнитивных моделей с разновидностями мышления и дискурса. Прагматические аспекты функционирования обобщенного местоимения *мы* рассматривались в докладе *М. А. Тонян* (Ереван) «Обобщенное местоимение *мы*: семантика и прагматика». Автором рассмотрены нереферентно употребленное местоимение *мы*, социоцентрическое *мы*, эгоцентрическое *мы*, а также *мы* «врачебное», «материнское», «преподавательское», «покровительственное». Доклад *А. Ю. Чувилиной* (Москва) «Прагматика памяти (на примере романа Ф. М. Достоевского „Преступление и наказание“)» посвящен анализу прагматического компонента памяти. Автор обращается к художественному тексту, поскольку «именно в рамках текста (оформленного и вполне завершенного) можно проследить то, что в дальнейшем именуется речевыми тактиками и стратегиями, связанными с использованием памяти».

В докладе *Д. К. Роговиной* (Москва) «Ответные реплики-реакции со значением знания и понимания как единицы коммуникативного уровня русского языка» анализируются конструкции, возникающие в репликах-реакциях звучащего русского диалога для передачи значения *знания* и *понимания*, например: *Да ладно тебе! Ну а как же! Брось!* и т. д. Анализу функциональной семантики неопределенных местоимений посвящен доклад *Д. Ю. Газаровой* (Ереван) «Об относительной неопределенности в русском и армянском языках (на материале неопределенных местоимений)». Доклад *Н. А. Дашян* (Ереван) «Фразеологизированные конструкции со значением обусловленности» посвящен исследованию русских синтаксических фразеологизмов со значением обусловленности и их сопоставительному рассмотрению с соответствующими армянскими структурами. Автор считает, что данные русские конструкции можно рассматривать и как «клишированные синтаксические „заготовки“, облегчающие межъязыковой перевод». В докладе *А. Г. Мурадян* (Ереван) «Формальное отсутствие словообразовательного показателя как один из способов образования композитов в русском и армянском языках» дается контрастивный анализ соответствующих русских и армянских композитов. Сопоставительному анализу конверсивов-субстантиватов посвящен доклад *Р. Р. Саркисян* (Ереван) «Конверсивы-субстантиваты в русском языке (в сопоставлении с армянским и английским)». Автор приходит к выводу, что конверсия в трех сопоставляемых языках носит неодинаковый характер.

Работа секции «Теоретические проблемы русского языкознания» продолжалась три дня. Было прослушано 20 докладов. Председатели секции — *Л. Б. Матевосян*, *А. Я. Хачикян*, *И. К. Манучарян*. Тематика докладов была самой разнообразной, затрагивала все языковые уровни. В ходе заседаний поднимались как общетеоретические проблемы, так и вопросы частного характера. Так, доклад *И. К. Манучарян* (Ереван) «Портрет протопопа Аввакума, им самим написанный» посвящен анализу языковых средств, характерных для одного из известнейших произведений литературы XVII в. Доклад *Н. Л. Абрамян* (Ереван) «Пресуппозиция, дейксис, интертекстуальность» посвящен анализу широко исследуемых явлений пресуппозиции и дейксиса в ракурсе интертекстуальности, что позволяет по-новому взглянуть на эти явления и, возможно, несколько их уточнить. Анализу особого семантико-прагматического мира одной русской частицы посвящен доклад *К. С. Акопяна* (Ереван) «Скалярная импликатура в семантико-прагматической структуре логико-модальных частиц (на примере анализа частицы *даже*)». Автором выявлены две различные разновидности градационных отношений, оформляемых частицей *даже* — собственно градация и квазиградация, а также зафиксированы градационно-уточнительные и градационно-распространительные конструкции. В докладе *С. С. Григорян*, *В. Ю. Сафьян* и *Ю. А. Сафьяна* (Гюмри) «О характере и мотивах семантической конденсации речевого выражения (на материале названий частей тела)» рассмотрена конденсация на уровне слова, словосочетания и предложения. Авторы предлагают схему анализа, которая дает возможность «установить меру семантических сдвигов рассматриваемых слов — от оттенков до значения — и тем самым определить статус этих слов как фактов текста или словаря». *А. Я. Хачикян* (Ереван) в докладе «Русское словесное ударение» обратилась к обсуждению особенностей этого лингвистического явления. По мысли автора, «анализ ритмических моделей русских слов имеет

большое значение как при порождении речи, так и при ее восприятии и, тем самым, является одним из аспектов метода обучения неродному языку». В докладе *Л. Б. Матевосян* (Ереван) «Антагонизм и содружество лексической и конситуативной семантики в высказывании» рассматриваются высказывания, значение которых при употреблении не совпадает с объективным смыслом предложения. В докладе *С. А. Лалаян* (Ереван) «Парадигматические и синтагматические связи предложения» говорится о межпредложенческих связях и об интересе к синтагматическим возможностям предложения. «Расширение границ синтаксического анализа, интерес к текстовому поведению предложения может привести к разработке новых принципов систематизации предложения» — не только по парадигматическим, но и по синтагматическим возможностям. Изучению модусных регистров высказывания посвящен доклад *С. П. Ламбарджян* (Ереван) «К вопросу о прагматической сущности модусной категории персуазивности». В докладе делается попытка дать психологическую и социологическую характеристики отдельных типов персуазивных коммуникативных актов. Анализу отдельных синтаксических конструкций и текстовых явлений были посвящены доклады *Н. И. Мартирян* (Ереван) «Вербализация невербальных средств в тексте», *А. А. Оввян* (Ереван) «Структурно-семантические особенности сложносочиненных предложений, содержащих альтернативный вопрос», *А. В. Акопян* (Ереван) «О композиции бинарных отношений в языковых конструкциях», *Э. А. Григорян* (Гюмри) «Структурно-грамматический состав русских фразеологизмов с соматическим компонентом „рука“». Отдельным вопросам семантики и словообразования посвящены доклады *Г. Г. Амбардарян* (Гюмри) «О некоторых аспектах эмоциональной оценки редуплицированных образований», *В. Н. Арутюнян* (Ереван) «Аббревиатуры как новый тип словообразовательных основ», *Б. С. Ходжумян* (Ереван) «Связь вариативности фразеологизма с его „внутренней формой“ (на примере соматических фразеологизмов)», *Э. А. Шакарян* (Ереван) «Роль сравнения в процессе метафоризации», *М. В. Туриловой* (Москва) «Этимологические гнезда и этимологизация „темных“ лексем (на примере группы слов с семантикой ‘скупой’ в этимологическом гнезде глагола *драть*)», *А. Р. Мкртчян* (Ереван) «Синонимы в „Словаре экономических терминов“ В. А. Новикова», *М. Ю. Оганесян* (Ереван) «Некоторые аспекты анализа наименований лиц по профессии в экономической терминологии». В докладе *С. В. Князева*, *Е. В. Шаульского* (Москва) «О сосуществовании оканья и аканья в русском языке и его говорах» авторы приходят к выводу «о возможности существования четырех комбинаций оканья и аканья после твердых и мягких согласных в первом предударном слоге», констатируют, что многим русским диалектам свойственно сочетание оканья и аканья, и утверждают, что в говорах давно идет процесс замены оканья аканьем.

В работе секции «Перевод и проблемы межкультурной коммуникации» приняли участие 10 докладчиков. Председатели секции — *Н. А. Гончар*, *Н. А. Хачатурян*. Выступления *А. С. Атанесян* (Ереван) «Поэтика финалов в произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина и проблема их адекватного воспроизведения в армянском переводе (на материале романов „История одного города“ и „Господа Головлевы“)», *К. А. Оганесян* (Ереван) «К творческому портрету Брюсова-переводчика», *М. В. Петросян* (Ереван) «„Тучи“ М. Ю. Лермонтова в армянских переводах», *Р. А. Тер-Григорян* (Ереван) «Поэзия М. Ю. Лермон-

това на западноармянском языке», *Ю. М. Ходжоян* (Ереван) «Саят-Нова в переводах Веры Звягинцевой» были посвящены анализу переводов отдельных художественных произведений и переводческой деятельности русских поэтов. Остановимся на докладах, рассматривающих те или иные аспекты межкультурной коммуникации. Так, в докладе *М. А. Атаджанян* (Ереван) «Имя собственное в составе фразеологических единиц в английском языке и способы их перевода на русский язык» рассматриваются различные варианты перевода английских фразеологизмов, содержащих имена собственные, на русский язык. Автором выделены следующие виды перевода: эквивалентный, аналогичный, описательный, калькирование. *Е. Л. Ерзинкян* (Ереван) посвятила свое выступление «Причины вежливости в диалогической речи: межкультурный аспект» анализу межкультурного аспекта принципа вежливости в диалогической речи. Докладчиком проанализированы «инклюзивные» и «эксклюзивные» формы первого лица, имперсонализация (дефокация) речевого акта, состоящая в дистанцировании говорящего от содержания высказывания по времени, пространству и дейктическому центру, что играет важную роль в организации высказывания и реализует принцип вежливости. Материалы *А. С. Соловей* (Симферополь) «Политические новообразования-онимы как проблема перевода» посвящены проблеме перевода имен собственных в политическом дискурсе. Как считает автор, «политические онимы являются своеобразными лингвокультурными ключами, без понимания которых невозможно целостное восприятие инокультурной политической реальности». Доклад *Н. А. Хачатурян* (Ереван) «Элиминирование лакун при художественном переводе как проблема межкультурной коммуникации» посвящен анализу с этой точки зрения романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», отличающегося особой плотностью культурологического и ассоциативно-аллюзивного фона, а также анализу его перевода на армянский язык. Автор считает, что «опыт художественного перевода и его гибко меняющейся теории, умело балансирующих на непостоянной грани между своим и чужим, не доводя, однако, до культурного шока, может ⟨…⟩ оказаться очень полезным».

В работе секции «Методические аспекты преподавания русского языка и литературы» (председатели — *Э. Р. Арзуманян*, *Б. С. Ходжумян*) приняли участие около 25 докладчиков. Укажем на вопросы, связанные с методикой преподавания русского языка. Это: общая стратегия преподавания иностранных языков, в частности в университетах Армении и Франции (*Г. Г. Шахкамян* (Ереван), «О преемственности этапов подготовки учителей-русистов»; *М. Пейар* (Монпелье), «О преподавании иностранных языков в университетах Франции»; *Н. Г. Галстян* (Ереван), «Пути модернизации процесса обучения русскому языку в военных учебных заведениях»), проблемы контрастивного описания языков в учебных целях (*И. Р. Саркисян* (Ереван), «Контрастивное описание языков в учебных целях»), исследование отдельных единиц языка в методическом аспекте (*Л. Ю. Сафьян* (Гюмри), «Методические ресурсы взаимодействия словосочетания и предложения в преподавании русского языка в армянской школе»; *Е. А. Маркосян* (Ереван), «Структурно-семантические варианты атрибутивных конструкций»; *Т. А. Афанасьева* (Ереван), «Фразеологические единицы в учебнике русского языка ЕГУ: описание и проблемы усвоения»; *Н. В. Баграмян* (Ереван), «Изучение сложных слов в национальных группах вузов»), место и роль уроков словесности и русский художественный текст

как единица обучения языку (*Р. Д. Сафарян* (Москва), «Постижение живого слова как важнейшая образовательная задача»; *Н. А. Белова* (Москва), «Место и роль уроков словесности в системе работы современного учителя-филолога»; *С. С. Базян* (Ереван), «К вопросу о лингвокультурологической информативности текста»), анализ использования компьютерных технологий при обучении языку (*С. В. Адамова* (Ереван), «Использование компьютерной технологии в процессе обучения русскому языку»; *Л. А. Кундратс* (Ереван), «Особенности компьютерной коммуникации»), методика обучения языку специальности (*Т. Г. Амбарцумян* (Ереван), «Тексты по специальности как средство развития речевой способности»; *Л. Р. Золян* (Ереван), «К проблеме многозначности терминов: на материале терминов психологии» и др.), перевод как средство обучения языку (*С. В. Кочарян* (Ереван), «Перевод как средство обучения языку специальности: на материале пособия по русскому языку для студентов-политологов») и некоторые другие.

Р. Р. Грдзелян

РЕЦЕНЗИИ

А. Мустайоки. Теория функционального синтаксиса: от семантических структур к языковым средствам.

М.: Языки славянской культуры, 2006. — 512 с. — (Studia philologica).

Я бы рекомендовал каждому, кто связан с преподаванием и / или исследованием русского языка, непременно прочитать книгу Арто Мустайоки. Написанная просто и ясно, эта книга дает полное, точное и отнюдь не упрощенное представление о том состоянии, в котором находится сейчас наука о русской грамматике. Этот объект достаточно полно, если не исчерпывающе, описан в формальном аспекте как самодовлеющем, а также в направлении от формы к значению. Движение в противоположном направлении, от значения к форме, представляет в конце XX — начале XXI века одно из магистральных направлений научной лингвистической мысли (подобное мы наблюдаем и в изучении русской лексики и фразеологии, где большое внимание уделяется в последнее время не столько толкованию слов или изучению неологизмов, сколько семантическим классификациям единиц[1]). Однако нельзя не отметить: несмотря на то, что в настоящее время в рамках этого магистрального направления предложено достаточное количество путей решения как теоретических, так и практических задач, здесь по-прежнему сохраняются не только очевидно спорные вопросы, но и культивируются некоторые заблуждения. Достижения же обсуждаемого в книге профессора А. Мустайоки магистрального направления принципиально верифицируемы. Поскольку в данном случае речь идет об обеспечении активных речевых действий на русском языке, практика таких речевых действий и есть критерий как истинности, так и полноты (или избыточности) соответствующих «теорий», «грамматик», «книг» и прочих построений.

Читатель найдет в книге А. Мустайоки краткий, внятный, очень тактичный критический разбор не только наиболее активно заявляющих о себе концепций, но и тех, авторы которых и не столь активны в пропаганде своих текстов (П. Адамец, Ч. Пете, Б. Норман). Удивляет в этом списке лишь разбор «Функциональной грамматики русского языка» М. А. Шелякина, воинственно реализующей подход от формы к значению, причем ориентированной не столько на семантизацию, сколько на различного рода внутриязыковые классификации грамматических явлений. Может быть, значение слова *функциональный*, трактуемого почему-то как синоним слов *идеографический*, *ономасиологический*, *активный*, *продуктивный*, «*от смысла — к тексту*» и т. п., стало причиной подобного несоответствия? На мой взгляд, слово *функциональный* в значении ‘от семантики к средствам’ является одной из характерных для описаний данного участка системы несообразностей, потребовавшей, в частности, подзаголовка в названии самой книги фин-

[1] См., например, работы екатеринбургских ученых под руководством Л. Г. Бабенко, а также продолжающиеся выпуски «Русского семантического словаря» под руководством Н. Ю. Шведовой.

ского профессора. То же самое, по-моему, касается и слова *синтаксис*. Почему не *грамматика*? Или, наконец, не *регулярные правила*? И хотя автор пытается обосновать свой терминологический выбор, как кажется, он в этом принципиальном (?) моменте жертвует научной истиной. Однако на стр. 377, открывающей третью часть книги «Использование функционального синтаксиса в прикладных целях», автор называет предложенное в предыдущих главах *грамматическая модель*. Характерная проговорка!

В отличие от некоторых объемистых трудов, принадлежащих к направлению «от семантических структур к языковым средствам», основное содержание книги А. Мустайоки очень удобно для краткого пересказа. Книга финского ученого не содержит также малопонятных и неэффективных, а оттого очень многословных рассуждений и банальностей, она не нагружена также разнообразными декоративными подробностями, грубо нарушающими иерархию понятий и отражающими лишь любовь к определенным деталям, которая заставляет забыть как об общей картине, так и о самой цели исследования. Однако сам автор, подтверждая справедливость принципа «кто ясно мыслит, тот ясно излагает», представил в качестве приложения «Резюме: основные принципы и понятия функционального синтаксиса» (411—428). Этот раздел не менее других достоин внимания. Автор взял на себя огромный труд: он осмыслил и представил в упорядоченном и законченном виде накопленный современной русистикой аппарат общих понятий и конкретных наблюдений, «работающих» на построение грамматики, обеспечивающей продуктивные виды речевой деятельности. Здесь и ядерные семантические структуры (не путать со структурными схемами предложения, отражающими типологию формальных структур) с их общей семантической типологией и основными элементами, и их модификаторы (фаза, каузация, авторизация и др.), и противопоставляемые им спецификаторы (временны́е, аспектуальные, количественные и др.), и сложные семантические структуры[2]. Разумеется, частные решения автора относительно классификации или некоторых семантических интерпретаций могут быть спорными (оправдано ли, например, противопоставление Темы и Объекта, включение в число именно Актантов Места, объединение «социального взаимодействия» и «социального поглаживания» и т. п.?). Однако я полностью принимаю общую концепцию А. Мустайоки как логичную, эффективную и достаточно полную, а поэтому никак не хочу останавливаться на вопросах, не имеющих принципиального значения. Отмечу лишь серьезность и трезвость автора, четко определяющего то, на что предложенная им теория не ориентирована: установление психологического механизма речепроизводства, область диалогической речи, в которой ситуативность часто «сильнее» языковых средств, и, в частности, интерпретация косвенных речевых актов (*Здесь холодно* = «Закройте окно»; *У Вас есть часы*? = «Скажите, который час?» и т. п.). Очень справедливые и естественные для ученого, стремящегося к Истине, ограничения особенно ценны на фоне тематически близких трудов, претендующих на объяснение любых объектов. Остановлюсь лишь на некоторых принципиальных, как мне кажется, соображениях, возникающих как следствие благодарного приятия концепции, изложенной в книге профессора А. Мустайоки. Полагаю, что эти соображения, если они действительно принципиальны (т. е. таковы, что автор

[2] См. подробную аннотацию О. Е. Фроловой: Вестник МАПРЯЛ, № 50. 2006.

вынужден постоянно их преодолевать), будут небесполезны в анонсированной работе над новой книгой, которая станет конкретным осуществлением предложенной теории применительно к русскому языку.

1. Мне показалось, что при установлении самих семантических структур предлагаемая теория оказывается слишком зависимой от языковых единиц, способных эту семантическую структуру воплощать. Не лучше ли было бы избавиться от такой зависимости, отчетливо понимая, что в этом случае обнаружатся и такие семантические структуры, которые не найдут в данном языке (языках) соответствующего воплощения? Поясню свою мысль примером со с. 340—342, где автор усматривает у спецификатора места семантическую структурацию, которую можно обозначить как «где» — «куда» — «откуда»: *был в школе — пошел в школу — вернулся из школы*. Однако такое универсальное семантическое противопоставление, как справедливо отмечает автор, в русском языке возможно не для всех семантических структур. Ср.: *был на Камчатке — поехал на Камчатку — вернулся с Камчатки* и *жил между школой и водокачкой*, *пошел* также точно *между школой и водокачкой*, но *вернулся*? Мне думается, что при рассмотрении, например, модификатора «фаза», было бы целесообразно не только семантизировать соответствующие «метаглаголы», но и строить семантические структуры с такими дифференциальными признаками, как «с желанием» (разной направленности), «резко» (в разной степени) и т. п. То же самое касается и модификатора «каузация», ведь участвующие здесь различные семантические характеристики теоретически также могут выступать в разных комбинациях.

Без сомнения, финскому ученому близка мысль о возможности различных миров, отвергающая абсолютизацию одного мира, создаваемого каким-либо языком. Пусть количество конкретных семантических структур, принадлежащих определенному модификатору или спецификатору, будет существенно больше числа соответствующих слов или словосочетаний, но пусть это количество отразит все теоретически возможные комбинации соответствующих дифференциальных признаков. Думаю, что такой подход оправдает связанные с ним трудности как теоретически, так и практически. Теоретически — потому, что обеспечит необходимую по самой постановке задачи независимость того, что мы называем семантической структурой (ведь в противном случае мы просто «подгоняем» семантику под уже имеющиеся языковые средства, подменяя ономасиологию семасиологией навыворот). Практически же — потому, что позволит обнаружить в любом языке пустые клетки, знание которых необходимо и для практического овладения иностранным языком («так не говорят!»), и для проникновения в сущность явления, называемого «языковой картиной мира». Разумеется, количество таких пустых клеток уменьшится с учетом факторов реальной действительности, однако аргумент «язык сам знает» (и подобные ему) никак не может быть серьезным для объяснения отсутствия именования тех или иных комбинаций семантических признаков. Строго говоря, здесь нет ничего нового, об этом писали еще и Г. Лейбниц и Л. Ельмслев, однако, как кажется, семасиология и привязка к материи, т. е. «к средствам», столь сильны в нашей традиции, что мешают осмыслить ономасиологию и семантический дифференциальный признак как самостоятельные и независимые элементы, способные существовать сами по себе. Может быть, это интуитивная боязнь впасть в идеализм?

2. Если я сумел правильно понять, конечная цель той грамматической мо-

дели, которую предложил Арто Мустайоки, состоит в том, чтобы перейти от содержательного замысла к формальной, поверхностной структуре в виде предложения. Так, например, если «Иван» «находится в состоянии» «t° вне его < N», то эта комбинация семантических признаков (семантическая структура?) может быть передана по-русски двумя предложениями: *Ивану холодно* и *Иван мерзнет* (оставим пока вопрос о возможных различных интерпретациях временной отнесенности соответствующих предложений в стороне). Очевидно, что в этом случае создание нормативной поверхностной структуры целиком определяется не столько семантикой соответствующего предиката, сколько его сугубо лексическими свойствами как части речи (глагол или категория состояния) или типа глагола (личный он или безличный). То же самое касается и других исчислений соответствующей семантической структуры в смысле, предложенном выше: «Иван» «находится в состоянии» «t° внутри него < N» — «*У Ивана озноб*» или «*Ивана знобит*» (с возможным добавлением семы «частая повторяемость»). В связи с этим возникает вопрос о настоятельной необходимости перейти от семантики ядерной структуры «физиологическое состояние» (по Мустайоки) именно к конкретному типу предиката, который будет репрезентировать данную семантическую структуру в конкретном случае. Уже до перехода на уровень предложения требуется формальное средство (конкретно — предикат?), которое и определит, как преодолеть разнообразные капризы лексической сочетаемости, связанные не только с формой обозначения экспериенсера и структурной схемой предложения, но и, например, с сильным управлением (*успех зависит от обстоятельств*, но **успех зависит*) или формой актантов (*тронуть руку*, но *коснуться руки*, *направлять деятельность*, но *руководить деятельностью* и т. п.). Не говорю уже об определяемом главным словом выборе слов, выполняющих одну и ту же лексическую функцию: *цветы вянут*, *железо ржавеет*, *человек и идеи стареют*, *дома ветшают*, а *одежда изнашивается* (физически) или *выходит из моды* (морально). Во всех этих предложениях далеко не все предикаты взаимозаменяемы, а сколь это важно и трудно для обучения сознательной активной речевой деятельности, очень хорошо знает любой изучающий или преподающий русский язык как иностранный. Так что путь от осмысления «положения дел» к его обозначению в виде предложения не легок и не скор. Эту пропасть приходится нередко перепрыгивать и в два прыжка, где для первого приземления и второго толчка также необходима ясная и прочная точка опоры.

Впрочем, и эта проблема очень стара. Традиционно она выступает как взаимодействие лексики и грамматики, которые, как известно, «надо различать, но нельзя отрывать». Довольно остро она встала в связи с выделением структурных схем русского предложения: трактовать ли предложения с сильно управляющими предикатами как отдельные структурные схемы или сводить их к типовым, более простым? Как известно, оба решения имеют свои недостатки: неадекватность действительности во втором случае и значительное усложнение описания за счет относительно редких или почти уникальных случаев — в первом. Преподаватели иностранных языков также сталкиваются с подобным парадоксом: высокочастотные единицы не управляются простыми правилами, они нерегулярны, а регулярно зачастую то, что не очень частотно. Выхода из этого положения нет, но осознание безвыходности абсолютно необходимо.

3. Хотя я и обещал не вдаваться в частности, есть одна, по поводу последовательного использования которой я не могу удержаться от комплиментов профессору А. Мустайоки. Речь идет об осмыслении многих формально простых предложений как сообщений о двух ситуациях: *Мы вернулись из-за дождя = Пошел дождь, поэтому мы вернулись*. При этом представляется, что идея асимметрии формы и содержания представляет большую ценность не только при подходе от формы — к содержанию, но и при подходе от семантических структур — к языковым средствам. Ведь в последнем случае «правильные предложения» могут быть созданы при том условии, когда то, что не требует непременного формального выражения, так и должно остаться невыраженным. Самый яркий пример — это спецификаторы определенности (по Мустайоки), которые в русском безартиклевом языке часто вообще не оформляются никакими языковыми средствами, оставаясь «областью общих знаний собеседников (не обязательно как участников диалогической речи!) о ситуации общения и / или жизни вообще».

Видимо, в некоторых русских предложениях возникает также и некоторый приращенный смысл как результат взаимодействия семантики предиката и актантов. Это, например, «*топором*» в предложении *Нина рубила дрова*, которого не будет, например, в *Нина рубила мясо* (*на котлеты*) / *капусту* (*на солку*) / *головы врагам* (ср. 158). Или, например, «нежелательность» (а не только «неконтролируемость») для одушевленных нейтралов или экспериенсеров: *Виктор споткнулся*; *Кошка попала под машину* — и отсутствие этого семантического признака для таких же неодушевленных участников: *Мяч закатился под кровать*; *Карандаш упал на пол* (ср. 209). Учет знаний о жизни позволяет считать правильным употребление союза *и*, а не *а* в предложении *Нина работает в школе, и Виктор — в поликлинике*, если продуцент хочет не противопоставить «школу» и «поликлинику», а объединить их как места работы для так называемых бюджетников, т. е. низкооплачиваемых работников государственных учреждений (ср. 357). Таким образом, в процессе создания поверхностных структур при активных речевых действиях не любые компоненты семантической структуры получают свое непосредственное воплощение, некоторые из этих компонентов либо вообще не материализуются, как бы оставаясь в пресуппозиции, другие — получают непрямое выражение в комбинациях лексических единиц, выполняющих при этом и свои основные функции.

Эту важную для обеспечения продуктивных речевых действий мысль также нельзя считать новой. Она возникла в рамках семасиологического анализа русских членимых слов. Усилиями О. П. Ермаковой, Е. А. Земской, Е. С. Кубряковой, М. В. Панова, И. С. Улуханова и др. удалось выявить, что при сложении значений морфем членимого слова часто $1 + 1 > 2$. То же правило действует и при продукции, когда для адекватного воплощения элементов семантической структуры не всегда требуется воплощать каждый из них. Некоторые как раз вовсе и не требуется воплощать.

Простым следствием из приведенного выше неравенства выступают и такие случаи, когда $1 + 1 < 2$. Выявление таких аномальных случаев сложения значений, нарушающих обычное $1 + 1 = 2$, необходимо не только для обучения русскому языку как иностранному, но позволяет определить те участки, которые говорящие / пишущие даже не считают нужным обозначать (в буквальном смысле *it goes without saying* или по-русски *и не говори*!), а также такие

средства, которые говорящие / пишущие считают слишком слабыми и, следовательно, требующими дублирования, подстраховки. Конкретные знания таких участков для определенных языков — ценный вклад в наше представление о «языковой картине мира» (см. выше).

4. Нетрудно видеть, что многие предлагаемые в книге А. Мустайоки актанты, модификаторы и спецификаторы представляют собою переосмысленные в целях обеспечения продуктивных речевых действий традиционные морфологические категории славянских языков. Эти «переосмысления» в целом (особенно исключение такой асемантической категории, как род, распределение грамматической категории наклонения по разным семантическим признакам) весьма эффективны, поскольку вместе с чисто лексическими характеристиками в семасиологии (каузация, фаза, оценка, место) они делают концепцию А. Мустайоки полной и завершенной. Однако не могу не выразить сомнения по поводу объема того, что названо аспектуальностью и в своей основе представляет переосмысление в ономасиологическом аспекте категории глагольного вида. Очевидно, что семантическое содержание совершенного вида заключается в обозначении либо однократности (*поцеловал*, *навестил*, *сказал*), либо результативности целенаправленного действия (*написал*, *прочитал*, *научил*), либо в совмещении одной и другой возможности интерпретации (*выбрал*, *объяснил*, *купил*). При этом, взаимодействуя с семантикой актантов, формально не выраженными знаниями о ситуации и / или жизни вообще, собственно видовая семантика не всегда подчиняется простому аддитивному 1 + 1 = 2 (см. выше). Однако результаты такого взаимодействия (а иногда и только сами взаимодействующие с видовым значения элементы) нередко принято включать в семантику собственно вида, под прикрытием тех или иных не очень внятных именований типа *аспектуальная ситуация*. Проверка ономасиологией (принципиально тождественная проверке правильности решения арифметической задачи подстановкой ответа в условия) делает очевидной бессмысленность такого включения. И А. Мустайоки абсолютно прав, ограничивая аспектуальные разряды положения дел статуальным, процессуальным, динамическим, терминальным, моментальным и результативным (с. 325). При этом, однако, возникает вопрос, не являются ли хотя бы некоторые из этих разрядов темпоральными, если разумно понимать под темпоральностью не только положение на оси прошлое / будущее, но и характер протекания действия во времени, неизменное, процессное, моментальное, а также, например, повторяющееся. В таком случае, по Мустайоки, за аспектуальностью останется лишь результат и все, что с ним связано.

С другой стороны, хочу обратить внимание на то обстоятельство, что в славянских языках совершенный вид может сообщать предложению актуальность (ср. с английским языком), выполняя таким образом, в частности, роль определенного артикля в артиклевых языках[3]. В таком случае вид выступает как языковое средство уже в качестве спецификатора «определенность» (ситуации, предиката или актантов). Если мои соображения верны, семасиологическая аспектуальность в ономасиологическом аспекте «фигуры не имеет», поскольку распадается на «результативность» и «определенность» (ср. выше с определением се-

[3] См.: *С. Б. Славкова.* Синтагматическое взаимодействие грамматических категорий аспектуальности глагола и определенности имени в русском, болгарском и итальянском языках. М., 2004.

мантики глаголов совершенного вида и с проверкой семасиологии ономасиологией). Потеря совершенно ошеломляющая при семасиологическом подходе! Но с точки зрения ономасиологии мы совершенно спокойно принимаем отсутствие «падежности», поскольку соответствующая морфологическая категория, как доказали еще А. Н. Колмогоров и В. А. Успенский, покоится лишь на формально-сочетаемостных основаниях, а семантика, связанная с этой категорией, либо весьма разнообразна (различные типы актантов и обстоятельств), либо вовсе отсутствует (после предлогов, требующих только форм одного-единственного падежа). Строго говоря, и вид глагола как грамматическая категория покоится только на парадигматическом (отсутствие форм со значением настоящего времени у глаголов совершенного вида) и сочетаемостном основаниях (несочетаемость глаголов совершенного вида с некоторыми семантическими классами глаголов и наречий).

Итак, высказанные выше соображения о работе финского коллеги связаны с тем, что эта книга, на мой взгляд, не столь ономасиологически революционна, как это требуется для полного и качественного решения грандиозной задачи — лексико-грамматического обеспечения сознательных (а не имитационных) продуктивных речевых действий на русском языке. Зато современное «положение дел» в русской грамматической науке со всеми ее признанными научным сообществом достижениями представлено превосходно. Книга также представляет немалую ценность благодаря хорошо составленному списку литературы (в котором, к сожалению, пропущена работа О. Н. Ляшевской «Семантика числа в русском языке», вышедшая в 2004 г. в той же серии, что и книга А. Мустайоки), содержит индексы терминов, авторов и языковых единиц.

И. Г. Милославский

В. П. Григорьев, Л. И. Колодяжная, Л. Л. Шестакова. **Собственное имя в русской поэзии XX века: Словарь личных имен.** М.: ООО Издательский центр «Азбуковник», 2005. — 448 с.

Эпоха потрясений в общественной жизни отозвалась в отечественной лингвистике бурным развитием практической лексикографии, и период с начала 90-х гг. XX века недаром был окрещен «временем словарей». Эта ситуация одновременно закономерна и парадоксальна, она спровоцирована и внешними, социальными, причинами, и внутренней логикой развития филологической науки. Так, тенденция к лексикографической параметризации языка, иначе говоря, к «ословариванию», «представлению в виде словарей par excellence результатов самых разных, а в идеале — всех лингвистических изысканий» [Караулов, Гинзбург 2003: 5], оценивается как характерная для отечественной и мировой лингвистики прогрессирующая линия развития.

Любой словарь одновременно *венец* (*конец*) и *начало*: он является и *итогом* огромной исследовательской работы по накоплению и интерпретации языкового материала, и *истоком* дальнейших изысканий, нередко даже тех, которые и не предполагались авторами.

Именно таким нам представляется рецензируемый словарь собственных имен. Выросший из грандиозного проекта (*идеи-мечты*, как выразился В. П. Григорьев) «Словаря языка русской поэзии

XX века», он, без сомнения, представляет самостоятельную ценность. Эта ценность видится нам в нескольких моментах.

Во-первых, имя собственное занимает уникальное место в языке и поэзии. Оно, с одной стороны, отражает денотативное пространство языка и — соответственно — мир вещей, следовательно, этнокультурную специфику эпохи. С другой стороны, «едва ли не любое слово в поэзии потенциально напряжено как самоназвание, то есть как имя собственное» [Григорьев 1997], и едва ли не любому поэтическому имени собственному могут быть приписаны понятийные признаки. Таким образом, «философия имени» в поэзии есть составляющая поэтической философии, поэтической картины мира соответствующего времени. Поэтому закономерно, что рецензируемый словарь реализует «широкий подход к имени, разрушающий „берлинскую стену“ между собственными именами и нарицательными» [Григорьев 1997]. Эта исследовательская позиция определяет состав словника (3000 словарных статей), включающего не только *собственно собственные* имена, но и нарицательные, выступающие в роли собственных (*Царь*, *Царевна*), перифрастические наименования лиц (*Пезарский лебедь* — Россини), производные от личных имен (*гуттенбергов, по-байроновски, муссолиниться*, *моцарть*), а также систему ссылок, устанавливающих отношения кореферентности и переходности между собственными и нарицательными именами (**Отрок** — А. Н. Романов; см. АЛЕКСИЙ; **Овидий** — *тж*. в знач. *нариц*.).

Во-вторых, цитатный материал. Объем отдельного контекста диктуется стремлением авторов словаря показать «приращения смысла», особенности ритмики и фоники поэтического текста и колеблется от словосочетания до стихотворения, а совокупность контекстов к заголовочному слову представляет собой полный конкорданс.

В-третьих, набор лексикографических параметров, который реализует не только вполне очевидную цель (как можно более бережно передать своеобразие функционирования имени в тексте и тем самым сохранить авторский замысел), но и желание облегчить читателю понимание внутреннего мира поэта и его окружения через ономастикон как важнейшее слагаемое этого мира. Таким образом, словарь ориентирован и на языковую личность автора, и на когнитивную базу читателя; наконец, он репрезентирует активную позицию исследователя — медиатора между поэтом и читателем (отмечу две показательные в этом отношении словарные пометы: *Хм*. — знак сомнения в правоте поэта; *?* — знак сомнения составителей в даваемых ими характеристиках).

Безусловно, словарь обладает богатым потенциалом как для собственно научных изысканий в области художественной речи, так и для учебной исследовательской работы студентов. Существование электронной версии словаря (http://www.philol.msu.ru/~humlang/slovar.si.2003) облегчает преобразования, позволяющие переструктурировать материал в соответствии с избранным аспектом анализа. Назову лишь несколько тем, которые могут быть выполнены на базе словаря: пушкинские (гоголевские, гомеровские, шекспировские etc.) имена в русской поэзии XX века; состав и функционирование теонимов (античных, христианских, мусульманских); советские революционные деятели в зеркале поэзии XX века (*Ленин*, *Сталин*, *Лариса Рейснер*, *Луначарский*, *Троцкий*); поэтика одного имени (*Александр*, *Петр*, *Ольга*); этноспецифические онимы (французские, английские, немецкие); окказиональное словообразование в сфере собственных имен (*муссолиниться*, *немарксичен* и проч.);

словосложение как специфический способ создания антропонимов (*облачко-Пегас*, *Бус-удавлюсь*, *Вихрь-Девица*, *Жар-Девица*, *Опрометь-бог*) и многие другие (среди уже осуществленных исследований [Григорьев, Колодяжная, Шестакова 1999; Шестакова 2004; Шестакова 2006]). Стоит привлечь в качестве сравнения другие словари идиостилей, содержащие более или менее полную информацию о собственных именах («Лермонтовская энциклопедия» (М., 1981), «Шевченковский словарь» (Киев, 1977), даже «Словарь языка Пушкина» (М., 1956—1961) и др.), — и откроются новые возможности исследования и новые грани обозначенных проблем. Заметим, что, хотя частотные индексы не включены в словарь, высокочастотные имена легко опознаются по объему зоны контекстов, следовательно, вполне могут быть осуществлены исследования, связанные с распространенностью в поэзии тех или иных типов имен и реконструкцией соответствующих ономастических полей.

В заключение хотелось бы отметить еще один читательский адрес издания — оно обращено ко всем, кто любит и ценит русскую поэзию и русскую литературу Серебряного века. Существуют словари, которые выполняют не только собственно утилитарные, но и эстетические, гедонистические цели — их просто интересно читать, как читают обычную книгу. Таков, например, словарь иностранных слов, словарь фразеологизмов или словарь Даля. На наш взгляд, «Собственное имя в русской поэзии XX века» относится именно к этой категории словарей.

Кстати сказать, В. П. Григорьев полагал, что в обществе назрела потребность в том, что можно назвать «Поэтическим Ожеговым» с перспективой его превращения в «Поэтического Даля». Однако вспомним, что, кроме известного «Толкового словаря», В. И. Даль издал «Пословицы русского народа», которые можно рассматривать и как самостоятельный труд, и как один из источников знаменитого словаря, и как *после-текст* («Пословицы» вышли почти одновременно с первым изданием словаря). Так же и рецензируемый словарь: будучи сконцентрирован в рамках одного издания, ономастический материал, на наш взгляд, смотрится более выпукло, чем в «большом» словаре, и приближает нас к ответу на «вечный» шекспировский вопрос «*Что значит имя?*».

Литература

Григорьев 1997 — В. П. Григорьев. Самовитое слово / Словарь русской поэзии XX века. Пробный выпуск: А–А-ю-рей. 1997.

Караулов, Гинзбург 2003 — Ю. Н. Караулов, Е. Л. Гинзбург. Опыт типологизации авторских словарей // Русская авторская лексикография XIX–XX веков. М., 2003. С. 4–16.

Григорьев, Колодяжная, Шестакова 1999 — В. П. Григорьев, Л. И. Колодяжная, Л. Л. Шестакова. Имя собственное *Пушкин* и его производные в Словаре русской поэзии XX века «Самовитое слово» // Пушкин и русский поэтический язык XX в. М., 1999. С. 297–309.

Шестакова 2004 — Л. Л. Шестакова. Личные имена в рифмах Марины Цветаевой (по материалам словаря «Собственное имя в русской поэзии XX века») // Чужбина, Родина моя!: Эмигрантский период в жизни и творчестве М. Цветаевой: Материалы XI междунар. науч.-темат. конф. (9–11 окт. 2003 г.). М., 2004. С. 441–453.

Шестакова 2006 — Л. Л. Шестакова. Имена поэтов в словаре «Собственное имя в русской поэзии XX века» // Словоупотребление и стиль писателя: Сб. ст. СПб., 2006. С. 186–195.

Н. А. Кузьмина

В. П. Григорьев, Л. И. Колодяжная, Л. Л. Шестакова. **Собственное имя в русской поэзии XX века: Словарь личных имен.** М.: ООО Издательский центр «Азбуковник», 2005. — 448 с.

Предшествующий текст заканчивается словами «... рецензируемый словарь... приближает нас к ответу на „вечный“ шекспировский вопрос „Что значит имя?“». Забавно! Для рецензента, по-видимому, У. Шекспир кажется теоретиком семиотики. Замечу, что в переводе Б. Пастернака слова Джульетты звучат так:

Что значит имя? Роза пахнет розой,
Хоть розой назови ее, хоть нет.
Ромео под любым названьем был бы
Тем верхом совершенств, какой он есть.

Ответ ясен: имя ничего не значит. В оригинале этот вывод еще ярче, ему не мешает многозначность русского глагола *значить*.

What's in a name? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet;
So Romeo would, were he not Romeo call'd,
Retain that dear perfection which he owes
Without that title.

Помимо семиотического вопроса хотелось бы по-деловому обсудить несколько оригинальных черт этой книги.

1. Первый вопрос составителя любого словаря — определение границ словника. Задумывая свой словарь личных имен, авторы решили включить в него слова *Бог* (и его синонимы *Боже*, *Боженька* — целых семнадцать страниц), *Антихрист*, *Демон*, *Дьявол*, *муза*, *Вила*, *Дама*, *див*, *Дух*, сюда же включены и контекстуальные синонимы всех подобных слов (*батюшка*, *мать*, *отец*, *отрок*, *пастырь*, *голубь*, *сын*, *дитя*, *еврей*, *спаситель*, *творец*, *учитель*, *кифаред*, *лукавый*, *змей*, *командор*, *Дева*, *Грозный*). Тем самым внешняя граница словника размывается. При последовательном проведении такого принципа пришлось бы включить в словарь и местоимение *Он* (с прописной буквой *о*) и даже любое местоимение 3 лица, как обозначение референта, уже названного именем собственным.

Словник расширен и за счет любых производных от антропонимов (любой степени) — не только *ленинский*, но и *Ленинград*, *ленинградцы*, *ленинградский*, не только *марксов*, но и *марксизм*, *марксистский*, включены в словарь *вакханалия*, *вакханка*.

2. Можно обсуждать порядок контекстов в больших статьях. Словарь имен следует плану исходного «Словаря русской поэзии XX века» (сост. В. П. Григорьев, Л. Л. Шестакова и др. М., 2001–2003), т. е. чисто хронологического порядка контекстов. Во многих случаях предпочтительнее было бы распределить материал по авторам, а в случае самых длинных статей (напр., *Бог*) — по разным значениям и по фразеологизмам.

3. Важная черта словаря — реальный комментарий, что с гордостью отмечают авторы в предисловии. Этот комментарий обычно сделан хорошо: *Абеляр*, *Авессалом*, *св. Андрей Юродивый*, *Антоний*, *Брюс*, *Гарфильд*, *Индикоплов* и т. п. Ошибок очень мало (ср. *Брунгильда* — королева Аустразии 575–613, в Исландии монархов не было), есть анахронизмы (ср. *Кускова* — была членом «Союза русских социал-демократов за границей в 1890-е гг., потом беспартийная, контексты В. Маяковского относятся к 1917 г.). Вместе с тем, в некоторых случаях информация недостаточна, переход от реального комментария к цитируемому контексту часто остается непонятным (ср. *Адонис*, *Аларих*, *Али*, *Бауман*, *Дибич*, *Ермолов*, *американец*

Зингер 1811–74, *Изабелла* (*Католичка*), *Плюшкин*, *Швейк*).

Конечно, можно было бы обсуждать, в какой степени надо учитывать потенциального читателя и соответственно строить шкалу известности (от *Андерсена, Кутузова* и *Ленина* к парам *Андрей*/*Остап, Арлекин*/*Пьеро, Мирабо*/*Марат*, к *Луначарскому* до *Галифе* с *версальцами* или *26 бакинских комиссаров*). Хорошо, что *Адам* и *Ева* оставлены без комментариев.

Краткость комментария часто не позволяет читателю понять коннотации поэтических контекстов (*Дидона*, *Жаров*, *Ошанин*). В других случаях комментарий грешит излишней информацией: *Бирон* (лучше было бы опустить 1718 г., когда Анна Ивановна еще не была императрицей), *Ганская*, *Дантес* (французский монархист), *Иегова*, *Заратустра*, *Дюма*, *Брехничев* («бывш. священник» можно было опустить). Слишком прямолинейной кажется попытка указать годы рождения ветхозаветных *Измаила*, *Иакова* (но нет хронологии для *Иисуса*, *Авраама, Агари*, *Иосифа*). *Св. Георгий* вряд ли существовал как историческая личность.

Можно было бы критиковать и сами объяснения как с точки зрения логики (*Израиль* — «царство»; *Ллойд-Джордж* толкуется как лидер либеральной партии, но он прежде всего премьер 1916-22 гг.), так и с точки зрения стиля (*Морозова* — «деятельница раскола», *Джиоконда* — «персонаж картины»).

Эффект иногда смешной: ср. *Аглаида* — пояснение: св. III в. Но далее идет контекст:

> Поэту море по коленки!
> Смотрите, есть у Шепеленки,
> Что с Аглаидой Бонифатий
> Совокуплялся без объятий.

Все это совершенно невразумительно, если не обращаться к комментариям П. Нерлера в двухтомном издании Мандельштама (1990, т. 1, с. 598). Ср. также: *Алеша* — «сын покойного Алеши». Впрочем, хорошо откомментирован *Леонид*. Я думаю, что авторская лексикография должна следовать принципам и практике комментаторов литературных текстов с некоторыми аскетическими самоограничениями: надо пояснить контекст, не более.

4. Мелкие замечания:

Ошибки (опечатки) в хронологии или ее отсутствие: *Бедэкер* (1801—59), *Бонапарт* (император с 1804 г.), *Будда* (623—544 или 563—483?), *Вессон* (1825—1906), *Смит* (1808—93), *Вестингауз* (1846—1914), *Гогэн* (1848—1903), *Гольдони* (1707—93), *Гомер* не мог быть в XII в., (*Иоанн*) *Дамаскин* (675—753), американец *Зингер* (1811—74), *Капет*, *Каплан* не могла стрелять в Ленина в 1919 г., *Монтесума* II (1468—1520, иначе непонятны контексты) *Платон* (427—347, не 327).

Агарь/*Измаил* — следовало бы сказать об их потомстве.

Антон/*Деникин* — кажется, здесь толкование следует чуть расширить, то же относительно *Бауман*, *Борджиа*, *Врангель*, *Габсбурги* (300 лет были императорами), *Гарри* (существенно то, что Гейне крестился и стал Генрихом), *Жорес*, *Зощенко*, *Колчак*, *Крымов*.

Аракчеев — при Павле министром не был.

Бенкендорф — более известна как подруга Горького, Уэллса. В словаре используется эвфемизм «близкий друг» или просто «друг» (ср. *Брик*, *Валерьян*, *Виардо*, *Виноград*, *Завадский*), но о *Вечоре* сказано прямо — возлюбленная.

Буденный — «военный деятель» — неуклюжее толкование.

Венера — лучше сказать «богиня любви».

Веспасиан, *Карл Великий* — лучше указывать годы правления.

Владислав — его кандидатура на русский престол выдвигалась за 20

лет до того, как он стал польским королем.

Ганимед — унесен Зевсом.

Глан — хорошо бы указать и время создания романа. То же при *Гриэ*/*Леско*/*Манон*.

Диана — без указания на приравненность Артемиде станут непонятны все контексты, навеянные греческой литературой и мифологией.

Дорио (1898—1945) — полезно было бы отметить, что в 30-е годы он стал фашистом, воевал против СССР.

Каганович — существенно то, что в начале 30-х гг. Л. М. Каганович был секретарем Московского комитета ВКП(б), тогда в Москве существовали кое-где коммерческие магазины (где можно было купить что-то без карточек).

Мазепа — следовало бы вспомнить и шведского Карла IX, и Полтаву.

Медичи — лучше Лоренцо, а не Лаврентий.

Мамонтов — не мог умереть в 1918 г., его рейд в тылы красных был в 1919 г.

Плотник (*Саардамский п.*) — следовало бы прямо назвать Петра I.

А. Я. Шайкевич

Словарь русских говоров Приамурья / Авт.-сост. О. Ю. Галуза, Ф. П. Иванова, Л. В. Кирпикова, Л. Ф. Путятина, Н. П. Шенкевец. — 2-е изд., испр. и доп. — Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2007. — 540 с.

Территория Дальнего Востока в языковом отношении является уникальной: здесь можно «наблюдать как еще не сложившиеся, так и вполне сформировавшиеся диалектные группы, как стадию двуязычия, так и языковую смену, взаимодействие родственных и неродственных языков, выработку нового языкового сознания» [Браславец 1968: 118].

Первым опытом лексикографической фиксации диалектной лексики Приамурья был небольшой «Сборник слов, синонимов и выражений, употребляемых амурскими казаками» (Сборник Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук, т. 87, № 1, 1909, с. 1–24), составленный историком казачества А. Б. Карповым. Попытка составления словаря русских говоров Забайкалья и Приамурья была предпринята амурским краеведом Г. С. Новиковым-Даурским, записывавшим диалектные лексемы в период с 1913 по 1934 г. на территории Забайкалья и Амурской области. Но материалы краеведа остались в виде картотеки и, будучи фактически «Материалами для словаря русских говоров Забайкалья и Приамурья», были обработаны Л. В. Кирпиковой, В. В. Пирко и И. А. Стринадко и изданы лишь в 2003 году [Новиков-Даурский 2003]. Эти материалы еще до их отдельной публикации частично были включены в состав Словаря русских говоров Приамурья [АС-1]. В нем представлена диалектная лексика и фразеология говоров старожилого населения Приамурья от с. Албазино Амурской обл. до г. Хабаровска по верхнему и среднему течению р. Амура.

В 2007 году «Словарь русских говоров Приамурья» был переиздан. За четверть века, прошедшую с момента издания Словаря говоров Приамурья, пополнилась картотека, которая легла в основу этого издания, расширилась и территория собирания материала. Так, М. И. Бочарникова представила материалы, собранные ею в Биробиджанском, Ленинском, Облученском, Октябрьском, Смидовичском районах Еврейской автономной области. (Лексиче-

ские материалы, относящиеся к этим районам, даются в Словаре с пометой Хаб.) Обследование сел Амурской обл. продвинулось на север.

Словарь значительно пополнился за счет материалов амурского краеведа Г. С. Новикова-Даурского. В первое издание Словаря русских говоров Приамурья из его достаточно обширной картотеки уже вошло около 500 слов. Во второе было включено дополнительно более 50 слов, что стало возможным благодаря публикации [Новиков-Даурский 2003]. Новые исследования говоров Приамурья показали, что многие из слов, записанных им, употребляются в речи амурцев и в настоящее время.

Баской — ‘красивый, нарядный’ [АС-2: 31]; *божничка* — ‘божница, полка с иконами’ [Там же: 42]; *варь* (*варя*) — ‘порция пищи, приготовленной в один прием’ [Там же: 58]; *верещага* — ‘глазунья’ [Там же: 60]; *закуржаветь* — ‘покрыться инеем’ [Там же: 152]; *зарод* — ‘большая укладка сена в виде стога продолговатой формы’ [Там же: 160], *коральки* — ‘бусы’ и др.

К некоторым из таких слов приводится толкование, данное Г. С. Новиковым-Даурским, а далее — то, которое было выявлено в ходе современных исследований амурских говоров. Они представлены в словаре как варианты толкуемой единицы.

Гайтан — ‘легкий шарф, который обычно надевали на шею невесты’, Нов.-Даур.: ‘шнурок или тесемка для ношения креста на шее (турец.); шнурок вообще’ [АС-2: 89]; *гужеед* — ‘прозвище переселенцев из Вятской губернии’, Нов.-Даур.: ‘обидное прозвище ямщиков, главным образом томских’ [Там же: 107]. *Подорожник* — ‘калач или булка, взятые в дорогу’, Нов.-Даур. [Там же: 336].

Новое издание Словаря пополнилось лексемами, отражающими этнокультурные особенности жителей Дальнего Востока. Названия обуви, одежды, игр, танцев, обрядов, праздников, поверий и т. п. отразились в таких лексемах: *ботыли* — ‘деревянная обувь без пяток’ [АС-2: 46], *овчинник* — ‘полушубок из выделанной овечьей шкуры (овчины)’ [Там же: 289]; *полька-кокетка*, *полька крест, простяк* — ‘названия танцев’ [Там же: 344]; *петровки-голодовки* — ‘народное название весеннего поста перед днем Петра и Павла’; *сарсалом* — ‘вид святочного гадания’ [Там же: 394] и др. Сейчас такие слова уходят в историю. Не случайно после толкования или вместо него в некоторых словарных статьях ставится знак вопроса или, при невозможности точного определения, приводится слово (какой? какая?). **Пятерошный** — ‘одно из названий платков (какой?)’ [АС-2: 371].

Лучшим решением в словарях, разъясняющих особые реалии, являются иллюстрации. Такая практика имеет давнюю традицию. Авторы-составители нового издания Словаря русских говоров Приамурья приводят иллюстрации для названий одежды и обуви, головных уборов и рукавиц, хозяйственной обуви и посуды, инструментов и пр., давая тем самым наглядное представление о предметах быта.

Значительно расширен состав слов, отражающих ремесла и промыслы в Приамурье: ткачество, рыболовство, охота и др. Словарь отражает особенности трудовой деятельности дальневосточников в словарных статьях, связанных с сельскими работами, золотопромышленной и лесной отраслями хозяйства.

Гамар, а и у, м. Часть крепления в маховой пиле при продольной распилке бревен [АС-2: 89].

Обоновка, и, ж. *Спец.* 1. Ограждение на воде из 5–6 бревен, распиленных и связанных тросом, скрепляющее бревна в плоту. 2. Подготовка бонных ограждений для сплава леса [Там же: 286].

Самородич, а, м. Кусок металла, самородок [Там же: 393].

Если первое издание включало около 7000 словарных статей, то во втором словарный состав значительно шире: он содержит 11000 словарных статей.

Семантика многих слов, вошедших в АС-1, в АС-2 уточнена и расширена за счет новых значений, которые были выявлены при привлечении более широкого диалектного материала: например, *поветь* — это не только ‘легкая постройка для скота или хранения хозяйственного инвентаря’; ‘крыша, навес’; ‘верхнее чердачное помещение над сараем’ [АС-1], но и ‘хозяйственное строение, которое имеет лишь три стены’ [АС-2: 330]. Ср. также:

Простины, ин, мн. *Устар.* Обряд прощения молодоженов, обвенчавшихся тайно [АС-1: 227]; **Пелюска**, и, ж. Соленый кочан капусты [Там же: 197].

Простины, прощины, ин, мн. *Устар.* 1. Последний день Масленицы; Прощеный день. 2. Обряд прощения родителями молодоженов, обвенчавшихся тайно [АС-2: 365]; **Пелюска, телюска**, и, ж. Пласт соленой капусты — часть кочана, разрезанного на куски, то есть «пластами» [Там же: 317].

Многие слова связаны с укладом жизни, который уже полузабыт, поэтому очень важно, что их значения детализированы. Ср.:

Капустник, а, м. Пирог с капустой [АС-1: 113].

Капустник, а, м. Пирог из сдобного теста, начиненный мелко рубленной свежей капустой, отжатой и смешанной со сметаной. После выпечки пироги обильно смазывают вначале маслом, а затем сметаной, и накрывают, чтобы их корочка стала мягкой [АС-2: 181].

В новом издании во многих словарных статьях расширен иллюстративный материал. Ср.:

Задорога и, ж. Одна из боковых сторон пода русской печи. *В русской печке заслонка, шесток, под и задороги справа и слева от цела — боковые части. Задорога называлась бокова сторона, а загнетка за задорогой* (Башур. Облуч.). *Поставь чугунку за задорогу!* (Алб. Скв.) Амур. (Магд. Скв.) Хаб. (Облуч. Окт.) [АС-1: 92].

Задорога, задрога и, ж. Одна из боковых сторон пода русской печи. *В русской печке заслонка, шесток, под и задороги справа и слева от цела — боковые части. Задорога называлась бокова сторона, а загнетка за задорогой* (Башур. Облуч.). *Поставь чугунку за задорогу!* (Алб. Скв.). *На задорогу чайсливан ставили* (Алб. Скв.). *Угольки в задорогу выгребешь, и можно печь хлеб* (Черн. Магд.). *А это задорога, я туда уголь сгребаю* (Алб. Скв.). *Задроги в печке есь: две стороны. Загнетку сделашь в задроге и угли туды горячи* (Пуз. Окт.) Амур. (Магд. Скв.) Хаб. (Облуч. Окт. Смид.) [АС-2: 148].

Расширение иллюстративного материала совершенно обосновано, так как «словарь отражает представления о мире носителей диалекта», которые наблюдатели-лексикографы стремятся точно передать, имея в виду читателей, «степень их осведомленности в описываемых явлениях, предметах, событиях, их лексикографическую компетенцию» [Кирпикова 2004: 28]. Например, в иллюстрации к слову *сарсалом* ‘вид святочного гадания’ раскрывается не только его значение, но и процесс гадания: *На Рождество сарсалом гадали. Берешь зернышко, закрутишь его. На бумаге нарисован круг. Кидаешь зерно. На какой номер упадет, то и читаешь* [АС-2: 394].

Особо следует сказать о фразеологизмах. Ими значительно пополнен словарь: *два метра сухостоя* — «о высоком и худом человеке» [Там же: 112], *ни голосу ни выносу* — «об отсутствии физических возможностей» [Там же: 96], *сердце припало к жизни* — «пере-

стать волноваться, успокоиться» [Там же: 404], *черти в кулачки не бьют* — «очень рано» [Там же: 495] и т. д.

Изменился подход к амурским говорам: «историко-лингвистический подход к амурским говорам в АС-1 уступил в АС-2 территориально-лингвистическому» [АС-2: 10]. В обследование были вовлечены северные села Амурской области, где проживают потомки казаков из Забайкалья и Сибири — «семейские», чьи говоры формировались на южнорусской основе, а также выходцы с Украины и Белоруссии. Так, в АС-2 появились слова *баз* — ‘загон для скота’ (из южных говоров), *выкохать* (укр.) — ‘вылечить, выходить’, *морква* (укр. и бел.) — ‘морковь’, *жменечка*, *жменька*, *жменя* (бел., укр.) — ‘горсть’, *рушник* (бел., укр.) — ‘полотенце, обычно домотканое’, *бурак* (бел.), *буряк* (*укр.*) — ‘свекла’ и др.

Новый подход в описании лексики говоров проявился и в изменении словарной статьи. Принципиальные отличия во втором издании отмечены в «Предисловии»: фонематические и акцентологические варианты слов даны в одной словарной статье. Например: *бамбера*, *балбера*, *банбера*, *бламбера*, *бламбира* (‘поплавок на рыболовной снасти’) [АС-2: 28]; *крипотки*, *кривопотки*, *крыпотки* (‘меховые чулки или носки’) [Там же: 213]; *орогда́*, *оро́гда* — ‘меховая охотничья шапка, сшитая из шкуры, снятой целиком с головы козули’. Такая подача материла облегчает поиск нужного слова.

В новом издании пересмотрены способы толкования слов: во многих из них введены элементы энциклопедического толкования. Ср.:

Вербохлест, а, м. *Устар.* Весенний религиозный праздник [АС-1: 36].

Вербохлест, а, м. *Устар.* Народное название христианского праздника, предшествовавшего Пасхе; Вербное воскресенье. Согласно поверьям, ветки вербы оберегают от болезней и увечий, поэтому их устанавливают в домах и ими выгоняют скот первый раз в поле [АС-2: 60].

В новом издании большее внимание уделено стилистическим пометам, указывающим на 1) стилистическую окраску слова: экспрессивность (интенсивность или экстенсивность признака, действия и под.), 2) эмоциональность (бранное, грубое, ироническое, ласкательное и под.); 3) стилистическую маркированность (нар.-поэт.[1]); 4) употребление слова в говорах (новое, специальное, устаревшее). Естественно, что некоторые стилистические пометы в новом издании пересмотрены. Ср.:

Гаврик — неодобр. [АС-1: 54], **заугольник** — экспр. [Там же: 102].

Гаврик — шутл.-ирон. [АС-2: 88], **заугольник** — неодобр. [Там же: 163].

Словарь русских говоров Приамурья вместе с его вторым, исправленным и дополненным, изданием вводит в научный оборот лексику русского языка, употребительную в отдаленных от центра территориях его распространения и в других трудах никак не представленную, углубляет наши знания об особенностях его функционирования в этих регионах. Материалы словаря помогают также решать вопросы, возникающие при определении значений слов, зафиксированных в литературных источниках. Например, для составителей неоконченного академического словаря-справочника «Редкие слова в произведениях авторов XIX века» под ред. Р. П. Рогожниковой оказалось затруднительным для понимания слово *супир*, встретившееся в ранней редакции пьесы «Маскарад» М. Ю. Лермонтова и неумело объясненное ранее как ‘принадлежность женского туалета, украшенная драгоценными камнями’ (с. 393). По данным рецензируемого словаря зна-

[1] Помета, принятая в АС-2.

чение этого слова становится более определенным — это ‘перстень’, причем в первом издании [АС-1: 292] соответствующее слово *суперик* было помещено под знаком (?), а во втором издании [АС-2: 442] новые материалы позволили снять вопрос.

Данные первого издания Словаря широко привлекаются в «Этимологическом словаре русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков» (2000) А. Е. Аникина. Вот некоторые из них: *арамузы* — ‘высокие голенища из шкур, мягкой кожи, брезента, надеваемые поверх брюк, держатся на подтяжках, прикрепленных к поясу’ [Аникин 2000: 92], *баки*, *бакин* — ‘нагар в курительной трубке’ [Там же: 111], *бурак* — ‘род берестяной посудины (сосуд, бочонок и др.)’ [Там же: 143], *дабиный* — ‘сшитый из дабы, грубой хлопчатобумажной ткани синего цвета’ [Там же: 175], *кукура* — ‘вяленое (сушеное) мясо дикого зверя’ и др. [Там же: 315]. Сопоставление данных Этимологического словаря русских диалектов Сибири и «Словаря русских говоров Приамурья» позволяет, например, сделать вывод о том, что количество иноязычных заимствований на Амуре значительно меньше по сравнению со всей территорией Сибири. Причина заключается в том, что большинство населения составляли русские. Например, А. П. Георгиевский, обследовавший амурские села в 1928 г., приводит данные переписи 1926 года. В Амурском округе русское население преобладало в 586 селах, украинское — в 246, белорусское — в 55, туземное — в 46; в Зейском округе русское — в 351, украинское — в 12, белорусское — в 13, туземное — в 31 [Георгиевский 1930: 7].

В целом можно утверждать, что авторы-составители Словаря вписали прекрасную страницу в историю изучения народной речи, звучащей на территории реки Амур. Нет сомнения, что это существенный вклад в русскую диалектную лексикографию.

Литература

Аникин 2000 — А. Е. Аникин. Этимологический словарь русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. М.; Новосибирск, 2000.

АС-1 — Словарь русских говоров Приамурья / Сост. Ф. П. Иванова, Л. В. Кирпикова, Л. Ф. Путятина, Н. П. Шенкевец / Отв. ред. Ф. П. Филин. М., 1983.

АС-2 — Словарь русских говоров Приамурья / Авт.-сост. О. Ю. Галуза, Ф. П. Иванова, Л. В. Кирпикова, Л. Ф. Путятина, Н. П. Шенкевец. Изд. 2-е, испр. и доп. Благовещенск, 2007.

Браславец 1968 — К. М. Браславец. К вопросу о формировании и изучении русских говоров Дальнего Востока // Материалы третьей дальневосточной зональной научной конференции, посвященной 50-летию советской власти: Серия филологии. Владивосток, 1968. С. 116—122.

Георгиевский 1930 — А. П. Георгиевский. Русские на Дальнем Востоке: Фольклорно-диалектологический очерк ДВК. Вып. V. Говоры Приамурья (б. Амурского и Зейского округов ДВК). Владивосток, 1930.

Кирпикова 2004 — Л. В. Кирпикова. О дефинициях и живом словоупотреблении // Народное слово Приамурья: Сб. ст., посвящ. 20-летию публикации «Словаря русских говоров Приамурья». Благовещенск, 2004.

Новиков-Даурский 2003 — Словарная картотека Г. С. Новикова-Даурского. Благовещенск, 2003.

Л. Л. Крючкова

ОБЗОРЫ

Современный русский язык: активные процессы на рубеже XX–XXI вв.

/ Отв. ред. Л. П. Крысин. М.: Языки славянской культуры, 2007. — 709 с.

В книге освещаются активные процессы, происходящие в русском языке на рубеже XX—XXI столетий, наиболее характерные для развития его лексики, семантики, грамматики, фонетики, для разных сфер речевой коммуникации. Авторы показывают, что наряду с такими очевидными изменениями в литературном языке, как интенсификация заимствования иноязычной лексики и жаргонизация многих сфер публичного и бытового общения, в русском языке наших дней обнаруживаются особенности, свидетельствующие о начале более глубоких процессов. К их числу относятся, например, изменения в семантических и сочетаемостных свойствах слов, образующих группы коммуникативно активной лексики; вытеснение одних, преимущественно беспредложных, синтаксических конструкций другими, предложными (что находится в русле более общей языковой тенденции, давно отмеченной исследователями русского языка, — тенденции к аналитизму); изменения в просодии слова и фразы; зарождение и интенсивное развитие новых для русского языкового общества речевых жанров (ср. жанры ток-шоу, теледебатов, телемостов и т. п.). Процессы, происходящие в русском языке на территории его исконного распространения, сравниваются с теми, которые привели к современному состоянию русского языка в русской диаспоре за рубежом.

Книга состоит из введения, пяти основных частей и заключения. Во вводной части «Активные процессы в русском языке конца XX — начала XXI века» (*Л. П. Крысин*) представлен обзор изменений, происходящих на рубеже веков в литературном языке, в территориальных говорах, а также в городском просторечии и групповых жаргонах.

Первая часть — «Активные процессы в лексике и семантике» — состоит из трех глав. Первая глава — «Семантические процессы» (*О. П. Ермакова*) — посвящена рассмотрению семантических процессов, характерных для русского языка последних десятилетий и отражающих современную языковую ситуацию. Вторая глава — «Сравнительный анализ семантических процессов в литературном языке и сленге» (*Р. И. Розина*) — содержит описание активных моделей семантической деривации сленга и сравнение их с продуктивными моделями деривации литературных значений. В третьей главе — «Лексическое заимствование и калькирование» (*Л. П. Крысин*) — сформулированы причины и условия интенсификации процесса заимствования и рассмотрены некоторые характерные его черты на современном этапе развития языка.

Вторая часть — «Активные процессы в грамматике» (*М. Я. Гловинская*) — состоит из двух глав, посвященных описанию изменений в области формальной глагольной морфологии и рассмотрению тенденций к унификации склонений и сокращению парадигм в морфологии имен в русском языке.

Третья часть — «Активные процессы в фонетике и орфографии» — включает

три главы. В первой главе — «Активные процессы в фонетике. Процесс отвердения согласных перед мягкими согласными в современном русском литературном языке» (*Л. Л. Касаткин*) — представлено рассмотрение закономерностей течения процесса С'С' > СС' как ряда последовательных этапов перехода от мягкости согласных к их твердости. Во второй главе — «Изменения в просодической системе русского литературного языка» (*Р. Ф. Касаткина*) — анализируются некоторые сдвиги в отдельных фрагментах современной просодической системы, наблюдающиеся преимущественно в узусе, но иногда затрагивающие и сферу нормы. Третья глава — «Активные процессы в области русского письма» (*С. М. Кузьмина*) — посвящена рассмотрению соотношения орфографической нормы и практики письма, обсуждению работы в области кодификации орфографии, а также некоторым другим аспектам проблемы.

Четвертая часть «Активные процессы в сферах речевого общения» состоит из четырех глав. В первой главе — «Активные процессы в сфере публичного общения» (*Е. И. Голанова*) — представлены данные, полученные в результате изучения новых явлений в пространстве устного публичного диалога, анализа его новых типов и разновидностей, в том числе и структурно-стилистической организации текстов. Глава вторая — «Активные процессы в языке средств массовой информации» (*Е. В. Какорина*) — посвящена обсуждению активных процессов в дискурсе СМИ. В третьей главе — «СМИ и интернет-коммуникация» (*Е. В. Какорина*) — рассматриваются особенности расширения коммуникативного пространства СМИ посредством Интернета. Четвертая глава — «Общение человека с компьютером» (*А. В. Занадворова*) — освещает как лексические, так и психолингвистические особенности взаимодействия «пользователь — компьютер».

В пятой части — «Активные процессы в языке русского зарубежья» (*Е. А. Земская*) — рассматриваются особенности функционирования русского языка у эмигрантов разных волн, живущих в США, Германии, Франции, Финляндии, Италии.

Н. Н. Розанова

Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений. Т. 4 / РАН. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова; Под общей ред. Н. Ю. Шведовой. — М.: РАН. Ин-т рус. яз., 2007. — 952 с.

Четвертый том Словаря посвящен глаголу, самой сложной составляющей лексической системы русского языка. В целом «Русский семантический словарь» заявлен как шеститомное издание, в котором в многоступенчатых классах слов будет представлена система современной русской общеупотребительной лексики. Первичной единицей описания в Словаре является значение слова (так называемое словозначение); такие значения сгруппированы по частям речи и далее — по лексико-семантическим классам слов и их отдельным участкам (ранее опубликованы: т. 1 — «Слова указующие (местоимения). Слова именующие: Имена существительные (Все живое. Земля. Космос)»; т. 2 — «Имена существительные с конкретным значением: Все соз-

даваемое руками и умом человека»; т. 3 — «Имена существительные с абстрактным значением...»).

В четвертом томе описан основной участок глагольного класса с точки зрения его внутренней организации (окончание описания см. в 5-м томе, который готовится к печати). Данный том включает около 35 000 единиц и фразеологических выражений.

Лексико-семантическая организация русского глагола показана как макрокласс, в котором традиционное противопоставление «действие — состояние» присутствует, но не определяет строение глагола в целом. Отвечающим природе глагола как целостного класса оказывается противопоставление: «глаголы, в которых семантика действия и состояния строго не разграничивается или вообще размыта» — «глаголы, в которых такое противопоставление присутствует и определяет их распределенность по тем или иным иерархически организованным лексико-семантическим объединениям». Такой подход к описанию организации глагольных значений приводит к выделению четырех основных групп. Глаголы, относящиеся к первому члену указанного противопоставления, представлены в первом разделе книги следующими классами: (1) неполнознаменательные (глаголы-связки и полузнаменательные, глаголы фазовые, модальные, глаголы со значением связей, отношений и именующие) и дейктические (такие, которые означают наиболее абстрактные понятия и служат для обозначения ситуации в целом, охватывают все смыслы, относящиеся к области действий, процессов, состояний); (2) бытийные глаголы, которые впервые представлены как самостоятельный сложноорганизованный лексико-семантический класс. Второй член вышеуказанного противопоставления включает глаголы, представляющие основной массив глагольной лексики, организованной в два класса: (3) глаголы со значением активного действия, деятельности, деятельностного состояния и (4) глаголы, называющие различные неактивные процессуальные состояния. Из третьего класса в данном томе описаны глаголы, которые именуют процессы, относящиеся к сферам созидания, интеллектуальных и эмоциональных действий, поведения, межличностных контактов, информации; глаголы со значением исконных трудовых процессов, промыслов; глаголы, прикрепленные к сфере социальной деятельности. Каждое из этих множеств объединяет разветвленные участки, сложно и в разных направлениях взаимодействующие друг с другом. Возникающую при такой сложной системе подачи материала проблему «пересечения значений» авторы предлагают считать единством смысла, объединяющего несколько значений в целое слово. То, что кажется пересечениями, является, по мнению авторов Словаря, слиянием языковых смыслов, основных понятий, которые скрепляют материал в единую сложную систему.

Строение описанных в 4-м томе глагольных лексико-семантических классов (их многоступенчатая иерархическая организация, членение разделов на многочисленные подразделы) показано в 80 прилагаемых схемах, которые сопровождаются подробными комментариями.

Данный том имеет общую с предыдущими томами композицию: он открывается предисловием, далее следует собственно корпус словарных статей, распределенных по разделам в соответствии с семантической классификацией; описание каждого крупного лексико-семантического класса предваряется кратким вводным объяснением, в конце дан справочный аппарат (алфавитный указатель включенных в книгу слов (значений) и свод всех представленных

в тексте схем). Внутри корпуса все конечные лексико-семантические ряды последовательно пронумерованы, что отражено в соответствующих схемах. Такая структура делает пользование словарем удобным и максимально информативным.

Том отличается углубленным подходом к исследованию семантики глагола и широким охватом материала и может использоваться как самостоятельное лексикологическое произведение.

Ю. С. Капитанова

Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / Отв. ред. Н. Ю. Шведова. — М., 2007. — 1175 с.

Вышел в свет «Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов» (автор основного корпуса словаря и его ответственный редактор академик РАН Н. Ю. Шведова; авторы справок о происхождении слов доктора филол. наук Л. В. Куркина и Л. П. Крысин). Это новый лексикографический труд, в котором не только описывается в жанре толкового словаря общеупотребительная лексика, но впервые в отечественной практике в словарную статью вводится информация об этимологии слова, т. е. о его происхождении и о его соответствиях в других языках. Таким образом, это словарь нового жанра — толково-этимологический.

Как отмечается в обращении редактора «К читателю», в своей основе данное издание является продолжением и развитием «Толкового словаря русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, особенно его четвертого издания (1997—2005 гг.).

Корпус словаря и структура его словарных статей отражают наряду с основным, исторически сложившимся и устойчивым ядром лексического состава русского языка, целые пласты слов и значений, или вообще не отмеченных в других толковых словарях, или появившихся в языке в последнее время. Во-первых, это ставшая широко употребительной и обогатившая специальные сферы языка лексика, относящаяся к политической жизни, наукам, культуре и спорту, а также к высоким технологиям. Во-вторых, это широко употребительные разговорные и просторечные слова и устойчивые выражения: для последнего десятилетия характерно вторжение в литературный язык просторечной и жаргонной лексики. Естественно, что словарь не может не реагировать на такие процессы, однако при этом в него включались только те единицы, которые с точки зрения законов развития общелитературного языка и его норм могут претендовать на свое место в однотомном словаре. Эта книга с достаточной полнотой отражает фразеологический состав русского языка: в нее вошло более 6000 идиом, образных выражений, живых пословиц и поговорок, афоризмов; в тех случаях, когда старые пословицы и поговорки давали яркий и ценный иллюстративный материал для тех или иных значений слов, а отраженный в них народный опыт полностью сохранил свою актуальность, такие речения с соответствующей пометой вводились в словарную статью. Везде, где позволяли результаты исследований, идиома снабжалась информацией о ее происхождении.

Данный словарь, описывая общий лексический состав русского литературного языка последних двух столетий, одновременно восполняет существенный пробел в отечественной лексикографии: его этимологические зоны, будучи собранными вместе, практиче-

ски представляют собою краткий этимологический словарь русского литературного языка.

Структура словарной статьи, традиционная для однотомного словаря, во всех необходимых случаях дополнена специальной этимологической зоной, отмеченной знаком (●). Здесь в сжатом виде дается информация о разных аспектах этимологического изучения слова. Содержание и структура этой зоны определяются характером рассматриваемого слова, его индивидуальной историей. В максимально полном варианте в этимологической зоне содержатся:

— Сведения о соответствиях в славянских языках — восточнославянских (рус., укр., блр.), южнославянских (ст.-слав., болг., макед., с.-хорв., словен.), западнославянских (чеш., слвц., польск., в.-луж., н.-луж.) — приводятся в принятой для этих языков графике; ряд славянских соответствий открывает самая ранняя форма, засвидетельствованная памятниками письменности на восточнославянской территории. Например:

ВЕК…● Др.-рус. ***вѣкъ*** ‘век; увечье’ укр. *вік*, словен. *vêk* ‘сила’, чеш. *věk*, польск. *wiek;* стар. знач. ‘сила’;…

— Исходная форма слова восстанавливается для эпохи праславянского языка под звездочкой в латинской транскрипции. Например:

ВЕРТЕ´ТЬ…●…из **vьrtěti*, связано чередованием гласных с **verteno* (рус. *веретено*), **vortъ* (рус. *ворот*).

— Сведения о соответствиях в индоевропейских языках с указанием значений слова:

СТРОГА´ТЬ…●…; из **strъgati*, *stružǫ*, родств. … греч. *streúgomai* ‘изнуряться, мучиться’.

— Сведения о реконструируемом исходном значении слова и основных звеньях его семантической эволюции, например:

ВЕ´ДАТЬ…●…развитие знач.: ‘видеть’ > ‘знать’.

Что касается новых заимствований и интернационализмов, этимологической справкой снабжается то слово, которое заимствовано из другого языка, а однокоренные с ним не этимологизируются ввиду очевидности формальных и семантических связей со словом-заимствованием. Таким образом, очевидно, что из ряда слов *форма*, *формальный*, *формальность*, *форменный* этимологических разъяснений требует только слово *форма* (восходит к лат. *fōrma*), а остальные являются производными и не снабжаются этимологическими справками.

Однако бывают случаи, когда каждое из двух или нескольких однокоренных слов заимствуется самостоятельно, как например, *аплодировать* и *аплодисменты*, *фашизм* и *фашист*. В этих случаях в этимологической зоне каждого из слов приводится его иноязычный прототип, например:

АПЛОДИ´РОВАТЬ…● От франц. *applaudir* (в том же знач.).

АПЛОДИСМЕ´НТЫ…● От франц. *applaudissements* (в том же знач.).

В отдельных случаях, когда позволяют источники, сообщаются сведения о времени появления слова (XVIII–XX вв.), например:

ВЛИЯ´ТЬ…●…в современном знач. с 30–40-х гг. XIX в.

Словарь предваряется предисловием редактора; в конце словаря приводятся сведения о том, как пользоваться этимологической зоной, а также имеется приложение, в котором дается краткая информация о словоизменении имен (существительных, прилагательных, числительных, местоимений) и глаголов.

Словарь содержит 82000 слов и фразеологических выражений и, в качестве дополнений к основным статьям, около 15000 исторических и этимологических справок. Впервые создан тип словаря, совмещающего в себе жанр толкового словаря со сжатым этимологическим словарем русского языка. Тем самым

показана возможность совместного описания в словаре русской лексики как с точки зрения ее современного состояния, так и с точки зрения ее происхождения. Словарь имеет не только научное, но и большое практическое значение.

Е. А. Смирнова

Жизнь языка: Памяти Михаила Викторовича Панова
/ Отв. ред. М. Л. Каленчук, Е. А. Земская. — М.: Языки славянских культур: Знак, 2007. — 448 с. — (Studia philologica).

Книга посвящена памяти выдающегося отечественного лингвиста Михаила Викторовича Панова. В сборник включены воспоминания друзей и коллег о М. В. Панове, его неопубликованные стихи, автографы, письма и фотографии, а также более сорока научных статей коллег и учеников Михаила Викторовича.

Открывают сборник вступительные статьи «Слово о нашем Учителе» (*М. Я. Гловинская, С. М. Кузьмина*) и «Памяти Михаила Викторовича Панова» (*Е. В. Клобуков*), посвященные воспоминаниям об ученом и содержащие попытки осмысления ценности его научного наследия.

Первый раздел книги — «Автобиография М. В. Панова» — включает собственно автобиографию, составленную М. В. Пановым 30 июля 1991 г., и небольшую заметку *А. Э. Цумарева* «Я очень обрадовался, что светло», в которой рассказывается об одном эпизоде из жизни Михаила Викторовича.

Второй раздел — «М. В. Панов рассказывает и пишет» — содержит расшифровку стенограмм четырех бесед Михаила Викторовича с друзьями и коллегами (запись двух бесед с Е. А. Земской, Е. Калло, В. Ф. Тейдер и др., состоявшихся в 2001 г.; записанный в марте 2000 г. разговор с В. С. Елистратовым (с развернутым комментарием В. С. Елистратова к диалогу); беседа с Е. В. Красильниковой и Л. Б. Парубченко, состоявшаяся в декабре 1998 г.), а также фрагменты переписки ученого с Л. Н. Булатовой и Н. А. Еськовой.

В третьем разделе книги — «М. В. Панов в нашей памяти…» — собраны воспоминания учеников и коллег о личности Михаила Викторовича, его педагогическом даровании и разнообразной и плодотворной научной деятельности. Воспоминания эти ярко отражают, насколько дорог и по-человечески близок был Михаил Викторович всем, кому посчастливилось учиться у него, слушать его лингвистические курсы или работать с ним совместно. Очерки «М. В. Панов — педагог» *Г. Н. Ивановой-Лукъяновой*, «Помню…» *Е. В. Красильниковой*, «Язык М. В. Панова — ученого и учителя» *С. М. Кузьминой*, «Так говорил Панов» *В. И. Новикова*, «Последняя встреча» *О. А. Седаковой* полны добрых слов и искреннего восхищения учителем.

Четвертый раздел книги составляют научные статьи друзей, коллег и учеников М. В. Панова. В работе *В. М. Алпатова* «М. В. Панов глазами востоковеда» прослеживаются параллели между развитием японского и русского языков. Автор устанавливает, что многие выделенные М. В. Пановым закономерности развития русского литературного языка можно привлечь для описания некоторых явлений в японском языке. В статье *О. В. Антоновой* «Об одной орфоэпической особенности русского литературного языка: *вишен* или *вишень*?» обсуждаются вопросы истории

русского литературного произношения. В совместной статье *Е. Л. Бархударовой* и *Дэн Цзэ* «Концепция М. В. Панова о двух типах фонетических систем в контексте создания национально ориентированных курсов русской фонетики» затронуты некоторые аспекты возможности использования концепции М. В. Панова для решения задач практической фонетики. Работа *О. Р. Валединской* и *Е. И. Голановой* «О психологическом и лингвистическом аспектах термина „сокризис“» посвящена обсуждению роли терминологии в организации профессионального мышления и адекватной презентации научных результатов; в работе предложены возможности преодоления противоречий, возникающих при профессиональном использовании терминов. В статье *М. Я. Гловинской* «Многоуровневая мотивированность некоторых лексических инноваций на рубеже веков» исследуются новые явления в языке, активно развивающиеся в узусе, однако еще не подвергшиеся кодификации. В работе *Т. М. Григорьевой* «Свод правил русской орфографии и пунктуации: старый и новый» обсуждаются вопросы, связанные с необходимостью упорядочения русской орфографии. В статье *М. Я. Дымарского* «Коннективный vs. иннективный синтаксис (Из наблюдений над языком романа Л. Н. Толстого „Война и мир“)» рассматриваются причины отклонений от синтаксической нормы, ее колебаний и изменений. В работе *Л. Дюрович* «У истоков русского литературного языка. — В Швеции?» предложена гипотеза разрешения загадки листа Экстранеа. Рассмотрению типов словообразования на определенном участке системы посвящена статья *А. В. Занадворовой* и *Юань Цуй* «Типы разговорного словообразования в современной прессе (на материале имен существительных)». *Е. А. Земская* в статье «Устная речь Иосифа Бродского (лексико-семантический аспект)» проанализировала стилистические особенности речи поэта. В работе *М. Л. Каленчук* «Орфоэпическая концепция М. В. Панова» отражена актуальность предложенной ученым орфоэпической концепции для современного состояния литературного языка. В статье *Р. Ф. Касаткиной* «Новые лексические заимствования во взаимодействии с некоторыми звеньями русской консонантной системы» обсуждается устойчивость фонетической системы русского языка перед натиском новых варваризмов; при этом отмечается, что новые заимствования вносят разнообразие в орфоэпическую картину русского языка. Статья *И. И. Ковтуновой* «Живопись и графика в поэзии М. Волошина» посвящена анализу способов и символики обозначения цвета в творчестве поэта. В работе *Г. Е. Крейдлина* и *А. Б. Летучего* «Тело в языке и культуре: плечи и их концептуализация в языке русских жестов» рассматриваются роль и поведение плеч в невербальной коммуникации. В статье *М. А. Кронгауза* «Новые слова и новые значения: механизмы возникновения» обсуждаются проблемы, связанные с возникновением новых смыслов в языке при использовании уже существующих форм. В работе «Языковая норма и речевая практика» *Л. П. Крысиным* предложена к рассмотрению антиномия узуса и возможностей языковой системы. *О. А. Кузнецовым* в статье «О способах реализации зияний в русской речи» предпринята попытка перечисления основных способов реализации зияний в русской речи и описания условий проявления того или иного способа. *Е. В. Маринова* в статье «Латиница в русском письме: проблема графического заимствования» рассматривает закономерности функционирования в русском языке нетранслитерированных заимствований. Работа *Н. А. Николиной* «Временны́е отношения в тексте драмы» посвящена рассмотре-

нию особенностей функционирования в тексте драмы глагольных форм времени. В статье *М. А. Осиповой* «Речь „средних русских“: аксиологические изменения» рассматриваются речевые явления, группирующиеся вокруг аксиологических понятий «независимость» и «родина». *С. А. Полковникова* в работе «Об уточнении формулировки „фонетический принцип русской орфографии“» предложила к обсуждению условия, необходимые для отнесения некоторых написаний к фонетическим. Статья *А. П. Романенко* «М. В. Панов о русском литературном языке XX века» посвящена интерпретации взглядов ученого на некоторые аспекты истории литературного языка. *З. С. Санджи-Гаряева* в работе «Словотворчество А. Платонова» рассматривает специфические особенности индивидуального языка писателя. В заметке *Е. М. Сморгуновой* «Немного воспоминаний и „стихи“ в подарок, или Плач о потерянном Иерусалиме» представлен перевод с древнееврейского Книги «Плач пророка Иеремии» с комментарием. В работе *А. А. Соколянского* «Доморфологический этап русской фонологии, или О единых основаниях фонетики и фонологии» предложены возможные пути преодоления разрыва между фонетикой и фонологией. Заключают четвертый раздел «Стенограмма обсуждения 1-го издания учебника А. А. Реформатского „Введение в языковедение“ 17 января 1948 г.», подготовленная к печати и снабженная вступлением и примечаниями *Л. Л. Касаткина*, а также подготовленный *С. А. Крыловым* именной указатель «М. В. Панов и историография отечественного языкознания: о научных истоках „Русской фонетики“».

В пятом разделе — «М. В. Панов о языке — всерьез и в шутку» — собраны шуточные произведения ученого о языке и некоторые его не опубликованные ранее стихотворения.

О. В. Антонова

Язык в движении: К 70-летию Л. П. Крысина / Отв. ред. Е. А. Земская, М. Л. Каленчук. — М.: Языки славянской культуры, 2007. — 664 с.

Сборник статей «Язык в движении» посвящен известному ученому Леониду Петровичу Крысину, отметившему в 2007 году семидесятилетний юбилей. В сборнике рассматриваются активные процессы в фонетике, лексике, семантике, грамматике, а также актуальные проблемы стилистики и культуры речи, социолингвистики и мн. др.

Несмотря на отсутствие тематических разделов и алфавитный порядок представления статей, материалы сборника можно сгруппировать по нескольким направлениям.

Разнообразные вопросы общетеоретического характера затрагиваются в ряде работ: например, в статьях *С. Димитровой* «Выражение неодобрения, безразличия и презрения (на материале современного болгарского языка)», *М. Я. Дымарского* «*Это* / N_1 V_f: к понятию речевой синтаксической модели», *О. П. Ермаковой* «Ирония среди тропов», *А. Д. Кошелева* «О природе комического и функции смеха», *Г. Е. Крейдлина* «Кинесика и проблемы понимания», *К. Ласорсы Съедины* «О европейской грамматике и диалоге культур», *А. П. Романенко* «Особенности современной словесной культуры», *О. Б. Сиротининой* «Есть ли социальная обусловленность типов речевой культуры?».

Об активных процессах в фонетике рассказывают работы *М. Л. Каленчук*

«Особенности произношения русских предлогов» и *Р. Ф. Касаткиной* «Почему *Ляни́д* звучит лучше, чем *ляпа́рд* (к проблеме реализации хиатусов в речи)».

Язык и стиль писателей и поэтов рассматривается в статьях *В. П. Григорьева* «Кое-что о стилевой политике», *Г. Н. Ивановой-Лукьяновой* «Ритм прозы Н. М. Карамзина», *И. И. Ковтуновой* «Ключевые признаки мира в поэзии М. Волошина», *Е. В. Красильниковой* «„Я люблю только ночь и цветы“ (И. Анненский)», *З. С. Санджи-Гаряевой* «Просторечие в языке Андрея Платонова».

Исследования *В. Бениньи* «Аналитические прилагательные. Распространение иноязычной модели „определяющее существительное + определяемое прилагательное“», *М. Я. Гловинской* «Изменения в склонении числительных в русском языке на рубеже XX–XXI веков», *Е. А. Земской* «Игровое словообразование», *Е. В. Мариновой* «Усеченные субстантивы в современной русской речи: „свое“ и „чужое“», *В. З. Санникова* «Конструкции с тождественными словоформами (КТС)», *И. С. Улуханова* «Валентность заимствованных морфем» посвящены актуальным процессам в грамматике и словообразовании.

В ряде статей освещаются семантические процессы, см. работы *Е. Э. Бабаевой* «Прилагательное *простой* как характеристика человека: особенности связи между лексемами», *Е. И. Голановой* «Полисемия или вторичное заимствование?», *М. А. Кронгауза* «Семантические сдвиги в семантике оценочных прилагательных»), *С. Е. Никитиной* «Каков *мир* в мире религиозного фольклора», *Е. В. Урысон* «Многозначное слово *сознание*».

Актуальные вопросы функционирования лексических и фразеологических единиц исследуются в статьях *В. И. Беликова* «С сотового на мобильный», *И. Т. Вепревой*, *Н. А. Купиной* «Новое слово в социально-психологическом контексте современности», *Н. А. Николиной* «Лексика и фразеология актерского жаргона», *Вл. Новикова* «Из „Словаря модных слов“», *Р. И. Розиной* «Чужие и свои слова на московских улицах. Опыт социолингвистического анализа», *Е. М. Сморгуновой* «Названия конфет по временам и нравам», *Л. Л. Федоровой* «*Беспорядок*, *кавардак* и *беспредел* глазами студентов», *Т. В. Шмелевой* «Алфавит в лексиконе: свое и чужое».

Лексикографии и проблеме лексикографического описания языковых единиц посвящены статьи *Ю. Д. Апресяна* «Вид и словарь», *Л. А. Глинкиной* «„Толковый словарь иноязычных слов“ Л. П. Крысина в аспекте лингводидактики», *Н. А. Еськовой* «О „Толковом словаре иноязычных слов“ Л. П. Крысина», *Г. И. Золотовой* «Лексикографические заметки», *О. А. Михайловой* «Ограничительные компоненты в толковом словаре».

В работах *В. М. Алпатова* «Языковые реформы в России и Японии» и *С. М. Кузьминой* «Орфография и современное общество» затрагиваются актуальные проблемы орфографии.

Социолингвистический блок представлен большим количеством исследований, проведенных как на материале современного русского языка (к примеру, статья *В. Е. Гольдина* «Возрастная динамика словесных ассоциаций школьников»), так и на диалектном материале. К последним можно отнести фрагменты речевых портретов и попытки их создания (см., к примеру, работы *Л. Л. Касаткина* «Фрагмент языкового портрета донской казачки», *О. Б. Йокоямы* «Поздняя заимствованная лексика в письмах крестьян конца XIX века»). Речевые портреты носителей современного русского языка представлены в статьях *М. Ю. Михеева* «„Осадная запись“ А. Н. Болдырева — пронзительный документ свидетеля ленинградской блокады» и *Е. Я. Шмелевой* «Слушатели передач о русском языке: попытка социолингвистического портрета».

Различные коммуникативные ситуации рассматриваются в исследованиях *М. В. Китайгородской* и *Н. Н. Розановой* «Ролевая структура ситуации и прагматические условия реализации речевых жанров», *М. А. Кормилицыной* «Разговорность как реализация стратегии близости к адресату в современной прессе».

В работах *Т. М. Николаевой* «Грубые ошибки или назойливая языковая тенденция?», *А. Д. Шмелева* «Языковые особенности различных видов религиозного дискурса» затрагиваются вопросы стилистики и культуры речи.

Проблемы функционирования русского языка в иноязычном окружении и особенности языковых контактов рассматриваются в работах *Н. Ю. Авиной* «Язык русской диаспоры», *К. Менг*, *Е. Протасовой* «Одна языковая судьба» и *З. Рудник-Карват* «Czyżby nowy model słowotwórczy w dzisieszej polszczyźnie? (W związku z historią językowych kontaktów)».

Наряду с синхроническим аспектом описания языковой системы в сборнике освещается и диахронический аспект. К работам подобного характера можно отнести статьи *В. Б. Крысько* «К истории откомпаративных наречий (*водле*, *вдоль*, *возле*, *подале* и *подле*)» и *А. М. Молдована* «„Лясы точить“ или „бить баклуши“».

В конце книги приведен список трудов Л. П. Крысина, содержащий словари, монографии, учебные пособия, автором и соавтором которых является известный лингвист. Кроме того, в перечень включены его статьи, заметки и рецензии, а также работы, при публикации которых Л. П. Крысин выступил в качестве научного редактора.

В. Ю. Балдашинова

Язык как материя смысла: Сборник статей к 90-летию академика Н. Ю. Шведовой / Отв. ред. М. В. Ляпон. — М.: Издательский центр «Азбуковник», 2007. — 735 с.

Сборник посвящен академику РАН Н. Ю. Шведовой — выдающемуся языковеду и лексикографу, автору фундаментальных трудов по русской грамматике, теории слова как центральной единицы языковой системы, а также по теории языкового смысла и типологии сообщений. Сборник отражает широту научных интересов юбиляра, а также современные тенденции развития лингвистики: интерес исследователей к социолингвистике, к феноменам «текст» и «дискурс», к поиску смыслового каркаса языка, к проблеме культурных концептов и к другим объектам филологической науки. Материалы сборника сгруппированы в восемь тематических разделов, авторами сборника стали более 60 исследователей — лингвистов и литературоведов.

В первом разделе «Теория языкознания. В поисках „грамматики смысла“. Социолингвистика» обсуждаются вопросы истории лингвистики, тесно связанные с теоретическими проблемами. Так, взглядам Аристотеля и Дж. Остина на понятие лингвистического факта посвящена статья *А. В. Вдовиченко* «Логическое vs коммуникативное представление лингвистического факта: Аристотель и Остин». В статье *Е. В. Вельмезовой* «Л. Леви-Брюль и Н. Марр: страница из истории отечественного языкознания 1920—1930 гг.» разбирается трудный эпизод из истории науки — судьба перевода книги Л. Леви-Брюля «La mentalité primitive». *Ю. С. Степанов* в статье «Классика и авангард» анализирует книгу Н. Ю. Шведовой «Очерки по синтаксису русской разговорной речи».

Теоретические вопросы рассматриваются в работах *Ю. Л. Воротникова* и *М. М. Маковского*. В статье «В поисках смыслового каркаса языка» *Ю. Л. Воротников* приходит к выводу о том, что трактовка местоимений как смысловых исходов и смысловой категории как совокупности устремленных к заданному местоимением исходному смыслу разноуровневых средств является базой для целостного описания смыслового строя русского языка, которое можно назвать «Русской грамматикой смыслов». *М. М. Маковский* в статье «К онтологии языковых процессов (лингвокультурологическое исследование)» анализирует ряд этимологических данных и делает вывод о том, что язык есть совокупность противоборствующих комбинаций различных энергий, совместимых друг с другом и одновременно несовместимых в рамках действия механизма наложения и снятия запретов.

Взаимоотношениям языка и власти посвящены две статьи. *И. Г. Милославский* рассматривает возможности и историю политических методов воздействия на русский язык в работе «О языковой политике». В статье «Размышления о возможностях науки (заметки на полях „Русского семантического словаря“)» на материале лингвистических данных *А. Мустайоки* сопоставляет представление носителей языка о возможностях науки и государственную политику в этой сфере, а также по-новому осмысляет задачи и сферу применения лингвистики.

Второй раздел носит название «Грамматика. Служебные единицы языка». В него вошли статьи о единицах служебных частей речи *А. Богуславского* («Просто *просто*») и *А. Д. Шмелёва* («Частица *там* как маркер „несущественной детали“»). Теоретическим аспектам грамматики посвящены статьи *А. В. Бондарко* («Категориальные единства»), *М. В. Ляпон* («Причина как предмет рефлексии»), *М. Ю. Федосюка* («Об уровнях и аспектах ономасиологического описания синтаксиса»), *О. Б. Сиротининой* («Русский порядок слов и аспекты его изучения в XX–XXI вв.») и *Т. М. Николаевой* («Клитики: несинтаксические проблемы»). Значениям отдельных падежных конструкций посвящают свои работы *I. Maier* «Zur Rektionsvarianz zwischen Genitiv und Instrumental in der Geschichte des Russischen» («О вариантах управления „родительный / творительный“ в истории русского языка») и *Е. В. Падучева* («Генитив отрицания и Наблюдатель в глаголах типа *звенеть* и *пахнуть*»). Функционирование выражения *не говоря (уже) о* и местоимения *я* рассматривается в статьях *Б. Ю. Нормана* («Выражение *не говоря (уже) о*: синтаксис, семантика, прагматика») и *И. Фужерон* («„Я“ и его капризы»).

В третьем разделе «Лексическая семантика. Фразеология. Этимология» семантические проблемы обсуждаются в шести статьях. *О. А. Лаптева* в статье «Сочетаемость слова как фактор изменения его значения» показывает, как слово, вступая в новые, ранее ему не свойственные соединения с другими словами, модифицирует или полностью меняет свое значение, а следовательно, в современных отступлениях от литературной нормы можно усмотреть тенденции будущих преобразований. В статье *В. В. Морковкина* и *А. М. Аттиа* «Формальные варианты слова: опыт системного рассмотрения» представлен новый взгляд на проблему формальной вариативности. В частности, вариативность осмысляется как постоянно протекающий процесс преодоления языком самого себя на пути к достижению более совершенного состояния. В работе *А. Б. Пеньковского* «О развитии скрытых семантических категорий русского языка (от Пушкина до наших дней)»

рассматривается скрытая «Категория масштаба», обнаруживающая себя в осложнении центра или периферии семантической структуры слова дополнительным признаком ‘Большое — Малое’. *С. М. Толстая* в своей работе «Многозначность слова в свете ономасиологии» выделяет многозначность на уровне лексем и многозначность на уровне употребления. *В. С. Храковский* в статье «Два глагола — *наклониться* и *нагнуться* (К вопросу о соотношении глаголов, обозначающих стандартные и нестандартные положения тела человека)» описывает толкования, акциональные свойства, грамматические и сочетаемостные особенности и проблемы синонимических отношений между двумя упомянутыми глаголами. *А. М. Молдован* в статье «Семантическая эволюция *обиды* в современном русском языке» приходит к выводу, что в XVIII веке у этого слова преобладали значения нанесения физического и материального ущерба, притеснения, нарушения прав и т. п., затем с этими значениями стало ассоциироваться соответствующее эмоциональное переживание, а в XX веке эмотивное значение практически вытеснило все предшествовавшие.

Фразеологии посвящена статья «Семантическая членимость как фактор вариативности идиомы» *Д. О. Добровольского*, где рассматриваются способы проверки гипотезы о зависимости вариативности идиомы от ее семантической членимости. *В. В. Лопатин* в своей статье «Правописание и вариативность» обсуждает проблему орфографической вариативности и условия закрепления нормативного варианта. *Л. В. Куркина* в работе «К этимологии слав. **orati* ‘пахать’» на примере одного из терминов земледелия демонстрирует плодотворность использования приемов внутренней реконструкции, исследования слова в контексте культуры.

В четвертом разделе «Словообразование» обсуждаются теоретические вопросы словообразования, а также особенности словообразования глаголов и наречий. *Е. И. Коряковцева* в своей статье предлагает модель описания семантико-словообразовательной категории. В статье *Н. П. Савицкого*, *И. Крейчиржовой*, *М. Садликовой*, *Е. Шлауфовой* «Типологические аспекты динамики словарного запаса» рассматривается влияние языков с изолирующим типом грамматической структуры на флективные славянские языки. *И. С. Улуханов* в статье «„Русский семантический словарь“ и словообразование» намечает пути использования материалов данного словаря в исследованиях по синхронному словообразованию. В статье *И. Т. Вепревой* «Об аналогии и агглютинативных чертах в семантике производного слова: из наблюдений над изменением значений префиксальных глаголов» описывается новое явление, состоящее в том, что вместо одного префиксального глагола с чистовидовой приставкой начинает употребляться другой префиксальный глагол, с приставкой, имеющей ясную словообразовательную семантику, соотносимую с аффиксальной морфемой. В статье «О синтаксическом преломлении лексического значения некоторых типов производных слов» *О. П. Ермакова* описывает ограниченность синтаксического проецирования лексического значения у наречий, образованных от относительных прилагательных префиксальным способом.

Русский литературный язык в его развитии рассмотрен в разделе «Литературный язык. Культура речи», куда вошли статьи *О. В. Никитина* «„Учинить комедию…“. Деловой язык в текстах драматических произведений конца XVII — начала XVIII в.», *О. Ц. Йокоямы* «Приложение и его функциональные аспекты в ненормированных част-

ных письмах крестьян конца XIX в.» и *Л. М. Грановской* «Русский литературный язык в XX столетии: обретения и потери (заметки)». Современному состоянию русского литературного языка и связанным с ним вопросам культуры речи посвящены работы *Ю. А. Бельчикова* («Некоторые актуальные вопросы культуры русской речи») и *Е. А. Земской* («Расширение границ функционирования литературного разговорного языка»).

В разделе «Текст. Контекст. Интертекст» лингвистические проблемы обсуждаются на материале литературных текстов. В статье *Н. А. Еськовой* «Коварная инверсия» говорится о повторяющихся ошибках при воспроизведении двух классических текстов — стихотворения «Портрет» А. С. Пушкина и заключительного фрагмента поэмы «Василий Теркин» А. Т. Твардовского. Как часть работы по составлению комментированной антологии русской инфинитивной поэзии публикуется статья *А. К. Жолковского* «Из записок об инфинитивной поэзии», в которой рассматриваются проблемы описания стихотворных текстов и образцы комментариев к ним. *А. В. Леденёв* в статье «Тайна Найта: иностранный как русский в первом англоязычном романе В. Набокова» показывает, как разгадка авторского текста скрывается в «изнаночной» стороне словесной «ткани» текста, причем изнанкой ключевых английских слов становятся слова русские.

Семантические и прагматические особенности ситуации намекания рассматриваются в статье *А. Н. Баранова* «Лингвистика намека». В статье *Н. Д. Бурвиковой* и *В. Г. Костомарова* описываются единицы культурного знания в языковом воплощении — логоэпистемы. *В. А. Лукин* в работе «В поисках „смыслового исхода“ типологии текстов» предлагает эскизное описание системных свойств и закономерностей текстовых множеств.

Седьмой раздел «Филологическая интерпретация источника» содержит исследование жития св. Наталии (*Е. М. Верещагин*, «Филологическая интерпретация парадоксального поведения св. Наталии Никомедийской»), лексики, связанной со средневековой социальной практикой детоубийства (*В. М. Живов*, «Лингвистические обстоятельства умерщвления новорожденных»), и фрагмента древнерусского перевода Студийского устава (*В. Б. Крысько*, «О некоторых „темных словах“ в древнерусских текстах»).

Концептологии в восьмом разделе «Концептология. Идеолексикография. Семантический словарь» посвящено несколько статей. В работе *И. Ю. Беляковой* «Формирование индивидуально-авторской семантики в пределах лексического класса» проводится анализ класса имен рельефа как концептуальной области. Устойчивые метафорические сочетания, образуемые словом-конструктом *память*, рассмотрены в статье *Н. Г. Брагиной* «Память и зрение. Пространственные нарративы памяти». Фрагмент структуры концепта «Россия» анализируется в статье *О. В. Евтушенко*. Об истории термина «концепт» говорится в работе *В. З. Демьянкова* «Термин „концепт“ как элемент терминологической культуры». Описанию одного из первых идеографических словарей — «Словарю, содержащему употребительнейшие и нужнейшие слова в общежитии на французском, немецком и российском языках, в пользу начинающих учиться сим языкам» И. А. Гейма — посвящена статья *О. Е. Фроловой*. Идея *Н. Ю. Шведовой* о связи концепта и дейктической системы языка применена к фольклорному материалу в работе *С. Е. Никитиной* «Лицо в фольклорных текстах: некоторые вопросы тезаурусного описания».

Идеолексикография представлена двумя статьями: в работе *Ю. Н. Караулова* «От словаря языка писателя к познанию его мира» показано, как словарь языка писателя становится эффективным инструментом изучения его творчества, языка, стиля; типы словарных статьей в словарях языка писателя проанализированы в статье *Л. Л. Шестаковой* «Словарная статья в словаре языка писателя».

Некоторые аспекты работы над семантическим словарем на примере «Русского семантического словаря» Н. Ю. Шведовой рассматриваются *А. Я. Шайкевичем* в статье «Пространство семантических словарей». Развитие бытийных значений у глаголов со значением движения, перемещения в пространстве описано в работе *Е. С. Копорской*. О телесных знаковых кодах, сопряженных с естественным языком, пишет *Г. Е. Крейдлин* в статье «Невербальная семиотика: жесты в танцах, театре и живописи».

Книга открывается предисловием, в котором дается краткий очерк научной деятельности Н. Ю. Шведовой, а завершается библиографией работ юбиляра.

Н. Н. Занегина

Вопросы культуры речи. IX: Сб. статей

/ Отв. ред. А. Д. Шмелев. — М.: Наука, 2007. — 382 с.

Девятый выпуск периодического издания «Вопросы культуры речи» посвящен памяти выдающегося лингвиста Евгения Николаевича Ширяева, ушедшего из жизни зимой 2003 года. Евгений Николаевич — автор более 150 научных исследований, среди которых две авторские монографии и семь крупных коллективных монографий. Основная сфера научных интересов Е. Н. Ширяева — грамматика, синтаксис во всем его объеме, разговорная речь.

В сборник включены статьи известных ученых — коллег, соавторов и учеников Евгения Николаевича. Тематика представленного сборника очень разнообразна. Это статьи, посвященные культуре речи как разделу науки о языке, проблемам разговорной речи, новым синтаксическим конструкциям и речевым жанрам, активным процессам, происходящим в современном русском языке.

Сборник состоит из четырех разделов. В первом разделе «Культура русской речи» рассматриваются как общетеоретические вопросы теории культуры речи, так и отдельные актуальные проблемы. Здесь представлены статьи *Ю. А. Бельчикова* «Из наблюдений над языком СМИ 90-х годов XX в. (о нарушениях грамматических и орфоэпических норм в электронных СМИ)», *С. Н. Боруновой* «Фрагмент комментария к „Орфоэпическому словарю русского языка“. Побочное ударение», *Л. Ю. Иванова* «Понятие „хорошей речи“ и жанры конвенциональных текстов (на примере инструкций)», *Н. А. Купиной* «Лингвоидеологические процессы и проблемы культуры речи», *Н. А. Купиной* и *И. В. Шалиной* «Просторечие и вопросы ортологии», *Е. М. Лазуткиной* «„Культура речи“ как наука о жизни языка в обществе», *Т. В. Матвеевой* «Коммуникативная стратегия влияния на собеседника в аспекте культуры речи», *О. Б. Сиротининой* «Речевая культура и культура речи: сходство и различие понятий», *А. П. Сковородникова* «О системных основаниях классификации риторических приемов».

Раздел «Активные процессы в современном русском языке конца XX — начала XXI века» включает следующие

статьи: работу *Н. Д. Арутюновой* «Невыразимое — подвластно ль пониманию?», статью *И. Н. Борисовой* «Непринужденная коммуникация в пространстве диалогического общения», статью *О. П. Ермаковой* «Ирония и насмешка», работу *Е. А. Земской* «Силуэты русских эмигрантов», работу *М. В. Колтуновой* «Нормы конвенциального речевого поведения и практика их соблюдения в официальной деловой речи», статью *Е. В. Красильниковой* «Экспрессивность как свойство разговорной речи», статью *Л. П. Крысина* «Неологизмы-кальки в современном русском языке», работу *Н. А. Николиной* «Сегментация слова в современных текстах», статью *А. Д. Шмелева* и *Е. Я. Шмелевой* «Анекдот в современной русской речи: интертекстуальные связи».

Значительная часть работ сборника посвящена исследованию различных вопросов синтаксиса. Раздел «Проблемы синтаксиса современного русского литературного языка» представлен статьями *М. А. Кормилицына* «Синтаксические способы дезавторизации информации в современных СМИ», *О. А. Крыловой* «Структурные схемы и актуальное членение предложения», *Г. Я. Солганика* «О природе синтаксической связи», *Г. А. Сопочкиной* «Особенности прозаической строфы Чехова (на материале рассказов разных периодов творчества)», *М. Ю. Федосюк* «Типы русского простого предложения в ономасиологическом аспекте», *А. Э. Цумарева* «Парцелляция в современной русской речи (на материале газетной публицистики 1990–2000-х годов)», *О. А. Чичвариной* «Сложное предложение с условными отношениями логической обусловленности в публицистическом стиле», *О. М. Чупашевой* «О симметричности некоторых участков языковой системы (на материале бессоюзных сложных предложений и предложений с обособленными деепричастными оборотами)», *Энрике Ф. Керо Хервилья*, *Рафаэля Гусмана Тирадо* «Сопоставительный анализ генеративных сложноподчиненных предложений, выражающих причинные отношения в русском и испанском языках».

Заключительный раздел сборника «Из неопубликованного» представлен работой *В. Л. Воронцовой* «Акцентные варианты профессиональной речи и их лексикографическое отражение».

Сборник научных статей «Вопросы культуры речи» содержит немало глубоких исследований, посвященных анализу изменений, происходящих в русском языке на рубеже XX–XXI вв.

Т. Ю. Лабунская